1 р. 90 к. Индекс 73293



ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ в Государственных казначейских обязательствах СССР!

Сберегательный банк СССР предлагает государственные ценные бумаги с ежегодным повышенным доходом — 10%.

Государственные казначейские обязательства СССР выпущены с 1990 г. сроком на 8 лет достоинством 1000, 500, 100 и 50 рублей.

Доход выплачивается один раз в год после 1 января по купонам, имеющимся при обязательстве, начиная со следующего года после его приобретения.

Если у Вас возникнет необходимость продать обязательство, то Вы сможете это сделать в любом учреждении Сберегательного банка СССР.

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1991. № 5. 1—208.

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

5

1991



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

5

1991

МАЙ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ВОЛЬНОЕ РУССКОЕ СЛОВО

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (зав. отд. поэзии), **И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы), **В. М. ЛИТВИНОВ** (зав. отд. критики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Ю. В. ГРИНЬКО.**

Технический редактор Е. А. Колесникова.

Сдано в набор 05.04.91. Подписано к печати 29.04.91. Формат 70×108 1/16.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18.55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 242 000 экз. Заказ № 261. Цена 1 р. 90 к.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64. 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125885 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Дмитрий ВОЛКОГОНОВ

Лев Троцкий

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

«Личная судьба есть и у Л. Троцкого, и он напрасно хочет скрыть ее горечь».

Н. БЕРДЯЕВ.

Вместо введения. СУДЬБА РЕВОЛЮЦИОНЕРА

Бронированный поезд шел к Киеву. Тяжело громыхая на стыках рельс и стрелках редких станций, состав мчался в ночи к украинской столице. В одном из вагонов в середине состава не спали. Просторный салон состоял из нескольких кожаных кресел, такого же дивана, продолговатого стола в центре и небольшого с телефонными аппаратами в углу. У щели окна стоял человек среднего роста, с бородкой, усами, в расстегнутом френче и сапогах. Над высоким, большим лбом вздымалась пышная шевелюра, уже слегка тронутая заморозками седины. Нос оседлало изящное пенсне, за стеклами которого поблескивали живые голубые глаза. Человек вглядывался в черноту ночи, тщетно надеясь увидеть блики жилья. Огромная, растерзанная страна лежала не только в руинах, но и сплошном мраке.

За столом с пером в руке сидел молодой человек в фланелевой солдатской рубахе. Рядом лежали телеграммы из III и V армий Восточного фронта, нацеленных к линии Тобола. Южная группировка фронта успешно продвигалась в направлении Туркестана. Скупые строки донесений подтверждали: с адмиралом Колчаком скоро покончат. Путь на восток будет свободен. Но не эти вопросы занимали находящегося в салоне руководителя. Секретарь быстро записывал фразы, которые ему бросал человек, стоящий у окна. «...Крушение Венгерской республики, наши неудачи на Украине и возможная потеря нами черноморского побережья, наряду с нашими успехами на Восточном фронте, меняют в значительной мере нашу международную ориентацию, выдвигая на первый план то, что вчера еще стояло на втором...» Помолчав, выразительно взглянув на секретаря, продолжил: «Иным представляется положение, если мы станем лицом к востоку...» Фразы текли из уст уверенного в себе человека, который, казалось, был способен сквозь полог летней ночи видеть далеко за горизонтом: «...Нет никакого сомнения, что на азиатских полях мировой политики наша Красная Армия является несравненно более значительной силой, чем на полях европейской. Перед нами здесь открывается несомненная возможность не только длительного выжидания того, как развернутся события в Европе, но и активности по азиатским направлениям. Дорога на Индию может оказаться для нас в данный момент более проходимой и более короткой, чем дорога в Советскую Венгрию. Нарушить неустойчивое равновесие азиатских отношений колониальной зависимости, дать прямой толчок восстанию угнетенных масс и обеспечить победу тако-

---

Публикуется сокращенный журнальный вариант книги. Полностью работа (в двух томах) готовится к выходу в издательстве «Новости».

го восстания в Азии может наша армия, которая на европейских весах сейчас еще не имеет крупного значения...»

Уверенно балансируя на полу грохочущего вагона, человек во френче перешел в центр салона и сел в кресло.

— Добавьте к последней фразе: «разумеется, операции на востоке предполагают создание и укрепление могущественной базы на Урале. Всю ту рабочую силу, которую мы собирались тратить на рабочие поселения в Донской области, необходимо сосредоточить на Урале. Туда нужно направить лучшие наши научно-технические силы, лучших организаторов и администраторов...

Загораясь от грандиозного плана, человек в пенсне говорил, не останавливаясь: «нужно туда направить лучшие элементы Украинской партии, освободившиеся ныне по независящим причинам от работы. Если они потеряли Украину, пусть завоевывают для Советской революции Сибирь...»

— Лев Давидович, потише, я не успеваю,— поднял лицо на диктующего секретарь с умными, усталыми глазами.

— Ну что ж, потише, так потише...

Диктовка «Записки в ЦК РКП» продолжалась. Ее автор высказывал не просто общую стратегическую идею революции, но и максимально ее конкретизировал: нужно создать «конный корпус (30 000—40 000 всадников) с расчетом бросить его на Индию». Грандиозность замысла поражала воображение самого творца: «путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии. Наши военные успехи на Урале и в Сибири должны чрезвычайно поднять престиж Советской революции во всей угнетенной Азии. Нужно использовать этот момент и сосредоточить где-нибудь на Урале или Туркестане революционную академию, политический и военный штаб азиатской революции, который в ближайший период может оказаться гораздо дееспособнее Исполкома III Интернационала... Наша задача состоит в том, чтобы своевременно совершить необходимое перенесение центра тяжести нашей международной ориентации...»

— Все? — вопросительно посмотрел на диктующего секретарь.

— Нет. Добавьте: «Настоящий доклад имеет своей задачей привлечь внимание ЦК к поднятому вопросу». Вот сейчас — все. Поставьте подпись: «Лев Троцкий, 5 августа 1919 г.»[1].

За Председателем Реввоенсовета республики, Наркомвоеном, членом Политбюро партии Львом Давидовичем Троцким записывал его верный секретарь Николай Сермукс.

Почти все, что создано Троцким, а это около пятидесяти тысяч документов, подавляющее большинство которых сохранилось в самых различных архивах,— связано с революцией. Он был ее певцом и оракулом. И действовал порой — на грани авантюры. «Нужно использовать этот момент... и создать политический и военный штаб азиатской революции». Такие люди — русские якобинцы, считали законным, нормальным, естественным вызывать революцию и «пришпоривать» ее.

Даже когда этот человек окажется в почти безысходной ситуации, будучи загнанным в бетонную ловушку Койакана, он все равно станет бредить «мировой революцией». По революционной тропе, оставившей глубокий шрам на земле, прошли тысячи, миллионы людей. Следы подавляющего большинства этой массы стерты временем и исчезли навсегда. О Троцком же сегодня спорят и говорят, как и семьдесят лет назад. Говорят с ненавистью и почитанием, злобой и восхищением. Человек необычной судьбы никого не оставляет равнодушным. Не предвосхищая того, что будет сказано в книге, следует определенно заявить в самом ее начале: портрет Льва Троцкого нельзя написать ни розовыми, ни черными чернилами. Для изображения этого удаленного от нас временем профиля нужен богатый спектр красок. Эволюция общественных оценок известнейшего революционного деятеля, подобно маятнику, описала дугу: от восторженного прославления «великого вождя мировой революции» до предания его полной анафеме и

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 32, л. 279—280.

наконец — до спокойного и объективного восприятия яркой, сложной и неоднозначной личности, которая навсегда заняла свое место в галерее исторических личностей.

Вероятно, первой биографической книгой о русском революционере стала работа Г. А. Зива, старого школьного товарища, который уже в 1921 году в Нью-Йорке выпустит небольшую книгу «Троцкий (Характеристика по личным воспоминаниям)»[1]. Будут и официальные биографии. По постановлению ЦК (в мае 1924 года) работник Истпарта Бош подготовил биографию «Бронштейна (Троцкого) Льва Давидовича, с кличками «Львов», «Н. Троцкий», «Яновский», литературными псевдонимами «Антид Отто», «Тахоцкий», «Неофит» и другие. Пятистраничный официоз сопровождается партийной справкой: «Биография тов. Троцкого и перечень его литературных работ составлены тов. Бошем по поручению Истпарта и предназначаются для хранения в Истпарте в Секретном отделе, откуда они будут выдаваться научным работникам»[2].

Эти первые биографии достаточно спокойны и поверхностны. В них схвачены внешние факты и проявления незаурядной личности, но оставлено сокрытым главное в портрете революционера: одержимый мощный интеллект.

Через полтора десятилетия образ Троцкого предстанет зловещим, кровавым, отвратительным, особенно в официальных документах. В докладе И. В. Сталина на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП (б) 1937 г. троцкизм и сам «главарь» течения Троцкий характеризуются как «оголтелая банда вредителей»[3]. Троцкий в советской печати тех лет — средоточие всех зол и пороков, от шпионства до растлительства душ.

Прежде чем о Троцком заговорили объективно, на него выпало столько хулы, сколько за последние полвека, думаю, не доставалось никому. И личность эта не только символизирует радикализм коммунистической Идеи, ее бескомпромиссность и утопичность, но и трагедию реализации большевистских программ. Троцкий стоял у истоков создания советского государства, был одним из главных архитекторов бюрократической системы, которая сейчас так болезненно демонтируется в гигантской стране.

Судьбе было угодно так распорядиться, что Троцкий смог синтезировать в себе непоколебимую Веру в коммунистические идеалы и беспощадность пролетарской диктатуры, одного из вдохновителей красного террора и его жертву. Думаю, что уникальность Троцкого в том, что он олицетворил в себе как наиболее привлекательные черты русских революционеров, так и те грани, которые выглядят крайне отталкивающе.

Троцкий прочел еще на рассвете века провидческие строки неукротимого бунтаря: «Каждый революционер мечтает о диктатуре, будет ли это «диктатура пролетариата», т. е. вождей, как говорил Маркс, или диктатура революционного штаба, как утверждают бланкисты... Все мечтают о революции как о возможности легального уничтожения своих врагов при помощи революционных трибуналов... Все мечтают о завоевании власти, о создании всесильного, всемогущего, всеведущего государства, обращающегося с народом как с подданным и подвластным, управляя им при помощи тысяч и миллионов разного рода чиновников... Все революционеры мечтают о «комитете общественного спасения», целью которого является устранение всякого, кто осмелится думать не так, как думают лица, стоящие во главе власти... Наконец, все мечтают о том, чтобы ограничить проявления инициативы личности и самого народа... чтобы народ избрал своих вождей, которые и будут думать за него и составлять законы от его имени... Вот тайная мечта 99 процентов из тех, кто называет себя революционерами»[4]. В библиотеке Троцкого, составленной для него Г. Бутовым, в книге Кропоткина этот большой кусок текста подчеркнут, с вопросительным знаком на полях. Возможно, сия мета сделана Троцким. Но поразительно, что он и его сотоварищи по большевистскому

[1] Г. А. Зив. Троцкий. Характеристика по личным воспоминаниям. Нью-Йорк, 1921.
[2] ЦГАСА, ф. 4, оп. 14, д. 55, л. 8.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 2, д. 612, в. III, л. 7.
[4] Кропоткин П. А. Речи бунтовщика. СПб., 1906, с. 35.

руководству, осуждая на словах умозаключения, подобные написанному Кропоткиным, последовательно действовали по этой методе.

Согласно Плутарху, Провидение предопределяет судьбу каждого человека. Деяния людей, по разумению древнего мыслителя, «находятся под надзором и руководством демонов или гениев». Похоже, что божий промысел повелел так, чтобы Рок, как непреложный закон судьбы Троцкого, испрашивал совета как у «гениев, так и демонов». Может быть, поэтому один из «выдающихся вождей», как назвал Ленин Сталина и Троцкого, олицетворил в себе и блеск масштабного острого интеллекта и приверженность революционному насилию, способность к поразительным пророчествам и упорство в роковых заблуждениях.

Судьба Троцкого по самым требовательным меркам — необычна. Она и сегодня волнует, тревожит, потрясает. Троцкий был рано замечен и обласкан славой и известностью. Ему довелось общаться с выдающимися людьми своей эпохи: Каутским, Плехановым, Адлером, Мартовым, Даном, Аксельродом, Ульяновым-Лениным, Фрунзе, Бухариным, Каменевым, другими крупными личностями, оставившими свой долго не теряющийся след на пыльных ступенях пирамиды исторического прогресса.

Троцкий испытал много триумфов. Почти как Божественный Юлий. А может и больше. Как писал Гай Светоний, «первый и самый блистательный триумф был галльский, за ним александрийский, затем — понтийский, следующий — африканский, и, наконец,— испанский: каждый со своей особой роскошью и убранством». Самый крупный триумф Троцкого был в октябре 1917 года. Затем их было у него значительно больше, чем у Божественного Юлия. Революционер, казалось, привык к ним, представлялось — так будет долго, если не всегда. Но уже вскоре после окончания гражданской войны Троцкий почувствовал себя едва ли не лишним в повседневности начавшихся серых будней. Все говорило: этот человек был как бы создан для переломов, взрывов, крушений, пожаров, для межконтинентальной славы. Но мировая революция «споткнулась». Даже «азиатская» не получилась. Начались трагедии, которых выпало на долю Троцкого столько, как будто они предназначались целому революционному легиону.

Лишение всех постов, ссылка, депортация, скитания по планете сопровождались насильственной смертью почти всех родных и близких, множества соратников. С клеймом «троцкист» погибали не только его действительные соратники и сторонники, но и миллионы соотечественников, лишь заподозренных в какой-то нелояльности диктаторскому режиму. Удивительно и то, как сам Троцкий, учитывая масштаб шедшей на него сталинской охоты, смог прожить после депортации еще целое десятилетие. За два месяца до своей трагической гибели он написал: «Я могу сказать, что живу на земле не в порядке правила, а в порядке исключения» [1]. Судьба этого революционера — феерический, стремительный взлет на гребень всемирной славы и долгая, долгая драма борьбы, разочарований, надежд, закончившаяся последней трагедией в Мексике.

Правда, сам Троцкий, всегда смотревшийся в зеркало истории, не считал свою жизнь трагической. Во всяком случае, находясь на Принкипо в 1930 году.

— Ну, а как же насчет вашей личной судьбы? — слышу я вопрос, в котором любопытство сочетается с иронией,— пишет революционер.— Я не меряю исторического процесса метром личной судьбы... Я не знаю личной трагедии. Я знаю смену двух глав революции [2].

Позволю себе не согласиться с этим высказыванием. Просто Троцкий, будучи крупной исторической личностью, умел достойно проигрывать и не утрачивать надежды. Он верил, что его поражение для истории может выглядеть достойнее иной победы.

Троцкий написал множество книг, статей, литературных силуэтов, эссе, манифестов, заметок, репортажей. Для своих биографов он оставил богатейшее по объему и разноплановости наследие. Как вспоминала Наталия Седова-Троцкая, он хотел написать еще ряд крупных книг. Но «повседневные события отодвигали эти

---

[1] Бюллетень оппозиции, № 87, август 1941, с. 5.
[2] См.: Л. Троцкий. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Т. II. Изд-во Гранит. Берлин, 1930, с. 336.

работы на второй план. Труд о Сталине ему был навязан посторонними обстоятельствами: материальной необходимостью и его издателем. Лев Давидович не раз хотел написать «ходовую» книгу, как он говорил, чтобы заработать на ней и отдыхать потом, на работе над интересующими его темами. Но это у него не выходило, он не умел писать «ходовых» книг...» [1]. Троцкий одним из первых государственных деятелей в максимальной мере использовал интеллектуальный потенциал своих многочисленных секретарей, среди которых особенно много для него сделали Сермукс, Познанский, Бутов, Блюмкин, Клемент, Вебер, Хансен. Каждое его выступление, импровизированная речь, указание тщательно стенографировались, записывались, печатались. Не случайно двадцать один том его сочинений, вышедших в СССР к 1927 году (правда, с пропуском нескольких томов), содержат главным образом его доклады, речи, публицистику. Это важная часть материалов, позволяющая написать портрет Троцкого.

Другая, вероятно, более важная, помогающая воссоздать «невидимую» часть его облика, содержится в архивах. Возможно, я являюсь одним из очень немногих исследователей, которому удалось ознакомиться не только с зарубежными фондами архивов Троцкого (Хьютонгской библиотеки Гарвардского университета, где находится около 20 тысяч документов Троцкого, включая 3 тысячи писем, Международного Института общественной истории в Амстердаме, располагающего более чем тысячью писем разных периодов, в том числе переписки Ленина и Троцкого, частью документов из крупной коллекции Б. Николаевского в архиве Института Гувера), так и обширными, полностью закрытыми до недавнего времени материалами в спецхранах советских архивов. Это прежде всего массивы документов в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма, Центральном архиве Октябрьской революции, Центральном государственном архиве Советской Армии, Центральном архиве Министерства обороны, Центральном архиве Комитета Государственной безопасности, Центральном Государственном особом архиве и некоторых других. Значительная часть документов, используемых автором в настоящей книге, публикуется в СССР впервые. Автор настоящей книги смог ознакомиться с рукописными вариантами ряда книг Троцкого, что позволило глубже проникнуть в лабораторию литературного творчества революционера.

Важным источником для написания портрета явились личные свидетельства автору уцелевших и выживших в атмосфере сталинских кошмаров родственников Л. Д. Троцкого, людей, знавших или встречавшихся с выдающимся русским революционером. Мне бы хотелось в этой связи выразить свою признательность и назвать племянницу Троцкого А. А. Касатикову, внучатого племянника В. Б. Бронштейна, жену младшего сына Сергея — О. Э. Гребнер. Интересные детали, черты характера и личности, обстоятельства жизни Троцкого помогли полнее представить мне одна из стенографисток Троцкого, Н. А. Маренникова, один из секретарей Сталина, А. П. Балашов, люди, соприкасавшиеся в разной степени с семьей Троцкого и им самим — Н. А. Иоффе, Д. Т. Шипилов, А. К. Миронов, В. М. Поляков, Н. Г. Дубровинский, Д. С. Златопольский, Ф. М. Назаров, последние уцелевшие «троцкисты» — И. И. Врачев, англичанин Стюарт Кирби, недавно умершая жена Исаака Дейчера (самого крупного, по моему мнению, биографа Троцкого) Тамара Дейчер и некоторые другие лица, которым я приношу сердечную благодарность за бесценные для книги и истории свидетельства.

Автор портрета имел также возможность общаться с крупными работниками советских органов госбезопасности, знающих о трагедии революционера не понаслышке. Спецслужбы СССР (ГПУ, ОГПУ, НКВД) с конца 20-х годов и до самой смерти Троцкого держали его в густой паутине слежки и преследований. НКВД знало об изгнаннике неизмеримо больше, чем мог предположить депортированный революционер. Сталину регулярно докладывались все шаги, предпринимаемые лидером IV Интернационала, на столе генсека нередко появлялись материалы Троцкого, которые еще только готовились к опубликованию! Вот выдержка из документа (автор располагает многими подобными), который свидетельствует о степени «плотности» охвата Троцкого агентурой НКВД:

---

[1] Бюллетень оппозиции, № 87, август 1941, с. 8.

«Совершенно секретно
тт. Сталину, Молотову

Направляю Вам агентурно изъятые нами из текущей переписки Седова копии двух статей Троцкого от 13 и 15 января 1938 года... Указанные статьи намечены к опубликованию в мартовском номере «Бюллетеня оппозиции».

Народный комиссар внутренних дел СССР
Генеральный комиссар Государственной Безопасности

Ежов» [1].

25 февраля 1938 года

Автор книги получил возможность ознакомиться с оперативной агентурной перепиской, связанной с донесениями сотрудников НКВД, внедренных в окружение Троцкого. Это делается впервые и проливает новый свет на многие неизвестные страницы судьбы русского революционера. В процессе работы мне довелось многократно беседовать с лицами, принимавшими участие «по заданию ЦК ВКП (б)» в ликвидации Троцкого.

Естественно, работая над портретом, я ознакомился с литературой о Троцком, вышедшей за последние полвека в Европе и Америке. Наибольшее впечатление, как я уже говорил, производит крупный труд Исаака Дейчера. Поражают усилия и продуктивность Юрия Фельштынского, много сделавшего для ознакомления научной общественности с работами Троцкого. Капитальная научная монография подготовлена английским ученым Барух Кней Пацем; свой вклад внесли в «троцковедение» Дейл Рид, Майкл Якобсон, Джоэль Кармайкл, Исаак Левин, Дункан Халас, Херольд Нэлсон, Йосеф Недава, Роберт Такер, Гарри Шукман, другие авторы. Анализ жизни и деятельности Троцкого как политического деятеля и революционера начался в нашей стране сравнительно недавно. Заметный вклад в этот процесс внесли Ю. И. Кораблев, В. И. Старцев, Н. А. Васецкий, Ю. А. Поляков, П. В. Волобуев, некоторые другие исследователи.

Задумав написать триптих «Вожди», а конкретнее — три политических портрета: Ленина, Троцкого, Сталина, я понимал, что все они исторически дополнили друг друга. Ленин выступил в русской революционной истории в роли вдохновителя, Троцкий — возмутителя, а Сталин — исполнителя. Через призму судеб этих личностей чрезвычайно рельефно видны коллизии, зигзаги, трагедия русской, всей советской истории. Представляется, что в данном случае биографический метод оказывается особенно эффективным, позволяя через личностную ткань человеческого бытия глубоко рассмотреть целый исторический слой времени.

Подчеркну, что размышлять о судьбе и роли в отечественной и мировой истории трех русских вождей я начал давно, постепенно втянувшись в собирание малоизвестных материалов, фактов, публикаций и личных свидетельств в нашей стране и за рубежом. Последовательность работы над портретами произвольна. Если следовать научной методологии, то вначале нужно было бы написать полотно о Ленине, затем Троцком и закончить Сталиным. Получилось наоборот. Это не случайно. Книга о советском диктаторе, который сейчас олицетворяет историческую неудачу Отечества, была подготовлена еще в 1985 году, когда честный критический анализ роли Ленина в нашей стране был просто невозможен и такая работа абсолютно не имела шансов на публикацию. Представляется, что независимо от оценки, которую настоящей книге даст читатель, он не сможет не отметить, что это первая книга о Троцком, написанная на советских и зарубежных архивных документах одновременно.

Предубеждения против этого человека в советском обществе исключительно сильны и сейчас. И хотя я следовал в своих публикациях лишь одному принципу: говорить правду, рисовать объективную картину, руководствоваться только правдой факта и исторической логикой,— значительная часть людей само намерение написать книгу о Троцком восприняла как отступничество. Умы многих советских

[1] Архив НКВД, ф. 17548, д. 0292, т. II л. 160.

людей сильно замусорены многолетним массажем общественного сознания стереотипами «троцкизма». Еще не для всех ясно, что антология марксизма в России имеет три основных ветви: ленинизм, троцкизм и сталинизм. Но все они произросли из общего корня. Всем им присуще (при крупных различиях) нечто общее: ставка на социальное насилие, уверенность в абсолютной верности лишь одной идеологии, убежденность в праве распоряжаться судьбами миллионов людей.

Подчеркну, что книга о Троцком — не политическая биография, а политический портрет. Основное отличие этих жанров мне видится в том, что, строго следуя истине исторического факта, «портретист» вправе, по своему усмотрению, давать такую интерпретацию реальным событиям и процессам, какую может видеть не просто ученый, но и художник. Политический портрет от политической биографии, упрощенно говоря, отличается как художественное полотно от фотографии. Сходство того и другого бесспорно, но оно достигается разными средствами. К слову сказать, Троцкий был хорошим портретистом в буквальном смысле этого слова. Его перу (карандашу) принадлежат десятки набросков лиц из его окружения, знакомых, близких. Например, находясь на одном «скучном» заседании накануне X съезда партии, он набросал в течение нескольких часов в своей рабочей тетради десяток портретных эскизов лиц, окружавших его на этом собрании. Все они колоритны, рельефны, точны. Перо его было поистине универсальным [1].

В «портрете» мне хотелось показать, какой может быть эволюция от свободы к несвободе, характеризовавшей прежде всего общественную мысль. Все русские революционеры, и Троцкий в том числе, ратовали, например, до свершения Октябрьской революции, за свободу слова. Казалось, так будет и впредь, когда большевики и левые эсеры завладели властью. Но... только казалось. Стоило М. Горькому заявить, что насилие большевиков — «это путь к анархии, к гибели пролетариата и революции» [2], как тут же последовали жесткие санкции победителей не только к меньшевистской газете «Новая жизнь», где поместил свое обращение Горький («К демократии»), но и ко всей свободной прессе. На заседании Совнаркома в декабре 1917 года, под председательством Ленина, в присутствии Теодоровича, Свердлова, Елизарова, Шлихтера, Сталина, Глебова, Бонч-Бруевича, Лациса, Троцкий предложил более жестко «следить за буржуазной печатью, за гнусными клеветами на Советскую власть...» [3] с одновременным принятием репрессивных мер. Борясь за свободу, Троцкий, как и его соратники, как бы не замечая, все больше загоняли ее в резервацию, чтобы со временем возникли условия для полного ее уничтожения.

Значительно позже Н. Валентинов, который спустя годы уже за рубежом напишет сенсационные книги о В. И. Ленине, обратится к Троцкому со смелым письмом, в котором подвергнет аргументированной критике не только Председателя Реввоенсовета, но и Ленина за путаницу в вопросах о судьбах государства и армии [4]. Реакция будет незамедлительной: Валентинов лишится своего советского поста.

В этих штрихах политического портрета Л. Д. Троцкого — весь парадокс большевизма. Провозглашая свободу, как цель своей революции, большевики сделали все, чтобы отобрать ее у простых людей, народа, поверившего им, и вручить эту ценность огосударствленной партии, бюрократическому аппарату, наконец,— диктатору. Троцкий до конца своих дней не понимал, что многие пункты марксистской теории, которую он никогда не подвергал сомнению,— ложны. Но именно глубоко ошибочные фундаментальные идеи этого учения о диктатуре пролетариата и лежали в основе будущей неудачи. Абсолютизация этих постулатов (а им остался навсегда верен Троцкий) в конечном счете могла привести лишь к исторической неудаче. Поэтому политический портрет Троцкого — это попытка взглянуть на, безусловно, трагичную судьбу свободы в России.

В этой связи автор хотел бы сказать читателю о том художественном и философском приеме, который он осуществил в книге. Каждая глава моего труда

[1] ЦГАСА, ф. 33987, оп. 2, д. 118, л. 385.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 11, л. 1.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 130, оп. 1, д. 3, л. 24.
[4] ЦГАСА, ф. 3, д. 60, л. 106.

имеет эпиграф из текстов книг, высказываний, идей выдающегося русского мыслителя Николая Александровича Бердяева. И в самом тексте читатель не раз встретится с пророчествами замечательного философа и историка. Этим я старался сопоставить взгляды двух совершенно разных, но интеллектуально выдающихся личностей на одну общую взаимосвязанную проблему: революция, мораль, человек. В этом заочном споре, а точнее — противопоставлении идей можно проследить борьбу двух начал: классово-политического и общечеловеческого. Едва ли стоит говорить, на чьей стороне, в конечном счете, осталась и останется историческая правда. Уверен: Бердяев помогает понять Троцкого и феномен большевизма.

Возникает вопрос: знали ли Троцкий и Бердяев друг друга? Ведь они жили в одно время. Установить документально контакты этих выдающихся личностей не удалось. Однако отношение этих людей друг к другу — известно.

В своем эссе «Мережковский», написанном в 1911 году, Троцкий характеризует Н. А. Бердяева как «кокетливого философского фланера», склонного к «полумистике и мистике»[1]. Аналогичные обидно-снисходительные эпитеты содержатся и в ряде других статей Троцкого.

Не остался в долгу и Н. А. Бердяев. Но он, не захваченный бесовством революционного ниспровержения, спокоен и интеллектуально изящен в своих метких оценках Троцкого. Перед тем, как Бердяева, вместе с другими выдающимися деятелями культуры по решению Ленина, поддержанного Политбюро (а следовательно, и Троцким), выслали из России, они жили почти рядом. «Лето 1922 года,— пишет в своей автобиографической книге русский писатель,— мы провели в Звенигородском уезде, в Барвихе, в очаровательном месте на берегу Москва-реки, около Архангельского Юсуповых, где в то время жил Троцкий»[2]. Выдающийся русский мыслитель далее вспоминает: «Леса около Барвихи были чудесные, мы увлекались собиранием грибов. Мы забывали о кошмарном режиме, он чувствовался меньше всего в деревне...»[3]. Русский мыслитель не знал, что в то время, когда он с домочадцами «собирал грибы», Троцкий давал иностранным журналистам интервью, в котором отразится вся дальнейшая судьба не только Бердяева, но и отечественной культуры: «В случае новых военных осложнений... все эти непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политической агентурой врагов и мы будем вынуждены расстрелять их по законам войны. Вот почему мы предпочли сами в спокойный период выслать их заблаговременно и я выражаю надежду, что вы не откажетесь признать нашу предусмотрительную гуманность»[4].

Бердяев в страданиях пережил революцию. Возможно, это дало ему основание заявить: «Русская революция — отвратительна. Но ведь всякая революция отвратительна. Хороших, благообразных, прекрасных революций никогда не бывало и быть не может... Французская революция, признанная «великой», тоже была отвратительна и неудачна... Революция отравила Россию злобой и напоила ее кровью... Но нужно любить Россию и русский народ больше, чем ненавидеть революцию и большевиков...»[5]. В этом Бердяев видел выход в преодолении последствий революции. Интуитивно он чувствовал, что в XX веке позитивные плоды могут дать скорее реформы, а не революции.

Скажу лишь, что для понимания большевизма, бюрократического абсолютизма, который возник вскоре в России, как и самого Троцкого, важны не только идеи книг Бердяева о русской революции, но и его непосредственные оценки одного из ближайших соратников Ленина. В этой связи приведу некоторые оценки Николаем Александровичем Бердяевым «оракула» русской революции.

Когда в 1930 году в Берлине вышла автобиографическая книга Л. Троцкого «Моя жизнь», писатель-изгнанник, обосновавшийся в Париже, тут же откликнулся на выход воспоминаний русского революционера небольшой, но поразительно

[1] Киевская мысль, № 137, 140.— 19, 20 мая 1911 года.
[2] Николай Бердяев. Самопознание. Париж, 1949, с. 263.
[3] Там же, с. 263.
[4] «Известия», 1922, 30 августа.
[5] Николай Бердяев. Новое средневековье. Обелиск, Берлин 1924, с. 59, 68.

глубокой статьей, позволяющей лучше понять не только Троцкого, но и причины катаклизмов в России.

«Книга написана для прославления Л. Троцкого, как великого революционера и еще более для унижения смертельного врага его Сталина, как ничтожества и жалкого эпигона... Бесспорно, Л. Троцкий стоит во всех отношениях многими головами выше других большевиков, если не считать Ленина. Ленин, конечно, крупнее и сильнее, он глава революции, но Троцкий более талантлив и блестящ...» «Жизнь Троцкого, — пишет Николай Александрович,— представляет значительный интерес, и она ставит одну очень серьезную тему — тему о драматической судьбе революционной индивидуальности, тему о чудовищной неблагодарности всякой революции, извергающей и истребляющей своих прославленных создателей».

Бердяев, желая подчеркнуть парадоксальность образа Троцкого, прибегает к ярко гротескным суждениям: «Большевики вошли в русскую жизнь в первый же момент уродливо, с уродливым выражением лиц, с уродливыми жестами, они принесли с собой уродливый быт. Уродство это свидетельствует об онтологическом повреждении... Л. Троцкий — один из немногих, желающих сохранить красоту образа революционера. Он любит театральные жесты, имеет склонность к революционной риторике, он по стилю своему отличается от большей части своих товарищей...»[1].

Возможно, в чем-то суждения Бердяева слишком категоричны, но нельзя не признать, что Троцкий явно выбивался из ареопага вождей. Бердяев помогает с помощью Троцкого глубже проникнуть в тайны человеческих смут, интеллектуальных смятений и революционных потрясений. Русский революционер всей своей жизнью, вопреки своей воле, доказал эфемерность надежд и усилий достижения вселенского, планетарного счастья, опираясь на насилие. Этот человек навсегда занял свое видное место в памяти людей и не будет поглощен Пропастью истории не только из-за необычности своей судьбы, но и из-за исключительности, парадоксальности, своеобразия ума, воли, чувств.

Троцкий остался в истории как первый коммунистический вождь, выступивший против чудовищных уродств сталинизма. Он же в ней останется и как бескомпромиссный пророк коммунистической идеи и ее пожизненный пленник. Наконец, Троцкий своей жизнью подтвердит, как бы к нему ни относились,— величие Личности, имеющей свои идеалы. Человек, погибший в полночь эпохи, когда великая страна была еще далека от того, чтобы освободиться от сталинского похмелья, помогает нам постичь истоки многих трагедий советских людей. Сам троцкизм, как течение марксизма, не может рассматриваться лишь как исключительно негативное идейное и политическое течение. Позитивная часть этого течения, видимо, тоже существует: последовательное неприятие сталинизма, как тоталитарной разновидности современного цезаризма. С другой стороны, троцкизм, как выражение леворадикального марксизма, в своей основе порочен, не имел и не имеет будущего.

Когда Ленин направил в марте 1922 года секретное письмо членам Политбюро, в котором утверждал: «...если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществлять их самым энергичным образом и в самый кратчайший срок»[2], то Троцкий был с ним полностью согласен. В этом глубокая ущербность всего русского якобинства, одним из самых ярких представителей которых и был Лев Давидович Троцкий.

К его судьбе применимы слова Дмитрия Мережковского: «Величие русского освобождения заключается именно в том, что оно не удалось, как почти никогда не удается чрезмерное...»[3]. Но какими бы печальными ни оказались результаты устремлений Троцкого, до последних своих дней он пристально вглядывался в туманную даль грядущего... До последних дней своей жизни он фанатично верил в пришествие красных колесниц мировой революции.

[1] «Новый град», 1931. Париж, № 1, с. 91—94.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 22947, л. 5.
[3] Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч. М., 1914, т. XV, с. 23.

«Революция еще раз подтвердила горькость русской судьбы».

Н. БЕРДЯЕВ

Глава первая. У ПОДНОЖИЯ ВЕКА

«Главные» вожди свершившейся в октябре русской революции родились в царствование Александра II. Пожалуй, именно тогда уже начались едва ощутимые конвульсии самодержавия. Характернейшим симптомом было «динамитное убийство» царя-освободителя стараниями «Народной воли». Российская империя «запаздывала», отставала в своем развитии от европейских государств, что еще рельефнее высвечивало многочисленные противоречия гигантской страны. Разочарование в монархии раньше других испытала малочисленная, но сильная духом интеллигенция. Рабочие, не оторвавшиеся от пуповины земли, темные крестьяне все еще не утратили надежды и веры в «доброго царя». То было многовековой российской иллюзией*. И. М. Василевский, автор книги о последнем русском самодержце, писал: «Народ был угнетен всегда. Страна из рук вон управлялась плохо тоже всегда. Чиновники воровали, помпадуры-временщики безобразничали»[1].

Подножие XX века для Российской империи было скользким и смутным: ослабевала власть давно прошедшего пик своего могущества дворянства, генерировал революционное недовольство крепнущий рабочий класс, в молчащем крестьянстве, придавленном безысходностью, в потенции таились слепые силы стихийного бунта. Передовая часть российской интеллигенции все больше инициировала в обществе свободомыслие мятежного духа. Она пыталась говорить от имени обездоленных, то взывая к просвещенным реформам, то проповедуя крайний радикализм, вплоть до индивидуального террора. Церковь, полиция, цензура всячески пытались укрепить трон. Однако проницательные люди в едва слышных подземных «толчках» текущей истории чувствовали приближение времени больших перемен и потрясений. Как в феврале неуловимо пахнет грядущей весной, так и на грани веков в России смутно ощущалась предгрозовая атмосфера.

Кто мог знать тогда, что вслед за Плехановым, Лениным, Мартовым поднимается новая революционная поросль, которой будет суждено сыграть особую роль во всех актах драмы русских революций? Двадцатилетними встретили новый, XX век Лев Бронштейн и Иосиф Джугашвили, родившиеся с интервалом всего в два месяца. Придет время, и оба они будут апеллировать к Ленину, живому, а затем и мертвому, в поисках поддержки на революционном распутье. Троцкий будет доказывать: для того, чтобы победил социализм в России, нужна мировая революция. А Сталин будет говорить: наоборот, — чтобы свершить мировую революцию, нужно построить социализм в одной стране. Все это будет, все это впереди, а пока обратимся к дальним истокам появления одного из тех, кого Ленин назовет в 1922 году «выдающимся вождем». Готовя одну из своих статей, Троцкий подчеркнул написанную им мысль: «если личности не делают историю, то история делается через личности»[2]. Сам он будет одной из таких личностей. Прошлое не всегда убеждает, но часто помогает понять настоящее и будущее.

Семья Бронштейнов

Судьба евреев в России была в значительной мере предписана «чертой оседлости». Она являлась достаточно условной. Александр I и Николай I несколько раз ее то расширяли, то сужали. При «сужении» некоторое число еврейских семейств не хотело тесниться в жалких «местечках», а подавалось на юг, как бы сказали в советское время — на «целинные земли». Правительство в XIX веке

* Она сохранилась до сих пор. Мы и сегодня говорим: в эпоху Сталина, во времена Хрущева, Брежнева,— привычно определяя время не по свершениям, хронологии, социальным параметрам, а по «царям». По-прежнему удачи или успехи (которые, правда, так редки) связываем с тем или иным лидером. Психология царизма, увы, еще жива.

[1] И. М. Василевский. Николай II. Изд-во «Петроград», 1929, с. 2.

[2] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 229, л. 20.

поощряло заселение плодородных земель на северных берегах Черного моря. Кроме русских и украинских крестьян, греков, болгар, здесь оказалось и небольшое число еврейских колонистов.

Семья Бронштейнов, где родился один из будущих вождей российского пролетариата, представляла выходцев из обычного еврейского местечка под Полтавой. Отец Троцкого — Давид Леонтьевич Бронштейн, который доживет до триумфа сына и умрет в 1922 году от тифа, — был цепким и предприимчивым хозяином. Он смог, купив около ста десятин земли у отставного полковника Яновского подле маленького города Бобринец, что в Херсонской губернии, ценой напряженного труда, прижимистости и изворотливости, постепенно подняться и стать зажиточным. Он покупал землю, брал ее в аренду и в результате стал крупным землевладельцем. Во время революционного пожара в России Давид Бронштейн испил полной чашей двусмысленность своего положения: «белые» видели в нем отца одного из вождей революции, «красные» — крупного собственника и эксплуататора. Сохранилось несколько телеграмм того времени, из которых ясно, что родственников Троцкого не жаловали ни «белые», ни «красные». Отец, лишившийся имения с помощью «красных», шлет телеграмму сыну:

«Москва, Предреввоенсовета Троцкому по месту нахождения. По распоряжению Деникина арестованы и увезены в качестве заложников в Новороссийск дядя Григорий запятая его жена и двоюродный брат Лев Абрамович Бронштейн точка Положение их очень тяжелое точка Прошу сделать все возможное для их освобождения и сообщить о результатах предпринятого в Одессу точка Ответ просим дать через шторм 14 Бронштейн»[1].

Когда отец лишился состояния, Троцкий помог ему устроиться управляющим реквизированной мельницей под Москвой. До самой своей смерти старый Бронштейн смотрел на сына с восхищением, так и не поняв, между тем, как в его семье мог родиться революционер. Будучи полностью неграмотным, глава семьи лишь в конце жизни научился еле-еле читать по слогам с единственной целью: разбирать заглавия книг, брошюр и статей своего младшего сына.

Мать Троцкого — Анна, типичная еврейская мещанка из-под Одессы, где получила и небольшое образование. Выйдя по любви за неграмотного, но красивого Давида, она обрекла себя на необходимость превратиться в крестьянку, что потомственной горожанке далось не очень просто. Впрочем, она смогла внести в семью колониста некоторые довольно нетипичные для села элементы духовной культуры, которые не могли не оказать влияния на ее детей. Анна Бронштейн по мере возможности читала, иногда выписывала по почте книги, проявляла настойчивость в деле получения образования детьми. Из восьми детей Бронштейнов, кроме Льва, выжили лишь его две сестры и брат.

Лев Бронштейн родился 25 октября (7 ноября по новому стилю) 1879 года. Ровно через 38 лет он станет одним из руководителей великой революции. В своей краткой автобиографии, которую Троцкий для служебных целей изложит в 1919 году, он напишет: «родился я в деревне Яновка, Херсонской губернии, Елисаветградского уезда в небольшом имении своего отца-землевладельца»[2]. Здесь Троцкий неточен: семья уже в то время имела свыше ста десятин и более двухсот арендовала (а затем — много больше), была у нее паровая мельница, много разного скота. На усадьбу Бронштейнов работали десятки наемных крестьян.

Сам Троцкий о своих ранних годах пишет весьма скупо, но выразительно. «Мое детство не было детством голода и холода. Ко времени моего рождения родительская семья уже знала достаток. Но это был суровый достаток людей,— подчеркивает он в своем «Опыте автобиографии»,— поднимающихся из нужды вверх и не желающих останавливаться на полдороге. Все мускулы были напряжены, все помыслы были направлены на труд и накопление. В этом обиходе детям доставалось скромное место. Мы не знали нужды, но мы не знали и щедрости жизни, ее ласк. Мое детство не представляется мне ни солнечной поляной, как у маленького меньшинства, ни мрачной пещерой голода, насилий и обид, как детство многих, как детство большинства. Это было сероватое детство в мелко-

[1] ЦГАСА, ф. 33986, оп. 3, д. 60, л. 21.

[2] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 14, л. 1.

буржуазной семье, в деревне, в глухом углу, где природа широка, а нравы, взгляды, интересы скудны и узки»[1].

Думаю, детские годы, когда так много закладывается в человеке, оставили свою печать в сознании мальчика многими гранями бытия. Прежде всего, младший сын Бронштейна с детства, изнутри видел о т н о ш е н и я людей, занятых тяжелым, изнурительным трудом. Записывая по указанию отца суммы денег, полученные за пшеницу (кстати, через перекупщиков в Николаеве хлеб продавали за границу, п р о д а в а л и, а не покупали, как десятилетия спустя), цифры пудов зерна, которые крестьяне отдавали за помол, как и получки десятков батраков, младший Бронштейн незаметно постигал суровые реалии жизни.

Другая грань детства тесно связана с матерью, настойчиво пытавшейся (и небезуспешно) привить детям тягу к знаниям, литературе, учебе. «Долгими зимами,— вспоминал Троцкий, — когда степным снегом заносило Яновку со всех сторон, наваливая сугробы выше окон, мать любила читать... Она нередко сбивалась в словах и запиналась на сложно построенной фразе. Иногда подсказка кого-либо из детей совсем по-иному освещала в ее глазах прочитанное. Но она читала настойчиво, неутомимо и в свободные часы зимних тихих дней можно было уже в сенях слышать ее размеренный шепот»[2]. Кто знает, может быть, в эти вечера мать бросила те семена духовной культуры, которые дадут скоро богатые всходы на интеллектуальной ниве? А может быть будущего марксиста поразит жизнь поденных батраков, приходивших сотнями на усадьбу для уборки урожая?

Босые, плохо одетые, часто с детьми, которым полагалось всего-то постный борщ и каша в обед да пшенная похлебка на ужин. Мяса не давали, масла — тоже. Работали за гроши. «Жильем служило чистое поле, — вспоминал Троцкий, а в дождливую погоду — стога». Обездоленность людей с исколотыми ногами и печальными глазами не могла не произвести впечатления на наблюдательного мальчика. Может быть, у него возник комплекс вины: ведь нещадно эксплуатировали батраков его родители? Никто в точности на этот вопрос ответить не может. Только сложная комбинация обстоятельств, влияния среды, непосредственного окружения, духовной пищи может способствовать определенному ходу мыслей человека, формированию кристаллов личных убеждений.

Конечно, на становление младшего из Бронштейнов особо большое влияние оказала школа. Сначала это была частная религиозная еврейская школа — хедер. Учился Лева неважно, потому что у него не было тяги к священным текстам — в семье религия занимала лишь символическое место, а также в силу слабого знания идиш. Правда, в школе мальчик научился читать и писать по-русски. Едва овладев грамотой, ученик пристрастился писать стихи. Домашним они очень нравились. Детские поэтические опыты Троцкого, не в пример Сталину, не сохранились. Со временем музыка поэзии уступит навсегда свое место музыке революции.

По настоянию матери, мальчика в 1888 году отправили на учебу в Одессу. С помощью М. Ф. Шпенцера, родственника Бронштейнов, ставшего со временем крупным издателем на Юге, Троцкого удалось устроить в престижное казенное училище. А это было непросто, так как существовала определенная квота на количество принимаемых еврейских детей. Сам Троцкий в своей служебной автобиографии пишет, что «учился в реальном училище имени святого Павла и все время шел первым учеником»[3]. Реальные училища от гимназий отличались тогда меньшим объемом гуманитарного образования в пользу естественных и математических наук. Тем не менее в училище реалист прочел многое из Толстого, Шекспира, Пушкина, Некрасова, Диккенса, Вересаева, Успенского, довольно быстро ощутив масштабность, многомерность и бесконечное богатство и разнообразие мира.

В последующем Троцкий, работая над своим «Опытом автобиографии», усмотрит, явно преувеличивая, в одной школьной коллизии чуть ли не свой первый факт социального протеста. Речь шла о конфликте мальчика с нелюбимым учителем французского языка швейцарцем Бернандом. Уже после революции Троцкий

[1] Л. Троцкий. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Т. 1. Берлин, 1930, с. 17.
[2] Моя жизнь. т. I. с. 36.
[3] ЦПА ИМЛ. ф. 325, оп. 1, д. 14, л. 1.

сочтет этот факт столь важным, что отразит его в своей автобиографии: «из второго класса был временно исключен за протест против учителя французского языка»[1].

Способности и трудолюбие сделали свое: Троцкий все время был лучшим учеником в классе по всем дисциплинам. Он отказался от спорта, прогулок, пустого времяпрепровождения во имя богатства знаний. Легкость, с какой школьник быстро стал первым учеником, незаметно наложила отпечаток на характер Троцкого, дававший себя знать всю его будущую бурную жизнь. Он привык относиться к сотоварищам, чувствуя свое неизменное интеллектуальное превосходство, был очень самоуверен и настойчив в поддержании своего первенства.

В этом смысле интересны наблюдения профессора Г. А. Зива, знавшего Л. Бронштейна в юные и молодые годы. Раннее знакомство позволило Зиву после эмиграции из России выпустить книжку о Троцком. В ней он, в частности, писал: «...быть всегда и всюду первым — это составляло основную сущность личности Бронштейна; остальные стороны его психологии были только служебными надстройками и пристройками»[2]. Природа наградила Льва Бронштейна красивой внешностью: голубые живые глаза, пышная черная шевелюра, правильные черты лица дополнялись хорошими манерами и умением со вкусом одеваться. Им многие восхищались, многие недолюбливали. Со временем осознание своей исключительности сформировало у Троцкого ярко выраженные эгоистические и эгоцентрические черты. Возможно, это способствовало и тому, что популярность Троцкого сопровождалась отсутствием у него близких друзей. Ведь для человеческой дружбы главное — равенство, а в ней не может быть должников и благодетелей. Троцкий еще с детства был не готов к интеллектуальному равенству. Пожалуй, он признавал интеллектуальную высоту, превосходящую его собственную, лишь у Ленина. Но и то — только после Октября. Думается, что в этой черте характера одного из будущих «выдающихся вождей» — один из истоков личной трагедии; Троцкий был согласен только на первые роли в истории. Даже школу, остающуюся обычно солнечным пятном в памяти человека, Троцкий не мог помянуть ничем добрым. «В общем,— писал Троцкий, — память об училище осталась окрашенной если не в черный, то в серый цвет... Трудно назвать хоть одного преподавателя, о котором я мог бы по-настоящему вспомнить с любовью»[3]. Лев Троцкий не раз говорил, что в нашем мире слишком много посредственностей; его это всегда раздражало и усиливало чувство собственного превосходства.

Троцкому повезло в том смысле, что в детские и школьные годы на его пути встретилось, вопреки его сетованиям, немало умных, интересных людей за пределами училища. Это и работник Бронштейнов, мастер на все руки Иван Васильевич, журналист и издатель Моисей Филиппович Шпенцер, журналист Сергей Иванович Сычевский и некоторые другие. Дом Шпенцеров, например, привил молодому Троцкому любовь к слову, тайнам книготворчества и волшебству писательства. Еще подростком Троцкий знал, что такое корректура, набор, редактирование. Он видел процесс печатного производства, полюбил запах свежей типографской краски, узнал волнение человека, взявшего в руки сигнальный номер новой книги (пока еще не своей). Это простое «таинство», как он признавался позже, его никогда не оставляло равнодушным. Всю свою последующую жизнь он прошел с пером в руке. Оно было всегда его главным оружием. Десятки книг, сотни, а скорее, тысячи его статей — лучший красочный материал, богатая палитра для написания портрета этого человека. Даже когда Троцкий мотался по фронтам на своем знаменитом поезде в гражданскую войну, — в одном из вагонов состава размещалась редакция и типография его газеты «В пути».

Тяга к литературе, журналистике приобщила молодого Бронштейна не только к классике, общественным заботам, но и вызвала большой интерес к зарубежью, западной культуре и цивилизации. Здесь Троцкий не был оригинален. Великая держава, с мощью которой считались все монархи и правительства Европы

[1] ЦПА ИМЛ. ф. 325. оп. 1. д. 14. л. 1.
[2] Зив Г. А. Троцкий. Характеристика (по личным воспоминаниям). Нью-Йорк, 1921, с. 12.
[3] Л. Троцкий. Моя жизнь. т. I, с. 99—100.

и Азии, во многом традиционно запаздывала. Это историческое запаздывание болезненно ощущала прежде всего прогрессивная интеллигенция, тосковавшая по буржуазно-демократическим свободам, либеральным порядкам, культурным достижениям. Для еврейской интеллигенции желанным был мир без черной сотни, дискриминаций, черты оседлости. Троцкий, еще не побывав на Западе, проникся особыми симпатиями к европейской культуре и ценностям. Его европеизированные взгляды сыграли в последующем немалую роль в формировании теории перманентной революции, зависимости судеб революции в России от своевременности мирового пожара, его убежденности о необходимости перенесения некоторых форм европейской цивилизации в свою страну.

Одесса, а затем Николаев, где Лев Бронштейн заканчивал последний класс реального училища, постепенно, но неотвратимо отдаляли его от родного дома. Приезжая на каникулы домой, Троцкий физически чувствовал в херсонской степи, где теперь уже процветал его отец, тесноту этого мирка, ограниченного вечной борьбой за преуспеяния, прибыль, выгоду. Слияние городских и деревенских впечатлений («амальгама взглядов» — как любил говорить Троцкий), помноженных на богатые природные способности и большое упорство в постижении нового, неизвестного, загадочного, формировало сильный, масштабный, гибкий и острый ум.

Детство и отрочество Троцкого прошли в мелкобуржуазной среде. В последующем он смог освободиться от пут психологии, исповедующей приобретательство и потребление, но некоторые черты, рожденные в этой среде, нередко давали о себе знать.

Троцкий, как многие начинающие мелкобуржуазные революционеры, был способен на быструю смену «азимутов» и ориентиров. Качели его взглядов нередко имели весьма большую амплитуду. Так, к марксизму он пришел вскоре после того, как яростно его отрицал. Сотрудничая и поддерживая одно время меньшевиков, после революции был одним из сторонников принятия к ним самых жестких мер. Троцкий явился, пожалуй, одним из первых творцов красного террора, который он затем решительно осуждал. Будучи марксистом, Троцкий сохранил на всю жизнь в методологии своего мышления и действий отдельные элементы мелкобуржуазной революционности, спонтанности, а иногда и фанатизма. В чем он остался до последних дней последовательным, так это в абсолютном неприятии сталинизма, что, впрочем, объясняется главным образом личными мотивами.

Семья Бронштейнов не могла, конечно, воспитать в нем революционера. Но она дала ему понимание «вязкости» мелкобуржуазной атмосферы, позволила получить исходное образование и до самой революции (в том числе и за границей) существенно поддерживала Троцкого материально. В этом отношении его положение было значительно более предпочтительным, чем у большинства других революционеров. Тем более что при своей предприимчивости Троцкий прибегал к самым различным каналам для материального обеспечения своей семьи и деятельности: активное занятие журналистикой, чтение лекций, использование возможностей различных благотворительных фондов.

По мере приобщения к революционным делам родственные связи Троцкого слабели. Отец с годами, все богатея, как писал сам Троцкий, «становился жестче. Причиной были трудности жизни, хлопоты, которые росли вместе с ростом дела, особенно в условиях аграрного кризиса 80-х годов, и разочарования, принесенные детьми» [1]. Ведь никто из четырех детей не захотел продолжить дело отца. Старший сын — Александр, получив образование, работал инженером на сахарных заводах, в том числе и в советское время. После депортации Троцкого он публично «отмежевался» от брата, однако все-таки был выслан, затем арестован, после чего расстрелян 25 апреля 1938 года. Старшая сестра Троцкого Лиза «растворилась» в семейном быту и единственная среди детей Бронштейнов умерла своей смертью в 1924 году; младшая, Ольга, стала женой Л. Б. Каменева (Розенфельда). С ней Троцкий поддерживал наиболее тесные, теплые связи, пока

[1] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. 1, с. 36.

он был в Союзе. Но клеймо сестры едва ли не главного «врага народа» не давало ей шансов на выживание. В 1935 году ее арестовали, а в 1941 году расстреляли. Она пережила двух своих юных сыновей, которые были тоже расстреляны еще в 1936 году...

Мать Троцкого умерла в 1910 году, словно угадав в одном из писем сыну — «видно не увижу больше тебя». Троцкий в это время находился в эмиграции и был лишен возможности приехать даже на похороны. Судьба большинства членов семьи Троцкого трагична. «Он был,— сказала мне Ольга Эдуардовна Гребнер, жена младшего сына Троцкого — Сергея,— как прокаженный: к кому он прикасался — всем приносил горе». В своем «Дополнительном заявлении» по поводу смерти Льва Седова (старшего своего сына) 24 августа 1938 года Троцкий напишет: «Ягода довел до преждевременной смерти одну из моих дочерей, до самоубийства другую. Он арестовал двух моих зятьев, которые потом бесследно исчезли. ГПУ арестовало моего младшего сына, Сергея, после чего арестованный исчез...» [1]. Он погибнет в 1937 году в лагере. Как и большинство даже дальних родственников. Да, это было похоже на проказу, но проказу сталинскую. О. Э. Гребнер права: судьба обеих семей Л. Д. Троцкого, многих близких, друзей окрашена зловещей краской сталинского остракизма. Выживших оказалось значительно меньше, чем погибших.

Революционная тропа

Троцкий любил не только литературу, но и математику. Он мечтал учиться после окончания школы на физико-техническом факультете Одесского университета. Он мог стать ученым. Вероятно — крупным. Думаю, из него получился бы хороший специалист; давно замечено, что синтез гуманитарного и математического обычно проявляется в ярких личностях, способных к постижению глубоких абстракций и утонченных нравственных и эстетических ценностей. Но после окончания реального училища в Николаеве для него начнутся «тюремные университеты». Впрочем, находясь в эмиграции, Троцкий за счет усиленного самообразования достигнет серьезных высот знания в различных сферах: истории, политике, экономике, философии, литературе.

Заканчивал реальное училище Лев Бронштейн, как мы уже сказали, в Николаеве в 1896 году. Этот год — важная веха — начало революционного отсчета 17-летнего Бронштейна. Поселился у знакомых, где в семье было два взрослых сына, увлекавшихся социалистическими идеями. Они были вхове, вызывали интерес, будоражили воображение. Первые месяцы молодой постоялец был довольно равнодушен, как он выражался, к «теоретическим утопиям». Послушав, усмехаясь, как братья доказывали друг другу «пользу для истории социализма», он уходил к себе в комнату и садился за учебники. Его не на шутку влекла магия цифр, формул, бесстрастных холодных истин. Абстрактный мир математического знания звал его к себе своей загадочностью, логикой и неисчерпаемыми возможностями постижения.

Но, втянувшись однажды в спор молодых социалистов, придерживавшихся народнических взглядов, он уже не смог никогда больше отрешиться или избавиться от этого турнира мысли. Отныне идейная, политическая борьба станет смыслом существования младшего Бронштейна. Процесс его идеологизации ускорился, когда новые друзья познакомили Льва с Францем Швиговским, чехом, жившим арендой фруктового сада, невесть как занесенным судьбой в Россию. У Швиговского образовалось нечто вроде коммуны «ниспровергателей» несправедливости и тирании. В этих «садовых» диспутах господствовали, как правило, народнические мотивы. Лишь у одного члена образовавшегося кружка раздавался голос с иной позиции. Это был голос Александры Соколовской, молодой женщины, знакомой с работами Маркса, Энгельса и защищавшей марксизм. Сам Троцкий об этом периоде в письме В. И. Невскому впоследствии писал так:

«Семиклассником я часто захаживал к Францу Францевичу Швиговскому, интеллигентному чеху-садовнику, который арендовал сад. Был он неопределенным

[1] Лев Троцкий. Дневники и письма. Нью-Йорк, «Эрмитаж», 1986, с. 154.

радикалом. Мы штудировали статьи Михайловского, «Философию истории» Кареева, «Логику» Милля, «Психологию» Геринига, «Историю культуры» Липперта,— все, что попадалось. Коммунистический манифест у нас имелся в отвратительном рукописном виде. Первый том Капитала у нас читала только Александра Львовна Соколовская (она вернулась после акушерских курсов в Одессе). Создали кружок распространения полезной литературы — «Рассадник». В 1896—1897 годах я был противником Маркса (которого не читал)» [1]. Первый человек, от которого Бронштейн узнал о марксизме, была действительно Александра Львовна Соколовская, дочь народника, просвещенная молодая женщина, которая станет через несколько лет первой женой молодого революционера. Но Лев Бронштейн, вступив в споры, не хотел и не умел проигрывать. Противопоставить конкретное знание спокойным, взвешенным аргументам Александры Соколовской (которая была старше его на 6 лет) он не мог, но и занять место статиста в споре — тоже.

Как отмечал И. Дейчер, Троцкий обладал «чудесным даром блефа». Ввязывался в спор и, основываясь лишь на логике и интуицин, не зная точно предмета дискуссии, тем не менее был способен выглядеть достойно. Соколовская, улыбаясь, слушала жаркие доводы юного Бронштейна, доказывавшего, что «марксизм несостоятелен». Она, видимо, почувствовала, что народничество, популизм ближе по духу юному социалисту потому, что в нем нет такой железной экономической детерминированности, как в марксизме. Самоуверенному Бронштейну больше по душе была та теория, где на первый план выдвигаются субъективные факторы в виде «критически мыслящих личностей», блестящих героев, возвышающихся над толпой, кумиров, способных поднять массы на великие дела. Его нападки на марксизм были наскоками молодого человека на сухую теорию, которую он не знал и, естественно, не понимал.

В народничестве ученика реального училища чувствовался радикальный романтизм, биение личного начала, моральные мотивы пионерства. Как бы там ни было, Соколовская была первым человеком, которая смогла самоуверенность юного дилетанта незаметно перевести в состояние интеллектуального смятения. Но вмешалось непредвиденное. Вскоре диспуты в саду Швиговского оказались окрашены внезапно вспыхнувшим чувством юного Бронштейна и более опытной Соколовской, хотя на почве столкновения «доктрин» у них были самые серьезные размолвки. В сознании способного Бронштейна шла напряженная работа; он все больше убеждался в правоте Александры. Хотя, руководствуясь больше тщеславием и духом противоречия, Троцкий решил даже публично «разгромить марксизм», написав едва ли не первую свою статью. Но, как вспоминал позже автор, статья, имевшая много эпиграфов, цитат и злого яду, «не увидела, к счастью, света. Никто от этого не потерял, меньше всего я сам». В этом же ключе была задумана и пьеса, которую Бронштейн намеревался написать вместе с братьями Соколовскими. Стержнем конфликта в пьесе должна была стать борьба марксистов и народников. Но запала молодым хватило лишь на пролог.

Приезжавшим в Николаев отцу и матери их младший сын рассказывал, к ужасу четы Бронштейнов, малопристойные вещи о царской фамилии. Однажды он обрисовал родителям первые дни царствования Николая II:

— Понимаешь, отец, на своем первом высочайшем приеме для знати он заявил: «Я буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял их мой незабвенный покойный отец...»

— Правильно сказал...— тут же ввернул отец.

— Но, послушай, дальше царь прокричал (волновался очень), что земцы должны «оставить свои бессмысленные мечтания!». Понимаешь, «бессмысленные», а в тексте речи было написано — «беспочвенные».

— Ну и что?

— Фразу о «бессмысленных мечтаниях» царь прокричал так громко, что царица Александра Федоровна, плохо понимавшая по-русски, спросила у стоящей рядом великой княгини:

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 17, л. 1—2.

— Что он сказал?

— Он им объясняет, что они все идиоты,— невозмутимо ответила великая княгиня.

— А один из сановников,— продолжал Лейба,— предводитель дворянства Тверской губернии Уткин, вздрогнул от крика государева, да так, что выронил из рук золотой поднос с хлебом-солью...

— Плохая примета при восшествии на престол,— шептали сановные старички, глядя, как Воронцов-Дашков, ползая на коленях, собирает с пола хлебы и солонницу...[1]

После этого артистического рассказа Лейба в разговоре стал заявлять:

— Живете вы, как и все общество, в прокисшем мире. Все надо менять. Убирать царя, добывать свободу! Да!

— Что ты говоришь! Одумайся! Этого не будет и через 100 лет! До чего ты додумался! Чтобы ноги твоей не было у этого бездельника Швиговского!

Размолвка с родителями окончилась временным разрывом. Младший Бронштейн, захлебываясь от чувства независимости и самостоятельности, отказался от материальной помощи родителей. Продержавшись несколько месяцев в «коммуне» Швиговского, «бунтарь» пошел на мировую. Справедливости ради скажем, что с этого времени власть родителей над сыном была потеряна: поступление на математический факультет Одесского университета (который он почти тут же бросил), женитьба, распространение прокламаций — все делалось вопреки запретам верноподданных властям родителей.

Между тем радикализм молодого Бронштейна и его друзей углублялся. На них большое впечатление произвело сообщение в газетах о самосожжении в Петропавловской крепости в 1897 году курсистки Ветровой. Мотивы трагического акта не были ясны до конца, тем не менее членам «садовой коммуны» все было понятно: это протест против всевластия самодержавия!

Как вспоминает А. Г. Зив, однажды Бронштейн под величайшим секретом предложил ему «вступить в рабочий союз, который им и его друзьями организован» [2]. Он сказал далее, что идеи народничества ими решительно отброшены:

— Только подлинная социал-демократия,— заявил конспиратор.

— Кто состоит в этой организации?

— Передовая молодая часть общества: революционно мыслящие студенты и рабочие!

Как поведал дальше Лев Бронштейн, «Южно-русский рабочий союз» ставит первой задачей революционное просвещение рабочих. А название организации — в честь союза, существовавшего четверть века назад и разгромленного жандармами.

Действительно Бронштейн (у которого уже появилась подпольная кличка Львов) со своими друзьями создал несколько кружков среди рабочих верфей Николаева, где организовывалось чтение газет, брошюр и прокламаций революционно-просветительного характера. Активное участие в деятельности Союза, который просуществовал немного, приняли молодой техник Иван Андреевич Мухин, братья и сестра Соколовские, рабочие Коротков, Бабенко, Поляк и другие. В основном работа сводилась к переписыванию и размножению социал-демократических текстов на гектографе, распространению их среди рабочих верфи и других предприятий.

Руководство Союзом было малоопытным. Конспирация — на примитивном уровне. Вполне естественно, что в организацию внедрились провокаторы. 28 января 1898 года Бронштейн, Швиговский, другие организаторы Союза были арестованы. Сам Троцкий о завершении этой начальной революционной эпопеи так писал В. И. Невскому 5 августа 1921 года: «В нашей организации серьезной конспирации не было. Всех нас быстро арестовали. Выдал провокатор Шренцель. Марксистом меня сделали рабочие в тюрьме и прежде всего Иван Андреевич Мухин. В номере одно время со мной сидел переплетчик Явич. Мерзли, на-

[1] См. Об этом случае уже после революции поведал И. М. Василевский в книге «Николай II.».— Пг, 1923, с. 45—46.
[2] Зив Г. А. Троцкий, с. 18.

тягивали на себя, что могли... Из Николаева меня перевели в херсонскую тюрьму, затем — в Одессу» [1]. О дальнейших коллизиях он пишет в своих автобиографических заметках уже после революции, где описываются перипетии тюремной жизни.

В одесской тюрьме Бронштейн содержался около двух лет до завершения следствия. Суда не было. В административном порядке Бронштейн и три его других подельца были осуждены на четыре года ссылки; другие, в том числе А. Соколовская, на меньшие сроки.

В своих заметках, которые потом лягут в основу книги «Моя жизнь», набросанных Троцким уже после революции, он вспоминает, что пробыл после отправки из Одессы в пересыльной тюрьме в Москве около пяти месяцев и три месяца — в иркутской. Нужно сказать, что каждый день тюремного заключения не проходил для Троцкого бесследно. У него была поразительная способность к самообразованию. Чем больше он узнавал, тем больше область непознанного бросала вызов его интеллекту, что он, не колеблясь, принимал. Отвечая уже в зрелые годы на вопрос, какое Ваше любимое занятие, он уверенно ответил: «умственная деятельность: чтение, размышление и, пожалуй, писание» [2].

В Бутырской тюрьме они с Соколовской решили пожениться, испросили разрешение тюремных властей, сообщили родителям. Власти не препятствовали браку. Родители Соколовской — тоже. А вот Бронштейны решительно воспротивились. Сохранилось письмо Троцкого того времени к Александре Соколовской. Когда-то Троцкий решительно возразил против готовящейся публикации его переписки с первой женой, даже угрожал обращением в Политбюро. В фонде Л. Д. Троцкого есть его письмо в редакцию журнала «Пролетарская революция» по этому поводу:

«Я решительно возражаю против печатания писем, имеющих явно личный характер, хотя бы в них заключались общественно-политические элементы. Я еще не покойник; люди, с которыми я переписывался, тоже еще здравствуют, и не трудитесь превращать нас в исторический материал для Истпарта. Если Истпарт держится другого мнения, то я внесу вопрос в Политбюро. До рассмотрения Политбюро, во всяком случае, прошу не печатать.

С коммунистическим приветом
Л. Троцкий» [3].

31.VII—22 г.

Угроза подействовала, письма Троцкого не были опубликованы. Теперь, спустя около семидесяти лет после обращения автора письма в «Пролетарскую революцию», думаю, запрет снят самим временем. Тем более самого Троцкого и Соколовской уже нет более полвека в живых... Троцкий обычно сам поощрял публикации о себе; но здесь речь шла о предании гласности личной переписки с первой женой при наличии жены второй.

Вот выдержки письма Л. Д. Троцкого к А. Л. Соколовской накануне их женитьбы:

«Шурочка! Мне нужно тебе передать целую кучу новостей (хотя и не особенно любопытных). Третьего дня я имел свидание с матерью. Свидание окончилось полным разрывом — и лучше, не правда ли? Я на этот раз дал отпор и вышла довольно скверная сцена. Я отказался от помощи. Сейчас я получил письмо от своего отца: он очень милый человек. Отец не огорчен моим разрывом с родными, но, по-видимому, даже рад... Мол, устраняется вопрос имущественного неравенства...

Я теперь так близко сижу от тебя, что, кажется, ощущаю твое присутствие. Если бы ты, спускаясь по лестнице на прогулку, сказала бы что-нибудь, я бы обязательно услыхал. Попробуй, Сашенька! Мне тяжело... Я хочу тебя слышать, тебя видеть...

---

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 14, лл. 4—8.
[2] Лев Троцкий. Дневники и письма. Нью-Йорк. Эрмитаж, 1986, с. 43.
[3] ЦПА ИМЛ ф. 325, оп. 1, д. 1, л. 1.

...Ну, а если нам не разрешат обвенчаться? Это невозможно! У меня бывали такие минуты (часы, дни, месяцы), когда самоубийство было самым приличным исходом. Но у меня не хватало для этого смелости...

...Сибирская тайга умерит нашу гражданскую чувствительность. Зато мы там будем счастливы! Как олимпийские боги! Всегда-всегда неразлучно вместе! Сколько раз я уже повторял это, и все-таки хочется повторять и повторять...» [1].

Здесь нам, видимо, следует сказать, что женился Троцкий по любви, хотя потом в своей книге «Моя жизнь» он попытается это подать чуть ли не как акт, диктуемый революционной целесообразностью. Всего пол-абзаца посвящено там этому эпизоду: «До села Усть-Кут плыли, помнится, около трех недель. Здесь ссадили меня вместе с близкой мне ссыльной по николаевскому делу (не с женой, а «близкой мне ссыльной по николаевскому делу»! — Д. В.). Александра Львовна занимала одно из первых мест в Южно-русском рабочем союзе. Глубокая преданность социализму, полное отсутствие всего личного создали ей непререкаемый нравственный авторитет. Совместная работа тесно связала нас. Чтобы не быть поселенными врозь, мы обвенчались в московской пересыльной тюрьме» [2]. Не ясно, почему Троцкому понадобилось брак, которого он так добивался, представить почти фиктивным? Ведь когда он писал свои воспоминания, его дочери от этого брака были уже взрослыми людьми. Может быть, все объясняется проще: Троцкий часто в своих книгах и статьях обращается к моральным сентенциям, благородству, порядочности, а его первая любовь оказалась недолгой. Умолчать о ней в автобиографии нельзя, а подать ее как необходимость для работы быть вместе, тем более с человеком, у которого «полное отсутствие всего личного...» — весьма удобно.

Как бы мы ни относились к Троцкому, но история его отношений с первой женой отдает элементарным прагматизмом, стремлением освободиться от «обузы» в соответствующий момент для реализации своих высоких планов. Но, вместе с тем, духовную связь с женой и детьми, хотя и слабую, Троцкий пытался поддерживать долго.

Когда старшая дочь Зинаида для лечения приехала к отцу в Константинополь, Александра Львовна надеялась, что единственная оставшаяся в живых дочь (Нина умерла в 1928 году) будет согрета отцом. Но родственной близости не получилось. Душевная болезнь Зины потребовала лечения в Берлине. Изгнанник что мог делал для облегчения участи своего первенца. После курса лечения Троцкий написал в Москву первой жене, чтобы «она подумала о комнате в связи с приездом дочери». Нетрудно представить, какие силы понадобились Троцкому, чтобы через несколько недель вновь писать Александре Львовне о трагической смерти дочери. Это было в конце января 1933 года, когда, как сообщал в ужасе отцу Лев Седов, власти «нам только сегодня разрешили закопать урну» [3]. Все это будет спустя три десятилетия после первого брака.

Лев Бронштейн покинет Александру Соколовскую с двумя крохотными дочками, чтобы больше никогда не вернуться в первую семью... Сам виновник постарается придать разрыву максимум возможного в таких случаях благородства. «Судьба развела нас невозвратно, хотя мы и остались добрыми друзьями»,— напишет он много лет спустя.

Может быть, я несправедлив к Троцкому, высказывая сомнения в его порядочности по отношению к первой жене? Возможно. Тем более, что когда Соколовская попала в беду (в 1935 году) и была сослана фактически только за то, что была женой главного личного врага Сталина, в семье Троцкого не раз вспоминали ее, дочерей, внуков, тревожась об их судьбе. Второго апреля 1935 года Лев Давидович сделает такую дневниковую запись: «...Только что получил письмо из Парижа. Ал. Львовна Соколовская, первая жена моя, жившая в Ленинграде со внуками, сослана в Сибирь. От нее уже получена открытка за границей из Тобольска, где она находилась на пути в более далекие части Сибири... Не думаю, чтоб Ал. Львовна Соколовская проявляла за последние годы какую-либо полити-

---

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 1, лл. 2—3.
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. 1, с. 148.
[3] Int Instituut Soc Geschiedenis Amsterdam. № 111, 322/1.

ческую активность: и годы и трое детей на руках (внуки.— Д. В.). В «Правде» несколько недель тому назад, в статье, посвященной борьбе с «остатками» и «подонками» упоминалось — в обычной хулиганской форме — и имя А. Л., но лишь попутно, причем ей вменялось в вину вредное воздействие в 1931 г.! — на группу студентов, кажется, Лесного института. Никаких более поздних «преступлений» «Правда» открыть не могла. Но одно уж упоминание имени означало безошибочно, что следует ждать удара и по этой линии» [1].

Через три дня Троцкий добавит в дневнике: «В последние два дня Н. (Наталья Ивановна — жена изгнанника.— Д. В.) больше думала об А. Л. (Александре Львовне.— Д. В.), чем о Сереже: может быть, с Сережей, в конце концов, ничего и нет, а А. Л., в 60 лет, отправлена куда-то на дальний Север» [2].

В «опыте автобиографии» Троцкий весьма колоритно описывает свое этапирование в ссылку в 1901 году. Вот, например, небольшой фрагмент из его воспоминаний.

«В селе было около сотни изб. Мы поселились в крайней. Кругом лес, внизу река. Дальше к северу по Лене лежат золотые прииски. Отблеск золота играл на всей Лене. Усть-Кут знал раньше лучшие времена — с неистовым разгулом, грабежом и разбоем. Но в наше время село затихло. Пьянство, впрочем, осталось. Хозяин и хозяйка нашей избы пили непробудно. Жизнь темная, глухая, в далекой дали от мира. Тараканы наполняли ночью тревожным шорохом избу, ползали по столу, по кровати, по лицу... Весною и осенью село утопало в грязи. Зато природа была прекрасна. Но в те годы я был холоден к ней. Книги и личные отношения поглощали меня. Я изучал Маркса, сгоняя тараканов с его страниц...» [3] Но как раз бедная реальность бытия воспаляла богатое воображение Троцкого. Романтические видения со смутным предчувствием собственного исторического предназначения уже посещали ссыльного на самом пороге века.

Деятельная натура Троцкого сразу же нашла себе работу. Он много занимался самообразованием и, пожалуй, впервые широко попробовал себя на поприще журналистики, где, бесспорно, был очень талантлив. После партийной клички «Львов» он придумал себе еще одну: «Антид Ото». Статьи с этой подписью стали часто появляться в местной газете «Восточное обозрение». Писать он был готов на любые темы: о сибирской деревне и положении женщин в Сибири, о местных властях и роли земств. Троцкий писал статьи о Ницше, Гоголе, Успенском, Герцене... Его материалы категоричны, как приговор. Вот, например, как он разделывается с известным в то время писателем в статье «История литературы, г. Боборыкин и русская критика»: «Г. Боборыкин написал книгу о европейском романе (Европейский роман в XIX столетии. СПб, 1990). Но с этой книгой случился совершенно исключительный казус: ее никто, кроме самого автора, не понял...» [4] Далее в том же духе. Через всю жизнь он пронесет это качество: бескомпромиссность и безапелляционность в оценках. Отсутствие боязни высказать кому угодно свое «особое» мнение. Готовность пойти против устоявшихся норм и порядков. Это качество «поставляло» ему много друзей. Но еще больше врагов.

Несколько статей ему удалось отправить за рубеж. Там, в кругах русской эмиграции, заметили несомненные литературные способности неизвестного корреспондента. Однако не знали, что направленные туда статьи — плод не долгой, кропотливой работы, а быстрой импровизации, своеобразного озарения, когда мысль легко «изливается» на бумагу. Писатели и журналисты знают, как трудно дается иногда одна фраза, одно слово. Об этих мучениях рано умерший поэт, молодой С. Я. Надсон, которого любил Троцкий, писал: «Нет на свете мук сильнее муки слова». Но Л. Бронштейн мучился мало: писал быстро, ярко, категорично. Иногда — легковесно. В его статьях молодых лет явно просматривается желание блеснуть эрудицией, сослаться на наимоднейшие литературные и научные авторитеты, классику, часто без видимой необходимости. К слову, ссылка в Сибирь давала богатые возможности заниматься литературным трудом.

[1] Лев Троцкий. Дневники и письма. Нью-Йорк, Эрмитаж, 1986, с. 90.
[2] Там же, с. 98.
[3] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. 1, с. 148—149.
[4] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 178, л. 9.

В своих воспоминаниях, письмах, многочисленных автобиографических заметках село Усть-Кут, Верхоленск стали для Бронштейна одной из его личных «вершин» служения революционному делу. Хотя если сравнить быт, жизнь, условия существования ссыльных, которые окажутся здесь и в советское время,— они несравнимы по своей суровости. Жандармам российской империи было ой как далеко до беспощадности сталинских «карательных» органов! И в создании этой новой системы со временем примет участие и ссыльный из Усть-Кута.

В феврале 1923 года Л. Д. Троцкий по просьбе своего зарубежного друга М. Истмена рассказал ему в письме о своей первой ссылке. Там, в частности, жизнь ссыльного описывалась таким образом: «...В Сибири, в Усть-Куте мы жили на одной квартире с польским сапожником Микшей. Это был прекрасный товарищ, внимательный, заботливый, великолепный повар, но он выпивал, и чем дальше, тем больше. Время делилось между хозяйственной работой и чтением. Рубка дров, подметание, мойка посуды, помощь Микше по кухне. Чтение было очень разнообразно: Маркс, социалистическая литература, художественные произведения мировой литературы. Журналистская работа; стал писать корреспонденции в «Восточное обозрение». Литературная работа — обычно ночью. Нередко до 5—6 часов утра. Привычка эта сохранилась у меня и позже, в венский период моей жизни...

...Однажды мне не выдали почту в почтовом отделении. Я бурно запротестовал. Меня приговорили к трем рублям штрафа. Извещение это меня застало уже в Верхоленске, откуда я вскоре бежал. Так три рубля штрафа не были уплачены, в числе многих других моих долгов царизму...» [1]

В Усть-Куте оказалась даже небольшая библиотека, созданная ссыльными. Из всего прочитанного там на Троцкого больше всего произвел впечатление двухтомник Глеба Успенского. Вначале он с известным недоверием отнесся к рассказам и очеркам писателя. Но, начав читать, не мог оторваться. Читая деревенский дневник писателя, ссыльный однажды подчеркнул: «...работа целой деревни на один господский дом. Без отговорок, без возражений деревня должна была работать изо дня в день, из года в год. Барин, которому принадлежала деревня, мог меняться, быть то злым, то добрым, но для деревни все эти перемены ничего не значили: работы одинаково требовали все — и консерваторы, и либералы, и даже радикалы, словом — всевозможные сорта людей, поселявшихся в господском доме. Кто бы там ни жил, от деревни требовалось одно — «работа», заполнявшая большую часть дня, года, всей жизни — работа н е н а с е б я... Все это выработало совершенно определенный идеал для существа, носящего название м у ж н к а...» [2]

Очерки Успенского произвели на Троцкого столь большое впечатление, что он сам написал полтора десятка статей о сибирской деревне, в которых явно видно влияние большого русского писателя. Так ссыльный погружался в простую жизнь, где ему очень скоро стало невыносимо тягостно. Деятельная натура хотела простора самовыражения, утверждения, известности.

Очень скоро импульсивному ссыльному опостылели и Усть-Кут, и Верхоленск. Ему было тесно среди этих убогих домишек вдоль грязной улицы. Первые удачные литературные и журналистские опыты, замеченные общественностью, шептали ему: «тебе нужен простор, большая сцена». Больше томиться здесь ссыльный решительно не мог. Он должен быть в Петербурге, Москве, западных столицах. Он н у ж е н там! Когда после внутренней борьбы он сказал об этом Александре Львовне, та, помолчав, не стала возражать против его побега. Нетрудно представить, чего ей это стоило. Молодой женщине предстояло остаться одной в глуши с двумя крохотными детьми, без больших надежд на скорейшее воссоединение семьи. В ее глазах Лейба был почти гением, который скоро заставит о себе говорить всех и везде. Соколовская осталась, как она думала, верна революционной морали: способности жертвовать самым дорогим во имя идеалов. Эта женщина всю жизнь будет жертвовать: мужем, детьми, зятьями, внуками и, наконец, собой.

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 18, лл. 19—20.
[2] Соч. Глеба Успенского. Том II. СПб, тип. «Общественная польза», 1889, с. 139—140.

Вообще имя Троцкого очень тесно связано с **жертвами**. В конце концов на страшном алтаре мести и террора окажется он сам. Когда эти жертвы оправдывали его дело, славу, стремления, он считал их естественными, необходимыми. В конце концов жестокая борьба, которой он посвятил всю свою жизнь, отнимет у него все, кроме его места в истории.

Еще на исходе зимы Троцкий провел «разведку» — побывал в Иркутске, где ему нужно было встретиться со знакомыми ссыльными, прикинуть возможность побега. Для того, чтобы выехать хотя бы на один день, пришлось испрашивать у Верхоленского уездного исправника разрешение. Выглядело оно так:

«Проходное свидетельство.

Дано состоящему под гласным надзором полиции административному ссыльному Лейбе Давидовичу Бронштейну в том, что ему разрешен Иркутским губернским управлением от 20 февраля сего года выезд в г. Иркутск на один день, куда он должен следовать неуклонно и нигде во время пути не останавливаться без особо уважительных причин...»[1]

А летом ссыльный бежал. Это оказалось совсем нетрудным делом. Крестьянин накрыл его в повозке сеном и отправился в Иркутск. В памяти об этой последней в его жизни сибирской дороге у него остались бесчисленные ухабы. В Иркутске друзья выдали беглецу светское платье и паспорт, куда он вписал свое новое и, как окажется, бессмертное для истории имя. Почему он выбрал фамилию Троцкий? Трудно сказать... Но у фамилии был реальный владелец — тюремный смотритель из Одессы: импозантный, крупный, дородный мужчина.

Жандарм, пришедший в Верхоленске в избу, где жил ссыльный, для ежедневной проверки, заглянет на чердак и, увидя спящего под крестьянским рядном человека, уйдет. Тогда он не догадается, что это сделанное Лейбой чучело. Но Соколовская долго не могла скрывать исчезновение мужа, который уже катил по транссибирской магистрали на Запад в курьерском поезде и читал Гомера в русских гекзаметрах Гнедича. Через два дня из Верхоленска ушла телеграмма:

«Губернатору. Копия полицмейстеру.

Вчера самовольно отлучился Лейба Бронштейн 23 лет 2 аршина половиной волосы каштановые подбородок двойной разделен носит очки по заявлению жены Бронштейн выехал Иркутск.

Исправник Людвиг»[2]

Спустя какое-то время в охранном отделении на учетной карточке Троцкого появится дополнительная запись:

«Бронштейн (Лев) Давидов, он же Николай Троцкий и Яновский, лишенный всех прав состояния, сын колониста, русский, литератор. В 1898 году Бронштейн привлекался в качестве обвиняемого по делу о «Южно-российском рабочем союзе» в Одессе. Выслан на 4 года под гласный надзор. 21 августа из г. Верхоленска скрылся и помещен в розыскной циркуляр от 1 сентября 1902 г. № 5530»[3].

Заехав по пути в Самару к Кржижановскому и недолго там пробыв, Троцкий направился в Лондон, в редакцию «Искры». Он был уже там известен под кличкой «Перо». Молва о талантливом молодом журналисте социал-демократической ориентации докатилась до берегов Темзы. С фальшивым паспортом Троцкий ехал навстречу своей судьбе. В своих кратких автобиографических заметках молодой революционер много позже запишет:

«Нелегально перешел границу Австрии, нашел и познакомился с основателем Австрийской социалистической партии»[4] (Троцкий всегда гордился своим личным знакомством со многими известными людьми — неизменный атрибут человеческого тщеславия). Позже в одной из своих статей в «Киевской мысли» так опишет эту встречу: «...Первый раз мне довелось повстречаться с «доктором», таково его популярное имя, в 1902 году в октябре, проездом из одной очень во-

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 2, л. 1.
[2] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 2, л. 3.
[3] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 2, л. 8.
[4] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 14, л. 3.

сточной губернии. Денег у меня хватило только до Вены. После больших размышлений я отправился в редакцию.

— Можно ли видеть Адлера?

— Сегодня? Невозможно!

— Но у меня важное дело.

— Значит, вам придется отложить его до понедельника... В конце концов я узнал все же адрес доктора и отправился к нему на квартиру. Ко мне вышел невысокого роста человек, сутуловатый, почти горбатый, с опухшими веками на усталом лице, которое с необыкновенной выразительностью говорило, что этот человек слишком умен, чтобы быть просто «добрым», но что он все же слишком добр, чтобы не найти смягчающих вашу вину обстоятельств...

— Я — русский...

— Ну, этого вам не нужно было еще особо мне сообщать, я уже имел время об этом догадаться...»[1]

Почти ни одна встреча, беседа, выступление, явление, к которому был причастен Троцкий, не остались обойденными его публицистическим вниманием. Не случайно Кржижановский дал ему кличку «Перо». Троцкий обладал редкой способностью не только «вписываться» в ткань, калейдоскоп общественных событий, но и запечатлевать это в статьях, брошюрах, книгах, докладах, донесениях. Я не знаю ни одного русского революционера, который бы так много, подробно, красочно говорил о себе. Трудно поверить заявлению Троцкого, сделанному им в Предисловии к своей автобиографии-воспоминаниям: «Историческую перспективу я привык рассматривать не под углом зрения личной судьбы»[2]. Как раз особенностью исключительно богатого литературного творчества революционера является его стремление (он этого часто даже уже и не замечал) смотреть на ковер исторических событий, постоянно держа в поле зрения свою фигуру. Троцкий замечает, что «никому еще не удавалось написать автобиографию, не говоря о себе». Это верно. Но Троцкий обильно говорил всю жизнь о себе и тогда, когда не писал автобиографию.

Ранним октябрьским утром по адресу, который ему дал Павел Аксельрод в Цюрихе, Троцкий, как его учили, три раза стукнул дверным кольцом. То была маленькая однокомнатная квартира в Лондоне, где жили Ленин и Крупская. Здесь он впервые встретился с Лениным (а услышал первый раз о нем, находясь в московской пересыльной тюрьме). Надежда Константиновна, как описывает И. Дейчер, с порога воскликнула:

— «Перо» прибыло!

Троцкому нужно еще спуститься вниз: ему было нечем расплатиться с кэбом. А затем он «заговорит» Владимира Ильича ворохом новостей с родины. Отныне, свыше двадцати лет, жизни этих людей будут пересекаться очень часто. От взаимной симпатии к прямой вражде и вновь к согласию. Оба, в пору разлада, не будут скупиться на эпитеты — острые, порой обидные, жесткие, часто меткие. Ленин, будучи старше Троцкого почти на десять лет, увидел в пылком революционере, с жаром, взахлеб говорившем о Сибири, Самаре, Цюрихе и опять о Верхоленске, одного из тех, кто может открыть новую страницу революционного движения в России.

Троцкий, не дав подняться Владимиру Ильичу из постели, пододвинув поближе стул, не останавливаясь, энергично жестикулируя, говорил, говорил, говорил... Так поет птица, обретшая свободу...

Едва ли сейчас Троцкий помнил последние слова, с огромным трудом, но искренне произнесенные Александрой Соколовской в момент прощания:

— Иди, тебя ждет большая судьба...

Европейский бивуак

В сентябре 1929 года Троцкий, находясь на острове Принкипо в Эгейском море и томясь неизвестностью, сел за написание своих воспоминаний «Моя жизнь». В предисловии к двухтомному сочинению, которое он напишет, есть

[1] Л. Троцкий. Соч. Госуд. изд-во. Москва — Ленинград, 1926, т. VIII, с. 14—15.
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. 1. с. 15.

такая фраза: «Здесь я нахожусь на бивуаке,— не в первый раз,— терпеливо дожидаясь, что будет дальше». В жизни таких бивуаков у него будет немало. В первый раз на вынужденном бивуаке он оказался в 1902 году. Разница была в том, что, оказавшись тогда впервые в Европе, Троцкий не столько ожидал, сколько действовал: писал, спорил, ездил, жадно вглядываясь большими голубыми и проницательными глазами в жизнь, знакомую раньше лишь по книгам и газетным статьям. Но и, конечно, ждал. Чего? Революцию... Все его биографы позже дружно отметят, что Троцкий был человеком с «большой европейской культурой». Скажем, правда, что люди, волею судеб искавшие убежища под европейской крышей, были носителями не менее высокой культуры российской, но которая была присуща лишь узкому интеллектуальному слою общества.

Троцкий более трети жизни провел в эмиграции. Каждый бивуак сыграл свою роль в его жизни и был окрашен в неповторимые краски. Если второй бивуак, скажем так, был «Долгим ожиданием», а третий — «Изгнанием ожесточения», то бивуак первый явился для молодого революционера «Восторженным откровением». Эти три жизненные станции, три вехи на пути одного из «выдающихся вождей» русской революции, лежат в истоках его взглядов на перманентную и мировую революции, на роль IV Интернационала. Он был эмигрантом, а на поле эмиграции всходили разные всходы.

Эмиграция всегда играла заметную роль в политической и духовной жизни России. Когда Н. А. Бердяев оказался в изгнании, он спросил себя: «С какими же русскими мыслями приехал я на Запад?» И ответил: «...я принес эсхатологическое чувство судеб истории... я принес с собой мысли, рожденные в катастрофе русской революции, в конечности и запредельности русского коммунизма, поставившего проблему, не решенную христианством... Принес сознание конфликта личности и мировой гармонии, индивидуального и общего, неразрешимого в пределах истории...» [1]

А что же принес с собой на Запад молодой Бронштейн? Пока — широко открытые глаза постижения богатства европейской культуры. Сейчас ему нужно было найти баланс сохранения своего «я» и новой социальной и духовной среды. Историческое запаздывание российской империи от демократического развития Европы создавало как бы две сферы. Одна — отечественная, близкая, знакомая, но суровая для идей свободомыслия. Другая — европейская, с более богатыми традициями политической и духовной терпимости к инакомыслию. Значила она для русской интеллигенции куда больше, чем просто очаг высокой культуры. Это была среда, где генерировались идеи и усилия, обращенные к России в надежде свершения в ней революционных перемен. Герцен, Бакунин, Кропоткин, Лавров, Ткачев, многие другие пионеры русского духа оказывались в Европе не столько с мыслью о самосохранении, сколько с идеей служения родине в специфических условиях.

Особенно мощный слой революционеров-интеллектуалов оказался за рубежом на грани веков: Ленин, Плеханов, Мартов, Потресов, Дан, Аксельрод, Засулич, другие представители российской социал-демократии. Это была та революционная волна, которая сыграла особую роль в идейной и теоретической подготовке февральской и октябрьских революционных взрывов 1917 года. Особняком в этой когорте существовал Ленин, который не ограничивал свое участие в наращивании потенциала грядущей революции лишь в области теоретической, но много делал и в сфере организационной. Осенью 1902 года в эту своеобразную Мекку российских революционеров прибыл Троцкий. Ему только-только исполнилось двадцать три года...

Молодого честолюбивого революционера влекла возможность участия в общероссийской социал-демократической газете. В редколлегии «Искры» состояли шесть блестящих умов, каждый из которых уже оставил заметный след в революционном движении. «Старики» — Плеханов, Засулич, Аксельрод соседствовали с «молодыми»: Лениным, Мартовым, Потресовым. Ленин быстро оценил Троцкого, дав ему весьма лестную характеристику: «Человек, несомненно, с недюжин-

[1] Николай Бердяев. Самопознание. Париж, с. 275.

ными способностями, убежденный, энергичный, который пойдет еще вперед. И в области переводов и популярной литературы он сумеет сделать немало» [1]. По предложению Ленина в марте 1903 года Троцкого ввели в состав редколлегии газеты с совещательным голосом. Троцкий с самого начала своего пребывания на Западе много писал. Уже в ноябре 1902 года в «Искре» появилась его первая статья. Автор писал о стачках и революционных традициях, ссылке и Втором Интернационале. Писал не только в «Искру», но и в другие газеты. Диапазон «Пера» был исключительно широк, что уже смахивало на дилетантство. В фонде Троцкого хранится множество рукописей его статей: напечатанных и ненапечатанных. Есть даже такая: «Нечто о сомнамбулизме». В ней, в частности, с безапелляционностью, как всегда у Троцкого, говорится: «Дело филателии, как и многое другое, впрочем, есть чистое, бескорыстное и необычайно глупое в своей чистоте водотолчение...» [2]

Отношения с блестящей группой высокообразованных людей наложили неизгладимый отпечаток на духовный мир Троцкого. Особенно его тянуло к Аксельроду, Засулич и Мартову. Перед Аксельродом Троцкий тогда преклонялся. Он посвятил ему восторженную статью, но которую в советское время не включил в свое собрание сочинений. Впрочем, свою первую крупную работу «Наши политические задачи», написанную в 1903 году, увенчал эпиграфом: «Дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду». В книге насколько негативно говорится о Ленине, настолько высоко об Аксельроде. Как он говорит об этом социал-демократе?

Аксельрод — «верный и проницательный страж интересов пролетарского движения...»; «он истинный пролетарский идеолог»; «Аксельрод пишет не «статьями», а математически сжатыми формулами, из которых другие, в том числе и Ленин, делают очень много статей...» [3]

Троцкий поселился в доме, где жили Мартов и Засулич. По нескольку раз в день они встречались, обсуждали новости, статьи и заметки, которые готовили в «Искру», много и жарко спорили. Молодой член редколлегии не скрывал своего восхищения Верой Засулич, которая еще до того как Троцкий появился на свет участвовала в террористических актах, прославилась на всю Россию шумным процессом, который вынужден был ее оправдать. Блестящий, мятежный ум нигилистки, ее воспоминания будоражили воображение молодого революционера, энергия которого искала выхода. Засулич принадлежала к тому поколению русских революционеров, для которых радикализм решений и действий был их глубокой сутью. Троцкий заявлял, что Засулич была для него легендой революции. И это не слова. В мировоззрении Троцкого радикальные элементы доминировали всю жизнь. Он не признавал полумер, полушагов. Он не хотел ограничиться «социализмом в одной стране». Троцкий уже тогда начал мыслить радикальными категориями.

Оказавшись на своем первом европейском бивуаке, ставшем для него, «восторженным откровением», Троцкий разглядывал бесцеремонно, в упор исторические фигуры, которые уже тогда для многих революционеров были легендарными. Таким был и Г. В. Плеханов. Хотя Плеханов жил в Швейцарии, он часто наезжал в Лондон. Проживший десятилетия на Западе, Плеханов заметно оторвался от русской почвы, хотя давно завоевал уже в революционных кругах, особенно в эмиграции, славу патриарха марксизма в России. Теоретическая основательность, непреклонная логика, энциклопедические знания, отличное перо сделали Плеханова настоящим корифеем марксизма. Однако Троцкого Плеханов встретил настороженно, если не сказать враждебно. Начальная настороженность переросла быстро в устойчивую неприязнь, сохранившуюся до конца дней. Плеханов упорно противился вводу «Пера» в редколлегию «Искры». При личных встречах был подчеркнуто сух и неприветлив. И. Дейчер антипатию Плеханова объяснял так: «оба были прекрасными публицистами и остроумными спорщиками,

[1] Ленин В. И., ПСС, т. 46, с. 277.
[2] ЦПА ИМЛ. ф. 325. оп. 1, д. 180. л. 9.
[3] Н. Троцкий. Наши политические задачи. Женева, 1904. с. 25 (Приведенный инициал «Н» не ошибка. В то время Троцкий так подписывался).

оба обладали театрвльной манерой говорить, оба высоко ценкли себя, свои идеи и свои дела. Однако, если звезда младшего только начинала подниматься, звезда старшего шла к закату. Троцкий был преисполнен кипучего, хотя н незрелого, но чудесного энтузиазма, Плеханов же становился скептиком. Когда Плеханов приехал в Лондон, Засулич горячо расхваливала в его присутствии таланты Троцкого.

— Этот парень — несомненно гений!

Плеханов помрачнел, отвернулся и произнес:

— Этого я никогда ему не прощу» [1].

Несмотря на все старания, Троцкому не удалось установить более или менее лояльных отношений с Георгием Валентиновичем Плехановым. «Отец-основатель» не мог принять дерзкой бойкости молодого революционера, безапелляционно и немедленно высказывавшего свое мнение по любому вопросу. Говорят, в 1917 году Плеханов в узком кругу бросил по адресу Троцкого с сарказмом: «любимчик революции». Троцкий скоро и сам стал отвечать Плеханову такой же неприязнью. В целом ряде статей, написанных позже о Плеханове, «любимчик революции» довольно сурово обходился с одним из столпов марксизма.

В первом томе «Война и революция», опубликованном в 1922 году, Троцкий напишет: «Война подытожила целую эпоху в социализме, взвесила и оценила вождей этой эпохи. Безжалостно ликвидировала она в их числе и Г. В. Плеханова... Несчастье Плеханова шло из того же корня, что и его бессмертная заслуга: он был предтечей. Он не был вождем действующего пролетариата, а только его теоретическим предвестником» [2]. Думаю, этот вывод Троцкого не лишен оснований. Бывало, что Троцкий говорил о человеке, с которым лично познакомился в 1902 году,— и резче, оскорбительнее. В газете «Наше слово» 14 октября 1915 года появилась статья Л. Троцкого — «Оставьте нас в покое». Там есть такие фразы: «Плехановщина — не только личная трагедия, но и политический факт. И раз возле Плеханова, в окружающей его свите нулей, нет никого, кто бы мог его заставить понять, что его выступления не только губят его, но и безнадежно омрачают образ, составляющий уже достояние партийной истории,— у нас не остается не только долга, но и права быть снисходительными». Когда Г. В. Плеханов умер, то в своей речи 4 июня 1918 года на объединенном заседании ряда комитетов и союзов Троцкий сказал: «Нет и не может быть большей трагедии для политического деятеля, который неустанно доказывал, в течение десятилетий, что русская революция может развиваться и прийти к победе лишь как революция рабочего класса,— не может быть большей трагедии для такого деятеля, как отказаться от участия в движении рабочего класса в самый ответственный исторический период, в эпоху победоносной революции...» [3].

Все это будет позже. Однако и на пороге века стареющий ортодокс марксизма и быстро поднимающийся «любимчик революции» не смогли найти общего языка.

Ленин, привлекая Троцкого к работе в газете, скоро стал одновременно использовать его талант трибуна, оратора, полемиста для различных диспутов и встреч. Запомнились его ожесточенные словесные схватки с социал-демократом Чайковским, анархистом Черкезовым, самим Мартовым. За рубежом жило много русских; немало было и англичан, французов, немцев, швейцарцев, которых интересовала теория марксизма, политическое положение в России, перспективы социализма в грядущем. По совету Ленина Троцкий не ограничил свою деятельность журналистикой, диспутами, но стал выступать с рефератами не только в Лондоне, но и Брюсселе, Париже, Цюрихе. Затем, во время второй эмиграции такие выступления Троцкого с лекциями станут обычными. В архивном фонде Л. Д. Троцкого сохранилась парижская афиша о его выступлении:

«В субботу 6 января 1912 года
Н. Троцкий
прочтет реферат на тему

[1] И. Дейчер. Троцкий: вооруженный пророк, с. 98.
[2] Л. Троцкий. Соч., т. VIII, с. 56, 59.
[3] Л. Троцкий. Соч., т. VIII, с. 65—66.

НЕОТЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ, содержащие: Торгово-промышленный подъем. Оживление классовой борьбы. Воссоздание партийных организаций. Распад старых фракций. Фракционное раскрепощение. Беспринципность кружковых межеваний. Выборы в четвертую думу. Борьба за единство партии.

Приглашаются только члены Российской социал-демократической рабочей партии.
Цена за вход — 50 сантимов. Начало в $8^1/_2$ вечера» [1].

Афиш 1903 года, а они были, нам обнаружить не удалось. Просто тогда Троцкий был менее известен. Но постоянное общение молодого марксиста с известными революционерами не только быстро расширяли кругозор «Пера», но и усиливали его уверенность в своих способностях, особом даре, даже исключительности.

Многие люди знают, что они умны. Это естественно. Но далеко не все дают это понять способом, отдающим интеллектуальным тщеславием. Троцкий, будучи безусловно талантливым человеком, выдающимся публицистом и оратором, особо заботился, чтобы это было оценено другими. Он не чурался театральности жестов, экстравагантности выражений в надежде, что они усилят впечатления от его выступлений. Троцкий любил дело, но всегда любил и себя. Он был подобен древнегреческому Нарциссу, который, увидев изображение в зеркале ручья, смертельно влюбился в самого себя. Обычно любовь к себе не рождает ревности у других. Но у Троцкого — случай особого рода. Он внутренне любил себя, но это чувствовали другие как выражение его превосходства. Может быть поэтому, несмотря на огромную популярность, в течение всей жизни у него было мало близких друзей и так много личных врагов! Талант как и интеллектуальное превосходство люди прощают редко.

Троцкий еще очень молодым навсегда поверил, что оставит, обязательно оставит! глубокий след в истории. Одно из доказательств — весьма тщательное сохранение следов своих публичных устных и печатных выступлений с очень раннего времени. В архивных фондах сохранились не только черновики статей, речей, проектов резолюций, но и пригласительные билеты, краткие пометы, сделанные на полях газет, календарном листе, вырезки из многочисленных периодических изданий, где хотя бы просто упоминается его фамилия. Он не ошибся, что будет знаменитым, но это было и его целью. Подобным утверждением я не хочу принизить Троцкого как революционера, но намерен с убежденностью сказать: революция была для него основным способом самовыражения. Личное «я» для него всегда больше значило, чем для многих других лидеров и вождей, исключая Сталина.

Лондонский период первой эмиграции был связан с рядом выездов в другие города и страны. Для Троцкого все это действительно было «восторженным откровением»: большой интерес людей к загадочной России, заметное внимание к нему — молодому революционеру, возможность общаться с людьми, о которых в интеллигентских кругах отечества ходят легенды; появившаяся уверенность в том, что и по сравнению с известными лидерами западной социал-демократии, русские социалисты не уступают им в мощи ума, культуры, смелых планов. Поехав по настоянию Ленина в Париж, Троцкому посчастливилось услышать Жана Жореса, окунуться и почувствовать биение пульса страны иного парламентаризма, чем Англия. Правда, порой, Троцкий, отдавая должное уровню цивилизации западных стран, делал это непременно путем подчеркивания российской отсталости. Он не щадил в этом смысле свою родину.

Даже говоря об ораторском искусстве французов, уничижительно писал: «...иной русский черноземный человек и у Жореса открывает лишь искусную техническую выучку и псевдоклассическую декламацию. Но в этой оценке сказывается только бедность нашей отечественной культуры» [2]. Вполне объяснимое преклонение Троцкого перед западной культурой, цивилизацией, уровнем буржуазной демократии, видимо, позволило ему подойти в свое время к выводу о решающей

[1] ЦПА ИМЛ, ф. 325, оп. 1, д. 5, л. 1.
[2] Л. Троцкий. Соч., т. VIII, с. 19.

зависимости окончательной победы социализма в России от силы революционных пожаров на Западе. Троцкий, имея родину на Востоке, в душе всегда был «западником». Это выражалось не только в злом высмеивании славянофилов, но и подчеркивании, что все «величайшие открытия и изобретения родились на Западе»[1]. Иногда складывалось впечатление, что Троцкий стыдился того, что родился в России. Правда революционер умел маскировать свое «западничество» ссылками на других русских деятелей культуры, выражавших апологию европейской цивилизации.

Восторженные откровения первой эмиграции связаны и с сугубо личными мотивами. Почтовая связь с оставшейся в Сибири Соколовской очень быстро ослабела. Юношеская увлеченность первой женщиной быстро проходила. Он не успел по-настоящему постичь ни радостей, ни мук, ни забот отцовства. Жена и две крохотных дочерей очень быстро отошли, как выразился Троцкий, в «невозвратное». Хотя справедливости ради следует еще раз заметить, что до самой смерти всех членов своей первой семьи он пытался поддерживать с ними связь. Особенно с дочерьми.

Когда в 1903 году в Париж к Троцкому приехали его родители, мать сделала слабую попытку напомнить сыну о его долге перед Соколовской и детьми. Троцкий мягко, но однозначно попросил родителей не поднимать больше этот вопрос. Мать замолчала, а старый Бронштейн тихо ликовал; он был уверен, что именно эта женщина «сбила с пути их сына». Лейба показывал матери вырезки из газет со своими статьями, афиши, извещающие о «выступлениях Н. Троцкого», рассказывал о широком круге знакомых знаменитых людей. Восхищенные глаза матери выдавали ее отношение к сегодняшней жизни сына. Мать вслух читала заголовки статей Лейбы, отец с благоговением слушал. Стареющие Бронштейны теперь понимали, что другой жизни сын их никогда не приемлет.

Уезжая из Парижа, колонисты из далекой Херсонщины оставили сыну денег и пообещали помогать двум его дочкам в России. Они не могли допустить, чтобы дети их необычного сына, который станет знаменитым (Бронштейны были теперь в этом уверены), бедствовали. Это противоречило бы их иудейской традиции. К слову: о еврейском происхождении, сионизме и революционных взглядах.

Враги Троцкого от черносотенцев до нынешних антисемитов всегда старались и стараются подчеркнуть еврейское происхождение Бронштейна. Нередко его деяния и прямо связывают с «сионистским заговором», «еврейскими происками», масонством и т. д. Думаю, нет ничего более далекого от истины, нежели обвинение Троцкого в сионизме. Да, у него были минуты, когда он страдал от своего еврейского происхождения. Он отказался от поста наркома внутренних дел в правительстве Ленина, заявив, что «люди не поймут назначения еврея на эту должность». Генриху Ягоде, к слову, не пришла такая мысль, как, впрочем, и Сталину. Троцкий, конечно, не мог «забыть», что он еврей и потому, что ему об этом всегда напоминали его враги. И звучало это как обвинение, как подтверждение его вечной проказы. Но что бы ни говорили о Троцком, его нельзя упрекнуть ни в национализме, ни в сионизме, ни в расизме. Имеется бесчисленное множество свидетельств, подтверждающих интернациональный характер его мировоззрения.

В феврале 1932 года он отвечал своему стороннику Клингу:

— Вы спрашиваете, каково мое отношение к еврейскому языку? Отвечаю:

— Как к всякому другому языку. Если я действительно употребил в своей «Автобиографии» слово «жаргон», то это потому, что в годы моей юности еврейский назывался не «идиш», как теперь, а «жаргон», так выражались сами евреи, по крайней мере в Одессе и в это слово не вкладывали ничего предосудительного.

— Вы говорите, что меня называют «ассимилятором...».

— Решительно не знаю, какой смысл может иметь это слово. Я, разумеется, противник сионизма и других видов самоизоляции еврейских рабочих...»[2]

Когда еврейские рабочие из Соединенных Штатов сообщили Троцкому на Принкипо в мае 1932 года о том, что они создали еврейскую газету «Наша борьба», опальный революционер им ответил: «Существование самостоятельного еврейского издания служит не для того, чтобы обособить еврейских рабочих, а наоборот, чтобы сделать им доступными те идеи, которые связывают всех рабочих в одну революционную семью. Вы, разумеется, решительно и непримиримо отвергаете старый бундовский принцип федерации национальных организаций...»[1] Думаю, эти слова не требуют дополнительных комментариев: в них позиция Троцкого, которой он придерживался всю жизнь.

[1] Л. Троцкий. Соч., т. XX, с. 116—118.
[2] The Honghton Library. Trotskii coll. bMS Russ 13.1 (8680—8683).

Будучи уже членом Реввоенсовета и военным наркомом, он получил однажды в 1919 году письмо от коммуниста-корейца Нигая, в котором тот писал, что по России ходят темные слухи: «родину завоевали жидовские комиссары». Все несчастья народ сваливает на евреев. Мол, советская власть держится «на еврейских головах, латышских стрелках и русских дураках». Чтобы спасти страну от гибели и измен, Нигай советовал Троцкому «создать могучую еврейскую армию и вооружить ее с ног до головы... Чем евреи хуже татар, латышей, которые имеют свои полки...»[2]

Троцкий с любопытством повертел в руках письмо и попросил Бутова отправить Нигаю вместо ответа несколько его статей об интернациональном характере русской революции.

Будучи на вершине власти, он чувствовал, что предрассудки антисемитизма живучи. Но когда его положение пошатнулось, он это осознал еще глубже. В этом отношении весьма характерна его записка Н.И. Бухарину от 3 марта 1926 года. Приведу ее с сокращениями:

«Н. Иванович.

Пишу это письмо от руки (хотя и отвык), так как совестно диктовать стенографистке то, о чем хочу написать...

...Секретарь ячейки (о котором я говорил) — пишет, и опять совсем не случайно,— «в Политбюро бузят жиды». И опять никто не решился об этом никуда сказать — по той же самой формулируемой причине: выгонят с завода.

Автор письма, которое я цитировал, рабочий-еврей. Он тоже не решился написать о «жидах, агитирующих против ленинизма». Мотив такой: «если другие, не евреи молчат, то мне как-то неловко...» Другими словами: члены коммунистической партии боятся донести партийным органам о черносотенной агитации, считая, что их, а не черносотенца выгонят...

Вы скажете: преувеличение! И я также хотел бы думать, что так. Так вот я Вам предлагаю: давайте поедем в ячейку и проверим...

Ваш Троцкий»[3].

Но Бухарин в то время ходил в союзниках Сталина и никуда с Троцким не поехал...

Находясь уже в изгнании, в одном из своих писем Троцкий отвечает на вопрос своего корреспондента об отношении к созданию еврейской автономной области в Биробиджане:

«Еврейский вопрос стал сейчас составной частью мировой пролетарской революции. Что касается Биробиджана, то судьба его связана со всей дальнейшей судьбой Советского Союза. Еврейский вопрос, вследствие всей исторической судьбы еврейства,— интернационален... Судьба еврейского народа может быть разрешена только полной и окончательной победой пролетариата...»[4] Как бы ни были ошибочны или наивны упования Троцкого только на классовую борьбу и пролетарскую революцию в решении «еврейского вопроса», они, однако, убедительно свидетельствуют о глубокой враждебности революционера сионизму. Тем более странно слышать сегодня слова о «зловещих троцкистских планах», смыкающихся с «мировой стратегией сионизма».

В своих скитаниях Троцкий выработал иммунитет к антисемитским выпадам, намекам, травле. Он просто стал выше этих древних предрассудков, которые всегда использовали силы консервативного, реакционного толка. У Троц-

[1] The Honghton Library. Trotskii coll. bMS Russ 13.1 (10634—10641).
[2] ЦГАСА. ф. 33987. оп. 1. д. 21. л. 35—41.
[3] The Honghton Library. Trotskii Archive bMS Russ 13. т. 868, 3 s.
[4] The Honghton Library. Trotskii coll. bMS Russ 13.1 (8680—8683).

кого много слабых, уязвимых мест. Но обвинять его в тайных симпатиях сионизму просто нечестно. Однако мы несколько отвлеклись от нашего повествования.

В Париже Троцкий встретил среди русских эмигрантов молодую, умную и красивую женщину — Наталью Седову. Ближе Троцкий познакомился с ней, когда она после его выступления в русской колонии вызвалась показать Лувр. Переходя из зала в зал мимо бессмертных шедевров, молодой человек узнал, что Наташа — дочь богатых родителей, училась в институте благородных девиц в Харькове, но была исключена за вольнодумство и чтение радикальной литературы. Здесь, в Сорбонне, она постигает курс истории искусств... Взаимное влечение было столь сильно, что вскоре Наталья Ивановна, оставив своего мужа, ушла к Троцкому. Вся последующая жизнь Льва Троцкого и Натальи Седовой говорит об исключительно сильных чувствах, сопровождавших этот брак до последних дней их жизни. Наталья Ивановна Седова вспоминала о том времени: «Осень 1902 года была обильна рефератами в русской колонии Парижа. Группа «Искры», к которой я принадлежала, увидала сначала Мартова, потом Ленина... Затем выступал молодой товарищ, бежавший из ссылки. Выступление его было очень успешно, колония была в восторге, молодой «искровец» превзошел все ожидания».

Нужно сказать, что Н. И. Седова разделила в дальнейшем триумф взлета мужа на самый гребень революционной славы и испытала вместе с ним всю горечь остракизма, преследований и изгнания. Троцкий не раз говорил, что в самые тягостные минуты третьей, последней эмиграции ему помогала выстоять прежде всего Наталья Седова. Забегая вперед, скажем, что в его завещании, написанном в несколько приемов, есть исключительно теплые и нежные строки, обращенные к Наталье Седовой. Так, 27 февраля 1940 года Троцкий, составляя первую часть завещания и благодаря своих сторонников и друзей, которые оставались верны ему в самые трудные часы его жизни, выделяет особо одного человека: «Я считаю себя, однако, вправе сделать исключение для своей подруги, Натальи Ивановны Седовой. Рядом со счастьем быть борцом за дело социализма судьба дала мне счастье быть ее мужем. В течение почти сорока лет нашей совместной жизни она оставалась неистощимым источником любви, великодушия и нежности. Она прошла через большие страдания, особенно в последний период нашей жизни. Но я нахожу утешение в том, что она знала также и дни счастья...» Заканчивая этот фрагмент, Троцкий написал дальше строки, совсем необычные для завещания:

«Наташа подошла сейчас со двора к окну и раскрыла его шире, чтоб воздух свободнее проходил в мою комнату. Я вижу ярко-зеленую полосу травы под стеной, чистое голубое небо над стеной и солнечный свет везде. Жизнь прекрасна. Пусть грядущие поколения очистят ее от зла, гнета, насилия и наслаждаются ею вполне» [1].

Первый европейский бивуак Троцкого с осени 1902 года до возвращения в начале 1905 года в Россию, был, возможно, самым счастливым периодом его личной жизни. Хотя сам Троцкий, по словам Н. Седовой, заявлял, что «был поглощен политической жизнью и всякую другую замечал постольку, поскольку она сама напрашивалась, и воспринимал ее как докуку, как нечто такое, чего нельзя избежать» [2]. Даже когда его спросили, каково у него впечатление от Парижа, он, смеясь, ответил в своем типично парадоксальном духе:

— Похож на Одессу, но Одесса лучше!

Позже по этому поводу он скажет: «Сперва я «отрицал» Париж и даже пытался его игнорировать. В сущности это была борьба варвара за самосохранение. Я чувствовал, что для того, чтобы приблизиться к Парижу и охватить его по-настоящему, нужно слишком много расходовать себя. А у меня была своя область, очень требовательная и не допускавшая соперничества: революция...» [3]

---

[1] Лев Троцкий. Дневники и письма. Нью-Йорк, Эрмитаж, 1986 с. 164—165.
[2] Л. Троцкий. Моя жизнь, т. 1, с. 172.
[3] Там же.

(Продолжение следует).

Борис ЕВСЕЕВ

Вторая смерть

* * *

Бедный Осип жил под крышей, жил в подвале,
И к нему ходили крысы, и влетали

Пауки с густою челкой и кокотки,
И солдаты с не разлитой в чашки водкой.

И швырял в себя он пепел горстью боли,
И давал пощупать ребра хищной доле...

А Иван Великий жил в хмельном Париже:
Выше лестницей, главою скорбной ниже.

Жил в Париже, жил слабея, тяжелея,
Задыхаясь в крутовьющихся аллеях...

А сейчас они в зеркальных снах, как спички,
Выгорают равнотой чернобольничной.

Ждут-пождут, да не дождутся вознесенья,
Из-под тяжких плит незнанья и сомненья...

Рядом с ними мы умяли в домовину
Свет-Бориса да причудницу Марину,

И четвертую — с ребром, шестого — с плачем
О равнине нашей пытанной, незрячей...

И теперь хотим над болью, кровью, дымом,
Запустить их шестикрылым серафимом,

Сконструировать полет чудно́го тела
Над рыдающей тщетой и чернью зрелой.

И в шесть крыл мы, может, мир и переможем,
Да войдем по очи в землю... Боже, Боже,

Бедный Осип, бедный гость наш, бедный мир наш,
Мягко едущий впотьмы на битых виршах...

«Танец короткой жизни»

Гудит и ломится помост,
День волочит свой жалкий хвост,
И мрет в базарной жиже
Танец короткой жизни.

Танцует недовитый хмель,
В сквозящем платье гниль и цвель,
Танцовщицей Завета
Пересекая лето.

Ее зовут Ля Бель Амур,
Я видел сам ее сквозь смурь
Плавучек ресторанных
И цирков полудраных.

Ее смотрели в лагерях,
В ГК при запертых дверях,
Сквозь мертвые завесы
Полуулыбок тесных.

Горел, горел мой лучший час,
Когда она плыла, светясь,
И над столами висла
Плоть жизненного смысла.

— Во чешет, лагерница, вошь! —
Орали силачи, и нож
В пустой салат роняли,
И с нею жен равняли.

— Холуйка, дура, отломись! —
Визжали женщины, и в слизь
Ступали зло и косо,
И резали ей косы...

Она тогда не умерла,
Сошла к воде, ревя, пила
И начинала снова
Танец любви и крова.

А смерть стояла за углом,
С тяжелой гирькой, со свистком
И подвывала тихо
В такт бедности и лиху.

Смерть! Смерть! О, смерть!
Взгляни ж на сад,
На то, как лепестки летят,
На то, как нет надежды,
Как тлеет ком одежды,

И как дрожит в тоске слепой
Твой образ, смерть, твоя любовь,
Одетая на тризне,
На этой жадной крутизне,
На карнавальном этом сне,
Лишь в танец краткой жизни.

* * *

Погружено в летящий камень детство.
Пестра, крута и говорлива юность.
Багровый рост багровой тени за спиною — зрелость.
Какая смерть — не знаю.

Тяжел и страшен передзимний космос.
Земля безудержна и безответна.
Всю мякоть выклюют, а над рекой, в росе,
Каленой косточкой любовь присохнет...

Но опять, но снова:

Жизнь будит жизнь и жизнь погубит жизнь.
Дол полон дыма, но сыры тропины.
Умолкло детство и трубят пустоты.
Угнало ливни и печаль восходит,
Сквозь радостную и орлом, и решкой,
Решетку мелколесья... Смерть же скорость
Звезды
И долгожданное крыло...

В конце опомнишься — нет пуха и свинца.
В конце стиха опомнишься — нет жара,
Стоишь один и смотришь на туман,
Лизнувший волчьи ямы и болотца,
Стоишь на холоде и смотришь, как из лунок,
Восходят, вместо сгубленных деревьев,
Фонтаны славы, смерти и любви.

О, мир! О, зерны!
О, пир! О, зверы!

* * *

Дух живет, где хощет,
А душа, где может:
Вселится на ощупь
И скулит, и гложет.

Сквозь виенья строчек,
Тесноту угара
Все слезит нам очи
Невидимкой пара.

Душат ее петли,
Гасят крики, трубы,
Растирают в пепле
Силачи и трупы.

Прогрызают вещи,
Вхруст сосут вампиры,
Содрогаясь хлещет
В таз держатель пира...

И к бездонной ночи
Рвется она с кожей.
Дух живет, где хочет,
А душа, где может...

* * *

Я стал просыпаться от стука,
От внятной твоей трепотни,
Последняя в мире разлука
Перед постиженьем любви.

Так сладко —
трезубцем в лопатку —
Ударит отцовская кровь,
Что кинешь хоть славу,
хоть шапку
И выберешь вольный покрой

Коримого черного неба,
Густого, как ночью вода,
Ведущая скоро и нежно
Не знаю, не знаю куда.

Так нежно, сквозь трубы охраны,
Сквозь толпища веток и риз,
Сбивая навесы и брамы,
Летишь человечиной храма...

А руки оборваны вниз.

* * *

Последовать за гибнущим пером,
Гнать его тихо, как пустой паром.

Последовать за гибелью пера,
За праздником доски и топора.

Перемолчать о том, что знает мир,
О чем он позабыл сказать «забыл».

Прошелестеть о празднике смертей
В один из дней, великих наших дней.

Поставить день ребром, как сохлый лист.
Гнать сквозь него охотников и лис,

Гнать сквозь него укрытых пеленой
Девственных женщин, вмешанных тобой

В кровавый сад, в туман зерна с вином,
В гусиный шаг, в травы железный звон,

Когда, оттиснув лиры на песке,
Качнувши жизнь на тонком лепестке,

Срывая корку горести с ключиц,
Они одежды смахивают сниз...

Итак, последовать за пляшущим пером.
Гнать его косо, как пустой паром.

Последовать за сутью и добром,
Когда нх с лодки валят. За бортом

Прохлада, робкий ор и тайный смысл,
Густой песок и тихий бег весны.

О, ход стиха! Подводный, легкий ход!
Когда мой ум бежит наоборот,

(Вернее, просто задом наперед,
В обход всех правил, всех путей в обход,

Восьмеркой, колесом, вниз, вглубь, вперед,
Наоборот, наоборот, наоборот!)

И обрывается, как неразумный пир.
И здесь приходит вдох и вечный мир...

Но все ж последовать за гибнущим пером,
Вести его, как душу: напролом.

* * *

Собаки, соловьи и дым над сизой речкой.
Рябая слепота, плывущая в глаза.
И тяжкий в горле ком, не осложненный речью,
Не расфасованный на сны и голоса.

Вот это — наш рассвет. Еще прибавить только
Мою нерасторопь, сомненья и слезу,
Уже застывшую колючей, мертвой солью,
Врезающейся в ранки, словно суть.

Собаки, соловьи. И дым, как дух, летает...
И рифмой не помочь, никак не закрепить
Сознаний и времен прерывистую нить,
И разве только кто-то прочитает:

«Любовь, рябой рассвет, собаки, соловьи.
Вот это — наша жизнь, ни больше и ни меньше.
Любовь, любовь, вино... и ад, и ад кромешный!»

Георгий СЕМЕНОВ

Сумрак вешних дней

РАССКАЗ

Благословите меня, люди добрые, дайте силу изобразить апрельский радостный день, обновленную после зимней стужи, залитую влагой и солнцем равнинную нашу землю, преющую в весеннем тепле; услышать гомон в небе, и на воде, и в березовых лесах, белеющих окрест, как отражение облаков; рассмотреть с птичьего полета путаницу кривых наших дорог, непролазных в весеннюю распутицу; увидеть и серую деревеньку среди березняков с прилегающими к ней тощими полями, увязший в хлябях по самую кабину трактор с тележкой, в которой тряслись недавно старушки в полотняных платках, ездившие, как в палестинские земли, святить куличи в неблизкое сельцо; узреть и церквушку, травянисто-зеленая маковка которой вознесла в небо золоченый крест, блистающий искоркой над туманными лесами. Согласитесь, зрелище редкое по нынешним временам.

В городе пыль вихрится на асфальте, почка сирени тянется к солнцу, щурясь зеленым глазом. А в пригородках по ночам еще стынут мутные лужи, белый лед хрустит стеклом под ногами, грохочет в звездной тишине. Снег синими языками высовывается в утренних сумерках из леса, прочный и ноздреватый, как камень, могущий не только человека, но и лося удержать на своем жестком черепе.

Лишь к полудню размоложенный снег заблестит слезой, влажно зашепчется, как живой муравейник, сочась струйками влаги. Ручьи взбуравят размягченную землю, забормочут в оврагах, зашумят, заливая низины мутной водой. Бугры и пригорки воспарятся под горячим солнцем, собирая вороненых грачей и всякую пеструю мелюзгу в свою теплынь.

Оплывшая пашня навязнет на ногах глиняными лаптями, повиснет веригами, мучая смельчака, решившего сократить путь к охотничьим угодьям. Полуживой доберется он до сухого дерна и, сбросив свинцовые грузы с сапог, почует вдруг чуть ли не птичью легкость в теле.

После такой маеты кажется: взмахни руками — и оторвешься от земли, полетишь над розовыми вершинами березняка, над синими разливами вспученной речки, над болотами, принявшими со всей округи снеговую воду — кормилицу перелетной твари, плавающей, бегающей на ходульках, порхающей над затопленными кустами.

Душа зазвенит жаворонком в голубой испарине неба, кровь играет, напоенная живицей весеннего воздуха,— ликует человек.

Каурый жеребчик степной породы, приземистый и лохматый, двух годов от роду, шляется по двору, как большая собака, попрошайничает, не дает покоя молодому охотнику, который сунул на беду свою в черные его губы краюшку хлеба. Двор большой, земля, устланная мокрым, прелым сеном, пахнет забытым детством, щекочет ноздри. Конюшенка, где живет Каурка, распахнута настежь, несет оттуда парным лошадиным духом, смешанным с запахом сена. Воробьи стайкой выпархивают из открытых ворот. Грачи ворчат на березах, подправляя рыхлые гнезда. А коняга стоит передними копытами на ступенях крыльца, ищет глазами, высматривает за стеклами

нового своего друга, отфыркивается, сопит в нетерпении, бьет порожек тяжелым копытом.

Друг боится выйти из охотничьего домика, потому что хоть и невелик лохматый конь, а чуть ли не наступает на пятки, кладет голову на плечо, подталкивает в спину, почуяв слабину в хорошем человеке, угостившем его хлебом. Глаза дурашливо-умные, лиловые, как машинное масло на свету, а голова большая, тяжелая, пыхтящая горячим паром. Того гляди затолкает широкой грудью, задавит копытами.

— Ну, пошел, пошел,— тихонечко говорит ему угнетенный друг.— Хватит с тебя.

Но коняга знать ничего не знает, жмется к нему, ластится, не соизмеряя нежности с силой и мощью налитых мускулов.

Все, кто есть во дворе, посмеиваются над новой этой дружбой. Парень и сам тоже не прочь посмеяться, хотя и не до смеха ему, потому что Каурка не дает прохода, преследует, требуя нового лакомства.

— Всё! — смеясь, машет рукой директор базы.— Не отстанет теперь, так и будет ходить. Вы его не бойтесь, он не кусачий, добрый конь. Шлепните его по морде, может, отстанет.

— Да как это?! — откликается парень из-под лошадиной головы.— Ну, пошел отсюда! — пробует кричать он на коня.— Пошел, говорят тебе.

Но Каурка будто и не слышит голоса вежливого москвича, который и рад и не рад такой корыстной любви жеребчика. Пробует бегом убежать, но какое там! Еще страшнее наседает разбежавшийся рысью конь, толкает в спину, чуть ли не сшибая с ног.

А громче всех смеются, надрывают себе животики две девушки, одна из которых племянница директора, взявшая с собой подружку погостить на Пасху к дяде. Они-то смеются от всей души, будто в цирке. Смотрят из открытого окошечка гостевой комнаты, куда поселил их директор, и хохочут до слез.

— Чего смеетесь? — говорит им директор.— Чего парня смущаете? Сразу видно — добрый человек. К плохому конь не пристанет, он плохого за версту чует. А вы смеетесь, сороки!

— А мы и не над ним! — сквозь смех отвечает одна, отфыркиваясь, как лошадка, обдувая с лица тонкие прядки растрепавшихся волос.— Мы просто так. Смешно.

Хозяйство это зимнее, известное зверовыми охотами. Весенние и летние тут не славятся. Вальдшнеп весной, а летом, в августе, на открытие, можно уток пострелять, но через два-три дня вся местная утка уходит на большую воду, угодья пустеют до сентября, до желтого листопада, когда опять тут появляется пролетный вальдшнеп. Но охота на него доступна только с опытной легавой.

Потому и пустует база. Весной тут и не ждут охотников. За тот срок, на который открывается охота на вальдшнепа, пять-шесть человек посетят далекое хозяйство, не больше.

И вдруг под Пасху, когда никого уж никак не ждали, приехал этот парнишка с ружьем, предъявил билет и путевку: пришлось селить его в пустую комнату, одного в трехместную, звать егеря...

— Чего тебе дома не сидится? — сказал ему егерь, чуть постарше его возрастом.— Пасха все ж... Праздник!

— А чего дома! Я охоту на вальдшнепа больше всего люблю. Это главный мой праздник. А потом, что ж... Я бутылочку захватил, мать яичек дала крашеных. У меня тоже Пасха! Сходим сегодня, а в полночь разговеемся... Если хочешь, конечно.

— Спасибо, меня дома будут ждать.

— Как хочешь. Может, кто еще приедет. На это дело друга всегда найду.

— Никто больше не приедет,— сказал егерь.— Да и тяги не будет, ребро сломанное ноет,— добавил он, потирая грудь.— Я, как старик, погоду чую... Ты с девками выпей, весело будет. Они, видал, как над тобой смеялись? Это недаром. Ты учти на всякий случай. Дело верное! Как зовут-то?

— Володя.

— Ну давай пять, Володя, меня Сергеем зовут. Если разыграется заря, пойдем часиков в восемь, тут идти-то... Договорились?

А Володя про коня спросил с застенчивой улыбкой, словно про любовь:

— Чегой-то он такой чудик?

— Баловник! Его охотники зимой избаловали, вот и привык. Ты ему по морде дай, он отойдет, обидится и отойдет.

— Ну что ты?.. Зачем? — смутился Володя.— Хороший коняшка. Я таких лохматых даже и не видел. Во! Весь в его шерсти! — говорил он, снимая с одежды каштановые волосы.— Мне бы такого! Во было бы! Никакой автомобиль не нужен. Сел и поехал куда надо, куда и на автомобиле не проедешь. Правильно я говорю?

— Правильно, Володь, правильно... Только хлебушком его не прокормишь.

— А почему? Бензин сколько? Сорок копеек за литр, а хлеб — двадцать за кило. Дешевле, чем машина. Держать негде — другое дело. А так-то... я бы завел.

Егерь Сергей окинул его взглядом, смерил с ухмылкой и, подумав что-то нелестное о госте, который смотрел на него с простодушием ребенка, поднялся с табуретки и, со вздохом сказав:

— Договорились,— вышел в солнечную прохладу.

Слышно было, как он раздраженно гаркнул на коня, обозвав лодырем, и как Каурка глухо стукнул копытами вразнобой по сырым ступеням крыльца и, отфыркиваясь, побежал по мягкой, мокрой земле. Послышался в тишине дня утробный шум молодой его плоти, пришедшей в движение, словно и ток крови, и дыхание, и вязкий перестук костяка слились в один живой гул, и гул этот описал в воздухе дугу и замер.

Из особенной, сторожкой тишины пустого дома Володя даже увидел, представил себе внутренним взглядом лохматого своего друга, который рыжим силуэтом стоял под березами с грачиными гнездами, чутко притаился возле зеленых елочек, провожая озорным глазом сердитого егеря, прогнавшего его с крыльца.

Представив себе эту картину, он улыбнулся с такой радостью, что даже мурашки прошлись по всему телу, пронизав иглистым морозцем.

В этот день он очень нравился самому себе; ему нравилось, что на ногах у него болотные сапоги с отвернутыми верхами и что эти сапоги сделаны в Чехословакии; ему нравилось, что брючный ремень туго затянут на поджаром животе, что серый свитер обтягивает грудь, что нигде ничего не болит у него и в любой момент он может сорваться с места, прыгнуть с крыльца через ступени на землю и пробежаться по двору, дразня веселого коня. Но особенно нравилось ему, что в угловой комнате пустого дома, отделанного изнутри светлой дощечкой «вагонкой», как ее называют строители, в глубине полутемного коридора, за дверью жили две смешливые девушки, перед которыми ему не терпелось покрасоваться в новых сапогах.

Еще подходя к охотничьей базе, измучившись на вспаханном поле и загнанно дыша, он, прежде чем войти во двор, долго топтался в крупенистом снегу, отмывая в рассыпчатой звенящей мокряди глину с сапог. Безжалостно мял зимнюю белизну, будто помогал весне, истоптав ее коричневыми следами. А потом, увидев прозрачную лужу в прошлогодней траве, отмывал в ней остатки вязкой глины. Пальцы ныли от холода, кожа покраснела и жгла ожоговой болью, но зато сапоги блестели, как лакированные. Крепкие и удобные, на круто изогнутых, ребристых подошвах, они колесиками катились по весенней земле, доставляя удовольствие длинным ногам, легко несущим хозяина туда, куда просила ликующая душа.

Он не уставал любоваться сапогами и, пока директор изучал его документы, следил с интересом, как крупинка льдистого снега, тая, медленно и криво скользила вниз по чистой резине голенища. Ему показалось, что директор, заметив на нем настоящие охотничьи сапоги, холщовую подкладку, белеющую на отворотах, стал называть его уважительно на «вы» и даже улыбнулся, когда он смахнул с носка прилипшую прошлогоднюю травинку.

Теперь один в большой деревянной комнате, он выбрал себе кровать возле окна, привалил рюкзак к тумбочке, собрал ружье, погладив вороненые стволы, и подумал с восхищением, что есть, конечно, ружья куда дороже, чем это, но это самое хорошее, самое удобное и прикладистое, а гладкое ореховое ложе со змеиной насечкой шейки так ласково ложится в руку,

что о лучшем ружье ему и мечтать не приходится. «Простое рабочее ружьишко,— небрежно отвечал он всегда на вопросы любознательных охотников.— Ничего особенного». Но сам-то знал, что лучше его ружья нет ни у кого. Он плохо стрелял, а потому удачный выстрел приводил его всякий раз в состояние, близкое к экстазу. Он бежал к упавшему вальдшнепу, ломясь сквозь кусты, и чуть ли не кричал от восторга, задыхаясь в страшном волнении и боясь заранее, что не найдет в потемках упавшую птицу.

Бывало и не находил. Одолевала его тогда тоска. Он вздыхал с шумным стоном, жаловался на неудачу, рассказывал, как ждал вальдшнепа, как слышал стук падения на землю, как обыскал он все вокруг, высветил все фонариком, каждую кочку, каждую ветку, каждую елочку, но — не нашел. «Ах, жалко-то как! — говорил он, горюя.— Ведь лежит где-то там, может быть, прошел над ним сто раз, может, и наступил, а вот досада какая — не заметил, не высмотрел его, будто сквозь землю этот вальдшнеп провалился. Вот чего не люблю! Собака нужна! А мать с отцом слушать не хотят, не понимают ничего. Вот ведь что обидно!» — чуть ли не плакал он. И никто его не мог успокоить тогда.

Но теперь он снова полон надежд. Достав из рюкзака кожаный патронташ, тяжело набитый патронами, отстегнул крышки сумок и придирчиво оглядел патроны. Пеньковые гильзы были красного и зеленого цвета, и на каждой круглилось черное изображение взлетающей из камыша утки. Дробь седьмого номера была и в красных и в зеленых гильзах, что вызвало в нем мимолетный протест, потому что было бы куда удобнее, будь семерочка в зеленых, а шестерочка в красных. Но в конце концов это неважно, лишь бы пыжи были хорошие... Древесно-волокнистые ни к черту не годятся, не идут в сравнение с войлочными просаленными пыжами. Ладно, ничего, вальдшнепу и этого будет достаточно — легкий на рану.

Как бы для порядка, для удобства предстоящей охоты вытащил он из левой сумки крайний справа патрон, снаряженный шестеркой, ощутив в пальцах свинцово-скользкую тяжесть, и запихал на его место патрон с семеркой, чтобы, придя на тягу, привычным движением руки вынуть из левой сумки патронташа два патрона, один с семеркой для правого ствола, а другой с шестеркой для левого. Представил себе, как он стреляет налетевшего вальдшнепа семеркой и промахивается первым выстрелом, но из левого ствола догоняет его, уже почти скрывшегося за березой, и видит, как вальдшнеп темной каплей проваливается в сумрак елового подлеска. «Ах! Ура! — восторженно думает он, словно поменяв местами патроны в левой кожаной сумке, он обеспечил себе успех.— Вот теперь ура!»

И кажется ему в этот голубой день апреля, что обязательно он будет с добычей. «Трех взял,— скажет небрежно егерю Сергею,— трех угомонил... Трех! — думает он, нетерпеливо поглядывая в окно.— Вот было бы, если бы трех... Мечта, а не охота!» — А сам трогает кожаную ногавку на ремне, хорошо смазанную свиным салом, мягкие, жирные ее ремешочки с кольцами, на которых ни разу еще не болталось больше одного вальдшнепа, и душа его млеет от волнующей картины; идет, а по ляжке, обтянутой до паха резиной, постукивают битые вальдшнепы... И голос свой слышит, спокойный и рассудительный, каким он объясняет посрамленному егерю Сергею искусство стрельбы влет: «Чуть впереди носика, но главное — не останавливать движение ружья и плавно на спуск. Он и твой! Куда ему деться?» «Это, конечно, уметь надо»,— соглашается с ним егерь, который стрелял раз пять, дуплетил из своей пушки-чумы — и все мимо...

Он так увлекся мечтами, так далек был от самого себя, что застал себя сидящим на кровати с зачарованной улыбкой на лице. Конь отвлек его стуком копыт о порог крыльца.

— Во, дурной какой! Выйти не даст,— сказал он удивленно и услышал голоса девушек, которые чмокали губами и окликали коня по имени: «Каурка, Каурка, иди сюда! Чего смотришь? Иди, хлебушка дадим».

Он встал, потянулся, услышал, как скрипнула новая резина на ногах, учуял ее теплый, еще не выветренный запах и решил, пока есть время, познакомиться с соседками. «Надо,— подбодрил он сам себя.— Надо, конечно, а то неудобно получается. Жалко только, что конфеток нет никаких. А то бы шоколадные конфеты, то да се... Привет из Москвы. Нет, все равно... Надо, а то неудобно».

Володя Иванов никогда в короткой своей жизни не испытывал затруднений на этот счет. Он не знал робости перед девушками, как иные ребята, не ведал смущения и легко начинал разговор с любой из них, если, конечно, не нарывался на дуру, каковыми он считал всех, кто не хотел с ним знакомиться. Воспитанник яслей, детского сада и смешанной школы, он к девушкам относился с тем неравнодушным вниманием, какое каждая из них, по его мнению, заслуживала: если попадалась очень симпатичная, он не скрывал от нее своего изумления, если не очень симпатичная, был снисходителен к недостаткам ее внешности, если совсем некрасивая, а приходилось знакомиться, разговаривал с ней, как с хорошим товарищем, как с парнем, не обращая внимания на ее лицо и фигуру. Каждой новой знакомой он говорил на прощание: «Счастливо!» Но с красивой старался условиться о свидании, с той же, которая не очень, мялся в нерешительности, дожидаясь с ее стороны первого слова на эту тему, а с некрасивой расставался навсегда и, если случайно опять встречался, был ровным с ней и приветливым, как и в первый раз, ничего не обещая и не навязываясь.

Эти две были не очень симпатичными, на его взгляд, но для знакомства вполне подходящими, потому что после тяги все равно будет долгий вечер в пустом доме, будет Пасха и можно будет под «Христос воскрес» поцеловаться, а там, глядишь, и обнять какую-нибудь из них и заманить к себе, особенно ту, которая громче всех смеялась над ним, с коротеньким носиком, губастенькую.

С этими мыслями он и пошел, топая резиной по дощатому коридору, словно девушки не Каурку звали, а его, не Каурке чмокали губами, а ему, обещая хлебушка.

Громко и решительно постучал в еловую дверь с темными мелкими сучочками, чуть приоткрыл ее и спросил в щель:

— Можно?

Ответа не услышал и, приняв молчание за согласие, отворил скрипнувшую дверь. Вошел в комнатку и расплылся в улыбке, увидев девушек. Они навалились животами на подоконник распахнутого окна и, свесившись наружу, кормили Каурку, гладили его жесткий, костистый храп, что-то ласковое говорили ему размягшими от нежности голосами.

Володе так понравилась эта картинка, так понравились девушки, встретившие его туго натянутым синим трикотажем и заголившимися поясницами, что он рассмеялся, словно встретил старых знакомых, и сказал, как недавно сказал директор:

— Ну все! Теперь не отстанет. Теперь он ваш. А я свободен! Ура!

Девушки бросили коня, гибко вывернулись, быстро поправили свитера и почти одинаковые по цвету одежды, дружно сказали в полной растерянности:

— Ой, ну чего это вы? Что вам тут надо?

— Как это, что надо?! Я знакомиться пришел — под одной крышей живем. Меня зовут Володя. А вас?

Девушки переглянулись, одинаково выпятили губы в знак крайнего недоумения, и Володя заметил, как одна из них, наверное, племянница директора, быстро окинула глазами вещички, разбросанные по кроватям, по тумбочкам, задержав торопливый взгляд на кассетном магнитофоне, плашмя лежащем на столе.

— Ясно,— сказал Володя.— Провинция. Не украл, не украл. Не крадем!

— Ах, какая столица нашлась! А ну, пошел отсюда, пошел, Вова! — говорила все та же из них, которую Володя назвал про себя «племянницей». Другая молчала и в крайнем смущении, не понимая резкого тона подруги, прятала глаза под ресницами.

Она-то как раз и понравилась Володе. Но пришлось уйти ни с чем, хоть он и запомнил напряженные сильные ноги своей избранницы, ее гладкую, как морской камушек, туго натянутую кожу поясницы с мягким бугорком позвонка.

«Ну надо же, какая хорошенькая,— думал он, возвратившись в свою комнату.— Сразу-то я и не разглядел. А вторая — дура!»

В таких случаях он не обижался, не тратил нервы, не строил из себя оскорбленного, а тут же забывал о своей неудаче, как забывал о промахе на вальдшнепиной тяге, зная, что не один еще вальдшнеп вылетит на верный выстрел.

«Пойду-ка сейчас с конем поиграю»,— подумал он с новой радостью, и пружинистые ноги вынесли его на крыльцо.

Но Каурке засыпали свежего сена в кормушку, и он жевал его, зайдя в загончик перед воротами конюшни, осиновые жерди которых были добела обгрызены, будто тут поработал своими резцами лось.

Володя передернул лопатками от внезапного холода, который пробрался под мягкий свитер, и, подумав, что перегрелся в теплом доме, с тревогой услышал протяжный шум леса. Тишина, которая только что томила душу застоявшимся солнечным жаром, далекими и близкими птичьими голосами, всяким иным звуком, рождавшимся на оттаявшей земле,— тишина эта вдруг куда-то запропастилась, сметенная, как метлой, острым ветерком.

Розовые макушки березок покачивались в замутневшемся небе, грачи разворчались, чернея на старых березах, почуяв что-то неладное в холодном ветерке, который и по земле тоже шнырял, шаркал метельками, поднимая вдруг на воздух какой-нибудь прошлогодний листик, промелькном своим напоминающий ожившую шоколадницу, или шипя резким порывом в зеленых иглах елочек, которые тоже, как живые, дрожали, шевеля лоснящимися лапами.

Но главное, что встревожило Володю, была текучая, белесая муть, затянувшая небесную лазурь и недавно еще слепкое солнце, на которое невозможно было смотреть. Теперь оно горело шариком над лесом, резко очерченное в своих границах, белое, как дневная луна, и холодное.

С резким дребезгом стукнула о стену дома оконная рама, заставив Володю оглянуться. Он увидел девушку, которая тянулась рукой к распахнувшейся раме. Ее коротенький носик морщился в досаде, а глаза нарочно не смотрели на него, занятые этой рамой, до которой она никак не могла дотянуться.

— Эй! — окликнул ее Володя.— Ты чего? Ветер, что ль? Видала, как погода портится?.. Плохо дело! Подожди, я щас...

Он одним прыжком подскочил под высокое окно, удивив девушку, заставив ее отпрянуть, но, прежде чем отдать раму в ее руку с бледно-розовыми ногтями, в руку, которую он в оторопи принял за руку юной богини, уловив в мгновенном этом ослеплении нежный ее запах, пригвоздивший его к стене дома вопиющей своей нездешностью,— прежде чем передал в эту руку хлипкую раму с облупившейся краской, он спросил, не надеясь на ответ:

— Ты откуда такая? Как тебя зовут? — спросил, не спуская с нее глаз и держась рукой за шаткую раму.

В этот момент руки их соприкоснулись скользящим движением, тепло ее руки вошло током в него.

— Как тебя зовут? — испуганно повторил он вопрос, услышав дрожь в своем голосе.

Но девушка уже захлопнула раму и, смеясь, показала ему язык из-за стекла. Она словно бы растворилась в этом стекле, освещенном белесым солнцем, он увидел только смеющиеся ее зубы, заметил блеск смеющихся глаз, а лица как будто уже и не было там, за глянцево-блестким стеклом, в котором отражались березы.

Дымчатая мгла немилосердно затягивала небо. Солнце совсем потерялось в хмари, которая, казалось, скользила так низко над землей, что и макушки старых берез затуманились, обволоклись ее нависшим мраком. Земля, только что блиставшая радостью чистых красок, выцвела, и над ней вдруг злобно и мстительно мелькнули мятущиеся по ветру снежинки.

Этого Володя никак не ожидал. Время для него словно бы остановилось, сделалось ненужным, бесполезным, потому что он со всей очевидностью понял, что вальдшнеп в такую непогоду не полетит и тяги не будет.

— Снег! — в отчаянии крикнул он директору, который вышел из конторы и, вдевая замочек в молнию нейлоновой куртки, застегнув ее до самой шеи, огляделся, не расслышав крика охотника.— Я говорю, снег-то, а?! — снова завопил Володя.— Неужели надолго?

— Весна! — откликнулся директор с веселым удовольствием в голосе, точно радуясь, что тяги нынче не будет и вальдшнепы останутся в живых в этот ненастный, похолодавший вдруг вечер.— Весна днем красна! — добавил он, повидавший в бытность свою директором базы столько крови, столько страдальчески смотрящих на него огромных печальных глаз раненых лосей, которых приходилось добивать выстрелом, что сердце его ликовало, когда не удавалась охота и раздосадованные стрелки уезжали домой пустыми. Радости своей он, конечно, не показывал, сочувствуя охотникам, был предельно вежлив с ними, лишь бы они не заподозрили его в тайном злорадстве.

А сегодня, в день великой субботы, в канун Пасхи, он не скрывал ее, догадываясь простым умом своих пращуров, которые все до единого были верующими христианами, что убивать живую тварь в эти дни грешно. Как бы там ни было, а вот грешно и непростительно, если убьет человек на Пасху живое существо, которое, как мнилось директору, ярче, чем человек, чувствует радость жизни в эти светлые дни...

— Да вы не унывайте! — сказал директор молодому охотнику, на волосах которого уже густо белели снежинки и который, не веря своим глазам, смотрел и смотрел на разыгравшуюся метель.— Вон и девчата у вас под боком, познакомьтесь. Племянница моя приехала с подружкой: хотим, говорит, Пасху в лесу встретить.

— Не хотят! — с досадой откликнулся Володя, жалуясь директору на снег и на племянницу, на все, что творилось вокруг.

— Чего не хотят?

— Знакомиться...

— А вы пытались?

— А как же!

— Ну это дело мы поправим,— сказал директор с усмешкой.— Пойдемте-ка, я вас сейчас познакомлю. Что за порядки такие! — говорил он.— Знакомиться не хотят... А вы идите в дом, простудитесь здесь, вон как крутит. Идите, идите...

— Не надо... Я вообще-то сам... А то... начнут опять,— заупрямился Володя, которого директор взял под локоть и повел в дом, испытывая, видимо, к нему добрые чувства и желая хоть как-то утешить. А Володя хоть и упрямился, но уступил напору директора и, подчинившись, вошел вслед за ним в комнату, где поселились девушки.

Было сумрачно в деревянных ее стенах, за стеклом бешено крутились снежинки, бились в него с сухим шорохом, взвихривались снизу вверх, влекомые посиневшим от холода ветром.

Девушки, пригорюнившись, сидели на кроватях, и Володя увидел, как смутилась и опустила глаза та, которая показала ему язык.

Он не ошибся, что «дура» была племянницей директора. Она и теперь пфыкнула удивленно и не назвала своего имени, за нее это сделал директор, сказав, что ее зовут Мариной.

— Марина, Марина,— ворчливо подтвердила она.— Дядя Вася, что ж погода-то так испортилась? — спросила она, как будто дядя не сумел обеспечить ей хороший вечер в лесу.

— Сидела бы дома,— отозвался дядька.— Не на аркане тянули. Видишь, какого кавалера привел, а ты все недовольна. Назовитесь, кавалер!

— Да уж назывался! Володя,— вяло сказал «кавалер», волосы которого блестели росой от растаявшего снега.— У меня, между прочим, тоже,— добавил он с обидчивой заминкой,— тоже крашеные яйца есть и кое-что еще. Думал, охотники будут, а никого...— Сам же искоса смотрел на свою избранницу, которая хмурила остренькие брови, сводя их чуть ли не к зрачкам, к серой радужке улыбчивых глаз, стараясь скрыть свою тайную радость.— После охоты думал разговеться, как полагается. А тут никого.

— Как это никого? — воскликнул директор.— А они на что?

— Они — это другое дело, — со вздохом сказал Володя. — Тебя как зовут? — робко спросил он у девушки, которая вся вдруг потемнела лицом и едва слышно ответила сухим голосочком:

— Катя.

А директор вздохнул, сказал, как сквозь зевоту:

— Вы уж тут, детки, не ссорьтесь. День сегодня такой, знаете ли... А я пошел. Газ в баллоне есть, не забывайте только выключать плиту и чтоб огонь не залило... Не мне вас учить, но все ж таки напомнить не грех. А вы, Володя, не смущайтесь. Девчата хорошие...

— Я и не думаю даже! — удивленно сказал Володя.— Что ж теперь.

Охоты не будет,— тоскливо добавил он.— Эх, жалко! Так готовился... Главное, сапоги хотел обновить, может, думал, везучие сапоги-то... А они вон что...

Директор, смеясь, ушел. Ветер за окном утих, а в синем воздухе ровно и тихо, густо летели и летели к земле пушистые снежинки. Снег визгливо захрустел под сапогами, когда Володя, страдая, вышел опять на крыльцо, все еще надеясь на что-то.

Но сумеречное пространство было так плотно заполнено падающим снегом, что если бы вальдшнепы даже и полетели, то за снегом их не было бы видно. Он с сожалением еще раз убедился в этом и, проклиная весенний снег, морщась, как от зубной боли, вернулся к себе, достал из рюкзака хлеб, колбасу, сахар, масло в белой, плотно закрывающейся коробочке, нащупал крутой стеклянный бок бутылочного донышка и осторожно вытащил ее, целехонькую, на свет. Собрал все в охапку и пошел к девушкам. Постучался ногой в дверь, пихнул ее плечом.

— Вот,— сказал он обреченно,— принес. Пусть у вас уж будет, может, позовете. А то мне одному скучно.

Вид у него был такой жалкий и печальный, что девушки смилостивились над ним, приняли из рук его еду и питье и молча согласились быть кормилицами несчастного парня.

— Мы только водку не пьем,— сказала Катя тоненьким детским голосочком, какой, наверное, и останется у нее на всю жизнь, приобретя уже навеки игривую и капризную нотку, словно бы ее обидеть все время хотели, а она защищалась этим козочкиным голоском, лепетала что-то, обезоруживая недруга.

— А вы что привезли, вино? — спросил Володя, не сомневаясь, что они тоже кое-что припрятывают.

— Мы? — Она вопросительно и испуганно посмотрела на подругу.— Мы — вермут...

— Чинзану, что ль?

— Чинзану,— ответила за нее строгая, едва оттаявшая Марина.— А это что? — спросила она, вертя в руке пластмассовую коробочку.

— Масло. А, между прочим, водка с вермутом — такой коктейлик получается! Надо водку охладить. Тут вроде бы на кухне холодильник? И вермут тоже туда. Эх, девушки, погуляем сегодня! — воскликнул он вдруг с беззаботной радостью, словно вся его душевная хворь прошла мгновенно, как если бы он только и добирался сюда, чтоб погулять с девушками.— Жалко, друга не уговорил. У меня друг хороший, веселый, как я. Знать бы, гитару можно взять.

— А вы на гитаре играете?

— А что ж! Играю, пою. Сам, правда, не сочиняю, не получается, а так пою, какие знаю. У нас почти что все играют и поют, конечно. И-их, мама родная! А яички-то где ж? Неужели дома забыл? У меня еще сыр там есть, правда, не настоящий, белый такой, круглый, как лепешка, забыл название. Ничего сыр... О-о, забыл совсем, чай индийский! Сейчас принесу. Пир устроим! Раз охота сорвалась, будем пировать.

Катя пропела обиженным своим голосочком:

— Это хорошо, что сорвалась. На Пасху нельзя. Грех.

Он внимательно посмотрел ей в глаза, хотел сказать, что ему сегодня все равно хочется грешить, но промолчал, почувствовав слабость в ногах от прямого взгляда этой пискухи. Он заметил, как трудно ей было выдержать свой взгляд, пообещавший ему такие радости, что он испугался даже, попав во тьму серых тучек, в зябкую дрожь подчерненных тушью ресниц.

Марина тем временем занималась хозяйством, доставая из сумок провизию: банку с вареньем из черной смородины, рыбные консервы в томате, жареные пирожки, запах которых с жадностью уловил Володя, проголодавшийся за день,— шуршала бумагой, разворачивая свертки и сверточки, выкладывая всякую всячину на алюминиевый шаткий столик с голубой столешницей, на которой уже тесно стало от всевозможных яств.

Володя забыл про вальдшнепов и только щурился в масляной улыбке, как будто ему впервые в жизни повезло на охоте.

— Елки-палки, варенье,— говорил он, шепелявя расслюнявившимися губами.— А это что в баночке? Селедка с луком? Ой ты, елки-палки! С маслицем подсолнечным... Ну, гёрлы! Как это вы все дотащили?!

Марина поставила на краешек стола кастрюлю, завернутую в газету, а когда открыла крышку, в нос Володе ударил запах вареной картошки с жареным луком.

— Ой, я не могу! — воскликнул он.— Честное слово! А где же вермут?

— Где полагается, в холодильнике,— строго ответила Марина, польщенная, однако, радостью гостя.

— Я сейчас подохну от голода! — говорил он.— Даже башка закружилась. Честное слово!

Вечер, который только что казался ему пропащим, предстал перед его мечтательным взором заманчивым и веселым праздником. Усталость разлилась по телу теплой истомой и так размягчила его, что он готов был каждой из девушек объясниться в любви, ласкаться к ним, красивым и заботливым, каких он еще никогда не встречал. Он даже не знал уже, кто из них лучше!

— Как хорошо, что снег-то, а? Действительно, грешно сегодня убивать. Пусть живут! Мне и мать говорила, ругалась даже. Но все-таки... Да! Пойду-ка за яйцами схожу... Неужели забыл?

Он, как пьяный, вывалился из комнаты и с перехваченным дыханием, в восторженной поспешности, в туманном полусознании, полубреду ворвался в свою комнату, включил электричество и остановился у порога, забыв, зачем пришел сюда. Увидел ружье, висящее на стене, патронташ с цветными гильзами, валявшийся на столе, потер виски, приводя себя в чувство. Но все в том же бредовом состоянии восторженности, распиравшей ему грудь и мешавшей дышать, добрел до входной двери крыльца и вытолкнул себя на воздух.

Было уже темно на дворе. Все так же ровно и густо падал снег, и слышалось всюду шуршание снежинок — единственный звук в безмолвии, какое окружало его со всех сторон.

Снежинки были очень крупные, сотканные из многих ажурных звездочек, шестигранников и других загадочных кристаллов, будто это были маленькие, белые соцветия, которые опускались отвесно на землю с той медлительностью, какую успевал проследить глаз. В лучах электрической лампочки, горевшей под колпаком на столбе возле крыльца, густое это падение было особенно видно. Мохнатость снежинок, пролетавших рядом с лампочкой, яркое их сияние и то однообразие, с каким опускались они из тьмы неба, почти утихомирили его восторги, испытанные при виде обильной пищи, и перенесли в состояние небывалой еще в жизни тихой и задумчивой радости.

Он стоял под козырьком крыши, улыбаясь и прислушиваясь к шепоту снега, и с удивлением различал в монотонности шуршащего шепотка вкрадчиво уклончивые, цокающие, гулькающие звуки редких капель. Он никак не мог понять, откуда исходили они, пока сердцем не понял, не осознал душой, что горячая лампочка подогревала жестяной колпак, на котором белела шапка снега, и снег подтаивал, роняя тяжелые капли, вонзавшиеся в пушистый покров на земле, буравили его подтаявшую рыхлость, образовав в глубине крохотные лужицы, откликавшиеся на это падение весенним перезвоном.

Ошеломленный этим открытием, Володя подумал, что снег, опушивший электрические провода, ветви и веточки освещенных берез, превративший елочки в белые пирамиды,— снег этот, под которым звучала живая вода, всего лишь наряд весенней земли, в каком она предстала в канун праздника...

Нет, он не мог отчетливо подумать о Сыне Человеческом, не зная в себе веры в Него, но чувствовал, что муки, которые Тот терпел в эти часы, сравнимы с муками всего живого на земле, ожидающего весеннего тепла и обновления.

В глубине белого двора, в стороне, где были ворота, и в противоположной от них стороне, где начинался лес, горели на столбах такие же электрические лампочки, освещавшие снежные хлопья, которые издалека казались сверкающими потоками, льющимися из-под жестяных колпаков. Молоденькие березы в лесной стороне изогнулись, склонили в мучительных поклонах вершинки, обметанные снегом, опустили ветви в отчаянии, земля и елочки, завеянные глубоким снегом, изменив свои очертания, казалось, никогда уже не обретут цвет и радость дневной жизни, никогда а весеннем лесу не запоют птицы, исчезнувшие в заснеженной тьме.

Но в том-то и дело, что Володя, слыша глюкающие капли в глубине снежной толщи, понимал и чувствовал, что вся эта белая громада, навалившаяся на солнечную землю, спадет с нее скоро, прольется новыми ручьями, а земля, перенасыщенная влагой, заблестит, воскресшая, огласится песнями птиц, озабоченных брачными игрищами, и недавние ее муки не останутся в памяти воскресших вместе с землею ее обитателей.

Это он остро чувствовал, умиленный самим собой, присутствующим за весенней земле, понимая себя единственным и неповторимым созданием, лучшим из лучших среди множества подобных ему существ, рожденных для радости. Он знал, что пришел на эту землю по праву быть самым счастливым, не сомневаясь, что жизнь должна открыть для него бездны своих красот, продлить свои нежные минуты бесконечного времени для него, для такого, каким он явился в этот мир.

Среди ночного заснеженного леса, на освещенном крыльце он слушал удары медлительных капель, падающих с разогретой жести колпака, и не было в душе его ощущения начала и конца, приводящего в безысходный тупик человека, глубоко задумавшегося о бренности всего сущего на земле. Он словно бы только что отдохнул и расправил напудренные крылья, вылетев легкой бабочкой на свет, и не помнил, не желал знать себя иным, не задумывался над таинственным своим превращением, отторгнув от себя понятия прошлого и будущего.

Силы жизни угасали в нем, клоня в сон, но он радовался этому, потому что знал, что эти же силы воскресят его к жизни, обновленные сном.

Так он чувствовал себя, держась за деревянный столбец крыльца, теплый под ладонью. А капли, казалось, звучали уже у него в голове, звонко постукивая по затылку и отдаваясь в черепе колокольчиками.

Он еле добрел до своей комнаты, услышав издалека дребезг алюминиевых вилок, привалился головой на подушку, хотел о чем-то подумать, но все вдруг исчезло для него в прекрасном мире. Он уснул, не успев даже стянуть сапоги.

Чья-то жесткая рука, от которой он сердито отмахивался и которая мучила его своей настырностью, выгнала его из блаженства, и он, разозленный, готовый к драке, увидел в сияющем тумане расплывчатое лицо девушки.

Губы ее шевелились, но он не сразу услышал слова, не понимая, где он и что с ним происходит. И, только услышав насмешливый голос, понял, что это Марина, которая смотрела на него из ослепительного тумана.

— Наконец-то! Проснулся,— говорила она, смущая его своей вселенской властью, перед которой он чувствовал себя жалким ничтожеством, распустившим сонные слюни.— Вставай, кавалер. Кушать подано.

— Да-а-а? — удивленно протянул он, с трудом вытаскивая себя, словно за волосы, из сладкого сна и еще не понимая толком, что она от него хочет.— Щас, щас, щас... Я уснул, что ли? Сколько щас? Извини.

— Просыпайся, я пошла,— сказала Марина, и он увидел, как качнулась ее грудь, как вильнуло бедро, когда она шагнула к двери. Но забыла что-то, мигом обернулась, и он впервые по-настоящему увидел ее лицо, которое ослепило его, поразив неожиданной решимостью.— Я жду,— приглушенно сказала она, чтоб только один он услышал ее слова.

Он даже подпрыгнул на пружинах кровати, взметнув свое тело вдогонку, но дверь уже затворилась. Он огляделся: ружье, патронташ на столе, полупустой рюкзак, сникший на полу, яркая лампочка под стеклянным «ландышем».

«Ах, да, я же хотел это... Где ж они?» — подумал он в растерянности и принялся ощупывать рюкзак, вытаскивая из него пачку чая с черным слоном, лепешку сыра и, наконец, картонную коробку из-под сахара, крест-накрест перевязанную бечевкой.

— Так, так, так... Вот,— нашептывал он, развязывая тугой бантик, затянутый руками матери.—Что ж теперь? «Я жду»... А как же пищуха? Во, елки-палки! А Мариночка будь здоров!

«Я жду,— повторял он мысленно это «я жду», решительно и загадочно сказанное в резком повороте головы, когда глаза как будто не успели еще остановиться в косом разбеге.— Я жду».

Яйца, которые мать выкрасила в алый цвет, были аккуратно обернуты газетной бумагой, но все равно растрескались в дороге. Их было шесть, и только одно сохранилось целым. Смазанные подсолнечным маслом, они празднично блестели, как лаковые.

Он бросил скомканную бумагу на стол и, вспомнив, что надо умыться со сна, пошел на двор взбодрить себя снегом. Маленькое вафельное полотенце с черным штампом лежало сложенное на подушке. Значит, на щеке отпечатался рубчатый его след.

Подморозило. Редкие снежинки мелькали в чистом, черном воздухе, вспыхивая белыми мотыльками в электрическом свете. Снег горел голубыми блестками, улегшись на земле толстым слоем, сгладив, закруглив и выровняв своей пластической массой все бугорки и рытвинки, и, казалось, расположился в исконных владениях надолго, как уверенный в себе хозяин.

Конюшенка, в которой уже спал, наверное, рыжий конь, загончик из жердей, печная труба,— все было по-зимнему глухо и прочно закутано снеговыми наметами, округло свисавшими с покатой крыши. Чудилось, будто это и не снег был, а какое-то тягучее, густое вещество, края которого сползли с крыши и толстой периной нависали над сугробами.

Но снег, который Володя бросил себе в лицо, был пушист и колюч, обжег ему кожу пронзительным холодом, прогнав сон.

Голодный, легкий на ногу и, как прежде, беззаботный, он одним махом прыгнул через ступени крыльца, поскользнулся и чуть не упал, отворил с грохотом и захлопнул за собой дверь, очутившись в тепле дома, и жадно учуял пьянящий, выжимающий слюну запах жареного лука, вожделенной еды, без которой он уже никак не мог жить, не мог ни о чем думать. Он думал только о ней, о ее воскрешающей силе и, прихватив второпях сыр, пачку чая и крашеные яйца, ворвался без стука в пропахшую едой комнату, в которой горели свечи. Пламя метнулось длинными языками, прижалось к белому стеарину, затрещало, когда он радостно завопил:

— Помираю! Вы что?! Я ж ничего не ел сегодня. Нельзя же так мучить, я ж не железный!..

Он не шутил, хотя девушки отозвались смехом; он едва справлялся с собой, усаживаясь за стол и пожирая глазами горячую картошку, жареную колбасу, подрумяненные куски которой выгнулись чашками, поблескивая жиром, и серый хлеб, который привезли с собой девушки. Он не видел ничего, кроме этой еды, и, схватив ломоть хлеба, впился зубами, рванул его кислый, ноздреватый край, утробно заворчав от удовольствия.

— Христос воскресе? — спросил он с полным ртом.— У-у? Я ждать не могу, не-не... Не ел ничего сегодня.

— Мы тоже решили,— пропищала Катя, поджимая губки,— не дожидаться. Бог простит.

— Угу,— согласился он.— Я тоже так думаю. Потому что Бог, он все понимает. Он тоже любил поесть и даже выпить любил. Я про Иисуса говорю. У меня друг... угу...— говорил он, благодарно кивая, увидев, что Марина стала класть в его тарелку теплую картошку и жареную колбасу.— У меня друг, он не то чтобы верующий, но знает кое-что, крестик носит. Он говорит, что Христос...

— Ладно,— перебила его Марина.— Ешь-ка и не болтай глупости.

— А это самое? — сказал Володя, головой показывая на запотевшую бутылку «Пшеничной».— А, ну конечно! — спохватился, беря холодную бутылку.— Эту голову мы скрутим, это мы запросто.

Девушки с полуулыбками задумчиво и словно бы зачарованно смотрели, как он с хрустом отвинчивал крышку с горлышка.

— Полагается! — воскликнул он, подняв палец.— Полагается водку наливать сначала мужчинам, а уж потом... если, конечно, будет желание, женщинам. Желание будет?

— Нет, мы вермут,— отозвалась Марина.

— Мы вермут, мы чинзану только,— пропела Катя, озаренная смуглым светом свечей.

— Ах, да... Начнем сначала. Мы и этот тоже... Сейчас.

И опять застывшие полуулыбки сопровождали грубое действо. Девушки опять зачарованно смотрели, как рука Володи, тисками зажав металлическую крышечку, отвинчивала хрустнувшую закупорку и как эта же рука разливала в стаканы миндально-душистый вермут соломенного цвета.

— Хва-хва! — слышал он испуганные возгласы.— Хватит.

Огоньки свечей метались из стороны в сторону. Глаза у девушек дро-

жали, отражая эти огоньки. Стол, заваленный едой, возбуждал своим видом и смешанными запахами, мания румяными пирожками, селедкой, сыром, грудой крашеных яиц, рыбой в томате, бледно-зеленым тепличным луком и хлебом.

— О, Господи, прости и помилуй,— стоном выдавил из себя Володя,— наверно, я алкоголик! Вас, девушки, Бог послал. Я бы тут повесился от тоски,— говорил он, зная, что он вовсе не алкоголик и что никогда бы не повесился и обошелся бы без девушек, конечно. Но, разумеется, при условии, что была бы охота.— При условии! — сказал он вслух и засмеялся.

Девушки тоже это, конечно, знали, и им стало вдруг очень весело, потому что они как будто и сами догадались наконец, что посланы сюда Богом, и еще потому, что парень, сидящий за столом, их ровесник, сказал о себе, что он алкоголик и даже повесился бы, если бы они не собрались сюда, не сбежали из злого своего поселка в лес.

— Христос воскрес! — сказал Володя, поднимая стакан и со страхом чувствуя тяжесть налитой водки.

— Воистину,— отозвались девушки,— воистину воскрес.— Подняли стаканы и благоговейно умолкли.

Они стукнулись толстым граненым стеклом, издавшим брякающий звук, и, жуликовато поглядев друг на дружку, пригубили вино.

Володя с отвращением сделал два глотка, перекосился лицом, поставил на стол недопитый стакан и, ощущая во рту дух мертвящего хлебного вина, от которого захолонуло у него дыхание, принялся торопливо и жадно есть луковую картошку с колбасой, лишь бы скорее избавиться от опасного тошнотно-жгучего привкуса, который судорогой сводил ему челюсть, вызывая спазм в возмущенном желудке.

Он никогда, никому и даже самому себе не признался бы, что водку пил лишь второй раз в жизни, испытывая к ней после первого брезгливое неприятие. Но...

— Ох, хорошо пошла,— просипел он, лупясь на девушек прослезившимися глазами.— Водку надо натощак. А уж потом... как следует закусить. Ух, селедочку-то... Щас, намажем хлеб маслом, а на него, вот так, кусочек селедки... Эх, хорошо! — говорил он, дергая подмокшим носом.— Но — крепка! Броня крепка, и танки наши... А целоваться-то! Забыли? Христос воскрес! — воскликнул он с туманчиком в голосе, осмелев не на шутку.— Я говорю: Христос воскрес!

Он знал, что девушки целоваться с ним не будут, а потому и осмелел, требуя от них исполнения векового обычая.

— Как же целоваться? — хихикнув, сказала Катя.— Еще только одиннадцать... Это просто нельзя. Нет уж... Быстрый какой...— И спряталась чуть ли не под стол от смущения.

Но для него было полной неожиданностью, он перетрусил, когда Марина, обтерев платочком губы, поднялась, выгнулась над ним душистым торсом и, протянув платочек, велела и ему сделать то же.

— Ха! — воскликнул он, коснувшись уголком платка своих губ.— «Белая сирень»...— И поднялся, уронив табуретку, замешкался с этой табуреткой, увидел мельком улыбочку Кати, ее опухшие от волнения глаза.— Я готов,— сказал Володя, приблизившись к Марине, и положил руки на ее покатые плечи.— Три раза, как полагается.

У нее были очень теплые губы, передавшие щекотное это тепло его губам. Он впервые узнал сочное и как бы только для него раскрытое, обнаженное тепло, которое, обомлев, вкусил, подчиняясь высшей власти.

— Да,— сказал он, выходя из штопора.— Теперь я понял, что Христос...

— Замолчи сейчас же! — приказала ему Марина.

— А что я ей сказал? — спросил он, взглянув на убитую, жалко улыбающуюся пицуху, которая боялась поднять глаза на подругу.

Была она очень хороша в эту минуту. У нее масляно блестели лоб и кончик носа, но она все равно была необыкновенно хороша, пряча глаза, плывущие в сильном смущении. Губы ее волновались, голова не слушалась, пальцы левой руки жалко перебирали, как четки, пальцы другой руки, нажимая поочередно на розовые ногти. Она, наверное, тоже никак не ожидала от Марины этих поцелуев, обманутая, не могла справиться с внезапной обидой.

Лишь на Володю она посмотрела с ласковой укоризной, как бы сказав ему на прощание: со мной тебе было бы лучше, но я не сержусь на тебя, дурачок.

Во всяком случае, он именно так понял короткий ее взгляд и ту кривую улыбочку, с какой она спрятала глаза в густых от туши ресницах.

«А что я? — успел он как бы ответить на ее укоризну.— Что мне оставалось?»

Для себя же решил, что с пицухой все покончено, выбор сделан, Марина как раз и есть та девушка, о которой он мечтал, потому что неизвестно еще, подумал он, умеет ли эта Катя целоваться,— губки у нее какие-то уж очень маленькие и ротик свой так закрывает, будто она беззубая, даже щечки раздуваются пузыриками, когда закрывает рот. Он вдруг обиделся на нее, как будто она имела какое-то право на вольного охотника в новых резиновых сапогах, который пьет водку, стреляет вальдшнепов и покоряет сердца, смеясь над девичьими рыданиями.

Что-то в этом роде он успел подумать и, схватив свой стакан, потянулся им к стакану Марины, тюкнул донышком по его краю и, подумав, сделал то же самое со стаканом притихшей Кати.

— За прекрасных дам! — сказал он, кинув взгляд на Марину.— За любовь! Ура! А где же музыка? Магик-то? Чегой-то не хватает! Музыку надо включить!

— Так уж сразу и музыку! — с ворчливой усмешкой сказала Марина.— До музыки еще целый час.

— Почему?

— Сорок минут,— чуть слышно пролепетала Катя.— Еще сорок минуток. Не час, а вот... А то и так уж... Большой грех.

Володя меж тем держал на весу стакан, который вонял сивухой, вызывавшей тошнотное отвращение. Он видел, как девушки отпили по глоточку своего вина, но сам никак не мог решиться, чуя зловоние, колыхавшееся на дне стакана безобидной водицей.

— Раз так, обойдемся,— говорил он, оттягивая страшный момент.— Выпью за вас, девушки, чтобы вам легко и приятно жилось, чтобы были вы здоровые и богатые. Это лучше, чем больные да бедные... Правильно? А вот я... больной алкоголик,— кряхтел он, боясь взглянуть на водку и собираясь с духом.— Бедный, несчастный. Сопьюсь я с вами тут совсем, обопьюсь водкой.

И выпил вдруг ее одним глотком, не заметив на этот раз, как пролетела она, словно бы не коснувшись языка и губ. И уже только во чреве объявилась приятным теплом: то ли он ее обманул, то ли она его. Но как бы то ни было, Володя был доволен собой, он неторопливо взял алое яйцо с потрескавшейся скорлупой, легко ошелушил, сложив грудку красно-белой, словно бы с живого птенца, скорлупки на пластмассовом столе, и, заметив розовую изнанку на голубизне белка, посмотрел на нее внимательно, понял, поморщившись, что это краска отпечаталась через трещинку, и только после этого так же неторопливо обмакнул макушечку яйца в соль и закусил, давая понять девушкам, что он давно и хорошо знаком со всеми этими делишками и ему не привыкать.

Была потом и музыка, и танцы, были и Катины торопливые поцелуйчики, как робкое тыканье губ младшей сестренки, и были горячие, как и полыхающие жаром щеки, выпуклые губы Марины, которая искусно владела ими, будто у нее был особый талант, не дающий ей покоя, она могла придать губам дрожь, а то и расслабить их, точно лепестки шиповника.

— Христос воскрес,— говорила она в танце, сильная и гибкая, как пловчиха в бассейне.

А он прижимался к ней и, ничего не видя, кроме жаркого лица, целовал, забыв про Катю и про все на свете, будто никого, кроме них, танцующих, не было в комнате.

— Христос воскрес,— слышал он быстрый шепот и знал, что сию минуту он снова почувствует на губах упругую влагу вздрагивающих губ бесстыдной Марины, болезненно-знойный жар которых становился для него уже привычным и необходимым. Если она мешкала, он сам напоминал ей об этом, и она тут же откликалась.

Усталые рушились они за стол и, словно изголодавшись в танце, задохнувшиеся, пили горький вермут, жевали что-то, смеялись в бессмысленной

радости, играли, перекидывая из рук в руки крашеное яйцо, и тот, кто ронял, проигрывал поцелуй.

Катя, смирившись и задумчиво погрустнев, приглашала играть в горку, но они предпочли эту простую и верную игру, изобретя ее тут же и не включая в нее бедную Катю, которая не знала, что ей делать, и печально улыбалась, видя, как целуется Марина с красивым парнем...

«Так и надо,— думала она в печали,— так и надо... Мариночка умница, Мариночка красавица... Она-то уж обязательно выберет себе умного и красивого мужа, и он будет любить ее. А меня никто. Меня никогда никто не будет любить. Я знаю».

Она пыталась танцевать одна, и у нее это хорошо получалось, руки ее лебяжьими шеями волновались в воздухе, Марина с Володей хлопали в ладошки, а она, отфыркиваясь, сдувала с лица тонкие пружинки волос и, смущенная, садилась на свое место, блестя смуглым лбом и коротеньким носом. Клала на стол красивые руки, поблескивающие розовым лаком ногтей, и смело взглядывала на Володю.

Они любовались ею, как младшею сестрой, были ласковы с ней и немножко жалели. Жестокое это право, которое они присвоили, еще больше сближало их, они многозначительно переглядывались, понимая друг друга без слов. И опять топтались в танце, извиваясь на крохотном пятачке между столом и кроватью, задевая коленями подушку, одеяло, острый угол деревянной спинки, и снова целовались, позабыв про стыд.

— Больше не могу,— одышливо говорила Марина, прижимаясь к нему щекой.— Я хочу гулять. Мне жарко. Пошли гулять... Прошу тебя, пошли... Слышишь?

Володя почувствовал вдруг, что он совсем не пьян. Трезвость утренним солнышком прогнала туман, прояснила голову и сделала слишком сложным его положение здесь, в этой пропахшей догорающими свечами комнатке, в объятиях Марины, племянницы директора, которая на глазах у печальной тихони целовала его, как идола, и, кажется, готова была на все.

— Ты меня слышишь? — говорила она так откровенно, что Катя, опустив голову, принялась что-то жевать от смущения.— Я хочу гулять...

Непонятно было, что она вкладывала в это слово «гулять». Володя настолько отрезвел, что ему надо было сию же минуту выпить водки, чтобы снова почувствовать себя пьяным и чтобы все стало опять понятно и просто.

— А как же насчет выпить? — спросил он удивленно.

— Не сметь! — с игривой свирепостью сказала Марина.— Не сметь. Слышишь?.. Потом...

Володя, не присаживаясь за стол, под треск коптящих стеариновых свечей плеснул в стакан водки, которую ему почему-то не разрешали пить, и вылил ее себе в рот, не почувствовав даже ожога, будто водка утратила свою крепость и сивушную вонь.

Он петушком посмотрел на Марину, которая щурилась на него, и, не закусывая, сказал, гусаря перед ней:

— Я знаю себя... А погулять, конечно, не мешало бы... Может быть, и...

Но Катя, на которую взглянул Володя, поспешила сказать:

— Нет, нет.

Она нахмурила бровки, сведя их к переносице, к самым глазам, превратившись в неприятное какое-то существо, у которого будто бы прямо из глаз выросли длинные, острые усики.

Едва Володя закрыл за собой дверь, как подруги вспылили в комнате, что-то стали выговаривать друг другу бешеным шепотом, но это уже не волновало его.

...Ночь, в которую вышли Володя с Мариной, раскрылась перед ними во всей своей невиданной красоте, какая могла случиться только в апреле. Было тепло, как в альпийских зеленых лугах, будто звезды, появившиеся на чистом небосводе, согревали землю своим светом, украсив снеговые сады, повисшие над землей крохотными отражениями, голубыми осколками, вспыхивающими под ногами и над головой, вдали и вблизи...

Сверкание это кружило голову. Володе даже чудилось, будто пушистая шапка на голове Марины, украшавшая ее лицо песцовым мехом, тоже поблескивает сверкающими искрами, как и все другие снежные шапки, хвосты, морды белых медведей, белых лис, притаившихся на березовых ветвях, белых змей и удавов, которые переплелись в оцепенении и замерли над ними, ушедшими в глубину двора, где горел одинокий фонарь.

Он не понимал, где он, куда увела его эта живая девушка, поблескивающая глазами из-под поблескивающего меха. Голова его звенела стрекотом кузнечиков, а ему казалось, что это звенел снег, рассыпающийся под ногами, что это стрекотали белые змеи и удавы, белые лисы, зайцы и медведи...

Он куда-то шел за этой девушкой, уводившей его от света в туманно-белую тьму заснеженного леса, пока она не остановилась возле какой-то белой изгороди, привалилась к ней спиной и сказала:

— Поцелуй...

И все исчезло для него в этом странном мире. Он чувствовал только ее губы и душистый мех, щекотавший лицо, только ее грудь в своей ладони и тепло ее тела под свитером... Он забывался, не понимая, что происходит с ним, и тогда ему мерещилось, будто он ловит ладонью струю теплого встречного ветра, ощущая упругое его давление... Вдруг ему чудилось, что он мчится на машине и что ему надо очень спешить домой к матери, которая заждалась его... Но, очнувшись от наваждения, он понимал, что Марина сплела свои руки у него на спине, забравшись под штормовку, и так тесно прижалась к нему, так жадно целует, что сам он уже не успевает отвечать на ее порывистые поцелуи открытым, как у задыхающейся рыбы, ртом, которым она словно бы не губы его ловит, а воздух, чтоб не задохнуться, как та рыба, плывущая наконец-то в подводном царстве, плавно и легко... А в голове у этой рыбы стрекочут и стрекочут летние кузнечики, а луг весь усыпан ромашками, и так хорошо улечься на этом лугу, повиснуть между небом и землей, когда над тобой качаются ромашки, а ты ползешь по качающемуся стеблю, цепляешься за него всеми своими лапками, но никак не можешь добраться до цветка, до нежной его сердцевины, влажной от липкого нектара, который кружит тебе голову, дышит в лицо солнечным жаром. Тебе обязательно надо изведать душный вкус цветка, который совсем не похож на цветок ромашки, потому что кругом снег и сверкающие его кристаллы, иглами колющие глаза, а в этом снегу болезненно сухие, жаркие губы, которые ловят холодный воздух и никак не могут надышаться им, словно это опять все та же рыба, вынутая из ледяной лунки, теплая на морозе и мокрая, скользкая от слизистой чешуи, вырывающаяся из рук, гибкая и упругая, которой нужно успеть, пока мороз не убил ее, скорее успеть в подледную тьму, на дно... Но руки крепко держат эту бьющуюся рыбу, и она всхлипывает, всхлипывает, тоскуя по быстротечной жизни, отлетающей в морозный воздух...

Он проснулся утром у себя в комнате, лежащим в одежде и сапогах на неразобранной постели, и долго боялся открыть глаза, ничего не помня и не зная, как очутился он здесь и почему лежит в штормовке. Он потерял нить вчерашнего вечера. Помнил только, что был не пьян и что Марина позвала прогуляться, он выпил немножко водки и, кажется, пошел... Наверное, пошел, если в штормовке... А может быть, оделся, а его вдруг так развезло, что он?.. Нет, все-таки, наверное, пошел, но куда? И что там было? Этого он не помнил. А ведь что-то там было!

За окном было ярко, там шумело, хлюпало, шипело, как горячее масло, точно он был в московской квартире и за окном по слякотной мостовой ехали бесконечной вереницей легковые автомобили.

Это светило горячее солнце, пожирающее снег. Снег быстро и шумно таял, талая вода журчала всюду, блестела, стекала по каким-то известным ей одной пологостям плоской земли. Березы стояли мокрые, розовые, умытые снегом, грея коричневые вершины в солнечном тепле. Грачи блестели на их ветвях черной синевой.

Но снег белел еще всюду, и лишь бугор на лесной опушке освободился от него, темнел среди снега махорочной кучей, на которой, как прошлогодние листья на ветру, суетились мелкие лесные птицы, проголодавшиеся, озябшие и по-весеннему молчаливые, озабоченные одной общей бедой.

Елки на этой опушке лаково зеленели иглистыми лапами.

Но ничего этого не видел обессиленный и разбитый водкой, несчастный Володя. Он мучительно вспоминал заваленный снегом мир, душистую шапку среди этого снега... И вдруг в ужасе услышал, вырываясь из беспамятства, и увидел лицо взбешенной Марины, которая куда-то тащила его, ухватив-

шись за рукав штормовки, и брезгливым голосом твердила ему: «Дурак... Ну, дурак...»

Он очень хорошо слышал теперь этого «дурака», но не мог понять, за что она так обзывала его.

Надо было срочно, во что бы то ни стало выяснить, почему она называла его дураком, что он такого натворил вчера, и вообще узнать, здорова ли Марина, дома ли она.

В тоскливой тревоге, думая черт-те что о себе, чувствуя себя государственным преступником, скрывающимся от справедливого возмездия, он поднялся с кровати, схватился за больную голову и, кое-как пригладив слежавшиеся волосы, пошел с повинной, готовя себя к самому худшему, что могло взбрести ему на ум, что рисовало ему больное воображение, пока он, пошатываясь, топал в резиновых сапогах по дощатому коридору.

Вчера он почему-то не обратил внимания на чучело свирепого кабаньего рыла, а теперь оно желтело пластинчатыми клыками, пожирало его ядовитыми глазками с торцовой стены в конце коридора, пугая и без того перепуганного охотника.

Он негромко постучал костяшкой пальца в дверь. Услышал скрипнувшие пружины кровати, сердце его проколотилось с перебоем, он кашлянул, давая о себе знать, и приготовился встретить такой же свирепый взгляд, который только что стеклянно перился на него.

Но в коридор вышла, затворив за собой дверь, не Марина, а Катя.

— Катенька! — сказал он.— Здравствуй! С праздником тебя... Как ты отдохнула?

Она в ответ поджала губки в улыбочке и опустила глаза.

— Почему ты молчишь? — млея душой, спросил он. — А где Марина?

— Спит Марина,— ответила Катя.

— Она... здорова? Все в порядке?

— Это вам лучше знать,— пропищала Катя, одарив его насмешливым взглядом.— Это вы у нее сами спросите...

— В каком смысле? Катенька, как это мне лучше знать? Что ты такое говоришь? Голова трещит, а ты меня мучаешь такими странными словами... За что?

— А вы разве не помните ничего?

Он знал, он чувствовал, что вчера что-то натворил, и вот сейчас, сию минуту ему будет предъявлено обвинение, и жизнь его, которая вчера еще днем была так беззаботна и прекрасна, станет для него мучительным прозябанием, отрезком времени, отпущенным ему для угрызений больной совести, для покаяния и слез.

Он ощутил в себе тошнотную слабость и с последней улыбкой надежды молитвенно еле выговорил пересохшим ртом:

— А что я должен помнить?

— Сами подумайте,— сказала жестокая тихоня и толкнула дверь.

— Катя, подождите, пожалуйста,— взмолился он, удерживая ее за руку.— Нельзя же так.

— Вот вы какой странный... Вы там гуляете, а я отвечай... Ничего я не знаю.

— Ну, Катенька, ради Бога! Праздник же сегодня... За что же мне такие мучения, а? Катенька! Христос воскрес...

— Уж молчите вы! — сердито отмахнулась Катя, но смилостивилась над ним, не ушла, сделала два шага от двери и тихонько пропела: — Вы вчера были такой пьяный... Даже страшно! Такой пьяный, что ночью... Нет, я не могу, это даже не смешно... Хотя мы потом смеялись, но это не смешно, вы подумайте о себе...

— Да что же такое-то? — воскликнул Володя с надеждой, успев подумать, что если они смеялись, то значит, не так плохи его дела.— Говорите, Катенька! Пожалуйста...

— Вот видите, вы ничего не помните. Как это можно? Вам нельзя пить, нет...— решительно сказала она.— Вы теряете не только память, вы так странно вчера вели себя... Мы вас еле-еле уговорили вернуться домой.

«Почему она говорит «мы»? — удивленно подумал Володя, опять проваливаясь в кошмарный ужас.— Почему мы? Разве она тоже была там? Дьявольщина какая-то!»

А Катя меж тем продолжала выговаривать ему:

— Вы хоть помните, что ночью собрались домой?

— Домой? Нет, не помню.

— Вы собрались домой... Мы вас спрашивали: как же вы собираетесь ехать? А вы знаете что ответили? Вы ответили: на такси... На каком таком такси в лесу? А вы говорите: вон там такси ходят, там, где фонарь горит. И пошли туда, нас слушать не хотите, ружье взяли, рюкзак свой и пошли... Мы испугались, а вы нас отпихиваете... Ужас! Вы знаете, как это называется? Мы уж совсем стали с ума сходить. А вы у фонаря остановились и по сторонам смотрите... Глаза нехорошие, ужас! Разве можно так напиваться? Силища у вас огромная, дурная: буду, говорите, ждать такси. Кругом лес, а вы — такси? Вы что это такое делали вчера? Неужели не помните? Мы уж на хитрость пошли, сказали, что сейчас по телефону закажем, вы и поверили нам. Знаете, как Марина испугалась? Она долго плакала потом.

Володя обмяк весь, ослабел, с испугом выудив из памяти, как рыбу из омута, бледную плоскость Ленинградского проспекта, освещенную мутно-призрачным светом невидимых фонарей. Он стоял на краю этой пустынной плоскости и действительно ждал такси, чтобы доехать до дома... Ни машин, ни людей... Какие-то красно-белые башенки, красно-белая кирпичная стена... Ах, да, конечно... Это академия... Или что это было? В пасхальную ночь он стоял именно там, а не в лесу. Проспект, а не заснеженные березы, светился во мгле ночи перед его глазами. Он вдруг вспомнил это, и душа его сжалась от страха, потому что он так явственно видел себя, прочно стоящего под фонарем на асфальте тротуара, что это не могло быть простой игрой воображения, тут было что-то другое, что-то очень опасное и ему никогда прежде незнакомое. Он как бы раздвоился и был одновременно в двух местах, далеких друг от друга.

— Вы слышите меня? — донесся до него писк тоненького голосочка. Он очнулся от забытья, вяло спросил:

— Да, а что?

— Нет, ничего, но вы лучше полежите еще немножко, вы еще не отдохнули...

И он покорно пошел, слыша гул в голове, шум проносящихся легковых автомашин. Отворил дверь своей комнаты, и тело его покрылось холодными мурашками. Он увидел кирзовый чехол, раздавшийся от вложенного в него ружья, затянутый, застегнутый, кепку, валявшуюся на полу, и понял в холодном страхе, что ночью он и в самом деле был далеко отсюда, оставаясь здесь, в лесу...

Он стоял на пороге комнаты, боясь зайти в нее, боясь остаться в одиночестве, оглянулся и увидел Катю, которая смотрела на него с состраданием в жалостливом взгляде.

— Катенька,— сказал он, шагнув к ней.— А что же, скажите, пожалуйста, почему же Марина плакала? Я ее разве обидел?

— Что же вы спрашиваете?! Она очень испугалась. Потом заглянули к вам, вы спите, хотели с вас сапоги стащить, только у нас ничего не получилось, мы чуть вас самих не стащили с кровати... Нет, вы ее не обижали, мы потом смеялись полночи... Не над вами, нет, а просто так... Развлекались.

И радость, и горе, и страх пополам с надеждой — всё перемешалось у него в голове, когда он вышел из дома и увидел липкий снег, тающий под солнцем, увидел в нем роднички мокрой земли, темные проталины, увидел конюшенку, с крыши которой торопливо капала талая вода, и услышал ухающий звук сползшего на глазах у него снега с этой крыши. Снег, подмытый водой, упал и нагромоздился грязным сугробом, заблестел в солнечном жаре, а за стеной Каурка переступал ногами, и стук этот тоже услышал Володя.

В сторону леса, к одинокому фонарю протоптана была в снегу измятая следами сапог дорога, по сторонам которой уже видна была оттаявшая земля. Там он стоял ночью, и там была асфальтированная плоскость, освещенная призрачным светом... Или он не стоял там, под этим фонарем, а был далеко, на настоящем проспекте, а здесь оставалась лишь его оболочка?! Как это может быть?

Он улыбнулся и, глядя себе под ноги, прошел к конюшне по мокрому, липкому снегу, который растает, конечно, к вечеру...

— Каурка! — окликнул он приглушенным голосом.— Эй, Каурка! Ты как там? Выходи гулять...

Он услышал отклик жеребца, полурык-полуржанье, глухой перестук копыт на деревянном, засыпанном сеном полу.

— Я бы тебя выпустил, да не знаю,— сказал ему Володя.— Никого из твоих хозяев нет... Понимаешь меня?

Видимо, конь прял ушами, прислушиваясь к его голосу, в конюшне стояла полная тишина. В голубом небе пролетел черно-синий грач, и Володя увидел, как он внимательно поглядывает по сторонам, поворачивая голову с желтым клювом. Это показалось странным, будто все тело грача — крылья, хвост, поджатые лапы исполняли свою механическую, привычную работу, а голова сидела на этом теле и поглядывала по сторонам, как любопытный пассажир.

Он улыбнулся, увидел четкие отпечатки ребристых подошв на снегу и вдруг с тревогой понял, что ему необходимо сейчас же быть дома. Он чуть ли ни бегом припустился к дому, схватил ружье, рюкзак, напялил на голову кепку, огляделся — не забыл ли чего, протопал по коридору, громко постучал в дверь, крикнул:

— Девочки! Катя, Марина, я поехал домой... Пока! Спасибо за все! Извините, если что...— и, не дождавшись ответа, выбежал из дома и, как лось, пошел к шоссе, торопясь на автобус.

В Москве он узнал, что в эту пасхальную ночь умерла его бабушка, жившая возле Белорусского вокзала, на Пресненском валу. В эту же ночь он не сумел взять такси в лесу, не доехал, не дошел пешком до ее дома, не смог. Ему помешали это сделать, хотя он был совсем близко от Белорусского вокзала, от красного кирпичного дома, в котором жила бабушка, очень любившая его.

Он заплакал, когда узнал об этом горе, зарыдал с визгливыми вскриками, как будто его больно били палками по голове.

А на похоронах боялся смотреть на желтое лицо бабушки, лежащей в оранжерейных цветах, давился слезами и утробно взмыкивал.

«Прости,— мысленно шептал он.— Прости, пожалуйста».

И оттого, что он просил у мертвой бабушки прощения, слезы с новой силой лились из глаз, и он никак не мог остановить их. Хотя и знал, что бабушка слышит его.

Марк АЛДАНОВ

Самоубийство

РОМАН

III

В начале декабря в Москве началось восстание.

Московская интеллигенция растерялась. Происходили если не бои, то что-то на бои очень похожее. На окраинах города трещали пулеметы, везде стреляли из револьверов. Улицы стали пустеть. По ним ходили, крадучись, странного вида люди, в большинстве в кожаных куртках, надолго ставших революционным мундиром. Лавки открывались на час или на два в день и ничего на дом не доставляли. Выходить из дому было опасно, и все-таки выходить приходилось. Затем и в лавках товары почти исчезли: все было расхватано, подвозили из деревень очень мало. Несмотря на кровавые события, отсутствие еды было главным предметом телефонных разговоров,— телефон действовал. Передавались страшные слухи. Говорили, что из Петербурга на Москву двинута гвардия и что восстание очень скоро будет потоплено в крови.

Большинство москвичей в душе не знало, кому желать победы. Сочувствовать правительству люди за долгие десятилетия отвыкли, да хвалить его было не за что: из окон многие видели, как на улицах убивают людей и избивают их нагайками до полусмерти. Но и сочувствовать революционерам почти никто из интеллигенции не мог: все считали восстание бессмысленным, плохо понимали, кто, собственно, и по чьему решению его устроил, к чему оно должно привести и что делали бы революционеры, если б и справились с московскими властями.

Ласточкин был совершенно угнетен. От его веры в графа Витте ничего не осталось. Прежде можно было думать, что главе правительства, по принятому выражению, «вставляют палки в колеса». Теперь ясно было, что все делается по его приказу, хотя руководит подавлением восстания адмирал Дубасов. «Но что же все-таки должен был делать Витте?» — с тягостным недоумением спрашивал себя Дмитрий Анатольевич.

Не могло быть и речи о том, чтобы на улицу выходила Татьяна Михайловна. Он сказал ей это так решительно, что она не спорила. В самом деле из знакомых дам ни одна на улицах не показывалась.

— Митя, но тогда и ты не выходи! Умоляю тебя!

— Посылать Федора мы имеем моральное право только в том случае, если буду выходить и я, — ответил Ласточкин.

В их районе, довольно далеком от центра, беспорядки были особенно сильны. Федор не очень желал выходить, но пример барина и очевидная необходимость на него подействовали. Они отправлялись утром вдвоем и покупали все, что можно было достать, преимущественно консервы, сухое печенье, и тотчас возвращались домой уже на весь остаток дня. Однажды издали видели, как неслись по улице казаки с поднятыми нагайками. В них откуда-то стреляли из револьверов. Дмитрий Анатольевич вернулся сам не свой. «Это неслыханно!.. Этому имени нет!» — говорил он растерянно жене, которая тоже повторяла: «Неслыханно!» и думала, как устроить, чтобы Митя больше не выходил.

Скоро загремела и артиллерийская пальба, которой Москва не слышала с 1812 года. Началась паника. Затем пальба затихла, перестали трещать и пулеметы. Стало известно, что Пресню, главный очаг восста-

---

Продолжение. Начало см. Октябрь, №№ 3—4 с. г.

ния, разгромил пришедший из Петербурга Семеновский полк. А еще немного позднее телефоны разнесли весть, что восстание подавлено, что революционеры частью истреблены, а в большинстве скрылись.

Нормальная жизнь восстановилась с удивительной быстротой и на окраинах. В лавках появилась еда, точно подвозившие мужики отлично разбирались в событиях. На улицы выехали извозчики, даже лихачи. Москвичи не только стали выходить из дому, но проводили на людях чуть ли не весь день,— так всем хотелось обменяться впечатлениями.

К Ласточкиным первый в необычное время, еще утром, приехал профессор Травников. Татьяна Михайловна обрадовалась ему чрезвычайно. Хотела все узнать и надеялась, что Митя хоть немного развлечется. Гостя усадили в столовой и зажгли электрический кофейник. Федор с радостным видом принес первые, еще горячие булочки и свежее масло.

— Господи! С неделю этого не видел! Ну, дела! — сказал профессор. Он поправел, хотя и не совсем уверенно.

— И мы до нынешнего утра не видели. Кушайте на здоровье, и умоляем вас, рассказывайте поскорее все, что знаете!

— Убиты тысячи людей!.. Может быть, цифру и преувеличивают, но жертв великое множество. Вот что сделали эти господа! Я собственными глазами видел, как...

Вопреки своему обычаю, Татьяна Михайловна его перебила:

— Какие господа? Ради Бога, объясните, кто они и чего они хотели?

— По имени, барынька, я их знать не могу. А чего они хотели, это я у вас хочу спросить. Говорят, какие-то большевики и еще эсеры. Один черт их разберет!

— Но на что же они надеялись? На правительство Троцкого или Носаря?

— Господа вожди были, к счастью, вместе со всем Советом рабочих депутатов арестованы чуть не накануне восстания. Кстати, этот Бронштейн, именующий себя Троцким, и они все дали себя арестовать, как бараны,— сказал Травников и спохватился, вспомнив, что Татьяна Михайловна еврейского происхождения.— Догадался, наконец, ваш граф Витте!

— Он не мой,— мрачно ответил Ласточкин.

— Кто же руководит этими большевиками?

— Я слышал, какой-то Ленин. Он у них самый главный. Троцкий, тот, кажется, меньшевик. Большевики хотят, барынька, сцапать у нас все, а меньшевики, спасибо им, только половину... А как же, Дмитрий Анатольевич, Витте не ваш? Вы его всегда зело одобряли.

— Теперь никак не могу. Действия наших властей были совершенно возмутительны!

— С этим я не спорю, но, во-первых, одно дело — власти, а другое — Витте. А во-вторых, что же властям было делать, когда в городе начался кровавый бунт?

— Во всяком случае, не то, что они делали.

— Тьер и французские республиканцы подавили восстание коммунаров никак не с меньшей жестокостью. В 1871 году было убито и казнено, помнится, около тридцати тысяч человек.

— Очень французские богачи испугались тогда за свои капиталы! — сердито сказал Дмитрий Анатольевич.

— Да, именно,— подтвердила Татьяна Михайловна.

— Я нисколько их не защищаю, но ведь и вы, барынька, не так порадовались бы, если б у вас все это отобрали,— сказал профессор, показывая взглядом на обстановку комнаты.

— Не порадовалась бы, но казней не требовала бы!

— Да я и не требую. Однако и грабежей никак не одобряю. Помните, как сказано в «Дигестах»: «Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest» *.

— Я не помню, как сказано в «Дигестах», и даже не знаю, что это такое.

Профессор добродушно засмеялся.

— Не сердитесь, барынька. И Дубасова уж я никак не защищаю.

* никто не должен свой проступок превращать в прибыток (лат.)

Действительно, расправа была жестокая. Представьте, я видел своими глазами, как...

Почта опять стала работать правильно. В первый же день Ласточкины послали двоюродному брату успокоительную телеграмму: «Оба невредимы как и все друзья знакомые домашние точка ждем письма обнимаем таня митя». Ответ пришел: «рад обнимаю аркадий».

— Странная редакция. Почему в единственном числе? Аркаша мог бы подписать и Люду,— сказала с недоумением Татьяна Михайловна.

— Уж не арестована ли она? Завтра, верно, будет письмо,— ответил так же Дмитрий Анатольевич.

Письмо пришло не сразу и было краткое и тоже странное. Обычно Люда приписывала к письмам Аркадия Васильевича: «Сердечный привет и от меня» или для разнообразия, «Я тоже шлю сердечный привет». Теперь приписки не было; привета от нее не передавал и Рейхель. Ласточкины не на шутку встревожились. Посоветовавшись, они написали осторожно спрашивали о здоровье Люды, затем описывали московские события и свои переживания. Еще через несколько дней пришел ответ, совершенно их поразивший:

«Я здоров и благополучен,— писал Рейхель.— Много работаю, и, как вы знаете, то место мне обещано твердо. Очень о вас беспокоился и искренно сочувствую, что вам пришлось столько пережить. Здесь все было тихо. С Людой я разошелся. Она от меня ушла к какому-то кавказскому разбойнику и, ни минуты не сомневаюсь, благоденствует. Больше меня, пожалуйста, о ней не спрашивайте, я ничего не знаю и, скажу откровенно, не интересуюсь. Она предпочла мне разбойника, и этим все сказано. Ее адрес на случай, если б вы пожелали ей написать, мне неизвестен».

Они только ахали, читая. Татьяна Михайловна негодовала.

— Такого я не ждала даже от нее! — сказала она. В первый раз у нее прорвалась неприязнь к Люде, всегда ею скрывавшаяся. Дмитрий Анатольевич чрезвычайно расстроился.

— Мы все-таки слышали только одну сторону, и, во всяком случае, мы им не судьи.

— Говори: мы ей не судьи, и это, конечно, будет верно. Но Аркаша ни в чем, я уверена, не виноват,— ответила Татьяна Михайловна, смягчившись. Она была привязана к Рейхелю, однако всегда думала, что очень тяжело иметь такого мужа.

— Едва ли он может быть тут беспристрастен. И, уж наверно, тот кавказец никак не «разбойник». Аркаша всех революционеров называет либо разбойниками, либо бандитами. Надо бы все-таки написать Люде, но куда же?

— Кажется, Аркаша не хочет, чтобы ты ей писал. Бедный, мне его страшно жаль!

— Как ты понимаешь, мне тоже. Мне, впрочем, и прежде казалось, что они не любят друг друга. Никак не то, что мы с тобой.

— Да, не совсем то... Бог с ней, я погорячилась.

— Как же она теперь будет жить? «Разбойник», верно, и беден.

— Конечно, пошли ей денег. Да куда послать?

— Именно.

— Может, она скоро напишет?

— Мне очень ее жаль. Она совершенно шалая женщина. Что ж, надо написать Аркаше. Просто не знаю, что ему сказать. Я и по случаю смерти не умею писать сочувственные письма, всегда выходит так плохо и стереотипно. А тут уж совсем беда!

— Да, это трудное письмо. Нельзя и сочувствие выразить, он ведь пишет, что «не интересуется»! Хочешь, я напишу, а ты только припишешь?

— Пожалуйста, очень прошу. У женщин всегда выходит лучше, у тебя в особенности.

Московская жизнь в первые недели после восстания все же стала менее шумной. Ласточкины на время отменили свои вечера. Дмитрий Ана-

тольевич бывал на политических совещаниях. Все возлагали надежды на Государственную думу.

В том же году еще другое известие внезапно его поразило, как и других москвичей его круга. В Канне совершенно для всех неожиданно покончил с собой Савва Тимофеевич Морозов. Незадолго до того говорили, что его здоровье в последнее время ухудшилось, что нервы у него совсем расстроились и что врачи послали его в Париж и на Ривьеру — развлечься и отдохнуть. В гостинице он воспользовался минутой, когда жена вышла, лег на диван и застрелился. По Москве поползли самые странные слухи. Одни говорили, что Морозов убит каким-то врачом, которого к нему подослала революционная партия. Другие, неизменно повторяя «ищите женщину», рассказывали интимные сплетни. Третьи уверяли, что Савву Тимофеевича должны были тотчас по его возвращении в Россию арестовать и предать военному суду за то, что он дал миллионы на московское восстание. Четвертые сообщали, что у Морозова была какая-то «теория самоубийства»: все умные люди должны кончать с собой, так как жизнь слишком ужасна и это самый лучший, самый безболезненный способ расстаться с ней, — он будто бы высказывал такую мысль в разговорах с друзьями. Трезвые москвичи только пожимали плечами: так эти объяснения были неправдоподобны и даже бессмысленны.

— Все это чистый вздор! — говорил Ласточкин. — Никогда никакие революционеры подобными делами не занимались и не могли заниматься, да и не в их интересах было бы убивать Савву Тимофеевича, который их поддерживал. И полиция давным-давно знала, что он дает деньги на революционное движение, и его не трогала, как не трогает и других богачей, тоже дававших на него деньги, хотя и гораздо меньше. И никто из них не кончает с собой. Специально на восстание он не дал бы ни гроша, и никакая каторга ему не грозила. И не такой он уж был влюбчивый человек, а романов у него и прежде бывало достаточно, как почти у всех...

— Не у вас, Дмитрий Анатольевич, — шутливо перебивали его друзья. Татьяна Михайловна улыбалась.

— Да, не у меня, но согласитесь, что из-за любовных романов половина Москвы должна была бы покончить с собой, — отвечал Ласточкин.

Особенно поразило людей то, что покончил с собой человек, которому миллионы давали решительно все блага жизни.

Татьяна Михайловна пыталась развлечь мужа. Никогда до этого несчастного года он не бывал мрачен. Нерешительно предлагала съездить в Крым или за границу, говорила с ним по-прежнему весело. По природе она была менее жизнерадостна, чем ее муж, но всегда старалась быть бодрой; знала, что он это в ней любит, как любит и ее благодушные шутки. Теперь шутить было не о чем. Про себя она думала, что никуда ему уезжать не надо: успокоится, когда опять погрузится в свои обычные дела. Дмитрий Анатольевич понемногу в них и втягивался. К его на этот раз почти неприятному удивлению ценности на бирже повышались.

Единственным радостным в их жизни теперь было то, что, как говорила мужу с улыбкой Татьяна Михайловна, Нина и Тонышев «быстро и верно шли к законному браку». Алексей Алексеевич бывал у них очень часто даже в дни восстания, когда все сидели по домам, — точно щеголял своим мужеством. Приносил огромные коробки конфет — «единственное, что еще можно достать». Отдавал всегда конфеты Татьяне Михайловне, но сидел обычно с Ниной вдвоем, — Ласточкины почти бессознательно оставляли их. Один раз под вечер тайком вышел с ней «погулять», хотя пальба гремела как будто довольно близко. Правда, вернулись они минут через десять, — Нина была очень взволнована. Татьяна Михайловна не на шутку рассердилась.

— Помилуйте, Алексей Алексеевич, как же можно так рисковать! Это Бог знает что такое!

— Ради Бога, не гневайтесь, Татьяна Михайловна. Это в самом деле было непростительно, вся вина моя, — говорил Тонышев; в действительности, он долго убеждал Нину отказаться от «прогулки» и уступил только тогда, когда она сказала ему: «Может быть, вы боитесь? В таком случае не надо!»

— Могли вас обоих принести на носилках! Это было бы, конечно, очень поэтично — умереть на баррикадах, но баррикады вдобавок чужие и весьма сомнительные. Очень прошу вас больше Нину не выводить.

— Танечка, это моя вина! Это я по глупости пристала к Алексею Алексеевичу.

— Все твое любопытство!.. Слава Богу, что сошло благополучно. Медали за храбрость и боевые заслуги вы не получите, зато я вас награжу: к обеду достали шпроты, картошку и два фунта колбасы. Будете есть их с альбертиками. Вино, конечно, есть. Дмитрий Анатольевич теперь пьет немного больше, чем обычно. Верно, как вы и как все. Какого прикажете к нашему лукулловскому обеду? Шампанского вы, Алексей Алексеевич, не любите, да и неприлично было бы теперь пить шампанское.

— Разумеется!.. Русские люди убивают русских людей! — сказал Тонышев. Он вначале говорил в доме Ласточкиных о восстании несколько осторожно. Но тотчас оказалось, что хозяева относятся к восстанию так же отрицательно, как он. Алексей Алексеевич успокоился и обрадовался.

— Я распоряжусь, чтобы перед обедом подали водку. Ведь адский холод! Восстания и вообще ужас, но устраивать восстание в двадцатиградусный мороз — это вдобавок совершенный идиотизм! Вы любите зубровку, Алексей Алексеевич?

— Очень люблю, Татьяна Михайловна. А нельзя ли выпить рюмочку сейчас, чтобы немного согреться? Ведь до обеда еще далеко.

— Танечка, пожалуй, выпила бы, и я. Какая ты умница, что в свое время запаслась! Вы знаете, Алексей Алексеевич, у нас есть «погреб», просто как у старых помещиков! Митя говорил, больше ста бутылок. У вас, наверное, нет «погреба»?

— Вот и ошиблись, в имении небольшой есть. Как жаль, что вы не видели моего имения! В Вене я куплю старого токайского, это мое любимое.

— Не уверена, что у нас есть токайское. Сейчас посмотрю. А имение у вас, верно, отберут, да и в Вену вы не попадете. Министром иностранных дел будет, должно быть, какой-нибудь Носарь, и он едва ли вас назначит советником, — сказала Татьяна Михайловна. «Уже совсем ведет себя как свой. Идиллия на фоне восстания!» — радостно подумала она и вышла распорядиться о водке.

Когда восстание кончилось, Тонышев, приехав на обед уже не из колбасы и шпротов, вскользь сообщил, что решил отложить отъезд в деревню. Ласточкины постарались не переглянуться.

— А разве ваш отпуск еще не истекает? — спросил Дмитрий Анатольевич.

— Я послал в Петербург просьбу о продлении. Министр, наверное, продлит, он очень милый человек и хорошо ко мне относится. В крайнем случае горестно отправлюсь в Вену, не заезжая в имение.

— Очередной бюллетень: завтра они идут в оперу. Предлагают и нам, но без настойчивости. Я ответила: «Как жаль, мы с Митей заняты», — вечером говорила мужу Татьяна Михайловна. — Увидишь, Митенька, он на днях сделает предложение! И по всем правилам: сначала поговорит с тобой. Впрочем, не сначала. Ты, разумеется, грубо откажешь! Откажи, но все-таки уж не слишком грубо: без непристойных слов. Ах, как я рада!

— Я тоже страшно рад. Он прекрасный человек.

IV

Люда узнала о московском восстании из газет. Знакомые по комитету ей предварительно ничего не сообщили, Ленина она после редакционного совещания больше не видела. И то, и другое было обидно.

— Я переехала сюда именно потому, что восстание должно было произойти в Петербурге! И вот какой сюрприз! Нам надо сейчас же вернуться в Москву и принять участие в деле! — взволнованно говорила она Джамбулу. — Сегодня же поедем!

— Разве на ковре-самолете? Движение прекращено, и все подступы к Москве, конечно, охраняются войсками, — ответил Джамбул, пожимая плечами. Он был тоже взволнован, но гораздо меньше, чем Люда.

— Может, ты знал и ничего мне не сказал?

— Нет, я не знал. Сказал бы тебе, не знаю. Восстания — уже совсем не женское дело.

— Почему не женское дело?

— Из-за твоей горячей головы тебя убили бы в первый же день.

— Все-таки у тебя восточный взгляд на женщин! — сказала Люда сердито, хотя его объяснение немного ее смягчило.

— Тогда у твоего Ленина тоже: он Крупскую в Москву не отправил. И, что много хуже, сам туда не поехал.

— Почем ты знаешь? Ильич, наверное, уже давно в Москве! Кто тебе сказал?

— Я вчера слышал, что он здесь.

— Может быть, ты считаешь Ильича трусом?

— Нет. Он просто находит, что должен заниматься другим делом. Это все-таки несколько странно.

— Это клевета! Я сегодня же все узнаю, и тебе будет стыдно!

Еще недавно Люда ежедневно бывала в редакции *своей* газеты. Со всеми перезнакомилась, хотя ничего не писала. «Не могу найти интересной темы», — говорила она. Но в начале декабря там был произведен обыск и, наверное, полиция устроила засаду. Люда в тот же день разыскала Дмитрия. Он куда-то торопился и был очень взволнован. Адреса Ленина он не знал или говорил, что не знает.

— *Во всяком случае*, все в Москве делается по точнейшим директивам Ильича, — сказал Дмитрий. — А откуда он их дает, это не ваша печаль. Скоро все будем знать. Пан или пропал!

— Я уверена, что пан! — восторженно сказала Люда.

Она вернулась домой на лихаче. Джамбул только усмехнулся.

— Даром погибнут сотни людей. Восстание, я уверен, обречено на провал.

— Почему? Что ты каркаешь?

— Потому, что у них по безденежью ничего нет, кроме револьверов и, быть может, трех с половиной пулеметов. Вице-Бебели, впрочем, останутся живы и здоровы, да и сам обер-Бебель с директивами тоже. Разве посидит в тюрьме, как Мунэ-Сюлли-Троцкий, которого со всем его Советом беспрепятственно арестовал скромный наряд полиции.

— Ты тоже еще не погиб геройской смертью, — съязвила Люда.

— Ваше русское восстание — не совсем мое дело.

— Этого я не знала! Я думала, что это наше общее дело. А Ильич не может драться с казаками.

— Да, это небезопасно.

— Ты все понимаешь не так, как надо! Главнокомандующие сами не дерутся.

— Прежде дрались. У нас на Кавказе дерутся.

— Какие «у вас на Кавказе» главнокомандующие!

— Есть, есть. И они не сидят за шестьсот верст в тылу. Твой Ильич в Женеве говорил, что теперь мы все должны учиться владеть оружием: надо бить врага в самом буквальном смысле слова, если не из револьверов, то хоть дубинами. Очевидно, забыл.

Люда читала газеты и волновалась все больше. Через несколько дней стали приходить известия, что восстание провалилось. Из Москвы кружным путем приезжали растерянные, очень раздраженные люди. Все они рассказывали, что спаслись чудом, о Ленине говорили с кривой усмешкой и последними словами ругали Троцкого, Совет рабочих депутатов, петербургских революционеров вообще: «Вместо помощи прислали нам Семеновский полк! Даже не сделали попытки помешать ему пройти в Москву! Предатели и трусы!»

Дмитрий скрылся, и даже многие из тех, кому особенная опасность не грозила, «сняли шкуру», т. е. ушли в подполье. Полиция производила аресты, но массовых облав не было. Несколько позднее Люде стало известно, что Ленин уехал из Петербурга.

От нервности ей показалось, что за ними установлена слежка. Она сообщила об этом Джамбулу как будто равнодушно, но с тайной гордостью. Он внимательно ее выслушал, подумал и сказал, что в таком случае надо принять меры предосторожности и первым делом переехать в другую гостиницу. Гордость у нее еще увеличилась: заметила она, а не он, опытный, бывалый революционер. Тотчас объявила швейцару, что уезжает в Варшаву, приказала извозчику ехать на вокзал, там наняла другого извозчика. Через час в новую гостиницу приехал Джамбул. Она ахнула: он перекрасил волосы и сбрил бороду.

— Милый, как тебе идет!.. Я тоже должна перекраситься, да? — Люде представились разные возможности: «Черные, как смоль? Или тициановский цвет? И, разумеется, переменить прическу — Клео де Мерод?»

— Тебе поздно: тебя уже здесь видели такой, как ты теперь.

— Отчего же ты мне раньше не сказал?

— Ты не привыкла к гриму. Ему тоже надо учиться. Но ни тебе, ни мне особенная опасность не грозит. И мы скоро уедем: теперь сидеть в Петербурге бесцельно.

— Куда же хочешь уехать? На Кавказ? — с беспокойством спросила Люда. — Но я там никого и ничего не знаю! Меня там и понимать не будут. Нет, на Кавказ я ни за что не перееду.

— Я тебе этого и не предлагаю.

— То есть как? Ты хочешь туда уехать один?

— Я хотел тебе предложить уехать пока в Финляндию. Увидишь своего Ильича. Я только что узнал его адрес. Он в Финляндии, в Куоккале, вилла Ваза, это, оказывается, общая штаб-квартира русских революционеров. Сказал тот ваш лохматый литератор, как его? Ну, тот, что пишет гражданские рассказы...

— Это стихи бывают гражданские.

— И рассказы тоже. Он офицеров называет «бравыми сынами Марса». Как же не гражданские рассказы?

— Что ж, в Финляндию поехать можно! Ты ведь и сам хочешь поговорить с Ильичем.

— Хочу, но он, верно, еще в столбняке после своего блестящего успеха в Москве. Да я еще кое-кого здесь ожидаю из Тифлиса. Или ты нервничаешь?

— Я? Нисколько!

— Я знаю, что ты не трусиха. Опасности почти нет. Русская полиция еще глупее, чем эти московские революционеры... Если тебе нужно что-нибудь купить или заказать, сделай одолжение. В Куоккале, верно, шьют хуже, чем в Париже.

— Мне ничего не нужно, — ответила Люда, краснея.

Вопрос о деньгах теперь опять ее смущал, как при Рейхеле. Она не вернула Аркадию Васильевичу пятисот рублей: сначала просто не подумала, потом хотела послать деньги в «Пале Рояль» с письмом, но сказала себе, что он скорее всего отошлет их ей обратно и, во всяком случае, не ответит. Теперь за все платил Джамбул. При первой ее попытке «вносить свою долю в расходы» он вспыхнул и рассердился. Деньги у него были: отец, встревоженный событиями в России, прислал ему сразу две тысячи: был убежден, что от неприятностей с полицией всегда и везде можно откупиться.

— Не нужно, так не нужно. Посидим еще здесь. Да и время интересное, соберется Государственная дума, от которой, впрочем, как говорят по-русски, что от козла молока... Ну, а пока до свиданья. Мне нужно повидать одного армянина.

— Или одну армянку, — сказала Люда якобы в шутку. Она не была особенно ревнива, но отлучки Джамбула начинали ее тревожить. Он теперь нередко уходил по вечерам, оставлял ее одну, не объяснял, куда уходит, обычно говорил, что нужно встретиться с «одним человечком».

Как-то он вернулся очень поздно. Она была в ужасе, не знала, что делать. «Арестовали?.. А что, если он просто меня бросил? — вдруг пришло ей в голову. — Что тогда?.. Нет, неправда, это невозможно... Но что если?.. Рейхель будет в восторге... Герцогиня в Москве скроет восторг... Митя скажет что-нибудь очень гуманное и корректное»... Когда Джамбул около полуночи вернулся, Люда горячо его поцеловала: «Слава Богу, я уже думала, что ты арестован!» То, что он теперь сам предложил уехать в Куоккалу, ее успокоило.

Вечером у ярко освещенного входа в Европейскую гостиницу ее ра-

достно остановил выходивший человек средних лет в николаевской шинели. Люда не помнила его фамилии, но встречала его у Ласточкиных. «Кажется, из цивилизованных купеческих сынков. Это о нем герцогиня шутила, что у него две мечты в жизни: попасть в Государственную думу и дирижировать на балу у генерал-губернатора. Да, он самый, душа общества, умеет двигать ушами и говорить женским голосом».

— ...Только что выбрался из белокаменной! Вы не можете себе и представить, что там было! Дикари с обеих сторон, но с правительственной еще вдобавок звери!.. Я на днях видел Дмитрия Анатольевича, он страшно угнетен! Еще больше, чем ваш покорный слуга. Но ничего, Государственная дума не за горами, она покажет всем этим черносотенцам из именитого дворянства... Да, чуть не забыл: поздравляю вас с семейной радостью!

— С какой?

— Разумеется, с помолвкой Нины Анатольевны. Это блестящая партия. Увидите, Тонышев будет со временем послом.

— Да... да... Спасибо,— растерянно сказала Люда.— Да, он, наверное, будет послом.

— Наша восходящая звезда. И какой культурный и либеральный человек! Такие теперь нам особенно нужны... Ах, какие ужасные были события, мы все потрясены!.. Ну, очень рад, что вас встретил. Я в Милютины лавки, там нынче получены свежие белоны, я их предпочитаю всем другим устрицам. До свиданья, дорогая Людмила Ивановна, скоро, верно, встретимся у ваших.

«Мне совершенно все равно,— опять сказала себе Люда.— Меня не известили, что ж, это естественно... Митя, быть может, хотел, но герцогиня, верно, не позволила».

V

Уехали они в Финляндию, однако, еще нескоро.

У Люды случилось несчастье: сбежал Пусси. Это расстроило ее чуть не больше, чем провал московского восстания. Она плакала несколько дней. Джамбул не удивлялся: сам страстно любил животных. Поместили объявление в газетах. Никто кошки не привел.

— Ты кого больше любила: ее или меня? — попробовал все же шутить Джамбул.

Люда рассердилась.

— Ее гораздо больше!

— Купи другую.

— Мне нужна не другая, а мой Пусси! Ты — бревно! Я завтра дам еще объявленье. Назначу сто рублей награды.

— Конечно. Дай непременно.

— И никуда из Петербурга не уеду, пока не потеряна надежда.

— Что ж, подождем,— сказал Джамбул. У него еще были в Петербурге неотложные дела.— Но я уверен, что она не сбежала. Верно, ее раздавил трамвай.

Люда опять заплакала.

— Я сама так думаю... Пусик меня не бросил бы!

— Все-таки подождем. Никакой слежки за нами нет.

Перед отъездом Люда все же выкрасила волосы. Выбрала тициановский цвет. Немного волновалась перед границей, хотя, действительно, трусихой никак не была. Проехали они беспрепятственно. Больше и наблюдения не могло быть никакого. Финляндские власти относились к русским революционерам снисходительно и даже благожелательно.

В Куоккале они сняли комнату у извозчика-«активиста». Люда у извозчиков никогда не жила и приятно удивилась: так все здесь было чисто и уютно. Устроившись, они вышли на улицу.

— «Что же, дева младая, молви, куда нам плыть?» — спел он, и опять у него сильнее обозначился его приятный кавказский акцент.

— Плыть на эту самую «Вазу».

— Да где же она находится, проклятая «Ваза»? Спросим у первого прохожего.

Этот первый прохожий неожиданно оказался знакомым. Джамбул представил его Люде:

— Соколов, он же Медведь, он же Каин. Оба прозвища вполне заслужены. Знаменитый революционер, гроза царизма,— сказал он весело.

Люда смотрела на улыбавшегося ей Соколова с любопытством. О нем ходили рассказы в революционных кругах, частью восторженные, частью неблагожелательные. Говорили, что он был «аграрным террористом», теперь стал «максималистом»; рассказывали об его необычайной физической силе и красоте. «В самом деле писаный красавец!» — подумала Люда. Поговорили с ним очень недолго: он торопился на вокзал.

— Вы, верно, приезжали к Ленину? — не подумав, спросила она.

— К Ленину? Зачем мне Ленин? Я его тут и не видел. Знаю, что он живет в этой самой «Вазе» и не выходит из осторожности, хотя тут агентов мало,— насмешливо сказал Медведь и простился, указав им, как пройти к вилле.

— Замечательный человек! Герой,— сказал Джамбул.— Почище твоего Ленина!

— Уж будто?

— Да, почище. Он не теоретик, и слава Богу. У вас ведь чуть не все теоретики. Подумаешь, какая мудрость! Прочел человек десяток брошюр, сделал несколько выписок из Маркса — вот и вся теория. Сейчас же сам пишет глубокомысленные брошюры, если только он грамотен. О них пишут другие, такие же мудрецы, как он. Вот имя и создано, обеспечена мирная, блестящая карьера, правда, часто полуголодная. Вся Россия знает: теоретик социал-демократов!.. Не говорю о каком-нибудь Плеханове. Я его терпеть не могу, он роковой человек, но он по крайней мере учен и талантлив...

— Мы говорили не о Плеханове, а об этом Соколове.

— Совсем другая статья. Не скажу, чтобы он не был идейным человеком. Нет, он тоже идейный. Но он верно понимает, что ему жить недолго. Он не «бережет себя для дела», как твой Ильич.

— Да что же он делает, Соколов?

— Из таких людей, как он, выходят диктаторы, по крайней мере те, которые похрабрее, у которых правило: хоть час, да мой... Что он делает? Не знаю. У его организации есть большие деньги, мне говорили, будто сто пятьдесят тысяч, и она, кажется, затевает какие-то грандиозные дела. А пока что кутят, устраивают оргии. Так можно дойти Бог знает до чего... Быть может, я все-таки пошел бы с ним, но у них кавказцев нет и Кавказом они не интересуются. Если б у него была большая идея, то уж не было бы столь существенно, как они достают деньги.

— По-моему, это, напротив, очень существенно.

— Это «буржуазные предрассудки», над которыми ты же сама издеваешься... У него теперь новая любовница, Климова, я ее знаю. Дочь члена государственного совета. Совсем еще девчонка. Еще недавно была вегетарианкой и толстовкой. Страшный путь — от Льва Толстого к Михаилу Соколову. Разумеется, она страстно в него влюблена. Да и мудрено было бы девчонке в него не влюбиться. Он прямо какой-то Байард или Роланд... Который из них был «неистовый»? Роланд?

— Он Роланд, а Ленин кто?

— Ленин — смесь Дарвина с Пугачевым.

— А ты сам какая смесь?

— Я какая? — переспросил Джамбул.— Я смесь Шамиля с Казановой.

— Может быть, с Ванькой-Каином?

— Не смей ругаться. Это в Соколове, пожалуй, есть и Ванька-Каин. Какой я Ванька-Каин? Скорее Стива Облонский. Ах, как он описан у Толстого!

— Вот тебе на! Ни малейшего сходства.

Люда смеялась. «Он всегда весел, это дает ему большой шарм. Да, на Рейхеля не похож. И никуда он от меня не уйдет. Ни на какой Кавказ. Не отпущу! Свет жизни увидела с ним!»

— Ты ни Ванька-Каин, ни Казанова, ни Стива Облонский. Уж скорее Алкивиад! — сказала она. Это был в гимназическое время ее люби-

мый герой.— Ты любишь иногда прикидываться дикарем, а ты образованнее меня.

— Это еще означает не так много.

— Мерси. Все же запада тебе не хватает. Ты и в столицах живешь, как в ауле. Ты нахал, но я люблю тебя.

— Тоже мерси,— сказал он и обнял ее на улице, впрочем, совершенно безлюдной.

Вилла «Ваза» была большая, запущенная усадьба. По-видимому, в ней жило много людей. Уже на улице слышался шум, голоса, хохот, детский плач, собачий лай. Дверь была не заперта. Они постучали, никто не ответил,— вошли. Тут Джамбул галстука и пробора не поправлял. В комнате не было не только зеркала, но не было и вообще почти ничего: лишь диван, плохо покрытый чем-то вроде грязного, порванного пледа. На полу у дивана стояла полуопорожненная бутылка молока и на газете с крошками лежал неровно отломанный кусок хлеба.

В следующей комнате несколько человек играли в карты. Один из них был Дмитрий. Он радостно с Людой поздоровался, нисколько, видимо, не удивился приходу новых людей и пожал руку Джамбулу.

— Хотите поиграть в «дурачки»?

Люда с изумлением на него взглянула, чуть было не обиделась, но неожиданно для себя расхохоталась.

— Так у вас в революционном центре играют в «дурачки»?

— Так точно. Не всегда же решать судьбы мира. С женами и играем. Муж и жена одна сатана. Ильич тоже играет. И недурно, хотя хуже, чем Богданов и чем я... Вы хотите повидать Ильича? Его комната далеко, я, пожалуй, вас провожу? — предложил он без особой готовности.

Другие игроки нетерпеливо поглядывали на вошедших. Люда попросила только указать им, как пройти. Дмитрий все же вышел в коридор.

— В те комнаты слева не заходите: там эсеры и склад их бомб. Направо детская. А к Ильичу вон туда.

Раздражение Люды против Ленина исчезло при его виде: «Господи, как изменился!» Он их встретил равнодушно-вежливо. Напротив, Крупская была ласковее обычного.

— Матушки!.. Вы теперь бритый брюнет! — сказала она Джамбулу.— И вы, товарищ Никонова, не прежней масти! Володя тоже не раз менял облик, он удивительно это делает, я сама тогда его не узнаю! Ну, рассказывайте, что в богоспасаемой Москве.

— Не очень теперь она богоспасаемая. Я, впрочем, из Москвы уехала давно, до восстания. Мы были в Петербурге.

— А каково настроение питерских рабочих? — спросила уже озабоченно Крупская, оглядываясь на Ленина с беспокойством.

— Очень скверное. Арест Совета рабочих депутатов произвел тяжелое впечатление, и...

— Да, Троцкий оказался не на высоте. Как и можно было ожидать. Недаром Володя прозвал его Балалайкиным. Он только ораторствовал и никаких мер не принимал. Настроение было такое, что Совет мог легко арестовать Витте в Зимнем. Рабочие вышли бы на улицу как один человек!

— Вместо этого Витте арестовал Совет. А московское восстание, так плохо подготовленное, потоплено в крови. Да, руководство оказалось не на высоте,— сказал Джамбул ласково. Крупская на него посмотрела.

— Одно восстание провалилось, а другое удастся,— угрюмо заметил Ленин.— Мы кое-чему научились.

— Унывать нет ни малейших причин,— подтвердила Крупская.— Были и очень отрадные явления. Вы, верно, слышали, с каким подъемом прошла Таммерфорсская конференция! Был сорок один делегат. И среди них новые, интересные люди. Особенно один кавказец, Иванович, кажется, его зовут Иосиф Джугашвили. Вы, верно, его встречали на Кавказе?

— Встречал. Серый и гадкий человек, но очень хитрый и смелый,— ответил Джамбул.

И Ленин, и Крупская взглянули на него вопросительно.

— У нас не было такого впечатления,— сказала Крупская.— Он оказался фанатическим сторонником Володи. Володе устроили бурную овацию.

— Все? Сорок один человек? — спросил насмешливо Джамбул.

Люда поспешила вмешаться:

— Я это слышала. Теперь вы, Ильич, наш общепризнанный вождь.

— Володя и до конференции был общепризнанным вождем,— поправила Крупская.— Конечно, не говорю о меньшевиках. Хороши, кстати, гуси!

Она сообщила новые сведения о гнусностях Плеханова, о беспредельной гадости Мартова, о черносотенстве Аксельрода,— эти выражения были из недавних писем ее мужа: она их читала, изучала и запоминала. Люда слушала не без удивленья.

— Но ведь мы с ними объединяемся! А Плеханова, я слышала, Ильич даже звал в редакцию? Я и то удивлялась,— сказала она, вопросительно глядя на Ленина. Он беззвучно засмеялся, и его еще увеличившаяся лысина покраснела.

— Что ж, что объединяемся? Они все-таки черносотенцы. И даже не объединяемся, а скорее спутываемся. Да Володя знает, что делает,— ответила Надежда Константиновна.— Вот что, останьтесь с нами обедать, покалякаем. Володя немного скучает после Питера и всего, что там было. Его газета стала центром всей революционной акции... Я сейчас сбегаю и чего-нибудь куплю. Здесь лавки закрываются рано.

Люда отказалась: видела, что Ленин не в духе. Крупская же всегда ее раздражала.

— Мы ведь на первый раз лишь зашли на минуту. Очень устали.

— Не надо уставать, особенно молодым партийцам. Предстоят великие события. Всем надо готовиться и трудиться, не покладая рук. Володя еще недавно сказал, что у нас теперь не 1849-й год, а 1847-й. Разве вы не помните?.. А где вы остановились?

— Недалеко отсюда, у извозчика-активиста.

— Хороший народ финские активисты и к Володе отлично относятся, знают и почитают. А то вы могли бы остановиться и здесь. Дом большой. Первая комната пустая, и мы в ней всегда оставляем еду, на случай, если из Питера поздно ночью приедет какой-либо товарищ. Мы здесь временно, на биваках. Ищем пристанища. Работать Володе тут трудно: нет книг, и мешают. Он задумал...

— Все равно, что я задумал,— перебил ее муж и обратился к Джамбулу: — А то остались бы? Вот вы все желали со мной поговорить.

— Я остался бы. Но, может быть, Владимир Ильич, вы хотите поиграть в «дурачки»? Вас там, кажется, ждут,— сказал Джамбул с особенно серьезным видом.

Крупская строго на него взглянула. Его замечание показалось ей дерзким.

— Володя иногда по вечерам играет после работы, это его немного развлекает,— сказала она. Но Ленина слова Джамбула, по-видимому, не задели. Он даже усмехнулся.

— Да, я могу остаться. Мне действительно необходимо с вами поговорить. А она тем временем поболтает с Надеждой Константиновной.

— Нет, я пойду,— сказала Люда холодно. Не знала, что Джамбул будет говорить с Ильичем в первый же день, и была задета тем, что ее к разговору не привлекли.— Надо посмотреть, какое-такое Куоккала.

— Тогда через час-полтора встретимся дома.

— Да, не засиживайся.

— Addio,— сказал Ленин, рассеянно пожав Люде руку.

Крупская проводила ее до дверей.

— Он не в духе,— озабоченно сказала она вполголоса в пустой комнате.

— Джамбул?

— Нет, разумеется, Володя. Ох, боюсь, опять начнется депрессия, как тогда в Брюсселе. И вдобавок он нездоров.

— Ось, лышенько! Что такое?

— Эти неудачи его расшатали. Я всячески поддерживаю в нем бодрость. И особенно важно, чтобы люди с мест тоже говорили, что есть еще

порох в пороховницах. Представьте, он мне вчера сказал, что не надеется дожить до победы нашего дела! Пожалуйста, в разговорах с ним не нойте!

— Я никогда не ною, — сердито сказала Люда. «Это я «человек с мест». И Джамбул тоже!»

— Забегайте почаще. Только не в рабочие часы Володи. Завтра днем не приходите: кажется, будет Камо. Это известный кавказский боевик. Чудак! Недавно ходил по Питеру в костюме кавказского джигита, с каким-то шаром, обернутым в бумагу! Все думали, бомба. Оказалось, арбуз! Он вез нам в подарок арбуз. Вы его знаете?

— Что-то слышала от Джамбула. Он его хвалил, но, помнится, говорил, что это совершенный дурак.

— Больно строг ваш Джамбул, — сказала Крупская с неудовольствием.

У Ленина в Куоккале депрессии не было. Неудача московского восстания, правда, очень его расстроила. Ему нисколько не было жаль погибших людей, он о них думал, да и то не очень, лишь тогда, когда в «Вазе» пели после ужинов «Вы жертвою пали». Пел, впрочем, с искренним воодушевлением, на него действовала музыка, хотя бы и плохая.

Его злило то, что он совершил грубую ошибку в расчете сил и что над ним теперь насмехался Плеханов. «Этот невероятный нахал точно рад, что восстание провалилось! — думал Ленин. — Да он и в самом деле рад. Его рехтхаберишство * переходит все границы. Между тем мы все-таки на восстании кое-чему научились. Оно было только генеральной репетицией, этого наши болваны не понимают! Что ж делать, после московского провала надо идти на уступки. Будем «объединяться» и с меньшевиками. Я им скоро покажу «объединение», пошлю их к чертовой матери! Уж лучше было бы работать с максималистами. Они ничего не понимают и тоже надо мной насмехаются: «начетчик», но они настоящие люди. Жаль, что Соколов все-таки тот же болван эсер. Он по натуре большевик и очень мне пригодился бы, гораздо больше, чем здешняя теплая компаньица. Но в голове у него старая жвачка. Разумеется, в Маркса никогда и не заглядывал!»

Для Ленина люди, не читавшие Маркса, были не совсем люди, даже Клаузевиц, у которого было, впрочем, то оправдание, что он до «Капитала» или хоть до «Коммунистического манифеста» не дожил. «Соколов, верно, сам не понимает, чего хочет, или же хочет того, что совершенно не нужно и очень вредно. Вот так Бонапарт».

Накануне вечером он читал книгу о возвышении Наполеона. Подготовка Брюмера чрезвычайно ему нравилась, все было так умно, тонко, толково, Бонапарт всех обманывал и обманул. «А для чего? Для разных идиотских Аустерлицев, для столь же идиотской короны! И повезло ему, что были деньги. Кажется, приворовал, командуя армиями в Италии или в Египте».

Он вышел с Джамбулом в садик. Навстречу им шел ребенок с мячом. Ленин ласково с ним поговорил, — любил маленьких детей. «Тебя мама ждет». Залаяла на незнакомого человека собака. Он так же ласково ее погладил, — любил и собак. «Свой, свой», — объяснил он ей, показывая на Джамбула. Собака успокоилась. Ленин отошел в глубь сада и сел на скамейку.

— Вот давайте здесь побалакаем, отсюда ничего не слышно... Да, вы пошутили отчасти правильно. В самом деле, хоть в картишки играй, — хмуро сказал он. — Радоваться нечему.

— Нечему, — подтвердил Джамбул. — Все же хорошо хоть то, что вас короновали в Таммерфорсе. Теперь есть с кем говорить. Слава Богу, и Балалайкин долго мешать не будет. Он, разумеется, за то, чтобы сесть на ваше место, продал бы дьяволу душу, если у него есть душа. Больше в партии никого нет, все шляпы и теоретики. Для разных объединительных и разъединительных съездов они, конечно, годятся, но ни для чего другого. Им не стоит и посылать деньги на сапоги.

— На какие еще сапоги?

* стремление настоять на своем (нем.)

— Когда турецкий султан в далекие времена выступал в поход, он посылал своим ханам по пять тысяч червонцев на сапоги. Да ханы обычно отнекивались.

— Нельзя ли без аллегорий? Какой поход вы имеете в виду? — спросил Ленин. «Ох, попросит денег», — подумал он. — И не из чего посылать: нет червонцев, наша касса сейчас пуста, все ухлопали на восстание. Купчишки перепуганы насмерть, Морозов даже со страху застрелился, не оставив нам ни гроша. Вдовушка не даст ничего, хотя пролетарского происхождения. Кто-то говорил, будто она купила или покупает подмосковную: какие-то Горки. Отвалила бы нам что, в светлую память Саввы... А вы о чем хотели со мной разговаривать?

— Об этом самом. Не о подмосковной, а о вашей казне. Ведь без денег вы ровно ничего не сделаете. Надо создать казну не грошовую.

— Это, почтеннейший, святая истина, но какой способ вы предлагаете?

— Способ я ношу с собой в кармане.

— Да что вы все так выражаетесь? Говорите понятно. Какой способ носите в кармане?

— Револьвер системы «маузер». Видите, я говорю понятно и без аллегорий.

«Вот оно что, — подумал Ленин. Он был доволен. — Кажется, этот джигит — серьезный человек. Если только не охранник».

— Экспроприации? — спросил он. — Не вы первый о них говорите.

— Кто же еще? Красин? Он умный человек.

— Разные говорят, и не у нас, — ответил Ленин уклончиво. — Вот, например, максималисты, недавно отколовшиеся от болванов-эсеров. Кстати, по Квакале, говорят, бегает Соколов, тот самый. Верно, у него с кем-либо тут свиданьице.

— Больше не бегает. Уехал. Мы его встретили у вокзала.

— Так вы его знаете? — подозрительно спросил Ленин.

— Встречал. Встречал и их собственного «теоретика», некоего Павлова. Он мне доказывал, что нужно вырезать всех капиталистов поголовно, так как они ничем не отличаются от зверей. Совершенный психопат.

— Зачем же вырезать всех поголовно?

— А их идеи о свободе! Это уж просто из Кузьмы Пруткова: «Проект о введении единомыслия в пространном нашем отечестве».

Ленин усмехнулся.

— Это еще не так глупо. Максималисты кое-что смыслят, жаль, что все-таки народники.. Ну, да дело не в них. Вы догадываетесь, что я обо всем таком думал и без вас.

Он встал, сделал несколько шагов по дорожке и остановился против Джамбула, засунув пальцы за жилет.

— Прежде это называлось просто грабежом, — сказал он. — Не могу в себе до конца вытравить слюнявого интеллигентика. Не лежит к этому душа. Наши дурачки-меньшевички начнут ахать: ах, убийства, ах, убивать бедных людей!

— Тут необходимы пределы: бедных людей мы экспроприировать не будем.

— Это даже само собой разумеется: если они бедные, то экспроприировать и нечего, — сказал Ленин. — Но кассиры и артельщики редко бывают миллионерами. А убивать бедных можно?

— Зачем придираться к обмолвкам? Убивать мы по возможности не будем никого.

— Именно «по возможности». Ну, ладно... Значит, вы занялись бы этим дельцем, если б партия вам это поручила? — спросил Ленин, впившись в него глазами.

— Я никогда не предлагаю другим того, чем не согласился бы заняться сам.

— Это лучше. — «В самом деле как будто подходящий человек. Не хуже, чем Камо», — подумал Ленин. — Но, видите ли, тут заколдованный круг: для деньжат нужны эксы, а для эксов нужны деньжата.

— Я, кажется, у вас деньжат не просил.

— Не просили, да и неоткуда было бы их вам дать. Касса, повторяю, пуста. В этом и есть главная беда, что у нас нет выбора... А глав-

ное, ведь надо иметь уверенность, что товарищи-эксисты будут отдавать деньжата партии. Ну, не все, но бо́льшую часть, — добавил он многозначительно. «Нет, трудно иметь дело с этим субъектом!» — подумал Джамбул. Лицо у него стало багроветь. Ленин опять на него взглянул. — Конечно, они и должны оставлять себе часть на покрытие своих расходов. «Откуда же у него денежки? Не из охранки ли он? Непохоже».

— Мы тоже должны знать кое-что, — сказал Джамбул очень холодно. — Куда пойдут «деньжата»?

— А это уже наша печаль.

— Чья «ваша»? Центрального Комитета, что ли? Если на содержание теоретиков и на фракционные брошюрки, то мне это неинтересно.

— Вот как? Именно теоретики и создают историю!

— Да, иногда создают, если они не трусы и не шляпы.

— Бывают, что не трусы и не шляпы. Без них, видите, не обходятся даже господа Соколовы-Каины.

— Соколов — дело другое. «И наведу на тя убивающа мужа и секиру его». Это из Иеремии.

— И Иеремию читаете! Ни к чему, почтеннейший! Больше бы читали Маркса, это самое главное. А Соколов — безумный человек.

— Возможно. Я тоже считаю бессмысленным убийства отдельных людей, какое положение они ни занимали бы.

— Это по крайней мере по-марксистски. Верно, хотя и допускаются исключения. Вернемся к эксам. На что же, по-вашему, должны были бы пойти деньги?

— На массовую доставку оружия, особенно на Кавказ, так как Москва провалилась. Но этим должны заниматься не теоретики. Я хотел бы над этим поработать.

— Мы полезных людей всегда привлекаем. И небольшие жалованья назначаем, когда есть деньги. Кстати, вы имеете возможность работать без жалованья? — вскользь спросил он.

— Я получаю деньги от отца, — ответил Джамбул с усмешкой. — Мой отец имеет средства. Живет в Турции. Могу дать вам его адрес. Для справок.

— Что вы, помилуйте. Да, мы вас охотно привлечем к доставке оружия. Директивы, разумеется, останутся за нами. Мы с вами установим modus vivendi... Кстати, надеюсь, вы не думаете, что Центральный Комитет тут же возьмет и даст свою санкцию на эксы. Такой вопросик надо тщательно провентилировать.

— Партия все провентилирует, как вы ей прикажете провентилировать.

Ленин усмехнулся, снова сел на скамейку и, повернувшись к Джамбулу, взял его за пуговицу.

— К несчастью, это не так. Теперь не так, особенно после московского поражения... Когда вы уезжаете?

— Еще не знаю.

— Прямо в Россию?

— Нет, к нам, на Кавказ.

«Он что же, сепаратист? Или просто каша в головке? Ну, да нам не до «единой и неделимой», как проповедует Иуда Струве», — подумал Ленин.

— Хорошо, что возвращаетесь. Эмиграция — последнее дело. Я буду с вами регулярно сноситься. На Кавказе есть ценнейшие работники. Только там, кажется, прочно засел в массах Боженька. Аллах. Религия — одна из самых отвратительных и опасных сил в мире.

— Аллах переживет Маркса.

Ленин вытаращил глаза.

— Ну, хорошо. На Кавказе есть ценные субъекты. Кота Цинцадзе — умный человек. Камо глуп, как сивый мерин, но очень храбр. И надежен, как каменная гора... Кстати, вы давеча ругали этого Ивановича-Джугашвили. Вы его хорошо знаете?

— Потому и ругал, что знаю. Я на Кавказе знаю всех. И его у нас не любят. Он, как лесковская ведьма, «имеет не совсем стройную репутацию».

— Уж не подозреваете ли вы его в провокации?

— Нет, в этом не подозреваю.

— Так в чем же дело? Быть может, вы не удовлетворены его «моральными качествами»? — Ленин засмеялся. «Если б был охранником, то, наверное, прикидывался бы твердокаменным марксистом», — подумал он. — Вот что, приходите завтра в пять часов. Один, — подчеркнул он.

VI

«Квакала», как шутливо называли Куоккалу революционеры, была очень скучным местом. Люда тотчас его возненавидела. Ленин скоро покинул виллу «Ваза» и поселился в какой-то избе.

— Там Володя совершенно не мог работать, мешал шум, — объясняла Крупская. — Правда, теперь мы платим дороже, а деньжат у нас как кот наплакал. Что ж делать, если не хватит пороха, вернемся в «Вазу». Ведь, может, здесь придется засидеться.

Джамбул и в Куоккале не скучал, как не скучал почти нигде, «только на съездах». Говорил, что было бы и совсем хорошо, если б в этой глуши можно было достать сносную верховую лошадь. «То есть я и лошадь. Или лошадь и я», — думала Люда. Он много гулял. Радовался жаркой весне. Опять отпускал себе бороду; его щетина не нравилась Люде. «Слишком скучно бриться, всегда терпеть не мог. Перед отъездом в Петербург сбрею и снова превращусь в Алкивиада», — объяснял он.

У Ленина он бывал часто и разговаривал с ним наедине. Раздражение у Люды все росло: Ильич почти не обращал на нее внимания. Крупская ей очень надоела.

— Ты знаешь, как я почитаю Ильича, но у нее его культ доходит просто до смешного! — говорила она Джамбулу. — Опять звала обедать, она очень гостеприимна, отдаю ей справедливость. Но я отказалась, не хочу их объедать, да и обеды уж очень плохие. Мне все равно, что есть, но ты таких обедов не любишь.

Они вдвоем ходили в местный ресторан, где, впрочем, кухня тоже была скверная. За обедом разговор обычно не очень клеился. «Англичане говорят: «Два человека составляют компанию, а три — нет». По-моему, чаще бывает обратное. Когда только два, то каждый немного напрягается, чтобы не наступало молчание», — думала Люда. Случалось, себя спрашивала, кто был бы в разговоре подходящим третьим. «Вот Митя подходил бы, он человек широких взглядов». Но тотчас вспомнила о недавнем времени, когда у нее «двое составляли компанию». «Неужто проходит любовь? В самом деле, он прежде был интереснее... Нет, это не разочарование, скорее просто скука».

Иногда она говорила Джамбулу и колкости, как прежде Рейхелю.

— Я, конечно, не спрашиваю тебя, о чем ты изволишь беседовать с Ильичем, но...

— Это, к сожалению, его секрет, а не мой. Он меня связал честным словом. Да и ничего интересного.

— Разумеется, разумеется! Но мне здесь, в Квакале, сидеть надоело. В общем, мы напрасно сюда приехали. В Петербурге была жизнь. Так я в этом году и не видела наших фиалок... Долго ли ты еще хочешь здесь оставаться?

— Скоро уедем. Надо ведь и отдохнуть, набраться сил для работы.

— Не знаю только, для какой. И я очень давно отдыхаю. Ты, кстати, тоже.

Он кое-как отшучивался, но с необычным для него напряжением. «Что-то скрывает! Этого еще не хватало!» — подумала Люда.

От скуки она попросила у Крупской книг. Та дала несколько брошюр и протоколы Второго съезда: «Володя находит, что все мы должны их читать и читать», — объяснила она. Люда дома заглянула в протоколы с любопытством: «Сама все слышала, а теперь напечатано и перешло в историю!» Однако скоро потеряла интерес: «То, да не то! Совсем не так это было слушать». Из брошюр наиболее понятной была чья-то работа о кооперации. «Да, это надо знать, необходимо вообще пополнить экономическое образование». Прочла всю брошюру и даже сделала выписки в тетрадку.

Работы по хозяйству у нее было немного. Чтобы поддержать русское

имя в чистеньком домике извозчика, Люда с утра отдавала полчаса уборке комнаты. Джамбул на это время уходил на вокзал за газетами, затем читал их, как говорил, «на лоне природы».

Приведя комнату в порядок, Люда собралась выйти на прогулку, когда в дверь постучали. Вошли двое мужчин и одна дама — по виду кавказцы. Они очень вежливо спросили по-русски о Джамбуле.

— Его нет дома, — сухо ответила Люда. — Пошел читать газеты.

— Не знаете ли вы, где мы могли бы его найти? — спросила дама с сильным грузинским акцентом.

Люда на нее посмотрела. Дама была молода и хороша собой. «Выскочила первая! Могли бы спросить мужчины», — подумала Люда недоброжелательно. «На лоне природы, — хотела было ответить она, — но это недостаточный адрес».

— Не знаю. Он обычно возвращается часов в одиннадцать. Я должна уйти, но, если хотите, вы можете подождать его здесь.

Посетители обменялись вполголоса несколькими словами, сказали, что вернутся, и, учтиво поклонившись, вышли. Люда написала Джамбулу записку: «К тебе зашли два компатриота и одна красивая компатриотка. Зайдут опять в одиннадцать. Если вернешься раньше, подожди почтенную компанию. Чтобы вам не мешать, я вернусь только к часу. Буду, высунув язык, бегать по лесу. Пожалуйста, не зови их завтракать в наш ресторан, пусть жрут на вокзале», — написала она и вдруг почти с ужасом почувствовала, что больше не ревнует Джамбула ни к «красивой компатриотке» и ни к кому другому. «Но ведь тогда и любовь кончена! Нет, вздор... Незачем его злить». Она старательно зачеркнула слово «жрут». Хотела было написать «лопают» — «это шутливее», — и написала просто «завтракают». «Не переписать ли? Нет, лень. Замарано хорошо, да он и не станет всматриваться. Его мои эмоции уже мало интересуют, да, собственно, и прежде не интересовали. Он Алкивиад, но отчасти и бревно. Алкивиад пополам с бревном»...

В лесу ее раздражение почти прошло. Было только скучно гулять одной: «Что ж делать, мне чуть не всегда скучно. И решительно ничего у него, разумеется, с этой кавказкой нет... Но все-таки нужно этому положить конец! — думала она, точно ей было жаль расставаться с раздражением. — Я должна узнать, в чем у них дело, что он замышляет. Казалось бы, уж мне-то надо бы знать! Если он и не врет, будто с него взял обет молчания Ленин (не назвала его мысленно Ильичем), то об этих князьях я имею право узнать во всяком случае!»

Вернулась она ровно в час. Джамбул был один.

— Были твои гости? Видел их?

— Видел.

— Не смею спрашивать, кто и что. — Люда помолчала, глядя на него вопросительно. — Они, верно, пошли к Ленину?

— Нет, они ничего общего с Лениным не имеют. Они пошли на вокзал. Сейчас уезжают.

— Счастливого пути. Пойдем завтракать. Я голодна, как зверь.

Несмотря на принятое в лесу решение, Люда до жаркого не спрашивала его о посетителях. Надеялась, что он скажет первый. Джамбул не сказал. Говорили о газетных новостях, о Государственной думе.

— Когда же мы уезжаем в Петербург? — наконец, не вытерпев, спросила она.

— Когда хочешь, мне и самому здесь уже очень надоело, — сказал он. — Хоть завтра. Ведь ты отдохнула как следует?

Люда не ответила на этот вопрос, показавшийся ей лицемерным.

— Ловлю тебя на слове. Завтра же и уедем!

— И отлично, — сказал Джамбул, точно не замечая раздражения Люды. — Жаль только, что приедем в самое жаркое время. В Петербурге страшная жара.

— Ничего, я люблю Петербург и летом.

— А что, если б мы уехали, например, в Кисловодск?

— Какой вздор ты говоришь! Что мы, буржуи, что ли? Не хочу разъезжать по курортам!

— Деньги есть, я ведь опять получил от отца. Очень зовет старик навестить его.

Она тотчас насторожилась. И, как всегда, упоминание о деньгах ее кольнуло.

— Твой отец, насколько мне известно, живет не в Кисловодске, а в Турции.

— Я к нему в Турцию и съездил бы.

Люда помолчала. «Так и есть, надоела»...

— Кисловодск, Турция, так... Но когда же мы будем заниматься делом?

— То есть революцией?.. Людочка, можно поговорить с тобой по душам?

— Не можно, а необходимо, давно пора, — ответила она, насторожившись еще больше от «Людочки». Он редко так называл ее. — Что ты хочешь сказать?

— Зачем тебе заниматься революцией? Ты сама видишь, она становится все более кровавой и, что еще хуже, все более грязной. Государственная дума — это ерунда. Террор с обеих сторон будет расти с каждым днем. То, что было до сих пор, — это цветочки, а ягодки еще впереди, как говорите вы, русские.

— В сотый раз прошу тебя, не говори «вы, русские»! Ты тоже русский.

— А я в сотый раз тебе отвечаю, что я русский только по культуре, да и то не совсем. Я стою за независимость Кавказа. Но мы сейчас говорим не об этом. По-моему, тебе лучше отойти от революции.

— То есть как «отойти»?

— Так, просто отойти. Это не женское дело вообще и не *твое* дело в частности. Если ты теперь же не отойдешь, это неминуемо кончится для тебя каторгой! Разве ты способна жить на каторжных работах?

— Почему каторжные работы? Зачем каторжные работы?

— Я именно и говорю: зачем каторжные работы? Это ужас, грязь, медленная смерть, беспросветная тоска и скука. А ты создана для радостной, счастливой жизни. Ты вот фиалки любишь. Ты по природе барыня. Видишь, и Ленин не очень тебя вводит в свои дела.

Она вспыхнула.

— Не вводит — и не надо! Свет на нем клином не сошелся. Но от тебя я ждала другого. Что ж, и ты тоже отойдешь?

— Нет, я отойти не могу, а тебя я в кавказские дела вводить не хочу и не имею морального права. Зачем тебе жертвовать собой ради чужого дела? И вообще зачем тебе заниматься такой работой? Вот ты меня спрашивала, откуда деньги у этого Соколова. Я сегодня случайно узнал от моих гостей подробности. Они его терпеть не могут, но, конечно, говорят правду. У него деньги от экспроприации в Московском обществе взаимного кредита. Читала в газетах? Это его дело.

— Он ограбил банк!

— Можно называть и так, — сказал Джамбул, морщась. — Да, он ограбил банк. Не он один, конечно, их было несколько. Технически это было исполнено с необыкновенным совершенством. Этот человек — воплощение хладнокровия и бесстрашия. При дележе ему досталось сто пятьдесят тысяч рублей. На эти деньги они обзавелись автомобилями, рысаками, вели разгульную жизнь.

— Очень тебе благодарна, что ты меня познакомил с таким господином! Я подала ему руку!

— Руку можно подавать кому угодно. — Он поморщился еще сильнее и невесело засмеялся. — Вот мне ты же подаешь руку, а у меня тоже бывали в жизни страшные дела.

— Но не грабежи!

— Добрая половина революционной работы — это грязь. Спроси у любого искреннего революционера. Спроси хоть у твоего Ильича. Впрочем, он правды не скажет. Все дело в *цели*. В целях Ленина я очень сомневаюсь, а в своих нисколько, ни минуты. Россия — не Кавказ, она не порабощена иностранным завоевателем... Так поедем в Кисловодск? Я тебя научил бы ездить верхом. Вместе ездили бы в «Храм воздуха», а?

— Нет, спасибо, я не поеду... Значит, ты вернешься?

— Разумеется, — ответил он. Не любил лгать, но лгать женщинам для него было довольно привычным делом. — Разумеется, вернусь в Кисловодск.

— Если ты хочешь вернуться, то можешь вернуться в Петербург. Но я вообще тебя не держу. В мыслях не имею!

— Ну, вот, зачем такие слова?.. Ты будешь пить кофе? Нет? Знаешь что? Сегодня в «Вазе» генеральная оргия «дурачков» — даже во всех смыслах — и, верно, при благосклонном участии Ленина. Там с ним и простимся... А потом другую оргию устроим дома, — опять уже весело добавил он и не в первый раз подумал, что темперамент у нее довольно холодный. И глаза никогда не блестят, хотя очень красивые.

— Незачем посылать перед оргиями повестку, — ответила Люда. «Поговорим как следует в Питере. Мы просто здесь одичали», — подумала она.

В «Вазу» они отправились только вечером. Знали, что днем Ленин работает. «Может быть, даже работают и некоторые другие, хотя это маловероятно», — говорил Джамбул. Еще издали они услышали очень громкое, нестройное пенье.

— Что такое? Перепились за «дурачками»?

— Ты отлично знаешь, что Ильич не пьет, не то, что ты. Много, если выпьет бокал пива.

— Ну, так другие... Ох, как фальшиво поют! — сказал Джамбул.

— Ильич очень музыкален. Я слышала, как он поет «Нас венчали не в церкви». Не Шаляпин, но могу тебя уверить, очень недурно!

Сбоку отворилось окно, высунул голову испуганный старик-финн, прислушался и пробормотал что-то, по-видимому, не очень лестное для русских. Люда и Джамбул ускорили шаги. «Ваза» была ярко освещена. Люди в саду стояли лицом к растворенному окну и восторженно пели. В окне Ленин размахивал сложенной в трубочку брошюрой. Кто-то аккомпанировал на гитаре.

— Да он не только Шаляпин, он еще и Никиш! — сказал Джамбул. — Что это они орут? «Укажи мне такую обитель»?

— Да, разумеется, — взволнованно сказала Люда.

— Ох, не люблю скверные стишки.

— Это стихи великого поэта, невежда!

— А все-таки скверные. Давай, послушаем отсюда, чтобы не мешать божественному хору.

Он остановился. Люда остановилась неохотно. Ей хотелось самой пить и петь. Ленин высоко взмахнул брошюрой, прокричал «Так, братцы, валяйте!» и опять запел. Хор подхватил:

...Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках на железной цепи.
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи...

— Знаешь что, пойдем стонать под овином домой, — сказал Джамбул.

— Ни за что! — ответила Люда. — Ни за какие коврижки!

— Я тебе коврижек и не предлагаю. Но гадко слушать. Зачем люди поют, если не умеют?

VII

В поезде после границы был небольшой спор — где остановиться в Петербурге. Джамбул предлагал «Европейскую». Когда у него были деньги (а они бывали у него почти всегда), он ни о какой экономии не заботился. Хорошие гостиницы и рестораны, еще больше дорогие костюмы, галстуки, тонкое белье улучшали его настроение, и без того обычно очень хорошее.

— Нет, не хочу. У меня ведь нет богатого отца, — сухо отвечала Люда. — Ох, не похож ты на русского революционера.

— Я и не русский революционер, — сказал он. Теперь это подчеркивал все чаще.

— Знаю, слышала. Остановимся в какой-нибудь недорогой гостинице.

— Пожалуйста. Хоть в ночлежке, — согласился он. В последнее время во всем ей уступал. — Я могу жить и как кинто.

— Зачем как кинто?

Прежде Люда часто его себе представляла в наряде джигита, при украшенной золотом и серебром гурде, в бешмете и в чувяках; вспоминала такие слова, известные ей по романам. Иногда ему это говорила. «Да, это для меня самый естественный костюм. Такой носили все мои предки», — отвечал он.

Они выбрали гостиницу, среднюю между «Европейской» и ночлежкой. Там оказался знакомый: начинающий журналист Альфред Исаевич Певзнер, благодушный, веселый человек. Он в том же коридоре снимал крошечную комнату. Всего с полгода тому назад приехал из провинции в Петербург, но уже имел связи, знал все, что делается и в «сферах», и в левых кругах, и в правых кругах. Печатал репортерские заметки в либеральных газетах, — революционные недолюбливал. Пока зарабатывал мало, но как раз только что получил в большой газете должность репортера. Подписывался буквой «П» и придумывал себе псевдоним.

— Как вы думаете, «Дон Педро» — это хорошая подпись? — спросил он Джамбула, который, как и Люда, охотно с ним болтал.

— Превосходная! — ответил Джамбул. — Однако, по-моему, «Дон Педро ди Кастильо Эстрамадура» было бы еще лучше.

Певзнер благодушно махнул рукой.

— Хотите с Людмилой Ивановной побывать в Государственной думе? Я всех там знаю и на сегодня легко получу для вас билеты. Теперь наплыв уже меньше, чем был в первые дни.

— Говорят даже, что это богоспасаемое учреждение скоро прихлопнут, — сказал Джамбул.

— Типун вам на язык! На днях кто-то из кадетов назвал самую эту мысль кощунственной.

— Отчего же не повидать такую святыню? Ведите нас туда.

Заседание оказалось скучноватое. Знаменитые кадеты не выступали. Ругали правительство серые крестьяне, трудовики. В ложе министров был только министр внутренних дел Столыпин, о котором уже много говорили в России. Но он тоже не выступал и скоро уехал. Люда, опять оживившаяся в Петербурге, была довольна, что попала в думу: еще никогда ни в каком парламенте не была. Певзнер показал ей Столыпина.

— Восходящая звезда на бюрократическом горизонте! Оратор, что и говорить, прекрасный. По слухам, скоро будет главой правительства.

— В самом деле осанистый, импозантный человек. И сюртук ему к лицу, это бывает редко, — сказала Люда. — Жаль, что зубр.

— Он только полузубр.

— Ох, и скука в этой «Думе народного гнева», — зевая, сказал Джамбул.

— Муромцев сидит на председательском кресле, как Людовик XIV на троне. Нет, Государственную думу не разгонишь. Слухи об этом, вы правы, идут. Я могу вам даже сообщить, как революционеры решили на это ответить. Они чудовищным по силе снарядом взорвут Петергофский дворец, — шепотом сказал Певзнер.

Люда признала, что в Финляндии «износилась», и заказала себе два платья — одно из них вечернее, хотя никаких «вечеров» не было и не предвиделось. К обеду надела дневное, недорогое, но, она знала, очень удачное. Вопросительно взглянула на Джамбула. Он даже не сразу заметил, что это новое платье. «Прежде тотчас замечал! — отметила Люда. — И хуже всего то, что мне все равно, нравится ли оно ему или нет. Да, идет дело к концу, и мне тоже все равно. Или почти все равно».

Дня через два Джамбул вернулся в гостиницу взволнованный и сердитый. Люда таким его не видела.

— Что случилось?

— Случилось то, что мне сегодня передали совершенно невероятную историю! О Ленине! Помнишь, ты мне рассказывала, что ты у твоих Ласточкиных — или как их там? — встречала двух молодых революционеров со странными фамилиями: Андриканис и Таратута?

— Не встречала, а один раз встретила. Так что же?

— Представь себе, говорят, что Ленин их женит на двух сестрах Шмидт. Это племянницы Саввы Морозова, богатые купчихи.

— То есть, как Ленин «женит»? Зачем?

— Эти господа обещали ему, что, если женятся, то отдадут приданое партии!

— Не может быть!

— Мне сообщили из достоверного источника. Я тоже не хотел и не хочу верить. Ленин на многое способен, но все-таки не на такую гнусность. И т а к и х революционеров, которые женились бы на приданом, без любви, по-моему, никогда не было. Ведь это граничит уже с сутенерством.

Люда смотрела на него смущенно, точно она отвечала за Ленина и за обоих женихов.

— Все-таки не надо преувеличивать,— нерешительно сказала она.— При чем тут сутенерство? Некоторые революционеры теперь занимаются экспроприациями, как Медведь. Это еще гораздо хуже.

— Это в сто раз лучше! — ответил с бешенством Джамбул.— Неужели ты этого не понимаешь? Тогда мы с тобой разные люди!

— Мы, действительно, разные люди. Я в этом ни минуты не сомневалась,— сказала Люда. Ей, однако, понравилось его негодование. «Все-таки в нем есть рыцарский элемент. Верно, и Алкивиад тоже негодовал бы,— подумала она.— Но скорее всего это просто гадкая клевета меньшевиков».

Джамбул стал все чаще погововаривать о своем отъезде — говорил по-разному: то на Кавказ, то в Турцию. Люда старалась изображать равнодушие. Затем он назначил срок более точно: в начале августа. Был с ней очень мил и нежен, всячески старался ее развлекать. Случалось, она плакала. «Да ведь это обычное дело: сошлись, пожили, разошлись! Собственно, и не разошлись, а он меня бросает. Что же мне делать? Нет, я не поеду на Кавказ заниматься какими-то темными делами. Да он меня и не зовет... Зачем ехать, если он меня не любит? И если я сама больше его не люблю? К тому же он немного позднее бросил бы меня и на Кавказе. Не буду за него цепляться... Он никак не подлец, напротив, он при своей бесчувственности, charmeur. Но, может быть, тот красавец-грабитель Соколов еще бóльший charmeur?»

Государственную думу в июле разогнали. Узнав об этом, Люда побежала на Невский, чтобы принять участие в постройке баррикад. Улицы были в точно таком состоянии, как накануне. Главой правительства стал Столыпин. Он обещал, что будет созвана Вторая дума.

— Собственно, «Думу народного гнева» даже не «разогнали», а просто распустили,— говорил Джамбул.— Помнишь, я тебе в Лондоне читал поэму о Деларю? Все они и оказались Деларю.

— Возмутительно! Просто возмутительно! Хороши кадеты!

— Позволь, почему же только кадеты? Не слышно что-то и о подвигах твоих большевиков. Да, впрочем, что же они могут сделать, когда у них в кармане два целковых? Напишут гневную брошюру и издадут ее с уплатой типографии в рассрочку.

Она не знала, что ответить. Пришла весть о Выборгском воззвании. За ним тоже ничего не последовало. В городе по-прежнему было совершенно спокойно. Баррикад не было, но увеселительные места были полны.

— Когда же, Альфред Исаевич, вы чудовищным по силе снарядом взорвете Петергофский дворец? — спросил Джамбул Певзнера, встретившись с ним в коридоре гостиницы.

— Не понимаю, над чем тут шутить! Случилось большое несчастье, а вы шутите! — сказал сердито Певзнер и подумал, что этот человек довольно бестактен. Джамбул смутился, что с ним бывало очень редко.

— Вы совершенно правы, Альфред Исаевич. Пожалуйста, извините меня,— сказал он и протянул Певзнеру руку.

Перед отъездом он попробовал настаивать, чтобы Люда взяла у него половину его денег. Она вспыхнула и наотрез отказалась. Понимала, что их связь кончена. «Перевернулась страница, что ж делать? Страниц будет, верно, немало, и от каждой останутся воспоминание и рубец на сердце». Все же ей было бы легче, если б ушла она, а не он.

— Никаких денег я у тебя не брала никогда,— сказала она и подумала, что это не совсем точно: за все платил он.— А теперь уж наверное не возьму.

— Но почему же, Людочка?

— Потому! — отрезала она. Ей было досадно еще и то, что он предложил именно половину — как Рейхель. С тем тоже было связано воспоминание, хотя без рубца.

Джамбул купил ей кошечку. Выбрал наиболее походившую на Пусси. Но и это вышло не очень хорошо. Люда очень благодарила, ласкала котенка, поила его молоком, а про себя подумала: «Это значит вместо Пусси и вместо него самого. Чтобы не было так тоскливо спать одной»...

Вечером 10 августа, накануне его отъезда, они поехали в т о т с а м ы й ресторан, взяли т о т с а м ы й кабинет, пили т о с а м о е шампанское. Люда надела новое вечернее платье. На этот раз он заметил и очень хвалил, преувеличенно хвалил. Обед сошел неудачно. Говорили о неинтересных предметах, разговор часто прерывался. «Что же теперь делать? Вернуться в наш номер? Настроение будет, как в приемной у хирурга»,— подумал Джамбул и предложил провести вечер в «Олимпии».

— Там в саду хоть можно подышать свежим воздухом.

— Отчего же нет? Поедем,— сказала Люда.

Хотя я и славьянка,
И даже варшавьянка,—

пела в переполненном летнем театре хорошенькая полька. Джамбул поглядывал на нее с интересом. Люда смотрела на него с грустной насмешкой. «Гляди, гляди, мне все равно». Изредка они обменивались впечатлениями. В антракте вышли в сад, там гуляли, почти не разговаривая. Когда вернулись в партер, он подтолкнул ее под локоть и показал глазами на ложу. В ней сидели молодая, очень красивая барышня и трое мужчин. Люда изумилась: в сидевшем рядом с барышней элегантном человеке она узнала Соколова.

— Медведь!

Джамбул бросил на нее сердитый взгляд и оглянулся на соседей. Но на эстраде как раз заиграла музыка. Французский гастролер запел «La Tonkinoise»:

Pour que je finis-se
Mon ser-vi-ce
A Ton-kin je suis — allé*

Люда смотрела на ложу, «Так это его новая любовница? Да, хороша собой, хотя не красавица. Но как же они решаются показываться на людях, если в самом деле затевают революционные дела? Едва ли затевают... А за ними какие-то печальные юноши».

— У него лицо гипнотизера,— вполголоса сказала она Джамбулу. Он, впрочем, не расслышал. Наслаждался парижской песенкой:

Je l'appelle ma pe-tite Chi-noise
Ma Ton-ki-ki, ma Ton-ki-ki, ma Tonkinoise... **

— Не возобновить ли с ним знакомство? — спросила Люда нерешительно, когда певец кончил и раздались рукоплесканья. Сама понимала, что это невозможно; да ей и не очень хотелось. Грабители были ей противны.

— Ни в каком случае,— ответил резко Джамбул,— и, пожалуйста, не смотри в их сторону.

Люда не провожала его на вокзал: решила проститься с ним дома, просто по-товарищески. Он был этим и обижен и доволен. Но она не удержалась и заплакала.

— ...Береги свою буйную головушку, Джамбул— говорила Люда сквозь слезы.

— Я скоро вернусь.

— Не лги хоть на прощанье... Прощай, мой милый... Мой дорогой...

Когда он вышел, она смотрела ему вслед в окно. Затем долго, плача, целовала котенка. Приняла на ночь двойную порцию снотворного.

* Чтобы закончить свои дела, я пришел в Тонкин (франц.)
** Я называю ее своей маленькой китаянкой. Моя Тон-ки-ки, моя Тон-ки-ки, моя Тонкиночка (франц.)

VIII

На следующее утро, проснувшись с тяжелой головой, она принялась за поиски работы. Вырезала из газеты несколько объявлений. Собственно она ничего делать не умела. В свое время советовалась с Рейхелем: каким бы делом заняться? Он неизменно с мрачной шутливостью советовал ей поступить на сцену: «Будешь сначала играть энженю, а потом комических старух».

Из объявлений ничего не вышло. Ее спрашивали, знает ли она счетоводство, умеет ли писать на машинке, где служила. Она отвечала, что счетоводства не знает, на машинке не пишет, не служила нигде, но владеет хорошо французским языком, сносно немецким и желала бы иметь квалифицированную работу. В первых двух местах сказали, что такой работы ей предложить не могут; в третьем посматривавший на нее господин после сходного ответа добавил, что будет иметь ее в виду, и записал адрес. «Да, конечно, без протекции ничего получить нельзя»,— подумала она обескураженно.

Протекцию в деловом мире ей мог бы оказать только Ласточкин. Но для этого надо было жить в Москве. Ей переезжать не хотелось. У нее не раз шел с Дмитрием Анатольевичем и с его женой древний спор петербуржцев и москвичей. Ласточкины считали Москву первым городом мира: «Она лучше даже, чем Париж!» Люда то же самое думала о Петербурге. Рейхель участия в споре не принимал: в душе считал лучшим городом Берлин, где все было так чисто, удобно и дешево. «Что же делать, надо переехать: только Митя может найти для меня службу. Если, конечно, герцогиня ему позволит»... Люда отлично знала, что, как бы ни сердилась на нее Татьяна Михайловна, она такое «позволение» даст без всякого колебания. «Но как же я Митю повидаю? Может, он и знать меня не хочет?»

Вернулась она домой только в три часа дня. Накормила кошку, та была явно обижена опозданием. «Как в свое время бедный Пусси»,— подумала, вздохнув, Люда. Больше она из-за усталости и дурного настроения не выходила. Вечером заказала чай в номер. Читала сначала книгу о кооперативном движении, затем роман Жип. Рано легла с кошкой спать. Принять опять снотворное не решилась: «Еще войдет в привычку!»

Утром горничная, как всегда, принесла ей кофе и газету. Люде не хотелось ни есть, ни вставать. Лежать в постели с кошкой было приятно. «Остались два объявления. Надо в понедельник утром пойти, хоть для очистки совести. Если ничего не выйдет и там, то незачем откладывать, уеду в Москву». Еще подумала о Джамбуле: где теперь находится его поезд, скоро ли он приедет в Тифлис и действительно ли едет именно туда? «Кто его там встретит? Женщины? Какую работу он начнет? Верно, в вагоне еще до первой станции забыл о моем существовании? И я хороша! В плохом, очень плохом состоянии нервы».

Она надела халат, дала молока кошке, налила себе кофе. Развернула газету — и ахнула. Весь верх страницы занимали огромные, необычные для русской печати набранные разными шрифтами заголовки в ширину всех столбцов, в несколько этажей: «Страшный взрыв на Аптекарском острове. Покушение на П. А. Столыпина. Премьер невредим. Тяжело ранена его дочь. Множество убитых и раненых».

«Один из самых кровавых террористических актов в русской истории,— быстро читала Люда с все росшим волнением,— залил кровью вчера днем нашу столицу.

В начале четвертого часа пополудни к даче министра внутренних дел на Аптекарском острове, где временно летом проживает новый председатель совета министров П. А. Столыпин, подъехали в ландо три человека. Из них двое были одеты в форму ротмистров отдельного корпуса жандармов. Третий был в штатском платье. Все трое имели в руках большие портфели. Выйдя из ландо, они быстро вошли в переднюю.

В швейцарской находились агент охранной агентуры Петр Казанцев и состоявший при главе правительства генерал Замятин. Вошедшие люди сразу показались подозрительными зоркому глазу опытного специалиста Казанцева. Причины этого были следующие:

Все трое были смертельно бледны. Лица у них были искажены, глаза горели лихорадочным блеском.

Каски у обоих ротмистров были старого образца. Между тем недели за две до того головной убор жандармских офицеров был изменен.

Они держали в руках большие объемистые портфели, что не допускается при представлении высоким должностным особам.

Чуя недоброе, Казанцев поспешно направился к вошедшим. И вдруг он с ужасом заметил, что у одного из них накладная борода!

— Ваше превосходительство!.. Неладное! — отчаянным голосом закричал Казанцев тоже что-то заподозрившему генералу Замятину. Оба бросились на вошедших.

И в ту же секунду все три злоумышленника подняли вверх свои портфели и с силой бросили их на пол с зловещим хриплым криком: «Да здравствует свобода! Да здравствует анархия!»

Раздался оглушительный взрыв, за ним продолжительный грохот рушащихся стен, звон разбитых вдребезги окон.

Когда дым немного рассеялся, представилась страшная, невиданная, неописуемая картина:

От дачи осталось очень немного. Отовсюду слышались душераздирающие крики и стоны умирающих людей.

Всего, как оказалось, убито тридцать три человека, ранено двадцать два.

Разумеется, разорваны в клочья люди, бывшие в передней, в том числе все три злоумышленника. Оправдалось: «Поднявший меч от меча погибнет».

Председатель совета министров чудом остался жив и невредим. Уцелела и его супруга, находившаяся в своих частных покоях.

Но другие! Члены семьи главы правительства! Просители, дожидавшиеся в приемной! Должностные лица! Слуги!

В первом этаже исторической дачи на Аптекарском острове находятся или, вернее, находились две приемные комнаты, зал заседаний и кабинет П. А. Столыпина, а также гостиная и столовая. Частные покои расположены во втором этаже. Председатель совета министров сидел в момент взрыва за письменным столом в своем кабинете. Именно эта комната одна чудом уцелела. Только бронзовая чернильница была подброшена в воздух и пролетела над головой П. А. Столыпина, залив его чернилами.

Сила взрыва была такова, что в фабрике, находящейся по другую сторону Невки, не осталось ни единого целого стекла. Очень пострадала улица перед дачей. Фаэтон, в котором приехали злоумышленники, оказался почти разрушенным.

По роковой воле судьбы на балконе над подъездом в момент взрыва находились четырнадцатилетняя дочь главы правительства Наталья Петровна и его двухлетний сын, называемый в семье Адей. Их как былинку выбросило на мостовую, прямо под ноги взбесившихся лошадей. Несчастная Н. П. Столыпина искалечена. Примчавшиеся на место преступления врачи и санитары перевезли ее в карете скорой помощи в ближайшую лечебницу доктора Калмейера и признали ее состояние очень тяжелым. Есть, к счастью, надежда на спасенье ее жизни, но, по-видимому, ей предстоит ампутация обеих ног, что́ подтвердил приехавший из больницы лейб-хирург Павлов. Ее двухлетний брат, перевезенный вместе с нею в ту же лечебницу, находится в менее тяжелом состоянии.

Супруга председателя совета министров сейчас находится в той же лечебнице, а глава правительства с непострадавшими членами своей семьи отправился на катере в свою зимнюю резиденцию на Фонтанке.

Передают ужасные подробности. Один из просителей, бывших в приемной, принес с собой своего маленького ребенка, вероятно, для того, чтобы разжалобить министра-президента. Оба, отец и сын, разорваны в клочья. Другой проситель, встретив в приемной знакомого, заговорил с ним. Взрыв оставил его невредимым, но у разговаривавшего с ним за минуту до того человека снесло голову как топором.

Глава правительства сохранил полное самообладание, которому отдают должное и его политические противники. К его охране приняты экстренные меры».

Дальше следовало перечисление убитых и раненых, а также приехав-

ших на место преступления должностных лиц. Подпись была: П. Этот репортаж был Тулоном молодого Певзнера. Его статья была в газетных кругах признана самой лучшей. Альфред Исаевич писал с вполне искренним волнением: он был действительно потрясен и возмущен делом. Разгонял строчки на этот раз не умышленно, а по профессиональной привычке.

За его первой статьей была вторая, написанная другим репортером, с подзаголовком: «Первые результаты дознания»:

«Дознание, которое велось с заслуживающей быть отмеченной быстротой и эффективностью, пока установило следующие факты:

Ландо, привезшее убийц, было нанято у извозопромышленника Александрова в Максимилиановском переулке в доме номер 12. Кучер, крестьянин Станислав Беднарский, показаний дать не мог: он еще жив, но тяжело ранен, хотя в момент покушения, естественно, оставался в ландо на улице.

Извозопромышленник Александров показал, что ландо у него нанял известный ему в лицо и по имени Цветков, дворник дома номер 49 по Морской улице. С ним приходила женщина, ему, Александрову, по имени неизвестная, но в лицо также знакомая. Она называла себя горничной квартиры номер 4 в вышеуказанном доме.

Дворник, крестьянин Илья Цветков, не имеющий, как легко было установлено, никакого отношения к страшному делу, показал:

Квартира номер 4 в доме номер 49 принадлежит некоей Иоганне Гарфельд и сдавалась ею с обстановкой по газетным публикациям. Всего лишь несколько дней тому назад, а именно 8 августа, эта квартира была Иоганной Гарфельд сдана лицам, назвавшим себя спасским мещанином Даниилом Морозовым и женой последнего Еленой Морозовой. С ними поселился также коломенский мещанин Петр Миронов и горничная, рязанская крестьянка Анна Монакина. Все это были люди очень молодые. «Барыне» Морозовой на вид можно было дать лет 19 или 20. Она была хороша собой. «Hübsch und elegant» («красива и элегантна»), — сказала нам кухарка квартиры, лучше говорящая по-немецки, чем по-русски. «Так что, сказать, красотка, — говорит дворник». Паспорта у них были в порядке и своевременно прописаны. Означенный Даниил Морозов уплатил ему, Илье Цветкову, для передачи «Гарфельдихе» месячную плату в 250 рублей.

Разумеется, следственные власти в сопровождении больших сил полиции тотчас нагрянули в квартиру номер 4. Но там оказалась только вышеупомянутая, ничего не подозревавшая и сразу на смерть перепугавшаяся кухарка Эмилия Лаврецкая, служившая прежде у Гарфельд и по ее рекомендациям нанятая Морозовыми вечером 9 августа. Очевидно, она тоже не имеет ни малейшего отношения к кровавому преступлению. «Барыни» же и «горничной» и след простыл.

Не может быть сомнения в том, что фамилии Морозовых, Миронова, Монакиной ложные, а паспорта либо фальшивые, либо у кого-либо похищенные, что в настоящее время и выясняется дознанием. Остается только удивляться тому, что лица, снявшие столь дорогую квартиру на Морской, могли пользоваться «плебейскими» паспортами и не обратили этим на себя внимания.

Показанием кухарки установлено, что злоумышленники вели все три дня замкнутый образ жизни. Швейцар дома, крестьянин Иван Козлов, новых жильцов не знавший именно из-за их замкнутого образа жизни, показал, что 12-го августа, приблизительно в три часа без четверти пополудни, к дому номер 49 подкатил экипаж, и из дому быстро вышли два офицера, один штатский и женщина, как будто горничная, причем один из офицеров уже на улице дал ему, Козлову, рубль на чай, а женщина указала кучеру адрес: «На Аптекарский», — и велела ехать медленно. Очевидно, это было сделано для того, чтобы снаряды в портфелях не взорвались по дороге, от какого-либо случайного толчка.

Тотчас после отъезда ландо на улицу вышли «барыня» в сопровождении той же «горничной», причем он, швейцар Козлов, для барыни нанял извозчика, а горничная ушла пешком, а куда, он, швейцар, не может знать. Номера извозчика он не заметил.

О приметах Морозова и Миронова означенные свидетели ничего це-

ного сообщить не могли: совсем молодые, невысокие, больше ничего. Лучше запомнили «барыню»: высокая — выше погибших злоумышленников, — сложена «ладно», неполная, лицо белое, нос небольшой, по виду совсем барыня, по-русски говорила чисто. Кухарка Лаврецкая еще показала, что вчера, 12-го августа, господа встали в десять часов утра и завтракали в час. На «барыне» в этот день была чесучовая кофточка, черная шелковая юбка и черный, очень, по словам Лаврецкой, «модный», пояс.

В квартире номер 4 обнаружены три больших букета цветов. Быть может, Морозова или Монакина поднесли их погибшим злоумышленникам, отправлявшимся на верную смерть?

К тому моменту, когда настоящий отчет сдается в набор, других фактов не установлено.

Можно предполагать, что преступление совершено либо анархистами, о чем как будто свидетельствует возглас: «Да здравствует анархия!», либо партией социалистов-революционеров, либо, скорее, недавно отколовшейся от последней партии пресловутой группой так называемых максималистов».

Волнение Люды достигло предела. «Что же это?.. Революционеры и такое гнусное преступление!.. Ведь это же иначе назвать нельзя!..» Ее особенно поразили некоторые подробности: человек со снесенной головой, сообщение о букетах, о последнем завтраке перед самым делом.

В газете была еще небольшая передовая статья: «Как бы мы ни относились к политике председателя совета министров, разогнавшего Первую государственную думу, мы не можем не признать чудовищным преступление, совершенное вчера на Аптекарском острове и сопровождавшееся столькими безвинными жертвами»... «Да, он совершенно прав: чудовищное дело!.. Пишет смело, могут и прикрыть газету... Господи, что за люди?»

Люда принялась снова за отчет и только теперь заметила подпись: «П.» Да это Альфред Исаевич! Минуты через две она, не расчесав даже волос, не застегнув крючков платья, стучала в коридоре в дверь Певзнера. Никто не откликался.

— Их нет, барыня. Вчера вернулись поздно ночью, а сегодня ушедши в шесть утра. Они ведь пишут в газетах. Все этот взрыв, — сказала проходившая с подносом горничная.

Люда вернулась в свой номер. Подумала, что надо бы сейчас же отправиться на Аптекарский остров. «Но, верно, к даче никого не допускают? Да и что же теперь там увидишь, если и пустят?» Опять представляла себе человека с оторванной головой, просителя с ребенком в руках, букеты.

Даже не вспомнив об оставшихся объявлениях, она принялась беспорядочно укладывать вещи. Руки у нее сильно дрожали. «Никогда, никогда не могла бы участвовать в таких делах и ни за что не буду!.. Да, грязное, отвратительное дело!»

В этот же вечер она выехала в Москву. Точно за что-то себя наказывая, взяла билет третьего класса. Отдав носильщику вещи, увидела бежавшего газетчика. «Разве есть в воскресенье вечерняя газета? Или экстренный выпуск?» «Последнюю продаю, барыня, в городе больше и не достанете». Люда хотела было развернуть листок еще на ходу, развернула в вагоне, положив несессер на пол, не посадив на колени кошку.

Сообщались еще новые подробности дознания:

«Из обрывка подкладки на одном из мундиров установлено, что жандармские мундиры приобретены в магазине готового платья «Новый базар» на Невском. Служащие магазина, мещане Аронсон и Шиндельман, показали, что эти мундиры куплены в начале августа неизвестной им молодой дамой, приезжавшей в сопровождении какого-то человека, тоже им неизвестного. Как были одеты покупатели, Аронсон и Шиндельман ответить затрудняются: «Покупателей в наш магазин приходит много, всех не запомнишь».

Дознание выяснило также, что шарфы и жандармская амуниция были приблизительно в то же время приобретены в магазине офицерских вещей Семенова в Апраксином рынке. Служащие этого магазина, крестьяне Алешин, Кичига и Вознесенский, показали, что вещи были проданы даме и господину. Можно таким образом думать, что покупатели в обоих

магазинах были одни и те же. Однако приметы сопровождавшего даму господина, насколько можно судить по показаниям вышеупомянутых приказчиков, никак не совпадают с приметами погибших злоумышленников: господин был высокого роста и атлетического сложения, чего нельзя сказать об этих последних. Таким образом, можно с большой вероятностью предположить, что в деле на Аптекарском острове участвовали еще один мужчина, пока не арестованный, так же, как «Миронова» и «Монакина».

Вдруг одна установленная дознанием подробность потрясла Люду: «Извозопромышленник Александров еще показал, что то же ландо с тем же кучером Станиславом Беднарским за два дня до преступления, а именно 10-го августа вечером, было у него нанято теми же Цветковым, дворником дома номер 49 по Морской, и неизвестной ему по имени женщиной (очевидно, «горничной Монакиной») для поездки в сад «Олимпия» по Бассейной улице. Дворник Цветков подтвердил это показание. Он заявил, что ездили в тот вечер «барыня» Морозова, Морозов и Миронов. Подтвердила это показание и кухарка Эмилия Лаврецкая: господа куда-то уезжали, куда именно не знает, и вернулись поздней ночью».

IX

Остановилась Люда в Москве в каких-то совершенно дешевеньких номерах. Теперь твердо, почти с радостью, решила жить чрезвычайно скромно. В первый день читала газеты, уже спокойнее: все то же,— бегала по городу, никого не встретила и скучала. Решила завтра позвонить Ласточкину. Помнила, что он обычно возвращается из-за границы в конце июля или начале августа. «Верно, уже вернулись... Если к аппарату подойдет герцогиня, повешу трубку, пусть выйдет так, будто никто не звонил».

Она позвонила с несвойственной ей робостью в такое время, когда Дмитрий Анатольевич обычно бывал дома. На беду к аппарату подошла именно Татьяна Михайловна. Узнав голос Люды, она совершенно растерялась, тоже хотела было повесить трубку, но и у нее это не вышло, заговорила со своими обычными любезными интонациями; по своему характеру и как не умела Люда, отвечала радостно и смущенно.

— Митя... Мой муж будет очень огорчен, что вы его не застали... Где вы остановились? — говорила растерянно Татьяна Михайловна.— Я скажу Дмитрию Анатольевичу... Надеюсь скоро вас увидеть...

Ласточкин был изумлен и очень доволен.

— Как же нам теперь быть? Ты ее к нам пригласила? — сказал он жене.

— Не пригласила, но сказала «надеюсь». Сама не знаю, как это вышло!

— Да это и есть приглашение,— победоносно уточнил Дмитрий Анатольевич.— Что ж делать, теперь надо ее звать.

— Тартюф! Сознайся, что ты страшно рад. Вот что, поезжай сначала ты к ней. Разбойника я во всяком случае принимать не хочу. Его ни за что не зови! Может быть, тогда она не примет приглашения, и слава Богу!

Ласточкин поехал к Люде на следующий же день. Убогие номера нашел не без труда. «Бедная! Верно, сидит без копейки. Надо тотчас дать ей денег».

Люда чрезвычайно ему обрадовалась.

— Как мило, что вы заехали, Дмитрий Анатольевич!.. Или мне по-прежнему звать вас Митей?

— Да, разумеется! — ответил Ласточкин и, тоже немного против его воли, эти слова оказались похожими даже не на «теплую ноту», а на горячее восклицание. «Изменилась. И глаза стали гораздо грустнее. Счастья особенно не заметно». На кровати что-то зашевелилось, на пол спрыгнула кошка. Дмитрий Анатольевич только теперь заметил, что кровать была узкая, на одного человека. «Где же «разбойник»? Или она приехала из Петербурга одна? Это очень облегчило бы положение. Тогда, пожалуй, и на обед можно пригласить».

— А, знакомая,—сказал он с улыбкой, показывая взглядом на кошку, которая тотчас взобралась на колени к хозяйке.

— Нет, это другая, новая! Неужели вы не заметили, Митя? Представьте, Пусси от меня сбежал!

— Простите, не заметил. Эта очень похожа, хотя теперь вижу, что она темнее.

— Я, впрочем, думаю, что он не сбежал, а, верно, его, бедненького, раздавил где-нибудь трамвай, он выскочил на улицу, я не доглядела, бий меня бис! Три дня ходила сама не своя,— говорила, оправдываясь, Люда.

Ласточкину было странно, что они начали с разговора о кошке.

— Таня тоже очень рада вашему приезду.

— Неужели? Она была со мной очень мила. Как она? Я ведь думала, что вы оба больше и знать меня не хотите. И вы были бы правы. Я действительно виновата перед Рейхелем. Впрочем, виновата не в том, что разошлась с ним, а в том, что сошлась.

Дмитрий Анатольевич закрыл глаза и чуть развел руками.

— Мы вам не судьи, это ваше интимное дело,— сказал он.— Когда же вы к нам придете? Приходите в субботу обедать.

— Даже обедать зовете? Надеюсь, с согласия Татьяны Михайловны? Спасибо вам обоим. Что она? Что Нина? Я знаю, что Нина вышла за Тонышева. Где они?

— Они в Вене. Алексей Алексеевич получил повышение. Верно, пойдет далеко по службе.

— В этом я ни минуты не сомневаюсь, он такой способный человек. И очень привлекательный.

— Они оба очень привлекательны. Нина имеет в венском обществе большой успех. Они даже завели «салон».

— Да, ведь он очень богат.

— Это зависит от того, что называть богатством,— сказал, улыбаясь, Ласточкин.— А каково, Люда, ваше собственное материальное положение? — воспользовавшись случаем, спросил он.

— Очень плохое.

— Ваш... друг не имеет средств? Если вы позволяете об этом говорить?

— Я рассталась с Джамбулом,— ответила Люда.

Дмитрий Анатольевич вытаращил глаза.

— Расстались?

— Да, он от меня сбежал. Как Пусси. Я шучу, не сбежал, но мы не сошлись убеждениями. Я не хотела заниматься его нынешними делами. Да и другое было, пятое-десятое. Но мы расстались полюбовно, в очень хороших, даже дружеских отношениях.

С минуту продолжалось молчание. «Пятое-десятое»! — подумал Ласточкин. Он и вообще не очень любил ее развязную манеру речи, но тут развязность показалась ему особенно натянутой и неуместной.— «Может, появился еще кто-нибудь? До чего же она, бедная, дойдет?»

— Люда, возьмите у меня денег! Вы меня обидите, если откажетесь, прямо говорю, обидите! — наконец, сказал он. О деньгах все-таки говорить было легче.

Она долго отказывалась. У нее показались на глазах слезы. Была тронута, и ей было стыдно: угадывала его мысли. Ласточкин расстроился. Люда уступила.

— От души вас благодарю, Митя. Но я хочу просить вас о другом: найдите мне место. Я хочу работать, пора! Мне все равно, какое. И с меня будет достаточно самого скромного жалованья. Именно место, а не синекуру!

— Я сделаю все возможное и думаю, что это можно легко и быстро устроить. Будьте совершенно спокойны. Это не то, что создать научный институт.

Они говорили довольно долго. Люда опять спросила, что Татьяна Михайловна, и опять, не дожидаясь ответа, перешла на другое. Дмитрий Анатольевич думал о ней все более изумленно. «Что скажет Таня?»

— Какое ужасное событие произошло в Петербурге! — сказал Ласточкин.— Этот взрыв с десятками ни в чем не повинных жертв! Какие времена!

На это Люда ничего не ответила. Дмитрий Анатольевич был совер-

шенно надежный человек, но ей было тяжело говорить о Соколове. Он снился ей вторую ночь. «Он ли взорвался или другие?» — спрашивала она себя.

Татьяна Михайловна также была поражена уходом «разбойника» и не только не обрадовалась (чего Ласточкин все же немного опасался), но огорчилась. — «Тебе, впрочем, верно, жаль было бы и Джека-«Потрошителя», — весело говорил Дмитрий Анатольевич. — Ее в самом деле очень жаль, очень!»

Через два дня он нашел для Люды место в одном из кооперативных учреждений, начавших распространяться в России. Жалованье было достаточное для скромной жизни. Приняли ее хорошо. Люда была в восторге и сразу увлеклась работой.

Благополучно сошла и ее встреча с Татьяной Михайловной. Об интимных делах не говорили. Татьяна Михайловна отлично вела разговор, пока его еще нужно было «вести». Дмитрий Анатольевич поглядывал на нее с благодарностью. Кроме Рейхеля, у них не было близких родственников, поэтому не было и обычных споров между мужем и женой: «Это твои родные». Люда не была родственницей, все же за нее отвечал Дмитрий Анатольевич.

Разумеется, Ласточкины не предлагали ей жить у них, да она и не согласилась бы. Дмитрий Анатольевич советовал ей переехать в другую гостиницу получше. Она отказалась и от этого, все как будто себя наказывая. Стала бывать у Татьяны Михайловны, впрочем, не часто: ссылалась на работу.

Действительно, она проводила на службе весь день. По вечерам читала ученые книги, притом с увеличивавшимся интересом, и все понимала. В газетах только просматривала заголовки, начиная с кавказских телеграмм. В театры не ходила, от приглашений отказывалась. «Я, кроме вас двух, никого не хочу видеть», — объясняла она Ласточкиным. Говорила совершенно искренно. Как с ней нередко бывало в суждении о людях, с ней внезапно произошла перемена. Она теперь не только не говорила колкостей Татьяне Михайловне, не только не называла ее мысленно «герцогиней», но даже ее полюбила. По ее желанию они стали называть друг друга просто по имени. Чуть было даже не перешли на «ты», но обе подумали, что это было бы пока неудобно. «При Аркадии говорила ей «вы», а стала бы говорить «ты», когда его бросила!.. Но, в самом деле, я была к ней очень несправедлива. В Москве все единодушно говорят, какие прекрасные люди Таня и Митя, это редко бывает, и все совершенно правы. И Нина тоже очень милая женщина. Тонышев хуже, но и он порядочный человек. И все они гораздо лучше революционеров!» — думала Люда.

Ласточкины радостно отмечали происшедшую в ней перемену.

— Я так рад, что у вас теперь такие хорошие отношения! — говорил жене Дмитрий Анатольевич. — И надо же, чтобы это случилось после ее ухода от Аркаши!

— У нее угрызения совести из-за всей этой истории. Да, каюсь, мне прежде она была несимпатична. Я даже думала, что она ограниченный человек. Она и не читала почти ничего, музыки тоже не любила. Но я совершенно ошиблась! Люда не глупа, и не зла, и способна. Видишь, как она увлечена книгами, в которых я ничего и не поняла бы! И я уверена, что у нее больше никаких похождений не будет. Да, собственно, эту историю с «разбойником» и нельзя назвать «похождением», беру слово назад.

— Да, у кого таких дел не было? Кроме тебя, конечно. Дай Бог, чтобы она в кого-нибудь влюбилась по-настоящему и вышла замуж.

— А ты заметил, она стала патриоткой. В хорошем смысле. Говорит, что Кавказ, Финляндия мечтают об отделении от России и, верно, другие окраины тоже. Я спросила: «Да разве вы, Люда, этого не хотите?» Она ответила: «И слышать не хочу!»

— Я искренно рад. Я тоже не хочу.

— Но мы ведь и раньше не хотели, а она была революционеркой. Верно, уж очень, бедная, разочаровалась в «разбойнике».

— Должно быть, хорош гусь!.. Я, в частности, так рад тому, что она увлеклась кооперацией. Это действительно прекрасная работа. Молодежь ею не интересуется, потому что в ней нет романтики. А она в сто раз важнее и лучше того, что делает теперь молодежь. Недаром в кооперацию стали уходить люди, разочаровавшиеся в революции, как Люда.

И Люде и Татьяне Михайловне очень хотелось поговорить о «похождении» по душам, но обе боялись начать этот разговор. Однажды Люда увидела на столике в гостиной «Викторию» и чуть изменилась в лице.

— Вам нравится Гамсун, Таня? Я его обожаю!

— Я нет.

— Почему?

— Уж очень он ненатурален, я этого не люблю.

— Он теперь во всем мире признан гением.

— Да, я знаю. Люди очень щедро раздают этот титул, особенно иностранцам, и легко поддаются в литературе чужому мнению. Тут, в книге, есть его краткая биография. Он прошел через очень тяжелую школу нищеты, даже голода. После нее, по-моему, трудно стать гениальным писателем: слишком человек озлобляется.

— Однако ведь многие великие писатели были злыми. Я даже где-то слышала анекдот. Какой-то остряк-критик советовал начинающим писателям: «Никогда не говорите о людях ничего дурного. Ни в каком случае и не думайте о людях ничего дурного. И вы увидите, какие отвратительные романы вы будете писать!»

Татьяна Михайловна засмеялась.

— Правда? Но зачем же слушать остряков? А главное, у Гамсуна все так неестественно.

— И «Лабиринт любви» в «Виктории»?

— Я как раз сегодня это читала. Да, и этот «Лабиринт». «Цветы и кровь»! Зачем кровь? Цветов неизмеримо больше, — сказала Татьяна Михайловна, подумав о любви между ней и мужем. — А почему вы о нем спрашиваете?

— Он в моей жизни сыграл большую роль, — ответила Люда.

Татьяна Михайловна смотрела на нее вопросительно. «Лабиринт»? Теперь расскажет?» — подумала она.

Но Люда ничего не рассказала, хотя ей этого хотелось. Рассказала лишь недели через две. Татьяна Михайловна слушала с недоумением. Хотела сочувствовать, но не могла.

— Не понимаю. Страстная любовь на несколько месяцев, — не удержавшись, сказала она. — Уж если мы заговорили о книгах... Вот вы, Людочка, любите говорить о литературе, а Нина еще больше, она многое даже выписывает. Я не люблю и не умею, но уж если заговорили. Так вот, я недавно читала, что знаменитый революционер Дантон ездил в миссию в Бельгию, а тем временем в Париже умерла его жена, которую он обожал. Он вернулся через неделю после ее похорон и был так потрясен, что велел вырыть ее из могилы и обнял ее в последний раз. Просто думать страшно и даже гадко. Но через несколько месяцев он женился на другой! Я такой любви просто не понимаю!

— А я понимаю. Мне нравятся именно такие люди, как Дантон! — сказала Люда. «Верно, Таня считает настоящей только их скучную любовь с Митей!» — подумала она.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

В Вене с ужасом и благоговением говорили, что император Франц-Иосиф «живет по хронометру». Так, верно, ни один другой человек во всей Австрии и не жил. Говорили также неодобрительно, что он газеты читает «в гомеопатических дозах»: главное узнает из докладов, а остальное ему рассказывают Катерина Шратт или же «старый еврей»; под этой кличкой был в венском обществе известен Эммануил Зингер, один из владельцев большого газетного треста, ничего в газетах не писавший, но знавший все и почему-то пользовавшийся милостью императора, который пожаловал ему дворянство.

Зингер, очень любивший Франца-Иосифа и хорошо его знавший, ни-

каких советов ему не давал; только сообщал, «что говорят», и часто ссылался на каких-то галицийских талмудистов. Император не очень и ему верил, но слушал внимательно и не без интереса: может быть, и старики-талмудисты что-то понимают, очень мало, но столько же, сколько министры или генералы.

Своих суждений, не относившихся к очередным делам, он министрам не высказывал. Один из них, граф Куэн-Хедервари, встречавшийся с ним в течение тридцати лет, вероятно, не менее тысячи раз, говорил, что совершенно императора не знает: между ними в разговорах всегда был точно невидимый занавес, за занавесом же находился не человек, а какой-то живой символ Габсбургской монархии.

Еще меньше верил он генералам. Особенно не любил, чтобы генералы вмешивались в политические дела (а министры — в военные). Раз, позднее, начальнику генерального штаба Гецендорфу устроил сцену, когда генерал стал критиковать министра иностранных дел Эренталя, — если можно было назвать сценой то, что император немного повысил голос и чрезвычайно сухо сказал: «У графа Эренталя нет никакой своей политики: он делает *мою* политику».

Его любовница Катерина Шратт сообщала ему придворные сплетни. Она его обожала, тоже не давала ему советов, тоже ни о ком его не просила и ни о чем его не просила, денег от него не брала и даже подарки принимала смущенно. Это он чрезвычайно ценил.

Газетам же он не верил совершенно и даже не понимал, для чего они издаются и зачем их люди читают. Жил он учением католической церкви и своей старческой мудростью, а также — в значительно меньшей степени — наследственной мудростью тех 137 Габсбургов, которые были похоронены в фамильной усыпальнице Капуцинской церкви. Живыми же Габсбургами и их мнением интересовался мало.

Он проснулся, как всегда, в четыре часа утра и тотчас же встал со своей железной кровати. Ее называли «походной», хотя он на своем веку в походах бывал очень мало. Обстановка его спальной была чрезвычайно проста и даже бедна, особенно по сравнению с общим великолепием Бурга. Редкие люди, которые по долгу службы иногда заходили в эту комнату, изумлялись: неужели *так* живет император! Находили в этом «спартанский стиль» и не без недоумения вспоминали, что в своей интимной жизни, особенно в молодости, он спартанцем не был. Сам он не говорил ни о походной кровати, ни о спартанском стиле. Франц-Иосиф принадлежал к не слишком многочисленным в мире людям, которые ни в чем никогда не притворяются. Он был именно таков, каким его считали. Ему нравилось, что его спальная убрана так бедно, а дворец так богато; за долгую жизнь он привык к этому; вообще ничего не любил менять.

День начался с массажа ледяной водой. Так он начинался всегда. В последние годы доктор Керцль настойчиво требовал, чтобы император от такого массажа отказался: действительно, он в течение двух-трех часов после этого за работой дрожал и не мог согреться; позднее у него образовался хронический катар дыхательных путей. Керцль все же ничего не добился.

Завтрак состоял из стакана молока. Франц-Иосиф сел за стол, тоже очень простой и содержавшийся в чрезвычайном порядке. Чернильница, лодочки с карандашами, с очиненными гусиными перьями находились всегда на одних и тех же местах. Камердинер знал, что, если он что-либо передвинет хотя бы на дюйм, то император тотчас заметит и рассердится; гнев же у него выразится только в глазах и в коротком замечании. Франц-Иосиф почти никогда голоса не повышал и не выносил, чтобы при нем повышали голос другие. Придворным было известно, что на больших обедах за столом поблизости от него, да и не только поблизости, надо говорить очень тихо, — избави Бог засмеяться или рассказать анекдот. Придворные обеды в Вене весельем не отличались.

На столе лежала тщательно выровненная стопка бумаг, поступавших на рассмотрение императора. Все знали, что Франц-Иосиф чрезвычайно добросовестен в работе, что он один из наиболее трудолюбивых людей страны. Говорили, будто он читает от первого до последнего слова все поступавшие к нему документы. Это было бы совершенно невозможно. Бесчисленные бумаги, подававшиеся ему просто для подписи, он только пробегал и подписывал. Но доклады сановников читал очень внимательно: требовал только, чтобы они были не слишком длинны и по возможности просты.

Для хороших решений ему, как и другим правителям мира, нужны были бы такие обширные, глубокие, всеобъемлющие познания, каких не имел ни один человек на свете. Но он в меру думал над каждым докладом и писал свои замечания, всегда осторожные, обычно дельные. Иногда, впрочем, вставлял отдельные слова, непонятные министрам, вроде «Опять Бомбелль», «Бейст 1869 год», «1854 год, № 107». Император обладал необычайной памятью и неизменно всех поражал тем, что не только знал документы, подписанные им в молодости, но помнил даже их номера. Министры часто ломали себе голову над его отрывочными словами и приписывали их старческой рассеянности. Разъяснений обычно не просили, делали вид, будто понимают. Франц-Иосиф не любил устных указаний, предпочитал все писать и думал, что это не только самый надежный, но и самый быстрый способ работы. По телефону никогда не говорил и не имел даже аппарата в своих покоях: это было очень вредное и особенно беспокойное новшество. Так он до конца дней не пользовался и автомобилями; еще удивительно, что ездил по железным дорогам, которые, правда, появились в пору его детства.

Одна из бумаг касалась не государственных, а личных имущественных дел. Император управлял огромным наследственным богатством Габсбургов, и его управление вызывало у эрцгерцогов глухое недовольство. Имущество могло бы приносить гораздо больше дохода, чем приносило. Так, земли были сданы полтораста лет тому Марией-Терезией по 47 крон за акр; эта арендная плата была недурной в восемнадцатом столетии, но теперь цены были совершенно другие, и наследник престола довольно настойчиво поговаривал о необходимости изменения контрактов. Он находил также, что в многочисленных владениях короны слишком много служащих и что некоторые из них ведут дела очень плохо или недобросовестно. Сахарное дело во всей Европе считалось чрезвычайно выгодным, все австро-венгерские сахарные заводы приносили большой доход, и только Гединский завод императора приносил большой убыток. Франц-Иосиф, впрочем, сам понимал, что он плохой сахарозаводчик, что действительно служащих больше, чем нужно, и что контракты с арендаторами не соответствуют новым экономическим условиям.

Он далеко не был равнодушен к богатству Габсбургского дома и желал быть самым богатым из монархов, — тут соперничество могло быть только с русскими царями. При браках эрцгерцогов и эрцгерцогинь самым важным, конечно, была Ebenbürtigkeit * их невест и женихов; собственно, вполне ebenbürtig ** были только Бурбоны, — правда, они никогда не имели императорского титула; да еще, пожалуй, баварская и саксонская династии: они королями стали не очень давно, но глубокая древность их владетельных родов была смягчающим обстоятельством. Все же Франц-Иосиф, хотя сам женился по любви на бедной баварской принцессе, бывал вполне удовлетворен лишь в тех случаях, когда женихи и невесты были не только ebenbürtig, но и очень богаты.

Женитьба наследника престола на какой-то чешской графине была для императора страшным ударом. Франц-Фердинанд смущенно ему говорил, что род Хотеков очень старый. Франц-Иосиф только смотрел на него с недоумевающей и презрительной улыбкой: Габсбурги на графинях не женятся! После долгих увещеваний, он скрепя сердце дал согласие при условии, что брак будет морганатическим: женится. Бог знает, на ком, и только еще не хватало бы, чтобы его сын взошел на австрийский престол. Теперь, читая бумагу, он сердито думал о деловых планах наследника. Знал, что Франц-Фердинанд не жаден к деньгам (при устройстве своих великолепных садов в Конопиште он просто снес несколько доходных домов). Но, очевидно, он не понимал некоторых вещей: не понимал, что нельзя отменять условия, подписанные Марией-Терезией, нельзя увольнять хотя бы плохих служащих, предки которых служили Габсбургам. «Верно, и это идеи его дорогой жены», — думал он и с досадой отложил бумагу. Несколько позднее Франц-Фердинанд прислал ему официальный

* сословная близость (нем.)
** сословно близкими (нем.)

меморандум о необходимости перемен в управлении наследственными богатствами. Император ответил решительным отказом.

Работа кончалась обычно в восьмом часу утра, иногда несколько позднее, в зависимости от числа бумаг. Он ничего не откладывал на следующий день. Подписав последнюю бумагу, он позвонил в колокольчик. Вошел дежурный адъютант. Император учтиво-холодно наклонил голову. Руки не подал. Подавал руку только генерал-адъютантам, высшим государственным сановникам, иностранным дипломатам и людям, носившим очень древние, исторические имена,— знал генеалогию всех австрийских и многих иностранных фамилий. Никогда не подавал руки духовным лицам, даже кардиналам, и не целовал перстня. Люди удивлялись и приписывали это историческому атавизму, восходившему ко временам соперничества Габсбургов с папами. Это нисколько не мешало ему быть чрезвычайно благочестивым человеком. О смерти он почти не думал: по недостатку воображения не мог себе представить *свою* смерть, а в загробной жизни никогда не сомневался. Твердо знал: все будет хорошо. Только будет в Капуцинской церкви 138-й Габсбург. Потерял очень много близких людей и никогда не испытывал чувства, будто у него похитили самое дорогое. Знал, что всех увидит снова. Но не спешил увидеть.

Адъютант подал список людей, которым на этот день были назначены аудиенции с указанием числа минут каждой. Шестой в списке значилась дама: старая принцесса. Он велел впустить ее первой и перешел в другую, очень роскошно убранную комнату. Дамам независимо от их происхождения он всегда целовал руку: не садился за стол на парадных обедах, пока не садились дамы,— выходило так, что они усаживались в ту же секунду, что он; на балах, если недалеко от его кресла стояла у стены дама, он жестом предлагал ей занять его кресло, от чего она отказывалась с ужасом.

Он поцеловал руку принцессе, предложил ей сесть и одновременно сел и сам. Ей было отведено десять минут. Франц-Иосиф спросил об ее здоровье, о погоде в том городе, из которого она приехала, об общих знакомых, глубоких стариках и старухах,— помнил всех. Принцесса рассказывала. Он с юношеских лет выработал привычку слушать как будто с интересом и воздерживаться от зевоты. На девятой минуте принцесса, забывшая его правила, о чем-то пошутила и даже засмеялась. Это было совершенное безобразие. Глаза у него сразу стали ледяными. Она смутилась. Аудиенция продолжалась только девять минут. Он проводил принцессу до дверей.

Затем представлялись разные генералы. Их он расспрашивал о состоянии вверенных им частей, расспрашивал очень внимательно: военным делом еще интересовался больше, чем всем другим. Подал руку только одному генералу: это был барон с древним именем. До него был принят граф, ему император руки не подал: титул этого графа имел всего столетнюю древность. Барона же спросил даже об его охоте и вспомнил, что в молодости охотился с его дедом. Аудиенция была без свидетелей. Император знал, какой честью считается его рукопожатие, знал, что не все верили рассказам осчастливленного лица, и после окончания приема вскользь сказал обер-гофмаршалу, что подал руку барону; таким образом это тотчас стало известно всем при дворе.

Ровно в двенадцать лакеи внесли небольшой столик с прибором. Франц-Иосиф ел очень мало. Завтрак продолжался двадцать минут, а перерыв в аудиенциях был в полчаса. Кофе император никогда не пил; позволял себе две сигары в день. С наслаждением закурил, но бросил сигару в двенадцать двадцать семь. Лакеи унесли столик. Аудиенции возобновились. Оставалось восемь человек, и только последняя аудиенция, назначенная графу Берхтольду для важного разговора, не была ограничена числом минут. Таким образом рабочий день был на этот раз не очень длинный. Вечером не было ни спектакля, ни бала. Никаких владетельных особ в Вене теперь не было и в ближайшее время не ожидалось. Это было очень приятно. Его утомляли посещения монархов, особенно Вильгельма II, которого он вдобавок не считал *настоящим* императором, как не считал настоящими императорами Романовых или прежде Бонапартов. Франц-Иосиф родился уже после того, как Габсбурги из императоров свя-

щенной Римской Империи стали просто австрийскими императорами, и в душе не прощал Францу II этого понижения в ранге династии.

Он догадывался, о чем с ним будет говорить австро-венгерский посол в России. Этот родовитый, богатый и потому независимый человек, очень красивый, всегда превосходно одевавшийся, ему нравился. Император даже подумывал о том, чтобы предложить Берхтольду самую высокую придворную должность, для которой он очень подходил. Считал умным, способным человеком и министра иностранных дел Эренталя; тот был еврейского происхождения, но это для Франца-Иосифа в государственных делах не имело значения, он не выносил только людей, объявлявших себя свободомыслящими.

Однако и Эренталь, и Берхтольд вели беспокойную политику: оба ставили себе целью присоединение к империи Боснии и Герцеговины. Франц-Иосиф и сам хотел бы закончить свое царствование таким делом. Тут сказывались чувства 137 предков. Но дело казалось ему рискованным: могло привести к войне с Россией. Никаких войн он больше не хотел и всячески им сопротивлялся. Изменить его мнение ни Берхтольд, ни Эренталь не могли. Никто на него влияния не имел Хорошо знавший его человек сказал о нем: «Если б в империи был какой-нибудь князь тысячелетнего рода, и если б он был верующий католик, и если б он обладал огромным умом, огромной культурой, огромным состоянием, и если б он никогда, ни разу в жизни, ни о чем для себя не попросил, то, быть может, он имел бы некоторое влияние на нашего императора. Но такого человека в империи нет».

Франц-Иосиф подал Берхтольду руку и предложил ему сесть. Спросил о здоровье, о погоде в России, о царе и царице. Затем вопросительно на него уставился, приглашая его перейти к делам.

После краткого общего доклада Берхтольд высказал мнение, что приобретение Боснии и Герцеговины совершенно необходимо империи. Оно чрезвычайно ее укрепит и сильно повысит ее престиж. Никакого риска нет: Россия на войну не решится. Вследствие недавнего поражения на Дальнем Востоке она очень слаба. Командование, военное снабжение, подготовка армии оказались плохими, русский военный флот совершенно разгромлен,— он приводил факты и цифры. Кроме того, революционное движение отнюдь не подавлено, в случае новой войны оно вспыхнет с еще гораздо большей силой: недовольство в России стало почти всеобщим. Сербия, разумеется, заявит протест, но какое значение может иметь Сербия? Настал благоприятный момент для действия, упустить его было бы грехом и огромной ошибкой.

Он говорил хорошо, гладко, без горячности: знал, что говорить с императором *горячо* нельзя. Франц-Иосиф бесстрастно и внимательно его слушал. Все это не раз слышал и от Эренталя. «Да, оба хотят одного и того же. Как будто все правильно, но уверенности в этом быть не может,— думал он,— ни на чьи такие слова полагаться невозможно. Они молоды, большого опыта у них нет».

— Присоединение к моей империи Боснии и Герцеговины? Да, я это знаю,— холодно сказал он, когда Берхтольд замолчал.— Но вы говорите, что оно не приведет к войне с Россией и что Россия слаба. Однако так будет не всегда. И готовы ли к войне мы сами?

— В этом не может быть никакого сомнения, ваше величество. Таково единодушное мнение нашего командования.

— Я то же самое слышал от моих фельдмаршалов и генералов и в 1859-м году, и в 1866-м. Они жестоко ошиблись. Могут ошибиться и теперь. Я никакой новой войны не хочу. Прошу вас твердо это запомнить. Я давно говорил это и Бюлову (он произносил по-венски: *Билов*; правильным могло быть, конечно, только австрийское произношение).

— Строго подчиняюсь воле вашего величества. Но я обязан высказать свое убеждение. Если б даже Россия решилась на войну, то ей пришлось бы иметь дело также с Германией. Франция же в войну, наверное, не вмешается.

— Это мне тоже говорили. Я не уверен ни в том, ни в другом,— сказал император еще холоднее.— Император Вильгельм — друг царя. Французская политика очень изменчива. В политических делах нельзя быть уверенным ни в чем. И если б даже война кончилась полной нашей

победой, то погибли бы сотни тысяч людей. А я как верующий человек не хочу проливать чью бы то ни было кровь и всего менее кровь моих подданных.

— Кровь и не будет проливаться, ваше величество,— уныло сказал Берхтольд. Он знал взгляды, не раз высказывавшиеся императором и Эренталю. Знал также, что эти взгляды не имеют решающего значения: давление правительства, парламента, того, что он называл волей народа, т. е. мнения газетных передовых статей, окажутся сильнее. Франц-Иосиф и сам это понимал. Все же Берхтольд был разочарован. «С такими взглядами никакой политики вести нельзя. И он сам не всегда так думал. И я такой же добрый католик, как он... При чем тут вера?»

— Со всем тем я не отрицаю, что было бы очень хорошо мирным путем присоединить Боснию и Герцеговину к моей империи,— сказал император. Смутно почувствовал, что этими словами почти уничтожает значение того, что говорил раньше. Это тотчас сказалось и в выражении глаз Берхтольда.— Я надеюсь, что вы с вашими способностями и тактом будете поддерживать добрые и корректные отношения с Россией.

— Я это и делаю, как могу, ваше величество,— сказал Берхтольд облегченно и даже искренно. У него в самом деле были очень хорошие отношения с русским придворным миром. Его забрасывали приглашениями, он чуть не каждый день в обществе, в балете, в Михайловском театре встречался с петербургской аристократией.

После окончания приема император вздохнул свободно. Рабочий день был кончен. Оставалось теперь только приятное: прогулка, обед не на переносном столике, а в столовой, вековое токайское,— он, впрочем, пил мало,— и госпожа Шратт. Ей разрешалось улыбаться, и даже хохотать, и даже рассказывать венские анекдоты. Он и сам смеялся в разговорах с ней; без нее, быть может, просто не выдержал бы своей жизни.

II

От Рейхеля пришла телеграмма: «Приезжаю среду несколько дней телеграфируйте можно обедать у вас четверг если дома приду шесть часов».

В другое время эта телеграмма обрадовала бы Ласточкиных. Они любили Аркадия Васильевича, мирились с его тяжелым характером и, как говорила Татьяна Михайловна, чувствовали себя перед ним «без вины виноватыми»: не нашли для него в Москве работы. Изредка с ним переписывались. Он писал суховато. Это огорчало Дмитрия Анатольевича. Вскоре после того, как его бросила Люда, Рейхель кратко сообщил им, что, наконец, получил хорошее место с лабораторией в Военно-медицинской академии и просил больше ему денег не присылать. В ответном поздравительном письме Ласточкин предложил помогать ему еще хоть некоторое время, так как ученые учреждения, верно, авансов не дают. Рейхель повторил, что отказывается: «Я очень тронут твоим и Тани неизменным вниманием. Однако я уже не нуждаюсь и, верно, больше никогда нуждаться не буду».

— Я была бы рада Аркаше, но как бы он теперь не встретился у нас с Людой. Верно, он слышал, что она в Москве: на всякий случай точно указывает день и час, будто не знает, что может прийти на обед, когда хочет,— сказала Татьяна Михайловна.— Быть может, он и сердится, что мы ее принимаем. Я тебе говорила.

— Ты говорила, но пригласила ее к нам ты,— опять поддразнил жену Дмитрий Анатольевич.

— Я тогда растерялась, а теперь не жалею.

— Ты отлично сделала, Танечка,— сказал Ласточкин.— Ничего, она в обеденное время приходит редко. Положимся на судьбу.

— Это приятно слышать. Ты, Митенька, на судьбу полагаешься редко. Слишком много все обдумываешь.

— Разве? Но если ты мной недовольна, то мы можем развестись,— пошутил Дмитрий Анатольевич и поцеловал жену.

Он ответил двоюродному брату телеграммой в шутливом тоне: «Мы оба страшно рады точка но отчего тебе не остановиться у нас точка старый замок как ты давно знаешь всегда к твоим услугам ждем обнимаем».

Рейхель у них не остановился, но пришел к обеду ровно в указанное им время. Был в гораздо лучшем настроении, чем прежде. Сказал, что «более или менее удовлетворен» полученной им должностью и много работает.

— Лаборатория очень недурна, у меня есть отдельная комната, и я теперь совершенно независим. Могу даже заказывать на казенный счет любые приборы.

— Как я рад! Ты прославишь эту лабораторию!— с жаром сказал Ласточкин.— Мне говорили о важности твоих работ.

Он не любил преувеличивать, но на этот раз покривил душой. Недавно из Петербурга в Москву приезжал знаменитый бактериолог. Встретившись с ним в редакции «Русских ведомостей», Ласточкин спросил его о Рейхеле: «Ведь он, кажется, на пути к славе?» Профессор, не знавший об их родстве, пожал плечами: «Рейхель прекрасный, добросовестный, трудолюбивейший работник, но не очень талантливый человек». «Неужели? А я думал, что из него выйдет новый Пастер!»— сказал огорченно Дмитрий Анатольевич. «Нет, Пастер никак не выйдет. Разумеется, мы его ценим. Хотя ему немного вредит то, что он так нервен, раздражителен и, грешным делом, в науке немного завистлив. Большие ученые такими не бывают... Впрочем, бывают и большие»,— прибавил профессор, засмеявшись.

Татьяна Михайловна, не выносившая неправды, укоризненно взглянула на мужа и перевела разговор:

— Друзья мои, обед будет минут через десять. Я пришлю вам сюда «аперитивы», так, кажется, это называется у французов? Что вы предпочитаете, Аркадий? Богдыхан в последнее время пьет вермут.

— Я и в Париже аперитивов не пил, а к их знаменитому абсенту и прикоснуться не мог. За столом, если позволите, выпью рюмку водки.

— Позволяю. Закуски мы за обедом не едим, начнем прямо с рассольника. Я ведь помню, что вы, Аркаша, любите рассольник с пирожками. Но я все-таки скажу, чтобы под водку подали икры,— сказала Татьяна Михайловна. У нее было правилом при гостях давать к столу то же, что подавалось без гостей; отступала от этого правила лишь при «парадных» обедах.

— Тогда, Танечка, не присылай мне вермута. И я выпью водки и не одну рюмку, а три в честь Аркаши. Ты прежде тоже пил три,— сказал Ласточкин и смутился: «прежде» могло быть Аркадием при его подозрительности понято, как «в пору Люды». Так именно Рейхель и понял.

— Теперь у меня нервы в полном порядке, и взвинчивать себя водкой незачем,— равнодушно сказал он.

— Это отлично, а то ты человек минорной гаммы.

— А ты бравурно-мажорной.

— И слава Богу. Я рад, что у меня счастливый характер.

— Ну, не слишком уж счастливый, ты еще недавно был в меланхолии,— сказала Татьяна Михайловна и вышла из гостиной.

Рейхель вынул из кармана конверт и протянул его двоюродному брату.

— Это половина моего долга тебе, Митя.

— Какого долга?

— Ты знаешь, какого. Ты долго поддерживал меня и в Париже, и здесь. Пожалуйста, сочти. Другую половину надеюсь отдать через год.

— Да помилуй...

— Ничего не «помилуй»!

— Но ведь тебе трудно, и потом...

— Мне нисколько не трудно. Я теперь очень порядочно зарабатываю, а проживаю вдвое меньше. И еще раз от души тебя благодарю.

— Ох, эта твоя щепетильность! Твое джентльменство иногда переходит в донкихотство,— сказал Дмитрий Анатольевич, знавший, что его слова будут приятны Аркадию. «Он всегда гордился своим джентльменством. Но как оно у него сочетается с озлобленностью и с вечным неприятным сарказмом? — подумал Ласточкин.— Он всегда был в денежном отношении совершенно бескорыстен, как и Люда. Надо все-таки сказать ему хоть что-нибудь о Люде. Иначе выйдет еще более неловко».

— Спрячь конверт, — сказал Рейхель, — и расскажи мне о своих делах. О политике, пожалуйста, не говори, я, как ты давно знаешь, ненавижу ее и презираю.

— О чем же? О культурной работе? Она опять возобновилась и развивается, несмотря на эту несчастную революцию. Все революции — скверное дело, но нет ничего хуже подавленной революции, — сказал Ласточкин и заговорил на свою любимую тему: о сказочном росте России. Говорил так же хорошо и с таким же увлечением, как когда-то в Монте-Карло.

Рейхель слушал, подавляя зевоту.

— Очень интересно, — сказал он. — О своих собственных заслугах ты не говоришь, но я знаю, какое участие ты принимаешь в этой работе. По-моему, ты делаешь настоящее дело.

— Быть может, но не такое все же, как вы, ученые... И еще новое отрадное явление: рост кооперации. Ты знаешь, кстати, что Люда в ней работает? — робко спросил Дмитрий Анатольевич.

Лицо у Рейхеля чуть дернулось.

— Она в Москве? Вы ее видите?

— Изредка видим. Надеюсь, ты ничего против этого не имеешь? Ты понимаешь, что нам...

— Понимаю и решительно ничего не имею, — перебил его Аркадий Васильевич.

— Не знаю, известно ли тебе, что она разошлась с этим кавказским революционером?

Рейхель взглянул на него с изумлением. Затем злобно-весело рассмеялся.

— Я не знал! Хорошо, очень хорошо! И давно случилось это примечательное событие? — спросил он.

Ласточкин отвел глаза и пожалел, что сказал о Люде.

— Уже довольно давно... Она отошла от революции. Теперь получила место в одном кооперативном обществе, очень увлечена работой и...

— Она меня совершенно не интересует, — опять перебил его Рейхель.

— С той поры, как ты вернул ей свободу, она...

— Мне незачем было возвращать ей свободу, мы не были женаты. И извини меня, поговорим о чем-нибудь другом.

— Друзья мои, пожалуйста в столовую, — сказала в дверях Татьяна Михайловна.

За обедом Рейхель был весел. Сообщение о Люде доставило ему большое удовольствие. Очень хотел узнать, кто кого бросил, но спрашивать об этом было неудобно. Говорил любезности, что было ему несвойственно. «Все-таки он мил, хотя и сухарь, — думала Татьяна Михайловна, не знавшая об его разговоре с Дмитрием Анатольевичем. — Надо бы его женить. — У нее мелькнули в памяти некоторые московские невесты. — Нет, ни одна за него не пойдет. Он не может иметь успеха у женщин».

— Что же ты скажешь, Аркаша, об этом ужасном деле на Аптекарском острове? — спросил Ласточкин.

— Ничего не скажу. Надеюсь только, что всех этих бандитов перевешают.

— Дело они сделали действительно ужасное, — сказала Татьяна Михайловна. — Перебили множество ни в чем не виноватых людей. Да и виноватых убивать не следует. Но и вешать никого нельзя. И все-таки нельзя называть бандитами людей, идущих добровольно на верную смерть, как-никак ради какой-то идеи.

— Хороша идея! Есть храбрые бандиты, это ровно ничего не значит. Картуш, Тропман тоже были бесстрашны.

— Я просто не могу понять, к чему они стремились. Ну, убьют Столыпина, будет Горемыкин или кто-нибудь такой же.

— А я и не интересуюсь, кто будет: все хороши, — сказал, пожимая плечами, Рейхель.

Разговор ненадолго прервался.

— У нас завтра ложа в опере, «Борис» с Шаляпиным. Пойдете с нами, Аркадий?

— Спасибо. Кого вы еще звали?

Она поспешно назвала одного поэта, писавшего непонятные статьи об аполлонической музыке. Рейхель кивнул головой удовлетворенно. «Не думал же он, что мы его пригласим с Людой!»

— А четвертое место оставлено специально для вас, Аркаша.

— Охотно пойду, вечером я свободен. Но вы знаете, что я ничего в музыке не смыслю, просто жаль давать мне место. Кажется, «Борис» теперь в большой моде?

— В моде или нет, но я во всей музыкальной литературе не знаю ничего лучше сцены коронования.

— Я слышал от кого-то, что у вас теперь первый музыкальный салон в Москве.

— Надеюсь, вы не вкладываете иронического оттенка в слово «салон»? Да, мы оба все больше увлекаемся музыкой, — сказала Татьяна Михайловна и вдруг похолодела: из передней послышался быстрый троекратный звонок, так звонила Люда. «Господи, как не повезло!» Она с ужасом взглянула на мужа, но было уже поздно: входную дверь отворили. Люда вошла своей быстрой, энергичной походкой в столовую — и остановилась на пороге.

— Друзья мои... Аркадий, ты здесь? Здравствуй.

Рейхель что-то невнятно пробормотал. «Неужто они это подстроили?» — с бешенством подумал он. Но по виду хозяев ясно было, что они сами в полном замешательстве.

— Я зашла только на минуту, проведать вас, — сказала Люда очень смущенно.

Татьяна Михайловна сидела ни жива, ни мертва.

— Почему же только на минуту? — спросил Дмитрий Анатольевич и заговорил об ее работе со скоростью тысячи слов в минуту. Так же быстро говорила Люда, искоса бросая взгляд на Рейхеля и тотчас отводя глаза.

— Вы совершенно правы, Митя. Я повторяю, что не революция, а именно кооперация спасет мир! Вы не можете, Таня, и представить себе, как она растет, особенно этот рочдэйльский тип ее. Она выведет Россию из трясины. Все видят, как выродилось революционное движение. Скоро вся страна покроется сетью потребительных обществ пермского типа, производственных товариществ, земледельческих артелей! Беднейшие слои населения наконец получат возможность жить по-человечески. А рижский Консум-ферейн! А Нимская школа!

— Это чрезвычайно важно, кооперация, чрезвычайно важно, — подтверждал Ласточкин, с опаской поглядывая на своего двоюродного брата. Тот про себя отметил «Таню».

— Я тоже думаю, что это важно, — говорила Татьяна Михайловна, на которую веяло скукой от самого слова «кооперация». Столбняк у нее проходил. Она старательно улыбалась. — Все же сознайтесь, Люда, что вы чулки, например, покупаете не в артелях, а на Кузнецком мосту.

— Чулки, конечно. А чай, кофе, сахар покупала бы в потребительном товариществе, если бы ближайшее не было от меня на расстоянии двух верст.

— Очень характерен этот начавшийся отход от революции, — сказал Дмитрий Анатольевич. — Кстати, Танечка, я и забыл тебе сказать. Помнишь тех двух молодых людей, которые были у нас в прошлом году на вечере мелодекламации? У них были странные имена: Таратута и Андриканис. Так вот, мне сегодня говорили, будто они женятся на сестрах Шмидт.

— Вот тебе раз!

— Это брак и по любви, и по идейной близости: все четверо принадлежат к большевистской фракции социал-демократов... Впрочем, этого я твердо не знаю.

Рейхель посмотрел на часы.

— Таня, вы мне разрешите позвонить по телефону? Иначе я не застану дома этого профессора, — сказал он и, не дожидаясь ответа, встал. Дмитрий Анатольевич проводил его к аппарату.

— Извини, нам так досадно. Люда приходит к нам редко. Мы не ожидали, — сказал он сконфуженным шепотом.

Рейхель ничего не ответил. Ласточкин затворил за ним дверь и вернулся в столовую. Аркадий Васильевич позвонил к профессору; тот назначил ему свидание как будто без особой радости. «Что же теперь делать? — подумал Рейхель. — Нельзя же уйти до конца обеда. Может, она уйдет?»

— ...Еще хорошо, что он не наговорил мне грубостей, и на том спасибо, — говорила в столовой вполголоса Люда.

— Что вы!

— Мне все равно, и я понимаю, что он имеет право на меня сердиться... Я бегу à l'anglaise*. Извините меня, что ворвалась так не вовремя.

— Что вы, что вы!

— Я в самом деле спешу. У меня сегодня будет один петербургский журналист. Еще раз, пожалуйста, на меня не сердитесь.

— Что вы, что вы!

Из Москвы Люда разослала знакомым открытки с указанием своего адреса. Никому из товарищей по партии не написала, — теперь мысленно уже называла их «бывшими». От ее революционности ничего не осталось. Дело на Аптекарском острове, уход Джамбула, отношение к ней Ленина, экспроприации смешались в душе Люды. Сказалось и влияние кооператоров, ставших ее друзьями и товарищами по работе. Они в большинстве были люди левые или по крайней мере очень либеральные, но относились к экпроприациям и к взрыву столыпинской дачи с крайним отвращением.

В числе людей, которым Люда послала из Москвы открытки, был и Певзнер. Она иногда читала его репортажи в петербургской газете. Он уже подписывался «Дон Педро». Накануне Альфред Исаевич позвонил ей, сообщил, что газета послала его «для обследования положения на Волге» и что он остановился на два дня в Москве.

— Был бы страшно рад повидать вас, Людмила Ивановна.

— Я тоже очень рада, Альфред Исаевич. Приходите завтра вечером чай пить, часов в девять.

— С величайшим удовольствием.

Люда пригласила его не без легкого колебания. Общей гостиной в ее номерах не было, а уж очень неказиста была ее комната. «Тонышева сюда не пригласила бы», — с улыбкой подумала она. По дороге домой купили печенье и полбутылки дешевого вина; за вином ей всегда разговаривать было легче. Заказала чай и велела горничной не стлать на ночь постель: «Я сама постелю попозже». Впрочем, Певзнера к «мужчинам» не причисляла. Знала, что он обожает свою жену, оставшуюся в провинции впредь до того, как он «станет на ноги»; постоянно о ней говорил, писал ей письма каждый день, посылал регулярно большую часть своего заработка. «Проще было бы пообедать с ним в ресторане, но незачем вводить его в расходы. При своей галантности он на меня потратился бы».

Встретились они радостно. Альфред Исаевич из деликатности только вскользь спросил о Джамбуле: «Верно, слышал, что мы разошлись». Спрашивал Люду о здоровье, об ее занятиях, о кооперации. С гордостью говорил о своих успехах:

— Могу без ложной скромности сказать, что мои репортажи оценены нашей редакцией, как и вообще в газетных кругах. И весной я перевожу жену в Петербург! Недавно у нее был.

— Я очень за вас рада, Альфред Исаевич. Что же вы будете «обследовать» на Волге?

— Очень печальные события. Там орудует какая-то шайка разбойников. И, говорят, она в сношениях с большевиками! Теперь ведь и не разберешь, кто грабитель, и кто идейный человек. Чего стоил один этот Соколов!

Сердце у Люды забилось.

— Какой Соколов?

— Разве вы не знаете? Соколов-Медведь! Тот самый, который организовал взрыв на Аптекарском острове. Ведь вы, конечно, читали мои репортажи об этом деле?

— Я не знала, кто это сделал.

— Он, он! Страшный человек!

— Так он только других посылает на смерть, а сам жив?

— Да нет же! Он был арестован на днях на улице и на следующий же день повешен, в порядке этих новых военно-полевых судов!.. Что с вами, Людмила Ивановна?

— Нет, ничего решительно, — не сразу выговорила Люда. Вино пролилось на скатерть. — Повешен?

— Повешен. Вы знаете, у него была любовница или жена, Климова. Красавица! И, представьте, дочь члена Государственного совета! Отец умер с горя! Подумайте, из такой семьи! Она тоже арестована.

— И казнена?

— Еще нет, предстоит ее процесс. Я знаю все подробности. После ареста она попросила, чтобы ей оставили какой-то шарф, который был на ней в тот день, когда она вышла за него замуж. Это было удовлетворено. Она страстно его любила. Он был не только писаный красавец, но еще магнетизер.

— Откуда вы знаете?

— Мы, репортерская элита, все знаем. Я могу вам даже сообщить одну поразительную вещь, о которой писать невозможно. Представьте, через несколько дней после взрыва на Аптекарском острове он стал писать страстные письма дочери Столыпина, той, что чудом спаслась!..

— Письма дочери Столыпина! Зачем?

— Он предлагал встретиться с ним! Этот человек был так уверен в своей магнетизерской силе, что надеялся убедить барышню убить ее отца!

— Не может быть!

— Это неслыханно, но это так. Я знаю из самого верного источника. Пожалуйста, не оглашайте этого.

— Но как же?.. Если он предлагал ей встретиться, то, значит, давал свой адрес?

— Давал адрес конспиративной квартиры! Был, значит, уверен, что она властям не скажет. И самое поразительное, он в этом не ошибся! Она сообщила отцу об этих письмах, но адреса не указала. По взглядам она, разумеется, правая и обожает своего отца, но не хотела выдавать на смерть доверившегося ей человека. И Столыпин признал ее поведение правильным! Странная душа у русских людей! Эх, пролили вы вино. Ничего, это замоют. Белое вино пятен не оставляет.

— Пятен не оставляет, — сказала Люда.

III

Тифлисские террористы обычно собирались в одном и том же ресторане Тилипучури. Это было не конспиративно, но они знали, что местная полиция очень плоха да и не слишком усердно их арестовывает. Ремесло полицейского было в ту пору, особенно на Кавказе, столь же опасно, как ремесло террориста.

Кавказский наместник, граф Воронцов-Дашков, был человек либеральных взглядов. Он любил кавказцев, как их всегда любили русские люди, с легким оттенком благодушной насмешки, относившейся к кавказскому говору. В молодости он сам три года воевал с горцами, помнил, что тогда в армии ни малейшей враждебности к ним не было и что в русской литературе, от Пушкина и Лермонтова до Толстого, вряд ли есть хоть один антипатичный кавказец. Война давным-давно кончилась, все же наместник смутно, почти бессознательно, рассматривал террористов двадцатого века, как несколько худшее повторение горцев Шамиля.

Он с террористами, разумеется, не встречался, но с главарями умеренных социалистов старался кое-как «поддерживать человеческие отношения»! Иногда заключал с ними негласные соглашения, тотчас, впрочем, становившиеся гласными. Так, в пору столкновений между армянами и татарами передал социал-демократической партии пятьсот винтовок для вооружения поддерживавших порядок рабочих дружин под честное слово

* по-английски (т. е. не прощаясь) (франц.)

меньшевика Рамишвили, что винтовки будут возвращены властям по миновании надобности. Так, перед ожидавшимся приездом царя на Кавказ взял с революционеров честное слово в том, что покушений не будет. Не думал, что такое соглашение вполне обеспечивает безопасность императора; но, по его мнению, оно на Кавказе обеспечивало ее лучше, чем полицейские меры. Воронцов-Дашков был противником казней и находил, что все равно виселицей не запугаешь чеченца или ингуша. Вдобавок он стал почти фаталистом после убийства Александра II: от судьбы не уйдешь.

Его любили три царя. Правительство же очень его недолюбливало. Однако древнее имя графа, его огромное богатство, независимость человека, ни в ком для себя не нуждавшегося, даже его барская внешность и манера одинакового обращения с людьми, а всего больше личная близость к царю внушали осторожность правительству; оно по возможности не вмешивалось в его методы управления Кавказом. Взгляды наместника, быть может, немного сказывались и на действиях полиции. Но и по простой осторожности сыщики старались не заглядывать без крайней необходимости в такие места, как ресторан Тилипучури. Холодное оружие было на Кавказе у всех, очень много было револьверов, немало изготовлялось и примитивных бомб. «Положительно каждый ребенок может из коробки из-под сардинок и купленных в аптеке припасов смастерить снаряд, годный для взрыва его няньки», — писал современник.

Вероятно, департамент полиции уже тогда знал, что руководит издали экспроприациями сам Ленин. Может быть, знал и то, что для этого из партийного Центрального комитета выделен небольшой, еще более центральный, комитет, настолько секретный, что о самом его существовании долго не знали виднейшие социал-демократы.

В этот комитет, кроме Ленина, входили только два человека: Красин, он же Никитич, он же Винтер, он же — почему-то Лошадь, и Богданов, имевший полдюжины псевдонимов: Максимов, Вериер, Рахметов, Сысойка, Рейнерт, Рядовой. Служащие департамента полиции не очень интересовались моральными свойствами революционеров: «Все канальи!» (некоторые, быть может, добавляли: «Да и мы тоже»). Но именно этих двух большевиков заподозрить в терроре было трудно: один занимался не то философией, не то наукой, не то еще черт знает чем; другой был видный инженер, загребавший деньги в торгово-промышленных предприятиях и никак не Лошадь, а очень умный и ловкий делец. Люди же, по их поручению руководившие непосредственно террористическими делами на Кавказе, известны: Джугашвили и Камо.

О Камо на Кавказе рассказывали и легенды, и анекдоты. О Джугашвили же и революционеры знали не очень много, а говорили еще меньше. Непонятным образом этот человек, так страстно влюбленный в саморекламу, позднее ею занимавшийся тридцать пять лет с небывалым в истории успехом, в молодости почти ничего о себе не сообщал даже близким товарищам: вероятно, всех подозревал в провокации. По еще гораздо более непонятным причинам о своих кавказских делах почти никогда не рассказывал и впоследствии, когда мог это делать совершенно безопасно.

Уже стемнело, когда Джамбул неторопливо подошел к ресторану. Бросил взгляд в отворенное окно. Дружинников не было. «Где же они сегодня?» — спросил себя он. Понимал, что никто не остается в этот вечер дома в одиночестве: «Разве Коба? У него вообще нет нервов». Джамбул прошел дальше и, убедившись, что подозрительных людей нет, вернулся. «Пора поесть, с утра ничего не ел», — подумал он.

В этот день он рано поутру, взяв в манеже лучшую лошадь, выехал верхом далеко за город и где-то в глухом месте леса упражнялся в стрельбе из револьвера. Еще лет пять тому назад с пятнадцати шагов попадал в туза. Теперь прикрепил к дереву листок бумаги, раза в три больший, чем игральная карта, и два раза подряд промахнулся. Это очень его раздосадовало, хоть для завтрашнего дела большая меткость была не очень нужна. «Конечно, от бессонницы! — сердито подумал он. — Да бессонница-то от чего! Кажется, не в первый раз иду на опасное дело и прежде спал хорошо»... Взял себя в руки, стал стрелять лучше. Перед последним выстрелом загадал: «Если промахнусь, то, значит, дело провалится». Не раз загадывал и дома, пользовался и картами, и монетой. Выходило разное, но одно было и без карт ясно: все равно отказать уже нельзя, это значило бы себя опозорить.

Да еще ему иногда казалось, что загадывать, собственно, следовало бы о другом: нужно ли это дело? Сомнения у него были давно, а с некоторых пор все усиливались. Иногда он даже себя спрашивал: не объясняются ли они страхом смерти? Друзья говорили, что он совершенно бесстрашен: просто не понимает, что такое страх. Эти слова до него доходили и доставляли ему радость. Все же он думал, что тут есть преувеличение: людей, никогда не знавших страха, не существует. «Соколов и Камо самые храбрые из всех, кого я видел, но, вероятно, и они страх испытывали».

На этот раз он попал в листок, даже в самую его средину, и свои упражнения закончил: взял с собой только одну запасную обойму; да и не годится перед делом стрелять тринадцать раз. «Семь попаданий из двенадцати... Недурно, но прежде было бы лучше».

Прежде, приезжая на Кавказ хотя бы из Парижа, он всегда очень оживлялся и веселел. Теперь этого не было. Обычная шутливость его почти покинула. Он был настроен серьезно и даже несколько торжественно. «Да, вполне возможно, что завтра убьют. Ну, убьют, одним Джамбулом будет меньше, только и всего... Думал, что прошло для меня то время, когда перед опасными делами я подводил какие-то жизненные итоги. Оказывается, не совсем прошло», — говорил он себе. Думал о престарелом отце: как он об этом узнает!

Думал иногда и о Люде. Сохранил о ней приятное воспоминание. Ничего о ней толком не знал. В Петербурге при прощаньи она не попросила его писать (просто забыла), и это его задело. Тем не менее он послал ей из Тифлиса письмо. Чтобы как-нибудь ее не подвести, написал без подписи, измененным почерком и своего адреса не указал. Ответа, таким образом, быть не могло. Впрочем, она все равно, верно, не ответила бы из гордости. Больше не писал. Едва ли не первый раз с четырнадцатилетнего возраста вообще о женщинах думал очень мало.

В ресторане было пусто и душно, пахло жареным луком и свежеразмолотым кофе, — он очень любил оба эти запаха. В глубине комнаты сидел Камо, очевидно, только что пришедший. Перед ним на столике не было ни еды, ни напитков. «Ох, и нарядился же, дурак этакий!» — подумал Джамбул. На головорезе были темно-красная черкеска, белый шелковый бешмет, сафьянные чувяки; ножны шашки и кинжала были густо украшены бирюзой, серебром, слоновой костью. На стуле лежала белая папаха. «Хорошо еще, что не надел в июне бурки и башлыка! Нет ли при нем и бомбы? Впрочем, бомбы пока что у них отобрал Коба. Этот что угодно, но никак не дурак!»

Еще раз быстро и почти незаметно оглянувшись по сторонам, он поздоровался с Камо и сел против него за столик.

— Не сиди, слуши, спина к двери. Как будешь драться, если вбегают фараоны? — спросил Камо. Он говорил по-русски почти так, как в глупых анекдотах изображают кавказцев. Другого общего языка у них не было. Татарским оба владели плохо.

— Не сидеть же мне за маленьким столиком рядом с тобой? Если вбегут фараоны, пожалуйста, сообщи мне.

— Когда сообщи? Фараон быстро бегает. Потеряешь полминуту, пропал. Нельзя потерять полминуту, — сказал Камо, плохо понимавший шутки.

— Хорошо, буду знать. Сзади есть черный ход. Фараон любит бегать и через черный ход. Не догадался?

— Не догадался, — удивленно признал Камо. Это прозвище ему дал Джугашвили: получая поручения, тот спрашивал: «Камо отвезти?», «Камо сказать?»

Джамбул, как всегда, смотрел на него с ласковым любопытством. Только с ним теперь и говорил шутливо. Знал его дела, обычно ему удававшиеся, и не понимал, как и почему они удавались. «Он и конспиративного дела не понимает! Очевидно, инстинкт заменяет ему ум, как у львов или тигров». Он знал много террористов. Самым замечательным считал Соколова и немного жалел, что этот казненный человек не был

кавказцем. В тифлисском деле участвовали только кавказцы. Все смельчаки и удальцы и все много умнее его, а главная роль все-таки будет его, и это, пожалуй, правильно.

— Водку пил?

— Не пил.

— Выпьешь со мной? Может, в последний раз пьем.

— Может, последний раз,— равнодушно подтвердил Камо.— Одну рюмку буду пить. Больше перед завтра нельзя. Молоко буду пить. Вино не буду пить.

— Отчего? Коба не велел? Сам Ленин немного пьет. Любит, говорят, итальянское.

— Не любит. Я в Куоккалу привез вино. Целый бурдюк с Кавказа привез. Я тогда был флигель-адъютант. Ехал в первом классе. Жаль деньги, а надо. Один стерва генерал удивился. Спрашивает о при дворе. А я знаю о при дворе? Очень заругал кадетов. Генерал доволен, но удивлялся. Хорошо, стерва, скоро сошел на станции. Привез Ленину бурдюк. Благодарил. Ленин вино не любит, но Богданов любит. Так был доволен, так был доволен! А Ленин мне бомбы давал. Красин готовил. Я тоже готовил. Он знает химию! Я помогал. Хорошие бомбы.

— Столыпинские?

— Столыпинские,— подтвердил Камо. Так назывались бомбы новой конструкции, впервые пущенные в ход на Аптекарском острове.

— Так... Есть что будешь? Шашлык любишь?

— Шашлык люблю. Миндальный пирог люблю. Ты платишь свои деньги? Деньги партии не смей. Тогда сыр.

— Свои, свои. У меня партийных никогда не было и не будет. И завтра, если выйдет дело, ничего себе не возьму.

— А я себе возьму? Ты дурак!

— Другие, может, и возьмут, а?

— Слуши, хочешь — убью!

— Не хочу. Да, наши, знаю, не возьмут, они почти все хорошие люди, а другие еще как брали. К водке что будешь есть? Я угощаю, от отца получил, сегодня денег жалеть нечего. Какую закуску любишь?

— Всю люблю. Мало. Сыр с тархуном.

Джамбул подозвал хозяина и, все обдумав, заказал обильный ужин («может, последний в жизни»): балык, икру, шамаю, кобийский сыр с тархун-травой, чахохбили, шашлык, миндальный пирог, графин водки, бутылку лучшего кахетинского вина.

— Теперь рассказывай, только не ори,— сказал он негромко, когда хозяин отошел.— Видел Пацию?

— Видел Пацию,— ответил Камо, предпочитавший отвечать, когда было можно, словами вопроса.— Анету тоже видел.

— Обе следят за кассиром?

— Обе следят за кассиром.

— Кто повезет деньги?

— Повезет деньги два. Кассир и счетчик.

— Молодые? Семейные?

— Не знаю.

— Как их зовут?

— Кассир Курдюмов. Счетчик Головня.

— Много денег?

— Анета Сулахвелидзе говорит: миллион. Пация Галдава говорит: триста тысяч.

— Хороши бабьи сведенья! Едут в фаэтоне?

— Едут в фаэтоне.

— Какая охрана?

— Другой фаэтон.

— Да ведь не сам фаэтон будет охранять. В фаэтоне-то кто?

— Пять стрелки. Галдава говорит: всегда пять стрелки.

— Неужто не будет казачьего конвоя?

— Будет казачьего конвоя. Позади будет. Впереди будет.

— Много казаков?

— Много казаков. Не знаю, сколько много.

— Ох, немало людей перебьем, если нас не укокошат раньше. У них жены, дети... Значит, больше ничего узнать бабы не могли?

— Бабы не могли, и ты и я не могли.

— В плане перемен нет?

— Зачем перемен? Хороший план.

— Что думает твой Коба?

— Коба приказ дает, а что думает, кто знает?

— Это так. Он всегда врет.

— Не смей говорить: Коба врет!

— Да он в жизни не сказал ни слова правды: просто не умеет.

— Слуши. Хочешь, убью?— сказал Камо, и лицо у него стало наливаться кровью.— Ленин вот! — Он поднял руку высоко над головой.— Потом Никитич.— Он понизил руку.— Потом Коба.— Его рука еще немного понизилась.— А потом ты, я, все.— Положил руку на стол.

— Спасибо. А ведь твой Коба раньше был меньшевиком, хотя тщательно это скрывает.

— Нет большевики, меньшевики. В Стокгольме Ленин объединился.

— Скоро разъединился.

— Не разъединился. А Коба никогда не был меньшевик. Всегда большевик.

— Был, был меньшевиком. У нас на Кавказе все были,— возразил Джамбул, любивший его дразнить.

— Ты врешь! Убью!

— Нет, пожалуйста, не убивай меня. Убей лучше кого-нибудь другого. Кстати, маузер всегда при себе носишь?

— Всегда. Без нельзя.

— Ну, и дурак,— сказал Джамбул, впрочем, тоже не расстававшийся с револьвером.— О чем еще с Лениным говорил?

— Провокаторы говорил. Ленин думает, провокаторы. Красин тоже думает. Я предлагал план. Пойду ко всем товарищам. Три человека возьму, хорошие. Возьму с собой кол. Крепкий. Спрошу: ты провокатор? Если провокатор, сейчас посадим на кол. Если испугается, значит, тоже провокатор. Хороший большевик ничего не испугается. Ленин не хотел. Красин тоже не хотел. Ругался, очень ругался. «Ты, говорит, дикарь и болван!» Ленин смеется. Значит, правда. Я знаю, что я некультурный... Я по-русски хорошо говорю?

— Превосходно.

— Грамматику не знаю. Ничего не знаю. Писать не умею. По-грузински, по-армянски умею. Плохо. Арифметику совсем не умею,— сказал Камо со вздохом.— Некультурный. Дикарь. Дед был ученый. Священник.

— Неужели священник?

— Хороший, ученый. Я сам был верующий, ах, какой верующий! Много молился. Потом перестал, научили товарищи. Меня Коба учил. Всему учил. Спасибо. А учился плохо. Отец был пьяница. Он жив, но давно меня выгнал. От него я и некультурный... Ну, говорим дело.

— Рассказывай.

Они заговорили о завтрашних действиях. В плане перемен действительно не было.

— ...Начнем на доме Сумбатова.

— Кто же, наконец, сбросит с крыши первую бомбу?— Это единственное, что еще не было решено.

— Не твое дело, кто бросит. Коба знает, кто бросит. Не ты.

— Он мне сегодня же скажет. Это «мое дело», такое же, как его,— раздраженно сказал Джамбул.— Я рискую больше, чем он.

— Не больше, чем он. И ты не нужен. Коба нужен.

— Я другого мнения... А что, это правда, будто тебя уже раз вешали?

— Вешали. Стервы поймали, сразу вешали. Я всунул.— Он прикоснулся к подбородку.— Что это называется?

— Подбородок?

— Подбородок веревку всунул. Не заметили. Пьяные. Противно было. Ушли стервы. Я развязался. Удрал. Не вешали. Подбородок месяц болел.

— Приготовил на завтра чистокровного рысака?

— Не скажи: чистокровного. Скажи: чистопородного. Штатский говорит: чистокровного, кавалерист говорит, чистопородного. Мне русский офицер сказал. Здешний. Драгун. Скажешь — чистокровного, сейчас увидят: не русский офицер, — с удовлетворением пояснил Камо.

— Неужели увидят? А то ты, как две капли воды, москвич... Ну, что ж, постарайся на твоем рысаке не попасться под бомбу. Лошадь жалко. Значит, ты и завтра будешь в мундире?

— В мундире.

— Ну, и опять дурак. Ох, боюсь, напутаешь. Лучше уступил бы твою роль мне.

— Не уступил. Это ты дурак.

— А какой ты это орден нацепил? Купил на Армянском базаре?

— Купил на Армянском базаре.

— Купил бы Андрея Первозванного, — посоветовал Джамбул и спохватился: «Еще купит!»

— Не Андрея Первозванного. Коба сказал: Станислав третьей степени с мечами и бантом. Если кто был на японской войне два сражения, тот Станислав третьей степени с мечами и бантом. Ты не знаешь. Коба знает.

— Коба все знает. А что он сам будет завтра делать? Тоже будет палить с площади?

— Не будет палить с площади. Его убьют, кто останется?

— Конечно, конечно. Он волнуется?

— Не волнуется.

— Злой, как черт?

— Злой, — согласился Камо, подумав. — Но не как черт. Жена помер.

— Я знаю. Правда, что она была верующая и терпеть не могла социалистов? Он любил ее?

— Так любил, так любил!

— А я, правда, не думал, что он может кого-нибудь любить. Иремашвили говорил мне, что был на кладбище. Он сам Сосо и Кобу по старой памяти называет Сосо. Были друзьями. Так вот Джугашвили ему сказал, приложив руку к груди: «Только она смягчала мое каменное сердце. Теперь ненавижу всех! Так пусто, так несказанно пусто!» Я переспрашивал. Клянется, что так, дословно... Значит, Кобе нельзя палить с площади? Его жалко?

— Тебя не жалко. Меня не жалко. Коба жалко.

— Правильно, — сказал Джамбул. «На него и сердиться нельзя», — подумал он, смотря на собеседника в упор. Глаза у Камо были непонятным образом добрые, мягкие, печальные. — Ну, хорошо, а когда схватишь на площади мешок, кому отдашь?

— Кобе отдам, Ленину отдам. Красину отдам.

— Этим можно. Джугашвили денег не любит, это правда. Но где их будут хранить пока что? Ведь за границу переправить не так просто.

— Не твое дело.

— У Кобы была хорошая мысль. Он говорил мне. Хочет спрятать в Тифлисской обсерватории. Он там служил, кажется, лакеем, что ли? Знает там каждый угол. Хочет положить в диван директора. Умно!

— Спроси Коба.

— Это умно, — повторил Джамбул. Мысль ему нравилась преимущественно своей оригинальностью: обсерватория! С усмешкой подумал, что Коба не доверит денег одному человеку: «Либо сам отвезет, либо пошлет несколько человек, так украсть труднее». — Я еще хотел бы его повидать перед делом. Поедешь со мной?

— Не поеду. И адрес не дам.

— Адрес я знаю и без тебя, — сказал Джамбул.

Простившись с Камо, Джамбул вышел из ресторана и опять осмотрелся. Возвращаться домой ему не хотелось. Идти к Кобе было в самом деле поздно, да, собственно, и незачем. «Не надо было бы нынче ночевать дома. Да от судьбы не уйдешь. Во всяком случае, живым не дамся... На что Ленин потратит деньги? Неужто хоть часть пойдет на журнальчики? Тогда очень нужно было идти на такое дело!.. Очень может быть, что завтра погибну. Стоило ли?»

Он вдруг вспомнил о взрыве на Аптекарском острове. Читал газетные отчеты с еще более жадным любопытством, чем Люда, чем все; с первой же минуты понял, чьих рук это было дело, и знал всех его участников. Теперь, не в первый раз, представил себе, как эти безвестные, бессловесные молодые люди, почти столь же преданные Каину, как Климова, — как они едут в ландо на Аптекарский с Морской, как мысленно отмечают повороты — осталось еще два? нет, три! — как всматриваются в названия улиц, в номера домов, как считают минуты остающейся жизни, как перед дачей в последний раз смотрят на землю, на небо, на людей, на извозчика, ими тоже обреченного на смерть.

«Нет, на это я пойти не мог бы! — вздрогнув, подумал Джамбул. — Велика разница между *возможной* смертью и смертью *верной*, без малейшей, без самой ничтожной надежды на спасение!» Подумал об аресте и о казни Каина. «Как мог он в последнюю минуту не покончить с собой? Не успел этот Геркулес! Что, если не успею и я!.. Все же есть надежда, есть и смысл. Добудем миллион, будет восстание, и Кавказ освободится. Только это одно отделяет наше дело от обыкновенного уголовного грабежа, но этого одного достаточно... Да, если погибну, жизнь пойдет дальше точно так же, так, как шла всегда, только я о ней ровно ничего не буду знать, ни о чем. И люди даже не вспомнят, ни в какую историю не попадешь. Разве кто-нибудь когда-нибудь еще вспомнит о Соколове, а он при всем своем бездумии, при всем своем бездушии был сверхгерой, не чета Лениным и Плехановым!»

Эриванская площадь была безлюдна в этот поздний час. Он смотрел на дом, с крыши которого неизвестный ему человек должен был завтра бросить первую бомбу. В верхнем этаже жили три княжны, известные в тифлисском обществе; о них ходили благодушные анекдоты. «Может быть, он уже на крыше? Это было бы благоразумнее, чем подниматься при утреннем свете». Догадывался, что этот человек поднимется со двора по лестнице или по трубам.

Подошел к воротам и попробовал. Они не были затворены. Джамбул осмотрелся и заглянул в слабо освещенный двор. К нему спиной, глядя на крышу, стояли два человека. Один был в косоворотке и в сапогах. Джамбулу показалось, что это Коба. «Как все-таки я могу работать с этим человеком!» — подумал он. Точно вид Кобы мгновенно химически проявил те сомнения, которые у него назревали не первый день и не первый месяц.

IV

Тифлис был на военном положении. Казаки разъезжали беспрестанно по улицам города, городовые были вооружены винтовками, на перекрестках стояли караулы. В подготовке и выполнении экспроприации принимали участие десятки людей, и, как нередко бывает в подобных случаях, смутные слухи о предстоящем деле дошли до властей. Позднее тифлисский прокурор обвинял в легкомыслии полицеймейстера, а полицеймейстер, оправдываясь, нелестно отзывался о соображениях прокурора.

«Теоретики» экспроприаций предпочитали называть их «боями гражданской войны»; любили военную словесность. Быть может, некоторые из них помнили по «Войне и миру» или по бесчисленным газетным цитатам с «Die erste Kolonne marschiert»* о диспозиции Вейротера перед Аустерлицем. Но, возможно, думали, что, вопреки Толстому, бои происходят именно по диспозициям. Во всяком случае, они тщательно выработали подробный план дела на Эриванской площади: Чиабришвили, Элбакидзе, Шишманов, Каландадзе, Чичиашвили и Эбралидзе нападут на окруженные конвоем фаэтоны с деньгами, Далакишвили и Какриашвили на полицейский отряд у здания городской управы, Ломинадзе и Ломидзе на караул у Вельяниновской улицы и т. д.

Однако экспроприации не так уж похожи на бои, они длятся не целый день, и не несколько часов, а разве три-четыре минуты, и науки

* первая колонна марширует (нем.)

о них уже, во всяком случае, не существует. «Соотношение сил» экспроприаторам не могло быть известно, так как в любую минуту на площади мог появиться патруль из пяти или десяти или даже двадцати казаков. Собственно самым неподходящим для экспроприации местом в Тифлисе была именно Эриванская площадь, людная, центральная, расположенная поблизости от дворца наместника. По ней усиленные против обычного казачьи патрули проезжали в те дни почти беспрерывно, военные и полицейские посты всегда находились у штаба округа, у банков, на углах каждой из выходивших на площадь улиц.

Руководители дела, не слишком дорожившие чужой и даже собственной жизнью, на этот раз решили принять меры для уменьшения числа жертв: с раннего утра Камо в военном мундире со свирепым видом ходил по площади и вполголоса, вставляя в свою русскую речь «ловкие таинственные замечания», советовал людям уходить поскорее. Мера была довольно бессмысленна: на смену одним прохожим беспрестанно появлялись другие, и этот странный офицер по логике вещей, если б такая логика была, должен был сразу вызвать сильнейшие подозрения даже у самого глупого городового. На самом деле он никаких подозрений не вызвал, благополучно ушел до начала дела и где-то сел в запряженную рысаком пролетку, которой сам стоя правил (что́ тоже едва ли часто делали офицеры).

Один почтовый чиновник сообщил террористам, что 13-го июня, в 10 часов утра, кассир тифлисского отделения Государственного банка Курдюмов и счетчик Головня получат в почтово-телеграфной конторе большую сумму денег и отвезут их в банк, на Баронскую, мимо Пушкинского сквера, через Эриванскую площадь и дальше по Сололакской. Чиновник едва ли был подкуплен или запуган террористами, — они этим не занимались, никому денег не обещали, да и в свой карман в отличие от многих других экспроприаторов не брали: все отдали партии. Вероятно, чиновник тоже ей сочувствовал или же ненавидел правительство, как большинство населения России.

Курдюмов и Головня отправились на почту пешком. Для них это было привычное дело: деньги из столицы приходили в Тифлис часто. Распорядителей банка упрекнуть в легкомыслии было бы невозможно: к кассиру и счетчику приставлены караульный Жиляев и довольно большой наряд из солдат и казаков.

Вероятно, из экономии фаэтоны были наняты только у почты. Курдюмов и Головня получили деньги и не пересчитывали их; это было небезопасно да и ненужно: они были запечатаны в двух огромных пакетах, 170 тысяч и 80 тысяч. Сверх того кассиру было дано еще 465 рублей не запечатанных. Эти Курдюмов счел и положил в боковой карман пиджака. Пакеты же спрятал в мешок, затянул кольцо на ремне и бережно понес к фаэтонам в сопровождении счетчика, караульного и солдат. Казаки ждали на улице. В первый фаэтон сели Курдюмов и Головня, поместив мешок на ковер в ногах. Во втором были Жиляев и два солдата. В третьем * еще пять солдат. Казаки разделились: часть скакала впереди фаэтонов, часть позади, а один казак сбоку от первого фаэтона, со стороны дверец.

Вероятно, и на почте наблюдал за кассиром кто-либо из экспроприаторов. Во всяком случае, на пути наблюдатели ждали их в разных местах. У Пушкинского сквера Пация Галдава дала знать о приближении казаков Степко Инцирквели. Этот сигнализировал Анете Сулаквелидзе, гулявшей перед зданием штаба, а она подала знак Бачуа Купрашвили, который пробежал по площади с развернутой газетой (что было последним общим сигналом) и через полминуты присоединился к ринувшимся на фаэтоны экспроприаторам.

С крыши дома на углу площади и Сололакской улицы была брошена первая бомба, за ней последовали другие, бросавшиеся с разных сторон, тотчас началась отчаянная пальба из револьверов — и наступил хаос, в котором уже было никак не до диспозиций. Из-за дыма почти ничего и не было видно. Люди рассыпались по сторонам кто куда мог.

* В свидетельских показаниях есть, впрочем, разногласия. Раненый, чудом уцелевший Курдюмов показал, что нанял только два фаэтона: «Лошади были серые, сидение было покрыто синим сукном, без чехла, внизу красный ковер, физиономии фаэтонщиков не помню». **(Прим. авт.)**

С Гановской улицы на площадь примчалась пролетка Камо. Держа вожжи левой рукой, он стоя на подножке, стрелял во все стороны из револьвера и выкрикивал страшные ругательства. По «диспозиции» ему полагалось схватить в первом фаэтоне мешок с деньгами. Но и найти фаэтон было нелегко. Странным образом он остался цел. Кассира и счетчика выбросило силой взрыва на мостовую, казак был убит.

Камо почти никогда в жизни не терялся и уж никак не мог бы растеряться в тех случаях, когда действовал по определенному приказу. Ни малейших сомнений он не испытывал ни до экспроприации, ни после нее: Ленин постановил, Никитич помогал, Коба организовал, — значит, о чем же тут судить? Думать вообще было не его делом. Теперь на площади он действовал почти исключительно по инстинкту. Быть может, он единственный был совершенно спокоен, несмотря на грохот бомб, на пальбу, на дикие крики. Отчаянно кричал и ругался он не от злобы или волнения, а просто потому, что это входило в технику таких дел: так в старину конница неслась в атаку с воем и с ревом.

Справа от облака дыма выскочил Бачуа Купрашвили и побежал к Сололакской. В облаке как будто на мгновенье обрисовался фаэтон, но тотчас грохнула новая бомба и его опять заволокло дымом. «Упал! Убит Бачуа! — подумал Камо. — Но мешок! Где мешок?..» И в ту же секунду он увидел, что к Вельяминовской, там, где дыма было меньше, с мешком в руке бежит с необычайной, неестественной, нечеловеческой быстротой Чиабрашвили. Это было уж полным нарушением приказа. Камо быстро повернул пролетку и помчался за ним. Успел, однако, подумать, что Бачуа, быть может, только ранен. Вернуться в пролетке было невозможно. «Другие подберут!»

Через несколько минут он, отобрав у Чиабрашвили мешок, входил в конспиративную квартиру. Там уже было несколько других экспроприаторов. Он окинул их взглядом, бросил мешок на пол и яростно закричал:

— Где Бачуа?

— Убит!.. Сейчас придет!.. Ранен!.. Не знаю!.. — отвечали задыхающиеся голоса. Диспозиция не предусматривала вопроса, что́ важнее: мешок или товарищ? Но достаточно было ясно, что мешок гораздо важнее. Однако лицо у Камо налилось кровью. Он осыпал товарищей исступленной бранью. Вдруг дверь отворилась и на пороге, держась окровавленной рукой за голову, появился Бачуа. Камо против всякой конспирации что-то закричал диким голосом — и вдруг пустился в пляс.

Купрашвили, еле справляясь с дыханием, объяснял, что на мостовой потерял сознание лишь на полминуты, затем вскочил и прибежал сюда. Его слушали очень плохо. Все говорили одновременно о том, что́ делали, что́ пережили. Все кричали, что надо говорить потише: люди на улице могут услышать. Камо что-то орал, продолжая плясать. Кто-то поднял мешок, положил на стол и начал растягивать кольцо. Мгновенно сорвавшись с пола, Камо, как кошка, прыгнул к столу. Он верил товарищам, знал, что ни одного вора между ними нет, но Коба велел принести пакеты нераспечатанными: Джугашвили верил товарищам меньше.

Впрочем, на конвертах были написаны цифры: «170 000», «80 000». Не выпуская пакетов из рук, Камо прочел надписи. Попытался сложить в уме, другие помогли: «250 000». Восторг был общий, хотя некоторые ждали, что будет миллион. Камо опять пошел плясать, держа над головой по пакету в каждой руке.

— Сделано!.. Революция!.. Теперь освободимся!.. - говорили люди. Один из экспроприаторов сказал, что все разыграно как по нотам. Так в этот день говорили все в Тифлисе, кто с восхищением, кто с яростью. А на следующий день то же самое писали газеты во всей России.

Джамбул не все помнил из подробностей дела на Эриванской площади, самого страшного в его жизни. Такие пробелы в памяти у него изредка бывали, когда он выпивал за ужином две или три бутылки вина. В д е л а х же этого с ним до сих пор не было ни разу.

По плану он должен был застрелить городового, стоящего у дверей Коммерческого банка; сам это выбрал — не хотел стрелять в кассира или

счетовода, чего, впрочем, товарищам не сказал. И действительно, как только он увидел бегущего с развернутой газетой Купрашвили, он, не торопясь вынув из кармана револьвер, направился к банку. Городовой, еще молодой, безбородый блондин, по-видимому, великоросс-северянин, стоял к нему вполоборота, с любопытством глядя на приближавшийся конвой. Джамбул помнил, что выстрелил тотчас после взрыва первой бомбы, еще до того, как фаэтон заволокло дымом,— и не понимал, что случилось. Не попасть в человека с шести или семи шагов он не мог, просто не мог. Помнил, что целился в голову: пуля маузера должна была тогда убить наповал. Вместо этого городовой, совершенно невредимый, что-то отчаянно закричал, повернулся и выхватил свой револьвер. В ту же секунду на площади начался хаос. И сам не помня как, он оказался шагах в тридцати от дверей банка, за газетным киоском.

Помнил, что еще два раза выстрелил в облако около фаэтона и тоже, наверное, никого не убил. Помнил позднее, что и не хотел попасть. Помнил, что несколько секунд бессмысленно смотрел на висевшие на стенке газеты: «Голос Кавказа»... «Тифлисский листок»... Вдруг он увидел, что на него несется с поднятой нагайкой казак на гнедой лошади. Самообладание мгновенно вернулось к Джамбулу. Он сделал несколько шагов вперед и выстрелил. Лошадь поднялась на дыбы, пуля попала ей в шею. Он остановился. Как раз грохнула и оглушила его другая бомба. Кто-то, держась за бок, что-то крича, с искаженным лицом пробежал мимо него. Казак не вставал. «Фаэтон должен повернуть на Сололакскую,— вспомнил Джамбул и побежал в ту сторону.— Нет, разбит, конечно, фаэтон!.. Что сейчас делать?» С минуту он стоял неподвижно, все еще полуоглушенный. Затем сорвался с места, побежал к киоску. Казака больше не было. «Его счастье!» Издыхавшая гнедая лошадь судорожно билась на боку в луже крови. Ему на всю жизнь запомнились ее карие глаза с расширившимися белками. И дальше следовал в памяти провал: он старался и не мог вспомнить, сколько времени еще оставался на площади и что именно там делал.

Пришел он в себя на боковой широкой улице. По мостовой бежали люди, что-то страшно крича и толкая друг друга. Он подумал, что бежать не следует, и пошел по тротуару обычным, разве только чуть ускоренным шагом. Подумал, что дальше надо свернуть направо и что до конспиративной квартиры очень близко. «Я не хотел ее убивать... Зачем поднялась на дыбы?.. Убил для ленинских журнальчиков... Кажется, убиты десятки людей. Но не мною... Как я мог промахнуться в городового?» Вдруг все рванулись с мостовой на тротуары и в подворотни: навстречу по направлению к площади несся эскадрон драгунского полка. «Эх, хороши кони!.. Зачем она поднялась на дыбы?»...

Выстрелов больше не было слышно, но со стороны площади еще доносился неясный гул. Улица была почти пуста. Джамбул свернул вправо и дошел до конспиративной квартиры. Хотя окна были затворены, слышались крики, шум, смех. Что это с ними? Взбесились? В другое время ему, быть может, понравилось бы кавказское молодечество и презрение к опасности. Теперь он с минуту послушал и пошел дальше.

Неподалеку был бедного вида духан. Хозяин на пороге, очень бледный и возбужденный, уже, видимо, собирался затворить дверь. Подозрительно оглянул Джамбула, хотел было не впустить его и впустил. Быстро и сбивчиво что-то говорил. «Пятьдесят? Не может быть, чтоб было пятьдесят жертв!»...

Не вступая в разговор, он потребовал водки и выпил у стойки одну за другой несколько рюмок. Еще подумал вяло, что это может вызвать подозрение: «Утром никто так водку не хлещет»...

— Коньяк есть? — спросил Джамбул и, узнав, что есть только русский, но хороший, шустовский, велел налить — не в рюмку, а в чайный стакан. Выпил залпом. Хозяин смотрел на него с тревогой. Он заплатил и, пошатываясь еще больше прежнего, вышел. «Да, да... Ничего красивого... Не кавалерийская атака в раззолоченных мундирах... Пойдет на ленинские журнальчики... Не чистая кровь, а смешанная с грязью... Гораздо больше, чем война... Может быть, вся жизнь была ошибкой... Может быть, очень может быть».— бормотал он на улице.

V

От отца из Турции по условленному адресу пришли деньги и новое письмо. Старик настойчивей, чем обычно, просил сына приехать, жаловался на здоровье тоже больше, чем обычно, говорил, что непременно хочет еще раз его увидеть, ссылался на необходимость привести наследство в порядок. Джамбул и прежде получал такие приглашения и все откладывал. «Любит жаловаться, как все старики. Может, что-то слышал и беспокоится». Они переписывались нечасто. Едва ли старик толком знал, чем, собственно, занимается сын. Джамбул неопределенно говорил, что участвует в борьбе за независимость Кавказа. Это отец мог понять и даже должен был этому сочувствовать.

В первые дни после экспроприации Джамбул никого не видел из террористов. Читал газеты и очень много пил, хотя был уже спокоен. Никакой слежки он за собой не замечал и еще убежденнее, чем прежде, думал, что русская полиция плоха и вдобавок насмерть запугана, особенно на Кавказе.

Обедал он в ресторанах в центре города и каждый раз выходил на Эриванскую площадь. Окровавленная гнедая лошадь, ее глаза с расширившимися белками не выходили у него из головы. Возвращаясь домой, он читал до поздней ночи; проходя по Головинскому проспекту, купил наудачу книги: петербургский толстый журнал, Шекспира в русском переводе, «Воскресение» Толстого. Думал, что надо, непременно надо съездить к отцу. Уехать можно было легально, паспорт был вполне надежный. Он любил отца, но всегда говорил себе, что «покоить старость» совершенно не умеет. «Все-таки он прежде так тревожно о себе не писал. Неужто помрет? Останусь на свете один, как перст»...

В этот вечер он рано лег и положил на широкую кровать все три купленные книги. Сначала не читал. Думал об отце. Думал о деле на Эриванской площади. Думал о Ленине: «То-то обрадуется, с неба свалились большие «деньжата»! — сказал он себе и поморщился еще сильнее: уж очень не подходили тут слова «с неба». Спать не мог, несмотря на большое количество выпитого вина; снотворных он никогда не принимал и почему-то боялся. Наудачу открыл книгу Шекспира. Выпала скучная пьеса «Цимбелин». Он взял журнал. С досадой заметил, что приказчик ему подсунул старый, залежавшийся номер.

Из хроники он узнал, что в России за год убито 733 человека, повешено 215, расстреляно по приговору военного суда 341, казнено по новому военно-полевому суду только за полтора месяца 221. «Может, скоро будет не 215, а 216 повешенных, - подумал он и опять мысленно повторил: — Одним Джамбулом меньше или больше, не все ли равно?» Часто так говорил себе, но сам понимал, что говорит неискренно: этот «один» имел для него некоторое значение. В хронике еще сообщались цифры убитых людей, названных «представителями власти»; они были никак не меньше. «Да, три дня тому назад ни одного «представителя власти» к этой статистике не прибавил, и слава Богу!»

Он прочел в журнале также что-то длинное и скучное о «партии демократических реформ», о профессоре Максиме Ковалевском, о недавно скончавшемся адвокате Спасовиче. «Нравы общественные страшно дичают,— недавно писал нам из Варшавы Владимир Данилович.— взрывы бомб, выстрелы, грабежи и убийства совершаются каждый Божий день и на улице»... Прежде такие слова вызвали бы у Джамбула просто насмешку: он не любил либералов, причислял их всех к «Деларю». Благоденствовали всю жизнь, никогда, ни разу не рискнули своим драгоценным существованием. Теперь ничего такого не подумал. Отложил журнал и раскрыл «Воскресение».

Эту книгу читал до глубокой ночи. Любил Толстого как художника, к его мыслям относился еще более насмешливо, чем к мыслям либералов: «Просто старческое слабоумие». Сцена церковной службы в тюрьме его очень задела. «Нет, это все-таки чистое богохульство. Он не имел права насмехаться над чужой верой, и сам никакой веры не имел: верующий не мог бы так писать и о церковных обрядах. Но какие тяжелые, страшные слова!» — думал он, засыпая.

И тотчас разные фигуры, проходившие в его уме в последние дни

и часы, смешались, завертелись, зажили самой нелепой, бессмысленной жизнью. Ленин писал статейки на окровавленных ассигнациях. Отец с больным, осунувшимся лицом лежал на кровати и ждал не приходившего врача. Окровавленная гнедая лошадь въезжала в сад его дяди, весь залитый солнцем, и, хрипя, объясняла, что служить не может, так как ее убил Джамбул пулей в шею. Дмитрий Нехлюдов ей объяснял, что тут судебная ошибка: Джамбул никогда лошади не убивал и не убьет. Спасович в «Тифлисском листке» предлагал, что будет защищать Катеньку Маслову за тысячу рублей: «Это всего десять катенек, а у Курдюмова взято гораздо больше». Ленин отрывался от статеек и насмешливо говорил, что ни одной катеньки не даст и на восстание не даст ни гроша, все нужно на журнальчики, фига вам, товарищи, под нос...

Он проснулся от стука в дверь. Не сразу пришел в себя В его комнату вошла молодая горничная, всегда на него с улыбкой поглядывавшая, и почтительно доложила, что его к телефону требует светлейший князь Дадиани. Джамбул, оторвавшись от жаркой подушки, с минуту смотрел на нее выпученными глазами. Затем вспомнил, что под этим именем в Тифлисе жил Камо.

— Скажите, пожалуйста, что сейчас спущусь,— сказал он. Горничная приятно улыбнулась и вышла. Он надел великолепный шелковый халат, купленный еще в Париже, на Вандомской площади, вспомнил о Люде, которой этот халат очень нравился. «Удобно ли спускаться в халате вниз? Ничего, сойдет. Еще рано, внизу никого нет». В самом деле не было восьми часов. «Мог бы, дурак, позвонить позднее».

— Здравствуй, светлейший,— сказал он.— Что случилось? Рановато звонишь.

Камо ответил, что его хочет в десять часов видеть один человек. «Конечно, Коба», — догадался Джамбул.

— К камо приехать? К немо?

— К немо,— подтвердил Камо и повесил трубку, не дожидаясь ответа, точно в согласии Джамбула не могло быть ни малейшего сомнения. Джамбул пожал плечами: «Назло приеду с опозданием!»

Однако опаздывать в их работе не полагалось, и он приехал ровно в десять, оставив извозчика далеко от дома, в котором жил Джугашвили. Хозяин, совершенно спокойный, встретил его со своей обычной усмешкой. «Ох, не могу его видеть!» — подумал Джамбул.

Он давно знал этого человека, совершенно не выносил его и всегда при встречах с ним испытывал смутное чувство, будто находится в обществе настоящего злодея. Никогда этого о Кобе никому не говорил и даже сам себя упрекал за необоснованное и потому несправедливое суждение: многое знал о Джугашвили, все же не такое, что давало бы основание считать его злодеем: «Самое большее — негодяем». Ему иногда казалось, что такое же чувство испытывают и другие, хорошо знающие Кобу люди и тоже этого не говорят: что-то в самой его внешности внушало людям осторожность. «Ну, уж я-то его не боюсь!» — подумал Джамбул, и тотчас в нем еще усилились злоба и раздражение.

В комнате были Камо в том же наряде, при том же темно-красном с золотом ордене и женщина в белом, грязноватом, дешевеньком платье. Джамбул помнил, что ее зовут Маро Бочаридзе и что она в дружине работает на ролях тифлисской мещанки. Он учтиво с ней поздоровался. Коба посмотрел на него с усмешкой и небрежно подал ему руку.

— Здравствуй, бичо,— сказал он. Это слово, означавшее «парень» или что-то в этом роде, и особенно усмешечка Кобы раздражили Джамбула еще больше: вы, мол, маленькие людишки, а вот я великан. Между тем при всей своей хитрости и смелости он очень серый человек довольно плюгавой наружности, вдобавок грубый и природной, и наигранной грубостью: «Думает, что это действует на всех. Нет, на меня не действует. Впрочем, со мной он груб не будет: знает, что это небезопасно».

— Очень рад тебя видеть, бичо,— ответил он.

Коба тотчас от него отвернулся и заговорил с Камо, который восторженно на него смотрел. Смотрела ему в глаза и Маро, она скорее со страхом, чем с восторгом. Коба говорил по-русски гораздо лучше, чем Камо, гораздо хуже, чем Джамбул.

— Так, разумеется, и сделаешь,— приказал он. Предположение Джамбула подтвердилось: Джугашвили поручал им вместе отвезти в обсерваторию деньги: они были зашиты в новый большой диванный тюфяк, лежавший на полу в комнате Кобы.

— Поедешь ты и Маро на одном извозчике, а он за вами на другом. Зачем ты сдуру нарядился офицером? Это тюфяк перевозить! Сейчас же переоденешься.

Камо робко-почтительно, частью по-русски, частью по-грузински объяснил, что он о предстоявшей перевозке тюфяка не знал. Выразил также мнение, что лучше было бы перевезти тюфяк вечером, когда стемнеет.

— Я твоего мнения не спрашиваю. Сделаешь, как я говорю! — прикрикнул Коба.

Камо тотчас закивал головой. Испуганно кивала головой и Маро. Джамбул вмешался в разговор:

— Тюфяк мог бы перевезти любой кинто,— ласково сказал он, как будто ни к кому не обращаясь.— Постороннему человеку не грозила бы опасность: в случае ареста он объяснил бы, что его наняли, и доказал бы свое алиби. Тогда как Камо, если схватят, то повесят. Правда, кинто мог бы указать адрес квартиры, где получил тюфяк,— как бы наивно добавил он. В глазах Кобы скользнула злоба. Он занес в память слова Джамбула, но сдержался и, очень непохоже изобразив на лице добродушную улыбку, сказал:

— Тебя я прошу поехать за ними на другом извозчике. У тебя револьвер с собой?

— С собой, бичо. Хорошо, я поеду за ними. Разумеется, на небольшом расстоянии, а то они могут стащить деньги и удрать,— невозмутимо сказал Джамбул.

Лицо Камо вдруг стало зверским.

— Слюши! — сказал он.

Коба тотчас прервал его и столь же добродушно засмеялся.

— Он, конечно, шутит. Вот что, понять мое распоряжение нетрудно. Ты и она отнесете заведующему тюфяк. Затем спуститесь в залу. Там в одиннадцать часов астроном показывает дурачью всякую ерунду. Послушаете в толпе, вместе с толпой и выйдете. Вас не заметят. Если по дороге в обсерваторию на вас набросится полиция, стреляйте, разумеется, до последнего патрона и бегите в квартиру на Михайловскую. Разумеется, с тюфяком! — внушительно сказал он.— А на обратном пути ты, дурочка, пойди пешком одна. У тебя револьвера нет, отделаешься тюрьмой. А вы оба как хотите, стреляйте или не стреляйте. Тебе, Камо, все равно виселицы не миновать. За старые грешки. А против тебя улик нет,— обратился он к Джамбулу.— За ношение револьвера много если сошлют на каторгу. Ничего, папенька в Турции подождет,— сказал Коба, и на его лице снова выступила усмешечка. Джамбул вспыхнул: «И об отце знает! Следит за товарищами!»

— А тебе откуда известно, против кого есть улики и против кого нет?

— «Сорока на хвосте принесла»,— говорил в Таммерфорсе Ленин,— сказал Джугашвили. Он очень гордился тем, что говорил с Лениным и, как ему казалось, произвел на него сильное впечатление.— По делу на Эриванской ни против кого улик быть не может, значит, и против тебя нет.

— В обсерваторию я поеду, а в Финляндию отвозить деньги не поеду.

— Я тебе и не велю,— сказал Коба. Он давно решил, что деньги отвезет Камо: ему верил.

— Ты ничего мне велеть и не можешь!

Коба, не отвечая, опять обратился к Камо. Кратко и ясно повторил свою инструкцию; знал, что Камо с одного раза не понимает. «Да, свое дело он знает, это правда. Но отроду не видел человека, который был бы мне так противен»,— думал Джамбул, внимательно слушая. Закончив объяснение, Коба встал. «Аудиенция кончена!» Тотчас встали Камо и Маро.

VI

Седобородый астроном в чесучовом пиджаке показывал обсерваторию небольшой группе посетителей и устало давал привычные объяснения:

— Человек, портрет которого вы видите на этой стене, великий астроном Николай Коперник. Он родился в 1473 году, умер в 1543-м. Его долго считали немцем, но это неверно: Коперник был поляк. Он открыл, что не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вращается вокруг Солнца. Работал он при помощи параллактического инструмента, состоявшего из трех деревяшек с делениями. Эти деревяшки впоследствии перешли в собственность другого знаменитого астронома Тихо де Браге, который хранил их как священнейшую реликвию в истории науки и написал о них стихи. Говорил в стихах, что Земля производит такого человека раз в тысячелетие: он остановил Солнце и бросил в движение Землю. Сам же Коперник долго не решался опубликовать свое открытие: боялся преследований католической церкви и еще больше того, что все над ним будут насмехаться. Опубликовал он свою бессмертную работу только незадолго до смерти. Он посвятил ее папе Павлу III, но, как еретическая, она была включена Конгрегацией в пресловутый «Индекс». Хотя этот великий человек был верующим, все же, быть может, только чудо спасло его от костра, — говорил астроном, по-видимому недолюбливавший католическую церковь. — Его гениальное произведение называется: «De revolutionibus orbium caelestium» *. Копернику поставлен в Варшаве памятник работы Торвальдсена...

Слово «revolutionibus» остановило внимание Джамбула. «И тут какая-то революция, да не та». Он вгляделся в худое, измученное лицо с падающей по обе стороны головы густой копной волос. «Да, лицо не как у Кобы... Кто его знает, какой он был человек и что он о жизни думал?.. Так он был верующий? Неужели во все верил? И в загробную жизнь верил? А надо думать, был человек поумнее меня с Камо, и Сосо, и даже с Лениным в придачу! Если б у меня была настоящая вера, выбрал бы себе не такую жизнь. Что же я тогда делал бы? Деревяшки с делениями не для меня, никаких талантов у меня нет. Но когда же, почему, зачем я выбрал такое нечеловеческое существование? Независимость Кавказа? Да ведь править им скорее всего будут разные Кобы, и что же я буду от себя скрывать, они в сто раз хуже, чем Воронцовы-Дашковы. А такие люди, как Цинцадзе или Рамишвили, они, в сущности, те же либералы, не столь уж отличающиеся от Спасовичей и Ковалевских. Едва ли они придут к власти, если и будет революция, как не придут к власти в России Ковалевские. И потому именно не придут, что они культурные, а не звери!» — подумал он, сам удивляясь тому, что так быстро изменилось его отношение к революции. Все-таки не из-за гнедой же лошади!

Астроном сказал, что осмотр кончен. Посетители направились к выходу. Джамбул опять при выходе осмотрелся и пошел на Эриванскую площадь, все тем же старательно-неторопливым шагом, которым теперь ходил по городу. Тело его было собрано и напряжено на случай внезапного нападения. С револьвером он после экспроприации не расставался, хотя это было нецелесообразно: улик против него действительно не было, и в случае ареста он, вероятно, повешен не был бы.

На мостовой, на том месте, где упала первая бомба, стояло несколько человек. Один что-то объяснял, показывая на вывороченные камни. Джамбул послушал. «Да, это, вероятно, пятно от крови. Здесь упал тот казак, что скакал около фаэтона... Но не я убил его. Кроме нее, я никого не убил»... Он прошел к газетному киоску, остановился там, где стоял тогда, опять увидел «Тифлисский листок». Сделал несколько шагов, взглянул на т о место — и вдруг почувствовал себя нехорошо.

В ресторане «Аннона», где всегда бывало множество людей и где не было ни одного случая ареста, он отдышался. Есть почти не мог, но пил вино, слушал струнный оркестр. За соседними столиками люди говорили о своих делах. «Об этом надо очень и очень подумать», — сказал один из них. «Да, и мне надо очень, очень подумать. Быть может, вообще мало думал о жизни, о самом главном. Теперь поздно. Хотя почему же поздно? Поговорить не с кем. Коба — животное. Камо — герой. Все уверяют, будто он добр, а он собирался сажать людей на кол. Как странно, что он был религиозен! Теперь, конечно, издевается над верой: Коба научил... Да, я состарился и не заметил этого... Надо возможно скорее поехать к отцу», — мелькали у него бессвязные мысли.

По дороге домой он зашел к тому человеку, по адресу которого приходили письма. Была только телеграмма из Турции. Он поспешно ее распечатал, разорвав края на складке. Старый друг извещал, что отец скончался ночью во сне без страданий.

* «Об обращении небесных кругов» (лат.)

Очевидно, заведующий обсерваторией сочувствовал экспроприаторам. Впрочем, мог, хотя это маловероятно, и не знать, что́ находится в новом тюфяке его дивана. Через некоторое время Джугашвили все из тюфяка извлек, а Камо отвез Ленину в Куоккалу. Теперь он путешествовал уже не в первом, а во втором классе и был не флигель-адъютантом, а только прапорщиком.

Крупская и Богданова зашили деньги в стеганый жилет своего товарища Лядова. «Он очень ловко сидел на мне, — писал Лядов, — без всяких осложнений деньги были перевезены нелегально через границу».

У Государственного банка, однако, оказались номера похищенных пятисотрублевок, и они тотчас были сообщены по телеграфу всем полициям Европы. Менялись пятисотрублевки по частям в разных западных банках. При попытках размена были арестованы Литвинов, Семашко, Равич и некоторые другие большевики. Таким образом, маленький центральный комитет, т. е. Ленин, Красин и Богданов, лишился немалой части денег.

Кроме того, вышли неприятности с меньшевиками, которые подняли «агитацию, что не следует иметь ничего общего с мошенниками». Они ругали Ленина и Камо самыми ужасными словами. Но Ленин был не слишком огорчен неприятностями. Под его диктовку Крупская приписала к его частному письму об этом деле: «Меньшевики уже подняли тут гнусную склоку. Устраивают тут такие гнусности, что трудно даже верится... Сволочи!»

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

В восемнадцати километрах от Парижа, в красивой долине реки Ивет, лежит местечко Лонжюмо. В нем, как в любом городке Франции, есть очень старая готическая церковь; местечко уходит в глубокую древность. Когда-то тут шли какие-то битвы и был заключен какой-то мир между католиками и гугенотами. Больше, чем они, прославила городок оперетка Адана. Но о мире и войнах давно забыли жители городка. Теперь занимались в малых размерах промышленностью, торговали хлебом, медом, овощами, разводили скот, по вечерам собирались в кабачках, пили, играли в карты и в домино, а в десятом часу ложились спать.

Весной 1911 года Центральный Комитет российской социал-демократической партии снял в Лонжюмо старенький, ветхий домик с сараем и основал там партийный университет, с учащимися и вольнослушателями. Всего училось в нем восемнадцать человек; преимущественно это были рабочие, приехавшие из России и обязавшиеся тотчас после окончания курса вернуться на родину для подпольной пропаганды. Партия их содержала, правда, очень скромно, и оплачивала переезд. Секретных агентов Департамента полиции, как оказалось после революции, было среди слушателей всего трое.

Меньшевики — Мартов и Дан, — к большому удовлетворению Ленина, отказались преподавать в университете и даже его бойкотировали. Он стал чисто большевистским учреждением. Для чтения лекций в Лонжюмо переселились Ленин с женой и тещей и Зиновьев; приезжали из Парижа и другие партийные светочи. Ленин читал три курса: «Карл Маркс и буржуазные теории политической экономии», «К аграрному вопросу в Рос-

сии», «Теория и практика социализма»; Зиновьев читал историю партии, Луначарский — историю искусства, Каменев — историю буржуазных партий в России, и что-то еще читали Стеклов, Шарль Рапопорт, Станислав Вольский. Среди преподавателей были очень ученые люди, вроде Рязанова; все старались читать общедоступно, но вряд ли слушатели много понимали. По требованию Ленина они записывали лекции, он задавал вопросы, правил ответы. Увлекался делом и был вообще так весел, как никогда прежде.

Переселилась в Лонжюмо и новая партийная работница Инесса Арманд. О ней в партии много сплетничали. Она была человеком другого мира. Отец ее был англичанин, мать француженка. Выросла она в семье богатых фабрикантов. В нее влюбился и женился на ней молодой Арманд, сын главы фирмы. В его имении она устроила школу для детей. Интересовалась общественными вопросами, работала в Московском обществе улучшения участи женщин, примкнула к большевикам и в 1909 году, расставшись с мужем, взяв с собой ребенка, эмигрировала. Одни в Париже и в Лонжюмо считали ее красивой, другие только «еле хорошенькой», указывая, что лицо у нее ассиметричное и слишком длинное, а рот слишком широкий. В общем, ее любили, но говорили, что в партии она выдвигается только по протекции: неожиданно в нее влюбился Ильич! Главный спор в сплетнях шел преимущественно о том, «живет» ли он с ней или же роман платонический.

Она старалась сблизиться с товарищами, понять и усвоить их политический жаргон, но боялась их и чувствовала, что они ей чужие. Только Каменев, когда не говорил о меньшевиках и Троцком, и Луначарский, когда не говорил о Ницше или Ибсене, немного походили на людей ее прежнего общества. Еще больше боялась она учеников школы в Лонжюмо: рабочих прежде видела только на фабриках своего мужа — там бывала очень редко: так ей было их жалко. С рабочими она в школе разговаривала особенно ласково и пыталась от них не отличаться по языку и по манерам. Это не очень ей удавалось.

Школа находилась на главной улице городка. В ветхом домике было тесно. Инесса с сыном Андрюшей поселилась в комнатушке под крышей; рядом с ней жили три вольнослушателя. Другие учащиеся разместились в местечке где могли. Ленин с Крупской и тещей жили у сдававшего комнаты французского рабочего. Обедали же все вместе в столовке, устроенной Катей Бароновой в кухне дома и в коридоре. Лекции читались в сарае, в котором прежде была столярная мастерская. Своими силами сколотили длинный стол, достали табуреты и несколько стульев. По требованью Ленина мусор вынесли, сарай кое-как привели в порядок.

Инесса Арманд в самом деле очень быстро повысилась в чине: стала «членом президиума парижской группы содействия партии». Она была очень полезна, преимущественно трудолюбием и прекрасным знанием иностранных языков. В Лонжюмо читала «историю социалистического движения в Бельгии»; но оттого ли, что эта история уж совершенно не интересовала рабочих или по другой причине, прочла всего три лекции. Правда, Крупская не прочла ни одной.

Ленин был на всех лекциях Инессы: это была редкая честь, тотчас оцененная в доме: на лекции других преподавателей он ходил редко, а когда читали Луначарский или Рапопорт, обходил сарай за версту. Объясняли это тем, что историей искусства Ильич не очень интересуется, к Луначарскому относится благодушно-иронически, а Хаима недолюбливает. Слушатели, даже шпионы, напротив, очень любили веселого, жизнерадостного, вечно острившего Рапопорта, — он забавлял малограмотных людей не меньше, чем забавлял Анатоля Франса. Но его русскую речь они понимали плохо и часто называли его Хаимом, — им кто-то сообщил, что его так звали в России. Луначарский, многозначительно поднимая палец, объяснял им, что Рапопорт — голова, что он в самых дружественных отношениях с Франсом, — это такой знаменитый писатель, — и с Жоресом, тем самым, — «ах, какой оратор, мне за ним не угнаться». Ленин не говорил ни о Рапопорте, ни об его друзьях, — друзья были скверные: Жорес — «Дрекгенốссе», не лучше Эдуарда Бернштейна; книги же Франса, во-первых, какие-то романы, а главное, буржуазная скептическая еруида, просто человеку нечего сказать.

Когда Инесса Арманд кончила свои лекции, Ленин поручил ей семинарий по политической экономии. В доме шутили, предполагая — быть может, не без основания, — что Инесса о политической экономии не имеет никакого понятия. Однако она и с этой задачей справилась добросовестно, как добросовестно делала все: по вечерам, когда Андрюша засыпал, до поздней ночи при свете читала учебники и даже что-то выписывала из «Капитала». Ильич бывал и на семинарских занятиях. Хотя кое-чем оставался как будто не очень доволен и «дополнял», но хвалил Инессу, сомневавшуюся в своих силах. Крупская на ее лекциях и практических занятиях не бывала.

Сплетники на этот раз не ошибались: Ленин по-настоящему влюбился, — вероятно, в первый и в последний раз в жизни.

Тремя годами позднее он — не очень ясно — писал Инессе Арманд: «Даже «мимолетная страсть и связь» «поэтичнее и чище», чем «поцелуи без любви» (пошлых и пошленьких) супругов. Так Вы пишете. И так собираетесь писать в брошюре. Прекрасно. Логично ли противопоставление? Поцелуи без любви у пошлых супругов г р я з н ы. Согласен. Им надо противопоставить... что? Казалось бы: поцелуи с л ю б о в ь ю? А Вы противопоставляете «мимолетную» (почему мимолетную?) «страсть» (почему не любовь?) — выходит, по логике, будто поцелуи без любви (мимолетные) противопоставляются поцелуям без любви супружеским... Странно. Для популярной брошюры не лучше ли противопоставить мещански-интеллигентски-крестьянский (кажись п. 6 или п. 5 у меня) пошлый и грязный брак без любви — пролетарскому гражданскому браку с любовью (с добавлением, е с л и у ж н е п р е м е н н о х о т и т е, что и мимолетная связь-страсть может быть грязная, может быть и чистая). У Вас вышло противопоставление не классовых т и п о в, а что-то вроде «казуса», который возможен, конечно. Но разве в казусах дело? Если брать тему: казус, индивидуальный случай грязных поцелуев в браке и чистых в мимолетной связи, — эту тему надо разработать в романе (ибо тут весь г в о з д ь в и н д и в и д у а л ь н о й обстановке, в анализе х а р а к т е р о в и психики д а н н ы х типов). А в брошюре?»

В этом странном письме о любви, с какой-то брошюрой и с пунктами пятым и шестым, говорится также о пролетариате, о смущении рабочих, об объективной и классовой точке зрения. Он писал ей то на «вы», то на «ты». Во всяком случае, это е д и н с т в е н н о е письмо Ленина, где тему составляют любовь и поцелуи.

Крупская столь неожиданную для нее историю приняла с достоинством. Относилась к Инессе Арманд корректно; позднее предложила, что уйдет от мужа и предоставит ему свободу. После некоторого колебания он этого предложения не принял.

Почти «тургеневская» любовь к Инессе — едва ли не самое странное в жизни этого человека. Любовь эта никак не была «мимолетной». Он любил Инессу весь остаток своей жизни. Она умерла в России от сыпного тифа в 1920 году. За ее гробом он шел, «шатаясь». Больших должностей она не заняла и после революции. Если б не Ленин, окольничьи, вероятно, не явились бы и на похороны. Из-за него они провожали ее к могиле и испуганно на него смотрели: сейчас упадет в обморок.

II

Любовь не мешала делам или мешала им очень мало. Дела были в большинстве прежние. Были и некоторые новые. Сотрудников, помощников, окольничьих стало больше; больше стало и врагов. Но состав и тех и других, как всегда, был текучий, беспрестанно меняющийся. Теперь он особенно поносил именно тех, к кому прежде относился мягче или даже совсем хорошо. Так, Потресова называл подлецом, болваном и жуликом. Врагом стал и Богданов, еще недавно очень близкий. Его он возненавидел не столько по политическим, сколько по философским причинам.

Прежде Ленин охотно признавал свое философское невежество. В два года, проведенные им в России и в Финляндии, ему было не до философии. Но когда осенью 1907-го года он вернулся с женой за границу, он принялся за изучение философских трудов и стал писать книгу против «распроклятых махистов» и против «философской сволочи» вообще. Поклон-

ники недоумевали: вздумал старик писать об ерунде да еще в такое время, когда меньшевики делают всякие гнусности! Ленин говорил о своем «философском запое», но это слово не следует понимать в обычном русском смысле: работал он очень регулярно, читал, делал выписки. Все философы, кроме материалистов, внушали ему отвращение. Философией стали заниматься и некоторые его соратники во главе с Богдановым. И тотчас он их возненавидел, рассорился с ними и всех их признал «богоискателями» и «богостроителями». У него образовалось нечто вроде личной вражды к Богу. Он писал о Боге всем, особенно же Максиму Горькому, которого подозревал в «поповщине». Выражал надежду, что Горький исправится под влиянием своей жены: «Она, чай, не за бога, а?»

«Философский запой» никак не мешал ему заниматься и практической политикой. «Говорят, что с.-р. Чернов написал даже водевиль по поводу объединения у с.-д. под названием «буря в стакане воды» и что сей водевиль дают здесь на днях в одной из (падких на сенсации) групп эмигрантской колонии. Сидеть в гуще этого «анекдотического», этой склоки и скандала, маеты и «накипи» тошно; наблюдать все это — тоже тошно. Но непозволительно давать себя во власть настроению. Эмигрантщина теперь во 100 раз тяжелее, чем была до революции. Эмигрантщина и склока неразрывны. Но склока отпадет; склока остается на $^{9}/_{10}$ за границей; склока, это аксессуар. А развитие партии, развитие с.-д. движения идет и идет вперед через все дьявольские трудности теперешнего положения», — писал он из Парижа за год до школы в Лонжюмо.

Едва ли писал вполне искренно. Вопреки распространенному мнению склока в эмиграции не настолько уж сильнее, чем бывает склока на родине. И вряд ли Ленину было тошно от нее, от маеты и накипи: он все это любил, это было издавна частью его жизни. И не так уж быстро шло тогда вперед развитие партии и социал-демократического движения. Скорее было верно обратное, и он не мог этого не видеть. «Интеллигенция бежит из партии. Туда и дорога этой сволочи», — писал он.

Работе опять мешало безденежье. Он писал, что денег нет ни у него лично, ни (что было для него всегда гораздо важнее) у Центрального Комитета. Савва Морозов умер, другие богачи больше ничего не давали. Красин не только не находил денег, но и не искал их. «Это мастер посулы давать и очки втирать», — говорил Ленин о своем бывшем и будущем любимце.

В этом безденежье есть все же нечто не совсем понятное. Несмотря на частичные провалы при размене денег в европейских банках от большой суммы, похищенной при тифлисской экспроприации, немало осталось в кассе Центрального Комитета. По-видимому, тысяч 80 или 85 попало к богдановской группе «Вперед». Ленин называл людей этой группы «жуликами» и бесстыдно-язвительно добавлял, что их 85 тысяч — «от эксов».

Были и еще другие поступления в кассу. Какой-то англичанин сдуру, под обещание Горького, положившись на его славу, дал партии в 1907 году немалую сумму взаймы с обязательством вернуть ему долг через полгода. Англичанин давно жалобно просил о выполнении обязательств. Ленин назвал эти требования «ростовщичеством». Долг был возвращен после октябрьской революции, да и то не сразу после нее, а в 1922-м году.

Появились и «матримониальные деньги». Таратута и Андриканис с полной готовностью женились на сестрах Шмидт. Ленин женихов никак не идеализировал. Называл лучшего из двух «сутенером». Но, по-видимому, надеялся, что они хоть часть приданого отдадут партии. Действительно, «сутенер» отдал больше двухсот тысяч франков, за что после революции был вознагражден, хотя и не очень щедро: получил какую-то незначительную должность, работал при французских коммунистах в России — официально переводчиком, а по уверению одного из них, наблюдателем из ЧК. С другим женихом вышло гораздо хуже. Он уехал с молодой женой в Париж, там «буржуазно переродился» и убедил жену, что передавать партии наследство ее брата незачем. Ему грозили убийством, говорили, что выпишут кавказских боевиков. В конце концов он согласился на «суд чести», с тем чтобы судьями были люди из других партий или же беспартийные. Этот «суд чести» состоялся; львиная доля приданого осталась за молодоженом, но все же и от него кое-что перепало в партийную кассу.

Таким образом, деньги должны были в кассе быть. На восстания они не отпускались, новое восстание было признано безнадежным. Партийные журнальчики стали платить гонорары. Однако требования с разных сторон шли немалые. Они иногда раздражали Ленина. Троцкий «хочет устроить на наш счет, негодяй, всю теплую компанийку «Правды»!» — сердито писал он в редакцию газеты «Социал-демократ».

Были, впрочем, и хорошие признаки будущего. Где-то произошли студенческие волнения. «Что студентов начали бить — это, по-моему, утешительно», — говорил Ленин. Скончался Лев Толстой. Плеханов, тактику которого он теперь считал «верхом пошлости и низости», был тоже раздражен чрезмерным восхвалением Толстого (хотя оба были поклонниками). Появилась и надежда на новый союз с Плехановым. «Будем мы сильны — все придут к нам».

Он думал об Инессе — и неприятности как рукой снимало. Все заливалось светом. Теперь ему иногда (очень редко) казалось, будто он прежде чего-то не понимал в жизни. Тотчас гнал от себя эту вздорную мысль: какое отношение к делу могла иметь любовь! Был очень оживлен и весел.

Сообщение с Парижем поддерживалось трамваем к Одеону, ходившим редко и медленно. Ленин предпочитал ездить туда, в Национальную библиотеку или по другим делам, на велосипеде. В Лонжюмо был и дамский велосипед, но Инессе Арманд было совестно им пользоваться: он принадлежал Крупской. Два раза в неделю приезжал из Парижа Каменев, теперь один из ближайших соратников. Летом вдвоем, сидя на траве, они обсуждали подготовлявшуюся Каменевым грозную брошюру против меньшевиков: «Две партии». Ленин хохотал при удачных полемических выпадах, многое переделывал, многое прибавлял. Крупская участия в этой работе не принимала. Не приходила и Инесса: это было бы тоже неловко, да она все-таки еще недостаточно разбиралась в такой работе; привыкла с ранней юности к другим книгам. Ленин все ей рассказывал, когда после скудного обеда в столовке Кати Бароновой Крупская с матерью возвращались к себе. За столом строго-печальное выражение на лице тещи, взгляды, бросавшиеся ею на Инессу, приводили его в дурное настроение. В комнатах у французского рабочего обе женщины, верно, плакали: кто мог бы такое предвидеть?

Иногда по вечерам устраивались импровизированные концерты. Один из рабочих имел балалайку. Под его аккомпанемент Малиновский, шпион Департамента полиции, пел «Дубинушку». Ленин и все другие подтягивали. За забором не без удовольствия слушали соседи-французы. Немногочисленные музыканты местечка имели, конечно, партитуру «Le Postillon de Longjumeau» *. Рабочий разучил знаменитые куплеты. Инесса Арманд смущенно пела: «Depuis ce temps dans le village — On n'entend plus parler dé lui...» ** Слова понимали только она и слушавший с упоением Ленин. Теща из своего угла бросала печальные взгляды.

На окраине местечка, на возвышении с довольно крутым подъемом, был ресторан, посещавшийся преимущественно проезжими. Из-за террасы и вида он был несколько дороже кофеен на главной улице, и русские эмигранты заглядывали туда редко. Именно поэтому в кофейню при ресторане иногда поднимался Ленин. Там думал о своих работах, что-то про себя бормотал, что-то писал на бумажке или на полях какой-либо брошюры. Столик занимал долго, заказывал только пиво, но на чай оставлял приемлемый, и таким образом был средний клиент, не очень хороший и не плохой.

Случалось, с ним приходила Инесса Арманд, пугливо оглядывавшаяся по сторонам. Ему очень хотелось как-нибудь с ней здесь пообедать вдвоем. Раз заглянул в карту и вздохнул: меньше семи, а то и восьми франков истратить нельзя — баловство.

Он ей заказывал лимонад, а себе «бок», а то и целый «деми». Становился весел, шутил, писал ей стишки, с рифмами: «ножка», «немножко», «розы», «морозы». Она изумлялась: Ильич и чуть ли не по-старинному — мадригалы! Часто уславливался с ней наперед: сегодня о партийных делах

* «Ямщик из Лонжюмо» (франц.)
** И с тех пор о нем в деревне — не слыхали ничего (франц.)

не разговаривать. Тем не менее говорил — без них долго обойтись не мог. Говорил и о Карле Марксе, книги которого читал чуть ли не каждый день, находя в них все новые глубины. Инесса тотчас скисала, но старалась поддерживать разговор:

— ...Одно только... Мне всегда было странно, что в нем так мало морального элемента. — Она теперь уже довольно бойко вставляла в свою речь такие ученые слова.

Ленин взглянул на нее изумленно: «Ох, все-таки многому еще надо ее подучить».

— Даже ни одного золотничка нет. Этим не торгуем, почтеннейшая.

— Но как же без этого? Ведь мы, Ильич, служим известному нравственному идеалу. Разве вы этого не думаете? — Все еще не решалась называть его на «ты».

— «Известному нравственному идеалу», — сердито повторил он. — Очень у тебя буржуазная манерочка выражаться.

— Я за свои выражения не стою. Но у лучших элементов буржуазии можно кое-чему научиться. Ее мыслители разработали системы этики, которые...

— Об этом ты лучше поговори с балдой Луначарским! Он тебе и системы изложит, стишок приведет и цитатку запустит, хоть не поручусь, что не им самим изобретенную.

— Но почему нельзя об этом поговорить с вами, Ильич? Мне давно хочется знать, какое именно глубинное этическое начало вами руководит, и я...

— «Глубинное этическое начало»... «Лучшие элементы буржуазии»!.. Провались они в тартарары, лучшие элементы буржуазии вкупе с худшими! — перебил он ее еще сердитее. Вынул пальцы из жилетного кармана, протянул вперед руку и, наклонившись над столиком, страстно заговорил. Лицо у него изменилось и побледнело. Инесса испуганно замолчала. Ленин редко говорил долгими монологами. Не раз она слышала его на митингах или на небольших партийных собраниях и все не могла понять, какой он оратор. Троцкий, например, был признанным «оратором Божьей милостью», — в Петербурге его все так называли; это было как бы даже официальное его наименование. Луначарский был тоже оратор Божьей милостью. Но Ленина никто так не обозначал. Ей казалось, что он обычно десять раз говорит одно и то же, как молотком вбивает свои мысли в головы слушателей, и понятливых, и непонятливых. Но иногда, если его прерывали «возгласами с мест», он вдруг обрушивался на своих противников и тогда говорил так, как Троцкий и Луначарский говорить и не умели. Голос его становился страшным, — страшным особенно силой ненависти. В этих случаях у него появлялся и «жест», нисколько не актерский, как у большинства ораторов, а самый естественный, почти, как ей казалось, величественный. Однако наедине с ней он никогда так не говорил.

Теперь Ленин говорил о буржуазии, об ее тупости и гнусности, об ее преступлениях, об ее обреченности, о расплате. Как бы мимоходом впервые при Инессе он упомянул о казни своего брата, — «где тогда были твои лучшие элементы?» Она еще в семье Армандов слышала, что его брат был повешен. «Но что же можно было сделать для помощи человеку, покушавшемуся на жизнь царя?» — невольно мыслью прежней, давней Инессы подумала она. Ленин говорил, как узнал о казни брата, что тогда пережил. Ей кто-то сказал, будто он был по взглядам чужой брату человек и даже не очень его любил. Она слушала с все росшим волнением, именно как зачарованная. И ей впервые показалось, что она понимает его, чувствует его душу, что он большой человек и, во всяком случае, большая сила.

Вдруг он на полуслове оборвал свой монолог и злобно на нее уставился, точно по инерции перенося на нее свою ненависть к старому миру.

— Как вы говорите, Ильич!.. Как ты говоришь! — прошептала она.

Он опомнился, вытер лоб чистым платком, откинулся на спинку стула и выпил остаток лимонада из ее стакана (пива у него больше не оставалось).

— Уж будто? — спросил он и положил палец в жилетный карман.

III

До войны жизнь Ласточкина была сплошной цепью успехов.

Его состояние все росло и уже определялось в полтора миллиона рублей осведомленными людьми, у которых были время и охота считать деньги в чужих карманах. Обогащение почти не доставляло ему удовольствия. Он почти ничего для этого не делал. Просто очень росли в цене принадлежавшие ему акции, — теперь уж все говорили в Москве, что Россия стала «второй Калифорнией». Увеличилось и число его должностей в разных торгово-промышленных предприятиях. Дмитрий Анатольевич этих должностей и не искал, ему их навязывали. От синекур он отказывался и всякий раз, как соглашался принять звание члена совета в каком-либо учреждении, начинал в нем работать и, несомненно, бывал полезен. Другие видные люди просто коллекционировали такие места, только приезжали на заседания и высказывали свои суждения. Все ценили бескорыстие, компетентность, энергию Ласточкина. Он давно стал одним из самых уважаемых и популярных людей в деловой Москве.

Развивалась и его общественная деятельность. Собственно, оба эти вида работы не были по существу между собой связаны, но они развивались как бы параллельно. Для общественной деятельности Дмитрия Анатольевича теоретически не имело никакого значения, богат ли он или нет. И тем не менее он ясно, с неприятным чувством видел, что его общественный вес был бы меньше, если б он не состоял в многочисленных предприятиях, не принимал у себя всю Москву и не жертвовал немалых денег на благотворительность. Никто из людей приезжавших с подписными листами или с какими-либо билетами, не встречал у него отказа. Так же поступала и Татьяна Михайловна. И всегда просители, выходя от них, говорили друг другу: «Помимо того, что они дали много больше других, которые их побогаче, — как м и л о, по-джентельменски дали!».

Имя Дмитрия Анатольевича теперь часто упоминалось в либеральных газетах. Сам он был к этому довольно равнодушен, но Татьяна Михайловна все больше радовалась его успехам и популярности, помещала в альбом заметки о нем. Иногда не без смущения вырезала простые упоминания имени мужа в числе участников важного заседания и наклеивала, надписывая название газеты и число.

— Что ж, если вырезать, то все, — говорила она Люде, иногда рассматривавшей альбом, который от наклеек разбух и стал менее красив: как ни аккуратно Татьяна Михайловна их наклеивала, сложенные газетные страницы торчали кое-где из-под кожаного переплета и позолоченного обреза толстых листов. — Может быть, Мите как-нибудь и пригодится: например, понадобится дата заседания.

— А все-таки ты мужняя жена, — ответила Люда, впрочем, без малейшей злобы или зависти. Искренно говорила Мите, что «аб-бажает» Таню. Они недавно перешли на «ты».

— Кем же мне быть, как не мужней женой? И что это, собственно, означает? — с недоумением спрашивала Татьяна Михайловна.

И о ней самой изредка попадались упоминания в газетах. В Москве было немало дам, имена которых упоминались еще чаще, чем имена знаменитых адвокатов и профессоров, хотя их заслуги были не очень ясны да и жертвовали они не так много денег; зато, правда, часто принимали в своих роскошных домах кто писателей и артистов, кто политических и общественных деятелей. Татьяна Михайловна заметок с упоминанием своего имени никогда не вырезала. Люда не могла этого не ценить — по контрасту.

— Если б эта перезрелая дура не была так богата, то никто и не знал бы об ее существовании, — говорила она о той или другой из общественных дам. — Ненавижу этот культ богатства!

Ее фамилия в газетах не появлялась, но она тоже была общественной деятельницей, получала уже недурное жалованье, обзавелась собственной квартирой. Жила не так замкнуто, как прежде, приглашала людей к себе. Никаких увлечений у нее не было. Ласточкины про себя этому удивлялись, и теперь уже скорее грустно.

Порою Дмитрий Анатольевич писал статьи в «Русских ведомостях». Это само по себе было немалым общественным чином. Из одного его

«подвала» по экономическим вопросам были даже перепечатки в петербургских и провинциальных газетах с очень лестными комментариями. Травников сказал Татьяне Михайловне, что ее муж теперь имел бы немалые шансы пройти в Государственную думу или, по выборам, в Государственный совет:.

— А то, право, барынька, подчас досадно, что ваш богдыхан делает дельные предложения, а tulit alter honores *,— сказал профессор.

Татьяна Михайловна потребовала перевода цитаты и вечером сообщила мужу мнение «одного нашего приятеля». Имени не сообщила, но по латинской цитате Дмитрий Анатольевич догадался.

— Ты хотела бы?

— Только если б ты сам этого хотел. Жаль, правда, что тогда пришлось бы переехать в Петербург. Нет, уже поэтому я не очень хотела бы. А как ты думаешь?

— О Государственном совете и речи быть не может. Что я там делал бы с сановными старичками! А в думу — право, не знаю. Уж скорее пусть наш Алеша баллотируется. Ниночка очень этого хочет. Два члена Государственной думы от одной семьи — это уж слишком много,— смеясь, сказал Ласточкин.— Да и оба мы, верно, не прошли бы: есть достаточно более заслуженных кандидатов. И от какой партии?

— Кадеты очень тебя зовут, но, я знаю, ты левее кадетов.

При очередном письме к Нине она переслала подвал Дмитрия Анатольевича, упомянула о перепечатках, привела мнение профессора и даже его цитату. Статьи мужа она всегда пересылала его сестре, обычно добавляя шутливо что-либо вроде: «Препровождаю при сем новый шедевр богдыхана». Нина в ответном письме неизменно говорила: «Статья Мити превосходна», или «И Алеше, и мне чрезвычайно понравилось», или «Алеша читал с еще большим интересом, чем я, и думает, к статье Мити очень прислушаются»... Татьяна Михайловна старалась не замечать невинной и полезной неправды. На этот же раз ответ был восторженный и уж вполне искренний:

«Мысль о Государственной думе кажется мне прекрасной! — писала Нина Анатольевна.— И, знаешь, потом мы проведем туда и Алешу! Он, правда, слышать не хочет, но я его уговорю, мне уже осточертела жизнь за границей. В его губернии у него есть друзья, сторонники и даже «почитатели». Как было бы хорошо! И прав этот ваш милый чудак. Наши два Аякса пусть по разу в месяц каждый показывают с трибуны фигу правительству, а мы с тобой опять будем неразлучны. Жаль, что выборы не скоро и что Государственная дума в Петербурге, а не в нашей Москве!»...

Ласточкины благодушно читали это письмо, и некоторое время в семье держалась кличка «два Аякса». Рейхелю Татьяна Михайловна статей мужа не посылала. Знала, что он будет только ругаться. Он ненавидел все и всех: социалистов, либералов, консерваторов. Аркадий Васильевич уже был экстраординарным профессором. До Ласточкиных доходили слухи, что товарищи очень его не любят: над всеми издевается и всех критикует, не имея по своим скромным заслугам никаких на это прав.

Все было бы хорошо, если б только было лучше здоровье. Сам Дмитрий Анатольевич ни на что, кроме одышки, особенно не жаловался, но Татьяна Михайловна чувствовала себя нехорошо и старалась скрывать это от мужа. Он что-то замечал и поглядывал на нее с тревогой.

Очень его беспокоили слухи о возможности европейской войны, все более упорно ходившие по России. Думал, что хоть в этом отношении было бы хорошо, если б вернулся к власти граф Витте; разочаровался в нем в пору декабрьского восстания, но имел к нему, как сам с улыбкой говорил, «влеченье, род недуга»: любил очень умных людей, вышедших на верхи собственным трудом и дарованиями.

IV

Тонышев занимал большую должность в венском посольстве. Посол очень хорошо к нему относился, оценил его способности, познания, добросовестность и выдвигал его в докладах министру. В пору отлучек посла доклады «Певческому Мосту» составлял он сам, и министр читал их с особенным интересом. В молодом дипломатическом поколении Алексей Алексеевич выделялся и превосходным знанием иностранных языков. Внутренняя переписка в министерстве иностранных дел теперь велась почти исключительно по-русски; это всем было удобнее, хотя некотрые старые дипломаты еще говорили, что по-французски им писать легче. Но в сношениях с иностранными дипломатами Тонышеву нередко случалось писать бумаги по-французски, по-английски, даже по-немецки, и он это делал прекрасно, часто с цитатами, со ссылками на забытые прецеденты. Он нередко посещал «Балльплатц», разговаривал в историческом кабинете Меттерниха с самим Эренталем, который тоже его хвалил.

* другой получает по чести (лат.).

Поселились Тонышевы в лучшей части города. Сняли большую квартиру и прекрасно ее обставили. Алексей Алексеевич выписал свою обстановку из Парижа. Много мебели они докупили. Покупали с толком и с радостью. Имение Тонышева очень повысилось в цене: около него прошла новая железная дорога. Он выгодно продал лес. Продал и почти всю землю: часть — дорого — соседнему сахарному заводу, часть — дешево — крестьянам. Остался только дом с огромным парком. Вырученные деньги он вложил по совету Ласточкина в разные акции, которые приносили большой доход и быстро повышались в цене. Средства у Тонышевых теперь были очень хорошие. На деньги, полученные от брата в подарок к свадьбе, Нина Анатольевна, посоветовавшись с мужем, купила несколько рисунков Сезанна.

Оба они хорошо одевались, имели отличного повара, устраивали обеды — и понемногу вошли в высшее общество Вены. Не бывали у них лишь лица из высшей знати, князья Виндишгретцы, Ауерсперги, Шварценберги,— эти ездили в гости только друг к другу, к членам императорской семьи и далеко не ко всем послам. Но однажды Тонышевых посетил один из эрцгерцогов, выразивший желание посмотреть на их Сезаннов. Несмотря на либерализм этого гостя принимать его надо было по особому порядку. Никакой из разновидностей заметного снобизма ни у Нины Анатольевны, ни у Алексея Алексеевича не было, все же этот визит был приятен, тем более что посол их с ним поздравил, как поздравил бы с орденом или с повышением по службе. Разумеется, бывали у них не только аристократы и сановники, но также писатели, музыканты, банкиры, журналисты. Осведомленные люди сообщили Тонышевым, что еще совсем недавно венское общество строго делилось на три разряда: «Erste Gesellschaft», «Zweite Gesellschaft», «Dritte Gesellschaft» *, которые почти никогда друг с другом не встречались; но теперь это уже меняется, хотя медленнее, чем в других странах. Алексей Алексеевич тотчас стал звать к себе людей из «третьего общества»; не очень знал, к какому обществу принадлежат они сами.

— Ты к первому, а я ко второму, и то в самом лучшем случае,— скромно говорила Нина.

— По-моему, и я ко второму: у меня нет не только шестнадцати, но и восьми поколений дворянства,— весело отвечал он.

— А у меня ни одного нет, такой уж ты сделал мезальянс. Так не лучше ли послать все это к черту? Будем общаться с кем нам угодно.

Почти все в австрийской столице больше интересовались театром, обедами, игрой, балами, скачками, маскарадами, чем политикой. От тех же, кто занимался политическими делами и даже ими ведал, Тонышев слышал удивительные суждения. Еще в первое время своего пребывания в Вене он узнал, что у Эренталя есть свой замечательный проект: замена Тройственного Союза Союзом четырех великих держав: Австро-Венгрии, России, Германии и Франции, с фактическим преобладанием двух первых. Этот союз оказался бы столь могущественным, что мог бы распоряжаться полновластно судьбами мира; вдобавок он положил бы конец англо-французскому соглашению, сближению между Англией и Россией и какой бы то ни было международной роли Италии. На вопросы Тонышева, что будет делать такой всесильный союз, зачем он нужен, отчего не привлечь к нему Англию и Италию, почему Франция и Германия согласятся на русско-австрийское преобладание, как и в чем это преобладание

* первое общество, второе общестао, третье общество (нем.)

будет выражаться, осведомленные люди отвечали соображениями, казавшимися ему уж совершенной чушью: необходимо положить конец интригам Англии на Балканах; надо построить железную дорогу через Ново-Базарский санджак; можно считать обеспеченной поддержку Ватикана, он ненавидит Квиринал, а папа преклоняется перед Вильгельмом II и называет его «quel Santo Imperatore!»; без Союза Четырех нельзя разрешить македонский вопрос; в Союзе же Четырех, разумеется, номинально все будут равны, Франция и Германия согласятся, да, может быть, при искусстве Эренталя, и не заметят,— объясняли ему осведомленные люди.

Он недоумевал. Было совершенно ясно, что все эти доводы — чистый вздор, но говорили люди неглупые, образованные и, главное, профессиональные дипломаты! И еще более удивительно было то, что бессмысленный план предлагал сам Эренталь, новый Меттерних. Алексею Алексеевичу только изредка и то лишь ненадолго приходила мысль: вдруг все эти господа думают преимущественно или даже исключительно о себе, о своей славе, о причинении неприятностей соперникам и — в лучшем случае бессознательно — из кожи лезут, чтобы придумать что-либо *свое*, связанное с их именем и якобы очень полезное их странам? Почти невольно Тонышев иногда сам старался придумать *свой* план: этот, разумеется, полезный России без малейшего сомнения.

Впрочем, о плане Союза Четырех очень скоро совершенно перестали говорить, точно такого плана никогда и не было. Заговорили о других столь же странных проектах. Тонышев видел только, что в Европе с каждым днем становится все беспокойнее: еще года четыре тому назад ни о каких больших войнах и речи не было.

Однако тон влиятельного венского общества нравился Алексею Алексеевичу. Еще больше нравился ему древний ритуал Габсбургского двора. Он был представлен императору, который ему, как иностранному дипломату, подал руку. Франц-Иосиф его очаровал. Тонышев любил старину,— Бург, как все говорили, был последним в Европе, совершенно не изменившимся ее очагом. И, главное, австрийский император был настоящей опорой европейского мира.

О возможности войны Алексей Алексеевич думал с резким осуждением, хотя, конечно, и он не представлял себе, *какой* может оказаться новая война. Его нелюбовь к «швабам» с годами ослабела. Он находил, что территориальные приобретения никому особенно не нужны, а менее всего России. Его чрезвычайно удовлетворяло, что так же, по общему мнению, думал престарелый Франц-Иосиф. «Да, он никак не гений и даже не выдающийся человек, но очень многим более ученым и блестящим людям, чем он, не мешало бы у него кое-чему поучиться. И далеко не все так было плохо в старину»,— думал Алексей Алексеевич. Как всегда, он много читал, тратил немало денег на книги и переплеты.

В Москве он очень сошелся с Ласточкиными, они теперь стали для него самыми близкими людьми. У них Тонышевы всегда останавливались при наездах в Россию. В Дмитрии Анатольевиче ему были приятны оптимизм, широкое экономическое образование, деловитость. Сам он ничего в экономике не понимал, не любил романов, где описывались дела, даже не мог дочитать «Деньги» Золя. «А Митя по-настоящему делами увлекается и так рад, что они идут прекрасно и в мире, и у него самого. Тут ничего худого нет. Все мы принимаем как должное те блага, которые нам посылает либо рождение, либо удача, никому не приходит в голову их стыдиться, а он вдобавок все создал своим трудом...». Не меньше ему нравилась и Татьяна Михайловна. С ней он тоже вел долгие разговоры, преимущественно о музыке, о литературе. Свои взгляды она высказывала мало и даже неохотно, никак не старалась «блистать», но слушала внимательно и с интересом; ее собственные суждения обычно казались ему меткими и бесхитростно-остроумными. При его последнем приезде в разговоре о политических событиях она с улыбкой ему сказала:

— Вы, Алеша, всегда говорите еще либеральнее, чем мой богдыхан, но не сердитесь, мне кажется, что в душе вы в отличие от него самый настоящий консерватор и любите только прошлое.

— Дорогая Таня, вы, значит, упрекаете меня в неискренности! Вот не ожидал! Много знаю за собой худого, но не это.

— Совсем не так. Искренность тут ни при чем, это как-то проходит вне искренности или неискренности... Вы помните о министре Уварове?

— О том, что при Николае I провозгласил формулу: «Православие, самодержавие, народность»?

— Да, о нем. Я как раз недавно читала в журнале воспоминания знаменитого историка Соловьева. Он описывает то, что называл «оттепелью», то есть время, последовавшее за смертью Николая. И вот он об этой самой уваровской формуле говорит: «Православие? Но Уваров был самый настоящий атеист. Самодержавие? Но в душе он без всякого сомнения был либералом. Народность? Но он за всю жизнь ни одной русской книги не прочел, а писал только по-французски или по-немецки»...

— Вот уж удружили, дорогая, сравнением!

— Не гневайтесь, Алеша. Прежде всего, у вас ведь совершенно обратное. Да и не так, по-моему, плохо, если у вас и нет «законченного политического мировоззрения»: оно, слава Богу, у всех теперь есть, даже у людей, которым до вас очень далеко.

— А вот я на зло вам напишу книгу именно с «законченным политическим мировоззрением».

— О чем?

— О князе Каунице.

— Жаль, я о нем ровно ничего не знаю. Я ведь невежественна.

Тонышев в самом деле давно думал об историческом труде «Князь Кауниц и его русская политика». Сначала добавил было подзаголовок: «Апогей «Кучера Европы», но потом зачеркнул: ему не очень нравилось прозвище Кауница, да и неудобно было помещать кавычки на обложке. Алексей Алексеевич собрал немало материалов, увлекался этой работой, делился мыслями с женой. Она слушала с большим вниманием, одобряла и старалась все запомнить.

Алексей Алексеевич вел и дневник для будущих воспоминаний и сам говорил об этом с улыбкой,— все дипломаты имеют дневники и готовят воспоминания. Он не был расположен к сплетням и записывал только те, которые имели хоть какое-либо отношение к политике. В международном дипломатическом мире прочно господствовало правило: «Vienne est un poste d'observation de tout premier ordre» *. Но в сведениях этого наблюдательного пункта сплетни играли немалую роль.

Больше всего в Вене сплетничали о наследнике Франце-Фердинанде и особенно об его морганатической жене. Тонышевы не менее десяти раз слышали, что «эрцгерцогиня Фридрих» очень хотела выдать за наследника свою дочь и даже считала это решенным делом, так как Франц-Фердинанд стал часто бывать у нее в доме; но внезапно и совершенно случайно выяснилось, что приезжал он вовсе не ради ее дочери, а ради ее фрейлины, чешской графини Хотек; после бурной сцены фрейлина была уволена,— и на ней-то морганатическим браком женился эрцгерцог, к крайнему негодованию императора. Это Тонышев записал не без сочувствия обеим сторонам: эрцгерцог женился по любви на небогатой и не очень знатной женщине, это было хорошо. Но и в гневе Франца-Иосифа был его древний стиль. Был такой стиль, пожалуй, даже в том, что некоторые австрийские князья ездили в гости только друг к другу. «Глупо, забавно, что ж, это старая Австрия».

Вывод из дневника был следующий. Императора все венцы обожают. Наследника, напротив, не любят,— отчасти из-за его брака. Недолюбливают и иезуитов, приписывая им почти суеверно огромную закулисную силу. Старый австрийский дипломат за обедом с ним в клубе, вскользь осведомившись об его религии, весело рассказал ему анекдот: когда-то германский канцлер, принц Гогенлое, в благодушную минуту дал ему совет: «Друг мой, если вы думаете о своем будущем, всячески старайтесь поддерживать добрые отношения с иезуитами и с евреями».— «Я этому мудрому совету всю жизнь и следовал,— смеясь, добавил от себя дипломат,— однако не скрываю, это было трудно, так как обе силы ненавидят одна другую». Тонышев и это записал и даже при случае вставил в доклад. Впрочем, считал мнение канцлера преувеличенным: иезуитов он встречал мало, но еврейские богачи или артисты у него бывали и, по

* Вена — лучший наблюдательный пункт (франц.)

его впечатлению, так же мало понимали в политике, как их христианские собратья.

Разговорившись с этим остроумным и откровенным дипломатом, Алексей Алексеевич осторожно коснулся общего положения в Европе.

— Войны до 1913 года не будет ни в каком случае, — решительно сказал дипломат, — но потом она, по всей вероятности, произойдет.

— Почему вы так думаете? Вы говорите с такой уверенностью! На чем же она у вас основана?

— На предсказании майнцской колдуньи.

— Ах, колдуньи, — разочарованно сказал Тонышев. — Я думал, вы говорите серьезно.

— Я говорю очень серьезно... Вы согласны с тем, что войны не будет, если ее не захочет Вильгельм II?

— Совершенно согласен.

— Так, видите ли, его боготворимый им дед, тогда еще только прусский принц, в 1849-м году, бежав после революции из Пруссии, зашел в Майнце к знаменитой колдунье. Она сразу назвала его «ваше императорское величество» и предсказала ему, что он в 1871 году станет германским императором. «Почему вы так думаете?» — изумленно спросил принц. Колдунья взяла листок бумаги и сложила число 1849 с составляющими его цифрами: 1, 8, 4, 9. Вышло 1871.

— Доказательство совершенно бесспорное. Умная была колдунья, — сказал, смеясь, Тонышев. — Но при чем же тут будущая война?

— Сейчас увидите. Принц, естественно, тогда ее спросил, долго ли он останется германским императором. Она опять сложила 1871, 1, 8, 7, 1. Вышло 1888. Как вы помните, Вильгельм I умер в 1888 году. Он задал колдунье третий вопрос: «Долго ли будет существовать германская империя?» Она произвела такой же подсчет с числом 1888 — и вышло 1913. Вильгельм II знает об этом предсказании и, разумеется, очень боится...

— Даже «разумеется»! Значит, и вы этому верите?

— Не полностью, но верю, — подтвердил серьезно дипломат. — И Вильгельм II тоже верит, но не полностью. Он подождет конца 1913 года; если германская империя к тому времени не падет, то, значит, колдунья ошиблась и можно начинать войну с Европой, не рискуя гибелью империи.

Хоть ему было и немного совестно, Алексей Алексеевич и этот рассказ о колдунье вставил в доклад — правда, в полушутливой форме. Думал, что в Петербурге могут и всерьез заинтересоваться предсказанием.

Особая глава в его дневнике касалась отношения австрийского общества к разным державам. Он находил, что к России, да и к Германии, отношение в Вене очень настороженное; союзную Италию и ее союзное правительство почти ненавидят; Англию любят и уважают. Еще больше любят Францию, хотя сожалеют, что ею правят атеисты вроде Комба или Клемансо. О возможности войны говорят легкомысленно. О войне с Россией в его доме, естественно, не говорили, но, случалось, влиятельные и осведомленные венцы болтали о войне с Сербией, которую терпеть не могли; Пашича, не стесняясь, называли «старым разбойником». О черногорском князе позднее говорили, будто он перед началом войны очень удачно сыграл на понижение на бирже, для этого и затеял войну.

Служба, книга, дневник заполняли умственную жизнь Алексея Алексеевича. Жену он любил и был счастлив. Тонышеву казалось, что он живет именно так, как всегда хотел, как полагается жить порядочному и культурному человеку. «Служа России, служу делу мира, и если уж говорить высоким стилем, то в меру сил служу добру», — думал он.

Нина Анатольевна очень хотела быть в жизни верной помощницей своему мужу. Она отлично вела дом, иногда переписывала рукописи Алексея Алексеевича или переводила для него цитаты. Честолюбива она не была, не мечтала о том, чтобы муж стал послом, и даже предпочла бы, чтобы у него была другая, не бродячая, карьера, которая дала бы им возможность жить в России. «Но Алеша честолюбив, он не согласится выйти в отставку и стать просто обывателем или помещиком. И поместья больше нет, да я и сама не хочу жить в деревне. Хорошо было бы, если б его выбрали в Государственную думу, это в самом деле все устроило бы», — думала она.

Русских знакомых у них было в Вене немного, только дипломаты. Она часто их приглашала, поддерживала с ними хорошие отношения, говорила то, что нужно было говорить, но ей с ними было скучновато. «Не нашего московского круга люди и даже, собственно, не интеллигенция, Алеша среди них белый ворон», — думала она. Мужа Нина Анатольевна любила не меньше, чем прежде. «Конечно, нельзя сравнивать с Таней и Митей, но ведь они в этом отношении для кунсткамеры». Ее отношение к жизни осталось прежнее, *простое*. Но иногда ей казалось, что этого *простого* отношения как будто стало недостаточно. Детей у них не было, но для них это было далеко не таким горем, как для Ласточкиных. «Да и будут, конечно. Спешить некуда». Все же она теперь испытывала легкую радость, когда узнавала о других бездетных семьях.

По-прежнему она очень интересовалась искусством, в частности, архитектурой, знала все дворцы Вены и собиралась со временем написать статью о строениях Хансена. Не без грусти думала, что теперь уж никогда архитектором не будет: только даром училась. Все же в общем и она была довольна своей жизнью.

V

Одноэтажный с плоской крышей дом был расположен не очень далеко от кавказской границы. Снаружи он был неказист, но все его шесть комнат были убраны по-восточному хорошо. Везде были дорогие ковры, низкие диваны, мягкие кресла. На стенах главной комнаты висели фитильные ружья с раскрашенными прикладами, пистолеты, кинжалы, кривые сабли в бархатных ножнах, турьи рога в серебре, куски зеленого шелка с вышитыми на них золотом стихами из Корана. Большого комфорта, впрочем, не было. Освещался дом свечами, правда, не сальными, а восковыми, отапливался месяцев десять в году преимущественно солнцем, в холодное же время жаровнями с раскаленным углем. Кухня была в отдельном строении, в большом дворе, в средине которого находился фонтан. Были еще во дворе конюшня, сараи, амбары. Под навесом всегда что-нибудь жарилось или варилось: лепешки, плов, варенье. Впереди дома начинался сад, тянувшийся довольно далеко.

В 1859 году, после падения Ведена и Гуниба, отец Джамбула подобно многим последним защитникам Кавказа от русских бежал с женой в Турцию. Сын был тогда ребенком, и взять его с собой было невозможно: это означало бы для него верную смерть. Он был оставлен у дяди в Дагестане.

Отец завел в Константинополе торговлю. При его трудолюбии, честности и практической сметке она пошла успешно; он нажил немалое состояние. Хотя препятствий не было, на Кавказ больше не возвращался: и делать ему там больше было нечего, и нельзя было бросить торговлю, и не хотелось возвращаться в страну с немусульманским правительством. Прожил он до семидесяти пяти лет, потерял жену и окончил свои дни в собственном имении. На старости лет стал очень богомолен и, когда не работал в саду, читал священные книги. Он получил образование, читал по-арабски, знал и французский язык: был некоторое время переводчиком при Шамиле и оставил эту должность лишь для того, чтобы принять участие в последних боях за независимость.

Вскоре после тифлисской экспроприации Джамбул благополучно перебрался через границу и приехал в отцовскую усадьбу.

Наследство оказалось значительно бóльшим, чем он ожидал. Сначала он предполагал продать имение, взять из константинопольского банка деньги и уехать. Но увидел, что лучше не спешить: при спешке продажа, наверное, окажется невыгодной. И, главное, ехать ему было собственно некуда. Товарищи по тифлисской работе затевали какие-то новые страшные дела и, разумеется, звали и его. Но он почувствовал, что больше в таких делах участвовать *не может*, не из-за того, что они страшны, — «хотя отчасти и из-за этого, зачем себя обманывать?» — но оттого, что они отвратительны!

Все же, уезжая из России, он еще думал, что, быть может, вернет-

ся. И, только перейдя границу, с совершенной ясностью почувствовал, как он устал, как переменился, как измучен и физически и морально.

Уехать немедленно было невозможно, хотя бы из-за остававшихся формальностей по утверждению в правах наследства. Их взял на себя старый друг отца, хорошо знавший законы и обычаи; от платы решительно отказался. «Очень хорошие и честные люди наши мусульмане»,— думал Джамбул. Сам он приходил в уныние, когда дело доходило до законов, формальностей, составления бумаг.

Он решил временно остаться в усадьбе. Знакомился со своим имением. В земледелии смыслил тоже очень немного, но все в имении ему понравилось: усадьба, сад, лес, скот. Только лошади — две косматые туркестанской породы — были плохие: отец давно верхом не ездил, катался в коляске на этих лошадях. Джамбул первым делом купил себе кровного арабского жеребца; на арабских лошадях никогда до того не ездил. Купил английское охотничье седло и два английских ружья, хотя охота в этих краях была не очень интересная. В свой сад влюбился наследственной любовью. При имении был небольшой виноградник, но весь виноград шел на изюм для продажи. Производить вино было бы невозможно: от него тотчас отшатнулось бы духовенство во главе со старым муллой, носившим зеленую чалму, то есть побывавшим в Мекке. Выписал много вина из Константинополя: и обыкновенного столового, и дорогого, знаменитых французских марок. Сам удивлялся, что устраивается как будто надолго. «Что ж, приезжать сюда буду, наверное».

Он перезнакомился с соседями. Они много о нем слышали от отца и были ему рады, особенно более молодые (стариков он всегда в меру возможного избегал). Все были мусульмане, но разных национальностей: преобладали татары и другие выходцы с Кавказа, были и коренные турки и сербы мусульманской веры. Национальные различия чувствовались, однако общая религия всех сближала. Менее ветхозаветные ездили к нему в гости, обедали, не без смущения пили вино. Смеялись, когда он, угощая их свининой, невозмутимо называл ее телятиной. Один сосед вина не пил, но пил коньяк и, тоже невозмутимо, ссылался на то, что о коньяке в Коране ничего не говорится. К его приятному удивлению, он был кое-где представлен дамам, выходившим к нему без чадры. «Да, идет вперед Восток!»

Соседи, в большинстве малообразованные и приятные люди, политикой не очень интересовались и взгляды высказывали странные. Им, например, нравилось или, во всяком случае, внушало почтение то, что у султана во дворцах есть шесть тысяч слуг, в том числе восемьсот поваров, и что он берет себе одну десятую часть государственного дохода. «Во всем мире пропорционально еще больше берет в свой карман только князь черногорский, но у того какая уж казна! Гроши!» «Да что же тут хорошего? — с недоумением спрашивал Джамбул.— Ведь вам же приходится платить?» Оказалось, однако, что все помещики устроили у себя вакуфы,— никаких налогов не платили; говорили, что и он никаких налогов платить не будет, разве только придется еще кому-нибудь дать взятку. Джамбул перестал интересоваться турецкой политикой.

Скучные формальности были, наконец, закончены. Теперь денег было сколько угодно. Он решил, что надо съездить в Париж и там «все решить»,— не углублял вопроса, что́ именно. Кроме того, надо было как следует одеться. Из России он уехал с одним тощим чемоданом. В соседнем со своим имением городке еле нашел сносное белье; одежду же приобрел восточную, очень живописную; обладал от природы вкусом. Все же необходимо было и европейское платье; да и восточное в Париже, наверное, можно было достать лучше, чем в турецкой глуши.

Джамбул с первых дней выписал себе газеты: тифлисскую, петербургскую и парижскую. Нельзя было целый день ездить верхом, охотиться, посещать и принимать соседей, наблюдать за работой в саду и в полях. У него был оставшийся от отца управляющий, а сам он пока только присматривался. По вечерам и в дождливые дни он читал. Тифлисская и петербургская газеты ему удовольствия не доставляли.

В списках арестованных и казненных ему попадались знакомые имена. Он ясно видел, что правительство победило, что революция кончается и вдобавок выродилась. «Конечно, многие революционеры стали просто уголовными преступниками! Не все, конечно, но многие не отдают в партийные кассы денег от экспроприаций! Не все отдавал и этот Соколов. Дело и не только в этом: их дела изменились, но еще больше изменился я сам». Напротив, читать парижскую газету всегда было приятно. «Цивилизованная, радостная жизнь... Куплю много книг, там найду и русские. Заочно книги выписывать нельзя».

В Париже он сначала был очень оживлен и весел: всегда любил этот город. В первый же день заказал у хорошего английского портного несколько костюмов. Заказал даже фрак, второй в его жизни: первый, которого он, впрочем, почти никогда не надевал, остался в России. Портной работал медленно, и на первое время пришлось купить готовый костюм,— старый был совершенно изношен. К его фигуре все шло, но к людям, носящим готовое платье, он относился благодушно-пренебрежительно. Когда фрак был готов, Джамбул купил цилиндр и в первую пятницу побывал в Опере. Из театра отправился в монмартрский ночной ресторан, там свел знакомство с дамами. Стало еще приятнее и легче. Думал, что ни одна из этих дам, несмотря на его богатство, с ним в Турцию не поехала бы: «И приехать туда с этакой француженкой было бы невозможно! Да и не поселюсь же я там совсем!»

Тем не менее он скоро стал в Париже скучать и решил, что так жить без всякого дела нельзя. Знакомых у него почти не оказалось. Кавказских революционеров не было, к русским он не очень хотел ходить; ему и вспоминать о них было теперь тяжело. Встретился с теми французскими социалистами, которых прежде немного знал. Увидел, что с ними у него уж совсем нет ничего общего: даже разговаривать не о чем. О кавказских делах они ровно ничего не знали. Когда он говорил о грузинах, осетинах, татарах, спрашивали, где живут эти народы: не в Сибири ли? Западные дела, кроме французских, знали лишь не намного лучше и международной политикой интересовались мало. Как-то зашел разговор о возможности европейской войны. Все единодушно высказали уверенность, что ее не может быть и не будет: пролетариат никогда не допустит. Так привыкли это говорить, что действительно в это поверили.

Французские социалисты представили его Жоресу. Тот был с ним очень ласков, расспрашивал и о событиях на Кавказе, знал о них много больше, чем его товарищи. Но, услышав, что Джамбул принимал участие в тифлисской экспроприации, он видимо смутился, пробормотал что-то малопонятное и перевел разговор на французские дела. Жорес ему понравился. «А на революционера, даже кабинетного, он совершенно не похож! И, конечно, главное для него — это его идейная борьба с Клемансо, осложняющаяся ораторским соперничеством: Восточная Европа, Россия, революция идут где-то на сто верст позади. Его окружение боготворит его».

Все же кто-то из этого окружения сокрушенно ему сказал, что жена Жореса — верующая католичка и что дети воспитываются в католической вере. Это и удивило Джамбула, и было ему приятно. «Никогда я антиклерикалом не был,— думал он,— и просто этого не понимаю». Ему неясно казалось, что и происшедшая в нем перемена отдаленно связана и с религией. «Меня всегда раздражало, что все эти Ленины и Плехановы точно родились атеистами. Или, вернее, то, что, по их мнению, все неатеисты просто дураки и невежды. Да, во мне разом шло несколько умственных и душевных процессов. Они никому не интересны, но неправда, что перемена во мне была внезапная»,— точно кому-то возражал он. Ему было досадно, что он так быстро переменил взгляды, деятельность, род жизни.

Приближалась весна. В Париже было отлично, но в его усадьбе, верно, было еще лучше. Ему пришла мысль, что хорошо было бы устроить у себя конский завод. Эта мысль тотчас его увлекла. Он купил несколько книг о лошадях. Купил и много романов. Впервые в жизни подумал, что следует обзавестись и серьезными книгами, приобрел сочинения входившего в большую моду Бергсона, что-то еще. В русском магазине недалеко от Сорбонны купил собрания произведений классиков. Не любил разрезать книги и все отдал в переплет: дешевые — в коленкоровый, философские и о лошадях — в полукожаный. «И библиофилом становлюсь! Совсем буржуа! Что, если в самом деле «бытие определяет сознание»?» —

спросил он себя. Но знал, что это неправда. «Я не был беден и тогда, когда занимался революцией».

Все же он сам не думал, какую подлинную радость доставит ему возвращение в усадьбу.

Его радостно встретили и управляющий, и работники, и приятели. Он устроил большой прием: пригласил неветхозаветных соседей; они не без колебания согласились приехать с женами; пригласил даже ветхозаветных, предупредив их, что будут дамы и будет вино: эти отказались, но отнеслись снисходительно и благодарили. Понимали, что к их новому соседу нельзя предъявлять таких требований, как к другим.

Обед вышел на славу. Целым бараном тут никого удивить было нельзя, но было и множество всяких других блюд, подавалось шампанское, которого некоторые из приглашенных отроду не видели. За обедом Джамбул сам с бокалами на подносе вышел к работникам и выпил с ними, — обед для них был приготовлен такой же, как для гостей; они не могли этого не оценить.

Соседи дивились и хвалили. Считали Джамбула образцом парижской культуры; слово «Париж», с его вековым престижем, производило и на них магическое действие. Все искренно радовались его намерению остаться в имении надолго, давали ему хозяйственные советы, многозначительно спрашивали, не собирается ли он расширить дом. Он отвечал, что не собирается: пусть все остается таким, как было при отце. (Теперь он об отце вспоминал с бóльшей любовью, чем прежде.) Его ответ тоже понравился. Гости, особенно те, у которых были дочери, говорили, что всегда и во всем будут рады ему помочь. Много говорили о конском заводе, о том, где и когда надо покупать лошадей.

VI

В ожидании книг, отправленных из Парижа «малой скоростью», подготовляя для них полки, Джамбул заглянул в книги отца. Они хранились в той комнате, в которой отец умер; Джамбул в эту комнату заходил редко. Там стоял шкафчик на точеных ножках, очень хорошей работы, с дорогой инкрустацией, «восток Перы и Пьера Лоти», — думал Джамбул. В шкафчике стояли толстые, в старых переплетах, книги на арабском языке. Он и заглавий не разобрал, но увидел, что это Коран и комментарии к нему. Бережно поставил их на прежние места и решил, что шкафчиком пользоваться не будет: «Нельзя же рядом с ними поместить романы Вилли!» Нашлась, однако, одна переплетенная книга на французском языке: перевод Корана и примечания. Джамбул вынул эту книгу из шкафчика и положил на письменный стол в главной комнате, бывшей кабинетом отца.

В тот же вечер, после обеда, он засветил восковые свечи в серебряных канделябрах. Работник принес приготовленный по-турецки кофе. Он всегда был превосходным, такого не было ни в Петербурге, ни в Париже. Джамбул пил его очень много, даже на ночь: он нисколько не мешал ему спать. «Кажется, знаменитый французский писатель Вольтер выпивал пятьдесят чашек в день и дожил до восьмидесяти с чем-то лет. Я пью не пятьдесят, но не менее десяти и надеюсь дожить до ста», — шутливо говорил он друзьям, почтительно его слушавшим и удивлявшимся его учености. «В первый раз в жизни мною восхищаются за э т о!» — весело думал он.

Когда-то дядя пытался его научить арабскому языку и Корану, но он ничему не научился: был слишком занят лошадьми, собаками, ружьями, саблями. Позднее в религиозные книги и не заглядывал. В его окружении на смену людям, благоговейно относившимся к Корану, пришли революционеры, которые о религии никогда не разговаривали или говорили о ней гораздо меньше, чем о погоде, о дороговизне жизни, о качестве пива в разных кофейнях.

С первых же суратов Джамбула удивила красота и сила языка, ясно чувствовавшиеся и в переводе. Он с детства слышал, что Магомет говорил так, как никто не говорил и не писал до него. Это подтверждал и переводчик. По его словам, Магомет был «умми», то есть не умел ни читать, ни писать. Он только проповедовал в состоянии вдохновения, а его секретари благоговейно записывали его слова. Этому Джамбул не мог поверить: знал, что самая лучшая речь самого лучшего оратора обычно плоха в стилистическом отношении и, во всяком случае, не идет в сравнение с писаным словом. «Как же мог человек т а к говорить, всегда, каждый день, каждый час?»

Но гораздо больше поразило Джамбула содержание. Если русские революционеры произносили иногда слово «Коран», то лишь относя его с насмешкой к взглядам, не терпящим противоречия противников: так, например, меньшевики иронически говорили о «ленинском Коране». Между тем теперь Джамбул, читая книгу, не находил в ней ничего фанатического. Его изумило, что, по словам Пророка, между людьми всегда были и будут разногласия и расхождения, такова воля Божья, и, несмотря на все усилия верующих, бóльшая часть людей останется чужда вере. «Что бы сказал об этом Ленин да и многие из его противников?» — спросил себя Джамбул. Не было в Коране и нетерпимости. Переводчик-биограф говорил, что Ислам с величайшим уважением относился к Христу, к Моисею, называет Ветхий и Новый заветы Божественным откровением, книгами, ниспосланными с неба. «И мусульмане, и евреи, и христиане, верящие в Господа и в суд Божий, делающие добро, получат награду из Его рук»... «Из евреев и христиан верующие в Бога и в Писание, которое было послано им, как и нам, творящие волю небес, не продадут своего учения ради низменного интереса. Они найдут награду у Всевышнего. Он не ошибается в суде над человеческими делами»... «Спорьте же с ними только словами честными и умеренными. Опровергайте среди них лишь нечестивых. Говорите: «Мы верим в наше учение, но также и в ваше Писание»... «Приглашай же еврея и христианина обратиться в Ислам и соблюдай справедливость, тебе предписанную. Не уступай их желаниям, но говори: «Я верю в Священную книгу. Небо же мне указало судить вас справедливо. Мы молимся одному Богу. У нас свое дело, а у вас ваше. Пусть мир царит между нами».

«Но как же все эти жестокие войны с неверными, которые велись мусульманами прежде, а кое-где ведутся сейчас», — думал Джамбул. Французский переводчик объяснял: учение Пророка вначале подверглось жестоким гонениям, и на это он счел нужным ответить силой же. — Да, в этом он был, конечно, прав: живой человек не может поступать иначе, а если были крайности и зверства, то первые мусульмане были людьми своего времени, и все познается по сравнению. Он сам говорит, что не требует от человека ничего невозможного или превышающего его силы, и в этом именно его мудрость: Ислам — единственная вера, которую человек может принять целиком, то есть во всем ей следовать не только в теории, но и в жизни»... Забегая вперед, Джамбул нетерпеливо перелистывал сураты: читать все подряд было все же утомительно. «Природа, везде природа, с нею связано чуть ли не все, и самый его рай — это великолепный сад, с пальмами, с фонтанами, с необыкновенными плодами!»

«Сады и фонтаны будут уделом людей, боящихся Аллаха. Они войдут туда с миром и со спокойствием. Не будет в их сердцах зависти. Они будут покоиться на ложах и будут чувствовать друг к другу братское благоволение... И будут у них, верных служителей Господа, лучшие яства, плоды изумительного качества, и предложат им чаши, полные прозрачной, редкого вкуса воды, которая не затемняет разума и не пьянит. И будут рядом с ними девы скромного вида, с большими черными глазами, с кожей цвета страусового яйца... И скажут верующим: войдите в сады наслаждений, вы и жены ваши, откройте ваши сердца радости. И дадут вам пить из золотых чаш, и найдет ваше сердце все, чего может желать, а глаз ваш все, что может чаровать его, и будет вечным это наслаждение. Праведники увидят сады с фонтанами, и будут они одеты в шелковые одежды, и будут благожелать друг другу. И будут с ними жены с большими черными глазами!»

«Какой еще религиозный законодатель решился бы говорить о девах с большими черными глазами? — думал он. — Какой так хорошо понимал бы людей, так снисходил бы к их природе, даже к их слабостям! И как нелепо издеваться с улыбочкой над «гуриями»! Мусульманский закон допускает четырех жен, и средний человек м о ж е т это принять, может этому следовать, тогда как безбрачие или моногамия и несвойственны

ему и не нужны». «И позволено вам тратить ваше богатство для приобретения целомудренных добродетельных жен. Люди же небогатые, вместо свободных правоверных женщин, могут брать правоверных рабынь с согласия их родителей. Женитесь на тех, кто вам понравится, на двух, на трех или на четырех. Живите хорошо с вашими женами, а если почувствуете от одной отдаление, то, быть может, это отдаление будет от того, во что Бог вложил огромное благо».

«Как все просто, как разумно, как полезно для каждого из нас следовать этому столь человеческому учению! Чему в нем я не мог бы следовать? Некоторым обрядам? Но ведь все-таки эти обряды были установлены почти полторы тысячи лет тому назад. Запрещение вина? — Он заглянул в предметный указатель, приложенный французом к книге, и узнал, что о вине в Коране говорится четыре раза, на таких-то страницах. Прочел все четыре страницы. На первых трех вино, собственно, не запрещалось, только было сказано, что от него, как от игры в кости, от сока фиников и фруктов, больше вреда, чем пользы.— Может быть, из фиников тогда изготовлялся какой-нибудь дурманящий напиток, разрушающий тело и душу? — Только на четвертой сок фиников и фруктов запрещался безусловно.— Верно, по той же причине»,— подумал Джамбул, с улыбкой вспомнив того своего гостя, который пил коньяк, так как о нем в Коране не сказано ничего.

«Но почему же я молился всю жизнь лжебогам? Или, вернее, даже не молился им, а просто, считая их богами, приносил им кровавые жертвы? — Он вдруг вспомнил экспроприацию на Эриванской площади, глаза гнедой лошади, трупы убитых людей. Лицо у него искривилось как от физической боли.— Странно то, что я впервые подумал о Боге именно тогда, в Обсерватории, в день смерти отца! Впрочем, что же странного в том, что человек, прожив большую часть жизни, возвращается к мудрости отцов, дабы войти туда «с миром и со спокойствием»?»

На следующий день он в разговоре с управляющим сказал ему, что хочет очень расширить сад, посадить лимонные и апельсиновые деревья и устроить несколько фонтанов. Велел также давать милостыню не только всем приходящим в усадьбу, но и тем, что собирались у мечети. Он точно всасывал мусульманскую веру из воздуха этой древней мусульманской страны.

Джамбул стал чаще ездить к тем соседям, у которых были дочери. Они принимали его еще благосклоннее, чем прежде, и устраивали так, что он мог видеть дочерей. Поговорил он и с муллой, носившим зеленую чалму. Друзья советовали ему жениться и даже обсуждали разных невест и размер калыма (это было ему неприятно). Он сам понимал, что за него выдадут любую девушку: он мог считаться лучшим женихом в округе.

Через несколько месяцев он почти одновременно обязался двумя женами. Родители обеих охотно согласились. Согласились даже на то, чтобы он, вопреки ветхозаветному обычаю, поговорил с невестами. Он не был влюблен ни в одну, но обе ему нравились.

VII

По настоянию Татьяны Михайловны Ласточкины уехали из Москвы на отдых зимой,— обычно уезжали только летом. Ей самой гораздо удобнее и приятнее было в Москве. Но здоровье и у него стало несколько сдавать, почти как у жены. «Это лишний признак того, как сплетены наши с тобой жизни»,— говорил Дмитрий Анатольевич шутливо (думал же он это и не в шутку). У него не было ничего серьезного, но он замечал, что вставать утром с кровати, надевать туфли ему стало труднее, чем прежде, и что в ногах пониже колен какое-то неприятное ощущение.— «Точно хочется их отцепить». Врачи думали, что он переутомился, что одышка у него от усталости, от сидячего образа жизни и от некоторой слабости сердца. Слово «сердце» встревожило Татьяну Михайловну. Было решено, что они после обычного летнего лечения в Мариенбаде, где Ласточкин каждый год, по его словам, «спускал благоприобретенный двадцать, а то и двадцать пять фунтиков», поедут еще в Наугейм.

Но в декабре одышка и усталость у Дмитрия Анатольевича усилились. Татьяна Михайловна предложила ему съездить куда-нибудь за границу на праздники, не для лечения, а просто для отдыха. «А отчего бы тебе не поехать одному?» — нерешительно сказала она. Об этом Дмитрий Анатольевич и слышать не хотел. «Ни за что один не поеду! Это было бы против всех наших правил и традиций. И ты тоже не так уж хорошо себя чувствуешь»... «Я совершенно здорова. Меня ни в какие Наугеймы не посылают, сердце у меня как у молодой девушки». «Слава Богу, но отдохнуть не мешает и тебе». «Да я не ты! Я весь год ничего не делаю!» Кончился разговор тем, что они решили съездить на Французскую Ривьеру. «Только не в Монте-Карло, он мне надоел, что ж все в одно место, поедем лучше в Канн»,— предложил Ласточкин. «В Канн так в Канн, мне совершенно все равно».

Они остановились по дороге на несколько дней в Вене. Тонышевы давно их к себе звали. «И, пожалуйста, Таня, Митя, выбейте у себя из головы, что вы будете жить в гостинице! Мы с Алешей об этом и слышать не хотим! — писала Нина, действительно очень обрадованная сообщением об их приезде.— За столько времени не удосужились у нас погостить, позор! Не видели даже наших Сезаннов, двойной позор! У нас есть «комнаты для друзей», и это чистая фикция: кроме вас, никаких друзей мы не ожидаем. Отдадим вам обе комнаты. И никакого номера в «Империале» я вам не найму, дудки. И нашей ноги у вас больше никогда не будет, если вы остановитесь не у нас. Nous vous ferons les honneurs de Vienne» *.

Квартира Тонышевых очень понравилась Ласточкиным, они мысленно сравнивали ее со своей московской.

— У вас преимущественно старинная мебель, а у нас преимущественно модерн, и то, и другое имеет свою прелесть,— говорил Дмитрий Анатольевич.

За семейным обедом обо всем успели поговорить, и уже приходилось придумывать темы. Заговорили даже о литературе. Тонышевы за ней очень следили, выписывали из России много новых книг.

— Странно, как у нас все переменилось,— сказал Алексей Алексеевич.— Всего лет десять тому назад в наших повестях и романах писали больше о врачах-тружениках, которые обычно погибали во время холерных бунтов, а теперь...

— Да это иногда и в самом деле случалось.

— Случалось, конечно, Таня, но, согласитесь, не часто. А теперь все отдельные сильные и страстные личности, и у них единственное чувство — необыкновенная способность к необыкновенной любви.— Татьяна Михайловна невольно подумала, что в жизни Тонышевых любовь в самом деле не занимает очень большого места.— Я и тут стою за золотую середину. Есть и другие большие сюжеты.

— Например, политические,— сказала Нина.— Я вижу, что Мите и Алеше хочется поговорить о большой политике, мне она здесь осточертела. Пойдем, Танечка, я тебе все покажу в ваших комнатах.

Татьяна Михайловна все очень хвалила.

— Как хороша эта ванна! Вделана в пол, таких у нас в Москве еще нет.

— Горячая вода круглые сутки, купайся, Танечка, хоть всю ночь. Впрочем, нет, никак не всю ночь, должно быть, тебе вредно сидеть долго в воде. Одна беда: на кране с кипятком они написали «kalt», а на другом «heiss»! Я так рассердилась!

— Это действительно очень большая беда!

— Не шути, по ошибке можно обжечься. Мастер был очень сконфужен, но уже переделывать было трудно.

— Лишь бы у вас, Ниночка, не было огорчений похуже... Да, хорошо живется нам, обеспеченным людям.

— Ах, мне самой часто бывает совестно перед бедняками... Вещи, как видишь, горничная уже разложила и развесила в полном порядке.

— Она такая элегантная, ваша венка.

* мы радушно примем вас в Вене (франц.)

— И очень честная. Можете спокойно оставлять все в комнатах, не запирая.

— Будем знать. Да, у вас очень благоустроенный дом, — сказала, устало садясь в кресло, Татьяна Михайловна. — Вообще мы с Митей так за вас рады... Ниночка, а можно тебя спросить? Когда же дети?

Нина Анатольевна вздохнула.

— Надеюсь, будут. Алеша говорит, что дети были бы счастьем, если б всегда оставались маленькими.

— Не следуйте нашему примеру. Это у нас с Митей единственное горе. Ну, хорошо, не будем об этом говорить.

— Завтра с утра я вам буду показывать Вену. Алеша уйдет в посольство, хотя там в праздничные дни нечего делать.

— Мы Вену отлично знаем. Чудный город, но Москва все-таки лучше.

— С Москвой и я ничего не сравниваю!.. Вечером завтра у нас ложа в «Бурге».

— Что идет?

— Шиллеровская «Смерть Валленштейна». Ты читала?

— Кажется, когда мне было лет шестнадцать.

— А я не читала, Алеша обожает Шиллера. Я предпочла бы пойти в оперу, и ты, верно, тоже? А послезавтра у нас будут интересные люди. — Она назвала знаменитого пианиста.

— О-о!

— Да, он играет божественно. Говорит, что после шампанского играть не умеет, но, конечно, врет. Мы его заставим играть. Будут и другие, один известный профессор-экономист, пусть побеседует с Митей о расцвете промышленности. Мы с тобой не обязаны слушать.

Тем временем мужчины в кабинете говорили о политических новостях. Главной новостью была опасная болезнь графа Эренталя.

— Говорят, он переносит страдания с необыкновенным мужеством, — сказал Тонышев. — Что ни говори, он замечательный человек.

— Может быть, и замечательный, но, говорят, он хочет войны.

— А здесь, разумеется, говорят, будто войны хочет Россия. И то и другое неверно. Эренталь большую часть своей дипломатической карьеры проделал в Петербурге. На Балль-Платц так и уверяли меня, что он «kam direkt aus der ausgezeichneten Petersburger diplomatischen Schule» * и восхищается всем русским.

— Вот как? У нас о наших дипломатах думают иначе. Нет пророка в отечестве своем. Кто же займет место Эренталя?

— Первым кандидатом считается Буриан, но его ненавидит наследник престола. По-моему, больше шансов имеет граф Берхтольд.

— Мы с Таней с ним знакомы. Познакомились когда-то в поезде по дороге в Монте-Карло. Помню, красивый человек.

— Признается самым элегантным человеком в Австро-Венгрии и, кажется, очень этим гордится. Какой-то американский журналист устраивает анкету: десять мужчин в мире, которые лучше всех одеваются. По-моему, он должен был бы получить первый приз, — сказал Алексей Алексеевич, смеясь, но не без легкой зависти.

— Это единственный его «titre» ** для должности министра иностранных дел? И тоже подумывает о войнишке?

— Не знаю. В петербургском свете его очень любят, как, впрочем, прежде любили Эренталя. Нет, какая же войнишка?

— Меня тревожат дела на Балканах. Газеты пишут, будто братья-славяне очень подумывают о войне с Турцией.

— Без нашего согласия они не посмеют на это пойти.

— А вдруг посмеют? И так ли ты уверен, что им в Петербурге согласия не дадут? У нас тоже достаточно полоумных. Очень ухудшилось вообще в последние годы политическое положение в мире. Еще лет десять тому назад никто об европейской войне не говорил.

— Да, особенно осложнилось дело после этого несчастного спора о Марокко. Впрочем, покойный Эдуард VII считал французскую позицию в нем шедевром дипломатического искусства. Эдуард сам был замечательный дипломат. Правда, у него политика осложнялась его личной антипатией к Вильгельму. У хорошего дипломата не должно быть личных симпатий и антипатий.

* только что вышел из отличнейшей петербургской дипломатической школы (нем.)
** аргумент (франц.)

— Да этого, верно, не бывает.

— Отчего же не бывает? Но я уверен, что европейской войны не будет. Франц-Иосиф войны не хочет. Неужто ты при твоей жизнерадостности становишься пессимистом? Не будет войны. Люди — разумные существа.

— Дай Бог, чтобы ты оказался правым.

На следующий день они в автомобиле Тонышевых отправились в театр. Приехали за несколько минут до начала. Тонышевы до поднятия занавеса успели показать своим гостям разных известных людей в зале. В антракте все восхищались спектаклем.

— По самому своему замыслу и построению трилогия — настоящий шедевр, — сказал Алексей Алексеевич, знавший на память много стихов на разных языках. — Я другой такой трагедии не знаю. Как постепенно нарастает напряжение! Правда, первая часть, «Лагерь», несценична, но как и она хороша, как подготовляет зрителя к ожидающейся трагедии. Конечно, в изображении Валленштейна Шиллер немного погрешил против исторической истины, да кто же этого не делал? Шекспир, Гете, Гюго. Я предпочитаю нашего Пушкина всем поэтам, но ведь его «Полтава» — сплошная историческая ошибка. Даже в деталях, в божественном описании украинской ночи: «Чуть трепещут / сребристых тополей листы». При Петре никаких тополей на Украине не было, их развел много позднее Щенсный Потоцкий, это вызвало сенсацию. А Мария чего стоит! А Мазепа! Даже в дрянном романе Фаддея Булгарина он изображен ближе к исторической правде, чем у Пушкина. А скачущий с доносом влюбленный в Марию казак!

— Этот почему же? — спросила Татьяна Михайловна. — «Кто при звездах и при луне так поздно едет на коне»... Вы говорите об этом?

— Об этом самом. Стихи очень звонкие, но... «Червонцы нужны для гонца, / Булат потеха молодца, / Ретивый конь потеха тоже, / Но шапка для него дороже, — продекламировал Алексей Алексеевич. — За шапку он оставить рад / Коня, червонцы и булат, / Но выдаст шапку только с бою, / И то лишь с буйной головою. / Зачем он шапкой дорожит? / Затем, что в ней донос зашит, / Донос на гетмана злодея / Царю Петру от Кочубея»... Вполне возможно, что донос был зашит в шапку, но эта шапка скорее была ермолкой: Кочубей послал донесение Петру через какого-то еврея. Едва ли он носил с собой «булат» и едва ли был уж так влюблен в Кочубееву Матрену, которая, кстати, перетаскала у Мазепы немало «злата».

— Так ли это? Может, гонцов было несколько? Я историю знаю плохо, — сказала Татьяна Михайловна. — Об исторических драмах судить не могу, но, по-моему, во всей немецкой литературе нет ничего равного песенке Теклы: «Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer. Und weiter gibt sie dem Wunsche nichts mehr. Du heilige, rufe dein Kind zurück! Ich habe genossen das irdische Glück. Ich habe gelebt und geliebt» *.

«А говорила, что, кажется, читала «Смерть Валленштейна», — подумала Нина.

В другом антракте литературный разговор продолжался.

— ...И мысли о власти Шиллер высказывает мудрые. Вот, оказывается, и в семнадцатом веке людей занимали те же мысли: «Верхи общества уходят, им на смену поднимаются низы...» Как хорошо он играет! — говорил Дмитрий Анатольевич.

— Изумительно, — сказал Тонышев. — Заметьте, этот актер-еврей, а как изображает кондотьера! Хоть с каждой его позы картину пиши!

— Пожалуйста без антисемитизма, Алеша. Почему актеру-еврею не изображать хорошо кондотьера?

— Я ведь, Таня, говорю только к тому, что еврейское племя, которое я очень почитаю, давным-давно стало самым мирным из всех.

— Это так, — подтвердил Ласточкин. — Ты тоже, Танечка, ведь войны не хочешь?

* «Все в мире мертво, померкнул свет, и больше надежд и желаний нет. К себе, благая, меня призови, я счастье земное познала в любви, а ныне простилась с мечтами». (Ф. Шиллер. «Пикколомини», пер. с нем. Н. Славятинского.)

— Думать без ужаса не могу! А вы, Алеша, разве хотите?

— Никак нет. Хотя думать могу и без ужаса. Артист же он действительно великий. Я, кстати, всегда сожалел, что Шиллер не изобразил самой сцены убийства: гениальный актер себя в ней показал бы! Правда, сцену убийства до некоторой степени заменяет страшный крик убийцы Деверу: «Freund! Jetzt ist's Zeit zu lärmen!» * Сейчас его услышим.

— Алешенька, перестань щеголять эрудицией, — сказала Нина.

После обеда они отправились ужинать к Захеру. При входе в общую залу им бросилось в глаза знакомое лицо. «Легок на помине: граф Бертхольд», — сказал Тонышев. Он сидел в углу один, у его столика почтительно суетились лакеи. Тонышев занял стол на другом конце зала, подал одну карту дамам и начал озабоченно изучать другую.

— Таня, можно мне заказать для всех? Я знаю, что у них особенно хорошо. Этот ресторан не хуже Донона или вашего «Эрмитажа».

— Ну, положим, — сказал Ласточкин. — Старый Донон — первый ресторан в мире.

— На десерт не забудь, Алешенька, заказать «Захер-Торте». Ты увидишь, Танечка, какое это чудо! — сказала Нина.

Начался гастрономический разговор.

VIII

В Канне погода была плохая. Ласточкины никогда зимой на Ривьере не бывали и были удивлены.

— Холодно, солнца нет, «старожилы не запомнят», — говорил жене Дмитрий Анатольевич на второй день.

— Особенно этот неприятный холодный ветер.

— Если б это хоть был мистраль, по крайней мере название звучное, но одни говорят «биз», другие говорят «бриз», третьи говорят «полан» или как-то так. Сами своих ветров не знают. Если не пройдет, переедем куда-нибудь в Сицилию или даже в Египет. Как ты думаешь?

— Ни за что. Опять переезжать, да еще морем, какой же это отдых! Наверное, скоро будет солнце. Ривьера обязана поставлять солнце.

— А вдруг не выполнит обязательств?

— Тогда, благо нет знакомых, будем сидеть в гостинице и заниматься ничегонеделаньем.

Так оно и вышло. Они большую часть дня сидели дома и читали. Дмитрий Анатольевич нашел предмет для «работы». В Европе уже много говорили о теории относительности молодого физика Эйнштейна. Ни одна отвлеченная научная теория не вызывала у большой публики такого интереса, как эта. Ласточкин в Москве побывал на лекции в ученом кружке и почти ничего не понял, кроме примера о двух поездах. Ему казалось, что немного поняли и другие слушатели. Между тем он получил серьезное научно-техническое образование. Правда, математику давно успел позабыть: она не имела никакого отношения к делам, которыми он занимался уже двадцать лет. Как-то с досадой он заметил, что не очень помнит и гимназическую математику: не знал почти ничего о биноме Ньютона и не сразу вспомнил, что именно называется тройным правилом. Решил, что в первое же свободное время непременно пополнит познания. На лекции он спросил у профессора название и номер журнала, в котором была напечатана знаменитая работа. Побывал в библиотеке и разыскал ее, но далеко не ушел и только вздыхал. Накануне отъезда из Москвы заехал в магазин Ланга и купил несколько Grundriss-ов и Vorlesungen über... ** Немного поколебавшись, купил также памятные ему по гимназии «Элементарную геометрию» и «Начальную алгебру» Давидова. Сам был сконфужен: «Вот так инженер-технолог!» Все это повез с собой, к изумлению Татьяны Михайловны. В Вене нашел какую-то популярную книжку, где с некоторым недоверием говорилось о теории Эйнштейна.

В их роскошном номере был свой балкон, но проводить на нем время было в январе невозможно. Они придвинули к окнам кресла и читали, Дмитрий Анатольевич с карандашом в руке. В четвертом часу приходилось зажигать лампы. Татьяна Михайловна для себя ничего лучшего не желала, как быть наедине с мужем. Читать рядом было уютно, но для этого не стоило приезжать на Ривьеру. Учебники Дмитрий Анатольевич восстановил в памяти легко, с Grundriss-ами уже было хуже, а когда в популярной книге он прочел, что теорию Эйнштейна можно по-настоящему понять лишь при знакомстве с новыми методами математического мышления, то приуныл, тем более что назывались имена, неизвестные ему и понаслышке. «Наш милый профессор говорил: «Выдумал немец обезьяну! Будь все относительно, то тем паче «deboliare superbos».*

«Принижать гордыню — это никогда не мешает, — думал Ласточкин. — Может быть, эта теория характерна именно для нашего времени. В самом деле, если поколеблена механика Ньютона, то какие же могут быть истины в политике, в философии, в политической экономии? И не могут ли оказаться последствия самые необыкновенные?.. Впрочем, в книжке сказано, что теория относительности еще висит в воздухе. Вдруг обезьяна не настоящая?» — думал Дмитрий Анатольевич и с некоторым облегчением переходил от книги к «Le Temps». Тут по крайней мере все было понятно, хотя далеко не все приятно: «Сгущаются, сгущаются тучи»...

Татьяна Михайловна читала новые французские романы. Иногда опускала книгу на колени и задумывалась. У нее настроение было не очень хорошее. В Вене она тайком от мужа и Тонышевых побывала у известного всему миру врача. Тот ничего опасного как будто не нашел или по крайней мере сказал, что не находит. Она настойчиво просила не скрывать от нее правды, если даже что-либо очень тревожно. «Я сказал вам, сударыня, как обстоит дело, — уклончиво ответил профессор, — но не скрываю, что организм у вас довольно утомленный. Это может в будущем способствовать развитию разных болезней. Непременно показывайтесь почаще врачам и в России».

С этим она и ушла: ничего тревожного, но... Не сказала ни слова Дмитрию Анатольевичу: «Нельзя отравлять ему поездку, да, верно, и в самом деле ничего худого»... Как-то, прочитав в романе о чьей-то смерти, она взглянула на мужа. «Ну, а если?.. Что он будет без меня делать?.. Нет, конечно, ничего ему не говорить!» Об *его* смерти она не думала: об этом *невозможно* было думать. Татьяна Михайловна знала женщин, которые любили мужей, но *оживали* после их смерти, — так те подавляли их волю и личность. Однако эти женщины были ей всегда чужды, непонятны и даже немного противны.

Как-то Дмитрий Анатольевич принес газету с объявлениями людей, желающих жениться. «Образованный, красивой наружности господин средних лет, очень любящий природу, имеющий хорошее место, желал бы разделить жизненный путь с барышней, имеющей средства, серьезной и некурящей. Необходима фотография. Секрет переписки обеспечен честным словом», — невозмутимо читал он жене. И вдруг ею овладела радость жизни — оттого ли, что они с Митей женились без газетных объявлений, оттого ли, что как раз с моря подул свежий ветерок, оттого ли, что в этот день на ней было платье, которое он особенно любил (и потому любила она сама).

— Как хорошо, что нам незачем искать!.. А то написать господину красивой наружности о Люде?

— Отчего бы и нет? Но любит ли она природу?

Оба хохотали.

— А каннская природа все-таки нас подвела. То есть климат.

— Кажется, солнце сейчас застенчиво покажется. Чтобы не погубить репутации Ривьеры.

Когда солнце показывалось, Ласточкины уходили на прогулку. Сначала принималось решение пойти далеко, например, в Ле-Канне, но, пройдя по Круазетт, они садились где-нибудь на скамейку, — «ах, проклятая одышка!» — думал, а иногда и говорил Дмитрий Анатольевич. Любовались видом на Эстерель. Не умели говорить о природе. Ласточкин обычно пропускал ее описания в романах: «Все равно словами не опишешь». Отдохнув, шли дальше, но недалеко. Если же доходили до Ле-Канне, то он очень

* «Пришла пора, дружище, пошуметь!» (Ф. Шиллер, «Смерть Валленштейна», пер. с нем. Н. Славятинского.)

** очерков и лекций по ... (нем.)

* надо ставить на место гордецов (лат.)

гордился и за завтраком выпивал две рюмки водки: «Заслужил!» Перед обедом выходили опять и снова садились на скамейку. Дмитрий Анатольевич немного скучал. Разговаривали мало. Смотрели на низкое небо, на редкие звезды.

— «На небе было черно и скучно, на земле было весело». Это из «Войны и мира». Правда, странные слова? — сказала Татьяна Михайловна.

Он посмотрел на нее удивленно.

— Да, пожалуй, для Толстого странные, но это совершенно верно. На небе черно, на земле весело. Или по крайней мере должно быть весело. По этому случаю сейчас закажем целую бутылку шамбертена. Согласна?

— Митенька, я в винах ничего не понимаю и даже не люблю их. Удивляюсь, как люди находят их вкусными... А ты лучше бы хоть за обедом пил минеральную воду.

— Минеральную воду будем пить, когда будем стары.

— Мы уже и так немолоды.

— Это совершенно разные вещи: немолоды и стары, — отвечал с неудовольствием Дмитрий Анатольевич. — Но хоть аппетит у тебя есть?

— Нет... Есть, но маленький, — отвечала Татьяна Михайловна.

Он смотрел на нее беспокойно.

Погода стала еще хуже. Пошел мелкий, сухой снег.

— Это уже настоящее предательство со стороны Ривьеры! — говорила Татьяна Михайловна. — Снег на пальмах и на кактусах! Правительство должно было бы это запретить, это против всяких правил и против стиля. Снег мы имели в Москве бесплатно, а платить для этого за пансион по семьдесят франков в день незачем. Не повезло!

— Можем вернуться в Москву раньше, — ответил Дмитрий Анатольевич, чуть задетый словами «не повезло». Они, разумеется, были сказаны в шутку, но он давно привык к тому, что ему во всем везет.

Несмотря на снег и ветер, они перед обедом снова вышли на Круазетт и вернулись минут через десять. «Уж слишком мрачно. Луна и звезды подражают солнцу, тоже скрылись», — сказал Ласточкин довольно угрюмо. Татьяна Михайловна поднялась в их номер. Он ждал ее внизу. Разговорился со стариком швейцаром. Тот очень хвалил русских.

— Теперь у вас русских что-то мало.

— Еще приедут. Это зависит от сезона и от года. В 1905 году, когда в России были беспорядки, у нас чуть ли не все номера были заняты русскими, — ответил швейцар.

Вдруг Ласточкин вспомнил, что Савва Морозов покончил с собой в Канне. Почему-то это его взволновало. «Где? Господи, да в этой самой гостинице! Конечно, здесь! Я помню твердо!»

Он перебил швейцара, уверявшего, что очень скоро установится прекрасная погода: спросил о самоубийстве Морозова. Швейцар помнил это дело, но ответил очень неохотно и старался перевести разговор.

— Я хорошо его знал. В каком номере это было?

Старик ответил не сразу и с неудовольствием. Татьяна Михайловна спустилась вниз. Они пошли завтракать. Ласточкину уже без заказа приносили к закуске русскую водку. Он выпил две рюмки, затем, почему-то поколебавшись, сказал жене, что Савва Морозов покончил с собой в этом отеле. Она тоже чуть изменилась в лице.

— Где? Не в нашем номере?

— Нет, не в нашем. Он жил в другом этаже.

— Я мало его знала. Помнишь, он незадолго до своего конца был у нас на музыкальном вечере? Хороший был человек, очень благородный. Ведь до сих пор так и неизвестно, почему он покончил с собой?

— Неизвестно. Без всякой причины. Это самое странное.

Татьяна Михайловна, разумеется, тотчас заметила резкую перемену в настроении мужа. Между ними давно было нечто вроде телепатии, иногда устанавливающейся между мужем и женой, которые нежно любят друг друга. Эта телепатия, распространявшаяся даже на здоровье, с некоторых пор приносила им нерадостные впечатления. Обоим казалось, что они уже перевалили через гребень и что начинается спуск; точно у них стало меньше жизненной силы, создававшей их счастье. «Но ведь так должно быть у каждой четы, особенно если нет детей», — думала Татьяна Михайловна. Теперь она тревожно себя спросила, что случилось. Телепатия показывала: что-то случилось, но не говорила, что именно.

«У него была, помню, какая-то теория самоубийства, — опять думал за обедом Дмитрий Анатольевич. — Верно, что-то дикое? Странно, очень странно».

Обеды в гостинице были такие, какие полагались богатым людям в то время, не слышавшее о давлении крови, не считавшее калорий, не знавшее, что соль грозит человеку смертельной опасностью: шесть или семь изысканных блюд; многим обедавшим даже было неловко ограничиваться одним вином ко всем семи. В Москве, возвращаясь поздно вечером, Ласточкины еще дома ужинали; почему-то у них это шутливо называлось «седьмым ужином». В Канне обходились без еды на ночь, тем более что ложились рано, но для уюта оставляли себе что-либо в номере. Дмитрий Анатольевич приносил жене конфеты, и она съедала в постели одну или две. Татьяна Михайловна покупала для мужа чаще всего грушу — одну из тех французских груш, которые развозятся чуть ли не в шкатулках, как драгоценности, и которые надо есть тупыми ложечками, да и то при прикосновении льется сок. За окном и в этот день лежала такая груша. Татьяна Михайловна перенесла ее на столик в гостиной. Они читали часов до одиннадцати. Затем Татьяна Михайловна ушла в ванную, а Дмитрий Анатольевич лег. При жене старался делать вид, будто внимательно читает.

Без всякой причины им вдруг овладела нестерпимая тоска с мрачными предчувствиями: болезни, особенно ее болезни, смерть, и даже не смерть, а умирание. Он прежде почти никогда обо всем этом не думал. «И некому будет закрыть глаза либо ей, либо мне! Детей нет, друзей сколько угодно, но ведь это все-таки чужие люди. Придут на похороны и забудут в тот же вечер — да хотя бы и не забыли. Савве Тимофеевичу было легче, у него были только друзья, жену он, кажется, не любил... Там, внизу, в этом самом ресторане, он в тот день ел такие же блюда, пил такое же вино, чувствовал ту же смертельную тоску»...

Татьяна Михайловна вернулась в спальную, взглянула на нетронутую грушу и, хоть было смешно обращать внимание на то, съел ли он грушу или нет, перевела глаза на мужа и вздохнула. Оба спали плохо. Каждый чувствовал, что и другой не спит, хотя притворяется спящим.

На другое утро Дмитрий Анатольевич вышел в коридор и, сам не зная для чего, разыскал номер Морозова. Двери были отворены, в первой комнате работали горничные. Ласточкин заглянул и увидел диван, отодвинутый от стены, — «верно, тот самый».

— Monsieur désire? * — подозрительно спросила горничная, державшая в руке половую щетку. Он что-то пробормотал в ответ и вернулся в свой номер. У него дрожали руки и стучало сердце.

Накануне отъезда в Москву он прочел в газете, что в Чили упал огромный, очень редкий по составу метеорит и что его перевезли в музей. Газета попутно объясняла, что метеоритами называются металлические массы, падающие, обычно при раскатах грома, с огненным следом с других планет на Землю, гаснущие и распадающиеся. Он подумал, что тут есть некоторое сходство с человеческой жизнью: «Вдруг и мы так после недолгого бо́льшего или меньшего свечения переносимся из одного мира в другой?» Эта аналогия, впрочем, показалась ему несостоятельной и даже дешевой.

Вечером он вскользь сказал жене, что в Чили упал редкостный метеорит.

— Ну, и что же? — спросила Татьяна Михайловна, чуть подняв брови. Она почувствовала, что Митя говорит не совсем вскользь и немного преувеличивает небрежность тона.

— Ничего, разумеется. Я упомянул так.

— Верно, это как-нибудь связано с теорией Эйнштейна?

— Ни малейшего отношения. Твои научные познания, Танечка, оставляют желать лучшего, — пошутил Дмитрий Анатольевич.

---

* господин хочет что-нибудь? (франц.)

— И научные, и всякие другие. Но уж слишком ученые книги ты стал читать, Митенька, это тебя, верно, утомило, — полувопросительно сказала Татьяна Михайловна и, не получив ответа, добавила: — Читал бы лучше романы. Прекрасный этот роман Буалева, я его сегодня кончила.

— Прочту в дороге, не прячь его в сундук.

— Хорошо, положу в несессер. Сегодня вечером буду укладывать вещи.

— Я тебе помогу.

— Не надо, поможет горничная, ты и не умеешь. Читай себе в холле «Le Temps».

IX

Летом 1912 года Ленин неожиданно переехал из Франции в Краков. Это вызвало в партии удивление и досаду: его стычки на парижских собраниях с меньшевиками и эсерами были главным развлечением и даже главным делом левой русской колонии. «Остался без библиотек, переехал, чтобы быть поближе к России», — объясняли большевики. Собственно, эти слова означали лишь то, что русские газеты приходили в Краков днем или двумя раньше, чем в Париж. Более осведомленные люди приводили другую причину: польские и австро-венгерские власти из ненависти к царскому правительству никак не препятствуют перевозке в Россию агитационной литературы. Впрочем, ее перевозилось не так много.

Ленин не любил засиживаться на одном месте и малые города предпочитал большим. В Париже его утомляли беспрерывные посещения товарищей, их вечная болтовня, необходимость придумывать для них видимость работы, которой вообще было мало и которую они в большинстве исполняли плохо. В Польшу он взял с собой очередных «ближайших» друзей, Каменева и Зиновьева. Скоро там оказалась и Инесса Арманд.

Это был, вероятно, самый счастливый период во всей его жизни. Он жил то в Кракове, то в местечке Поронине. Говорил, что польская деревня напоминает ему русскую. Товарищей было гораздо меньше, чем в Женеве или в Париже, «склока» теперь проявлялась главным образом в письмах или в печати, — это тоже было гораздо приятнее. Такой тихой жизни он никогда не вел. В сущности, вся его жизнь за границей была с внешней стороны вполне мирной и даже «мелкобуржуазной». У него всегда были две чистенькие комнаты. Он ежедневно вставал в восемь часов утра, совершал натощак небольшую прогулку, затем завтракал и садился за работу, причем в его комнату никто не имел права в эти часы входить. В два обедал, потом снова работал, в пять уезжал из дому на велосипеде, обычно в окрестности. В Кракове близкие к нему эмигранты делились на «прогулистов» и «синематистов». Он считался крайним прогулистом. Позднейшие восторженные рассказы о том, будто «Ильич работал по 18 часов в сутки», были выдумкой. Он никак не был ленив, но работал не больше любого чиновника или служащего, скорее даже меньше. Прогулки, зимой еще катанье на коньках или, где было можно, на лыжах, отнимали много времени. Он очень заботился о здоровье: шутливо говорил, что здоровье члена партии — это «казенное имущество», которое растрачивать запрещается. По вечерам принимал очередных приятелей и болтал с ними, затем еще выходил опускать в ящик письма: нужно, чтобы уходили тотчас.

Инесса Арманд сделала большие успехи в партийной метафизике, разобралась кое-как в практических делах, уже знала, кого надо особенно ненавидеть. Ленин по-прежнему называл прохвостами громадное большинство русских и иностранных социалистов. Из иностранцев предметом его особенной ненависти был теперь Карл Каутский, который в дополнение к другим своим позорным поступкам отказался быть «держателем» русских партийных денег и третейским судьей в связанных с ними делах.

По-прежнему Ленин несколько мягче относился только к Максиму Горькому. Но и пролетарский писатель раздражал его. Главной причиной, по-видимому, была относительная скупость Горького. Он все жаловался на свои дела. «А вот что Вам жить не на что и печататься негде, это скверно», — писал ему как-то Ленин, верно, уже тогда не без недоверия: не мог не знать, что Горький, хотя и выходивший из моды в России, много зарабатывает и в отличие от него самого живет очень хорошо. Позднее писал и гораздо откровеннее: «Вы пишете: «Нам пора иметь свой журнал, но мы не имеем для этого достаточного количества хорошо спевшихся людей». Второй части этой фразы я не принимаю... Будь деньги, я уверен, мы бы осилили и теперь толстый журнал, ибо к я д р у сотрудников за плату привлечь можно м н о г о, раздав темы и распределив места». А в другой раз в большом раздражении написал Шляпникову, что у Горького «надо вытащить силком деньги: пусть платит тотчас и побольше», причем слова «побольше» и «силком» в письме подчеркнул.

Дело было, однако, не только в деньгах. Философские рассуждения «теленка» все больше приводили Ленина в ярость. Горький где-то объявил, что богоискательство надо «на время» отложить.

«Дорогой Алексей Максимович, — написал ему Ленин. — Что же это вы такое делаете? — просто ужас, право!.. Выходит, что Вы против «богоискательства» только «на время»!! Выходит, что Вы против богоискательства т о л ь к о ради замены его богостроительством!! Ну, разве это не ужасно, что у Вас в ы х о д и т такая штука? Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего. Говорить о богоискательстве не для того, чтобы высказаться против в с я к и х чертей и богов, против всякого идейного труположества (всякий боженька есть труположество — будь это самый чистенький, идеальный, не ископаемый, а построяемый боженька, все равно), — а для предпочтения синего черта желтому, это во сто раз хуже, чем не говорить совсем... Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая д е м о к р а т и ч е с к о й буржуазией, именно потому это — самая опасная мерзость, самая гнусная «зараза»... Развивал эту мысль очень подробно, со ссылкой на «католического попа, растлевающего девушек», на «попов без рясы», на «попов идейных и демократических», и заканчивал предположением, что Горький просто «захотел посюсюкать». Вероятно, в этом последнем предположении не очень ошибался.

Горький испугался, пошел на попятный и о богоискательстве ответил, что сам не может понять, как у него «проскользнуло» слово «на время»; но насчет богостроительства еще что-то «сюсюкал», — надо было и ограждать свою независимость: сам тоже мыслитель.

Судя по тому немногому, что известно об Инессе Арманд, можно предположить, что она без удовольствия слушала и о «труположестве», и о многом другом. Вероятно, лишь вздыхала по своему обыкновению. «Жалеете, грустите, вздыхаете — и только», — писал ей как-то Ленин. Он часто ей объяснял ее ошибки, — одной Инессе объяснял мягко, то есть без грубейшей брани. Она была неглупа, не боялась с ним спорить и порою удачно ему возражала, отмечала его логические противоречия. Старалась думать своим умом. Это его изумляло. «Люди, бо́льшей частью (99% из буржуазии, 98% из ликвидаторов, 60—70% из большевиков) не умеют д у м а т ь, а только з а у ч и в а ю т слова», — писал он. Иногда давал ей и ответственные поручения: «Я уверен, что ты из числа тех людей, кои развертываются, крепнут, становятся сильнее и смелее, когда они одни на ответственном посту, — и посему упорно н е в е р ю пессимистам, т. е. говорящим, что ты... едва ли... Вздор и вздор! Не верю! Превосходно ты сладишь!» Люди, говорившие «что ты... едва ли...», были, наверное, глупее Инессы Арманд. В спорах с ним она порою даже осмеливалась нападать на Энгельса. Хуже этого могли бы быть только нападки на самого Маркса. Но ей сходило и это.

На б л и з к у ю революцию он не очень надеялся. Балканская война, особенно вопрос об Албании, вызвавший обострение в отношениях между Россией и Австро-Венгрией, подала было ему надежду, однако лишь слабую. «Война Австрии с Россией, — писал он тому же Горькому, — была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятия, чтобы Франц-Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие».

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

I

В министерстве иностранных дел на Балльплатц «был страшнейший хаос» («herrschte das schrecklichste Chaos»), — говорит в своих воспоминаниях высокопоставленный австрийский дипломат. Все там, не исключая третьестепенных должностных лиц, вмешивались решительно во все. Один известный посол, не названный этим дипломатом, говорил ему, что, быть может, мировую войну затеял швейцар министерства.

В австрийском министерстве иностранных дел и не могло не быть полного беспорядка и разброда, так как он был в Вене везде (кроме ритуала Бурга и Шенбрунна): во всех областях государственного управления, в армии, в жизни, в литературе, в философии, даже в многоплеменной австрийской церкви. И лишь немногим дело было лучше в России с ее недавней революцией, во Франции с недавним делом Дрейфуса да и в очень многих других странах.

Хаосом объясняется и то, что историкам не удалось толком установить, кто именно толкнул Австро-Венгрию на войну. Обычно в этом — с большой долей справедливости — обвиняют министра иностранных дел графа Берхтольда. С той же относительной верностью, в Германии в этом обвиняли самого императора Вильгельма. По случайности в 1914-м году судьбы мира были в руках двух неврастеников.

О Берхтольде люди, его знавшие, оставили разные и противоречивые сведения. Одни находили, что он ленивый, равнодушный, мало знающий, почти ничего не читающий человек, во всем некомпетентный, не имеющий никаких идей и планов, «простая машина для подписывания бумаг». Другие видели в нем крайнего честолюбца, сознательно затеявшего мировую войну и руководившего австро-венгерской военной партией.

И то, и другое не может быть вполне верно... Летом 1914-го года граф Берхтольд, во всяком случае, не ленился и никак не был равнодушен. Бумаги он тогда не «подписывал», а составлял их лично от первого до последнего слова, часто не показывая их даже тем, кому он был совершенно обязан их показывать. Знаменитый ультиматум Сербии, вызвавший мировую войну, он сочинил сам и, прибегая к обману, не показал его императору Францу-Иосифу до отправки в Белград: опасался, что император не даст на него согласия или, во всяком случае, очень его смягчит. Берхтольд дал честное слово германскому правительству, что покажет ему предварительно этот ультиматум, но очень хитро устроился так, чтобы оно ознакомилось с документом слишком поздно для каких бы то ни было поправок. Своей бумаге он нарочно придал такую форму, чтобы Сербия никак не могла ее принять: сам это говорил с почти идиотическими самодовольством и гордостью.

Но, с другой стороны, он не мог быть руководителем военной партии, так как по самому своему неврастеническому, изменчивому характеру просто не мог быть руководителем чего бы то ни было. Не был он и честолюбцем. Берхтольд и министром иностранных дел стал очень неохотно: предпочел бы должность главы придворного ведомства, не связанную ни с какой ответственностью и не обещавшую никакой славы. В смысле честолюбия с него, по-видимому, было совершенно достаточно того, что он граф Берхтольд фон унд цу Унгаршитц и вдобавок самый элегантный человек Европы. После мировой войны он в иностранных отелях танцевал на балах, вызывая изумление туристов: «Тот самый!»

В 1913—14 годах «больным» вопросом Европы стали балканские дела. Такие больные вопросы неизменно бывали во все времена. Они улаживались или нет, но в обоих случаях скоро забывались и заменялись другими. Самыми мучительными из всех тогда считались «проблема Албании» и «проблема великой Сербии». Об албанских делах никто из государственных деятелей того времени решительно ничего не знал. Однажды, не выдержав, британский министр иностранных дел Грей, которому они по их непонятности смертельно надоели, предписал своим подчиненным докладывать ему о них «возможно реже». Сербские дела были известны лучше. Сербия после двух победоносных войн — первой, в союзе с Болгарией, против Турции, второй, при полускрытой поддержке Турции, против Болгарии, — стала могущественной державой: в ней теперь было четыре с половиной миллиона жителей. В Европе глубокомысленно обсуждался вопрос: может ли Австро-Венгрия допустить существование на своей границе столь мощного государства и не грозит ли это ей гибелью?

Император Франц-Иосиф, не желавший по-прежнему слышать о войне, болел и все дряхлел. Таким образом, очень усиливалось значение главных австро-венгерских сановников. Они, естественно, расходились в мнениях. Конрад фон Гетцендорф требовал, чтобы вся Сербия была включена в империю Габсбургов, которая из двуединой стала бы триединой. По его мнению, можно было бы либо добиться от Сербии добровольного на это согласия (вероятно, с его точки зрения это был менее приятный исход), либо следовало просто ее завоевать и присоединить насильно (более приятный исход). Против этого был венгерский министр-президент граф Тисса: он думал, что в империи уже и без того слишком много славян и что «двуединой» совершенно достаточно, а то при пестром племенном составе государства можно докатиться и до «десятиединой» с десятью правительствами и с десятью парламентами. В 1913 году Тисса решительно высказывался против войны (что́ ему не помешало через год столь же решительно высказаться за нее). Он видел спасение Австро-Венгрии в «ориентации» на Болгарию: очевидно, присоединение к центральным державам этого только что разбитого и обессиленного небольшого государства могло спасти Австро-Венгрию и Германию. И, наконец, граф Берхтольд занял промежуточную позицию: он войны не хотел, но желал для обуздания сербского страшилища ввести в австро-венгерскую «орбиту» какую-то задуманную им «лигу» из небольших стран. Все эти «ориентации», «лиги» и «орбиты» заполняют дипломатическую переписку и газетные передовые того времени.

Берхтольд считался и был убежденным сербофобом, но с большой вероятностью можно предположить, что он совершенно презирал балканские государства вообще. Все они были монархиями, но еще не очень давно были в рабстве у турок. В Румынии, Греции, Болгарии по крайней мере были монархи из «хорошего дома»: выписанные из-за границы Гогенцоллерны, Виттельсбахи, Кобурги. В Сербии же царствовал Бог знает кто: правнук гайдука, какого-то Черного Георгия. Быть может, «сербофобом» Берхтольд стал больше по методу исключения: Вильгельм II был в родстве с румынским и греческим королями и лично благоволил к ним.

Еще меньше Берхтольд мог считать государственным человеком главу сербского правительства: как говорили, Пашич в молодости был близок к Бакунину и будто бы был в Швейцарии его «любимым учеником», — иными словами, это был просто разбойник. За несколько месяцев до войны Пашич отправился в Петербург и там просил для королевича Александра руки одной из великих княжен. «Царь с улыбкой мне ответил, — докладывал Пашич, — что возражений не имеет, но что у него правило: предоставлять детям самим выбор. Когда же я выходил, царь проводил меня до двери и подчеркнуто, повторно просил кланяться королю».

Вероятно, об этом было доложено Берхтольду как о полном согласии на брак, и он мог только изумленно негодовать: если дочь русского царя выходит за Карагеоргиевича, то это конец мира. Тогда же по горячей просьбе «ученика Бакунина» царь почти согласился подарить Сербии 120 000 русских винтовок. По тем временам это могло считаться действием недоброжелательным в отношении Австро-Венгрии. Но граф Берхтольд тогда еще никак не собирался воевать.

По всем глубоким социологическим теориям, убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда было лишь поводом для мировой войны. Настоящие причины были совершенно другие: «англо-германское экономическое соперничество», «борьба за рынки», «внутренние противоречия капиталистического строя» и т. п. Однако при чтении почти простодушной переписки государственных людей того времени просто напрашивается другой вывод: сараевское убийство было не поводом, а именно причиной катастрофы. О «борьбе за рынки» они не писали и не говорили, а о «внутренних противоречиях капиталистического строя» и не слышали: быть может, даже таких слов не знали.

В тот момент, когда об убийстве наследника австро-венгерского престола узнал второй по значению неврастеник Европы, с ним мгновенно произошла совершенная перемена. Сразу исчезли его прежние мысли о лиге, сложные и глубокие дипломатические проекты. Он принял твердое решение: надо начать войну, начать ее возможно раньше, лучше всего немедленно. При этом он точно забыл о соблазнительных проектах Гетцендорфа. Начальник генерального штаба хотел присоединить к империи всю Сербию; Берхтольд тотчас после сараевского преступления совершенно перестал об этом думать. Он объявил сначала сослуживцам, затем германским политическим деятелям, несколько позднее, в пору ультиматума, правительствам всех стран, что Австро-Венгрия ни о каких аннексиях не думает. Она готова гарантировать неприкосновенность сербской территории (за исключением разве очень незначительных пограничных пунктов — да и на этом он не настаивал). Таким образом отпадала и та цель войны, которую ставил себе Гетцендорф и которая с его точки зрения была разумной (он сам слушал с изумлением эти заявления министра иностранных дел). Теперь единственная цель Берхтольда заключалась в том, чтобы поддержать и поднять австро-венгерский престиж, проучить Белград, положить конец террористическим действиям и страшному призраку Великой Сербии. Все его действия от дня убийства эрцгерцога до ультиматума имели целью войну и только ее. По-своему они были порою хитры, как бывают хитры поступки сумасшедших. Он довольно искусно влиял и на Тиссу (все еще носившегося с Болгарией) и особенно на Вильгельма, без согласия которого, разумеется, и думать о войне не приходилось.

Первый европейский неврастеник был в последнее время в самом благодушном и миролюбивом настроении. Германия процветала,— этого никто не мог отрицать, даже социал-демократы. Трон Гогенцоллернов был так прочен, что мысль об его возможном и близком падении просто не могла возникнуть у здорового человека. Вильгельм чувствовал себя и физически хорошо. За год до войны он выдал замуж дочь, на свадьбу приехали русский царь и английский король, свадебные торжества были не только пышные, но и очень веселые, отношения между тремя монархами были самые дружеские, немногочисленные политические разговоры сошли без малейших разногласий. Император полувопросительно сообщил своим гостям, что турки просят его прислать германскую военную миссию для обучения турецких войск; оба гостя признали это совершенно естественным, а царь сверх того посоветовал туркам как можно лучше укрепить линию Чаталджи на случай, если болгары пожелают захватить Константинополь (они все трое сходились в нерасположении к Фердинанду Болгарскому; в частности, Вильгельм II совершенно не переносил своего будущего союзника).

Германский император, очевидно, забыл то, что говорил бельгийскому королю, и не собирался подражать Фридриху и Наполеону. Его посол в Вене Чиршки доложил о каких-то опасных планах Австро-Венгрии. Император справедливо написал на полях доклада: «Совершенное сумасшествие! Ведь была бы война!»

В конце июня 1914 года Вильгельм выехал на регаты в Киль. 28-го в море, к его яхте неожиданно подошла шлюпка. У руля стоял адмирал Мюллер, высоко держа в руке какую-то бумагу. Причалить было трудно. Мюллер положил бумагу в портсигар и бросил на борт. В ней было сообщение об убийстве эрцгерцога.

Совершенно потрясенный император велел яхте тотчас направиться к берегу. Разумеется, его волнение и негодование понятны. Весь мир был потрясен и почти весь мир возмущен сараевским делом. Вильгельм вдобавок сердечно любил эрцгерцога и его жену. Совсем недавно он их посетил в Конопиште, и их давняя дружба еще окрепла. Но и политическое настроение у Вильгельма совершенно изменилось с такой же быстротой, как у Берхтольда: пора обуздать Сербию, надо поддержать престиж центральных империй, пусть будет война. Разница заключалась в том, что австрийский министр иностранных дел был неврастеник, с внешней стороны довольно холодный и сдержанный; кроме того, Берхтольд был очень связан: он должен был считаться с Францем-Иосифом, с Тиссой, со многими другими. Вильгельм же у себя был почти всемогущ, никаких сдерживающих начал у него никогда не было.

Во дворце его ждали многочисленные доклады. Граф Берхтольд сообщал, что, по его сведениям, двенадцать сербских террористов отправились в Вену: хотят на похоронах эрцгерцога убить и германского императора. Возможно, эти сведения были верны, но, может быть, он их просто сочинил, чтобы усилить ярость Вильгельма. Этой своей цели достиг. Повидимому, не хотел также, чтобы император встретился с Францем-Иосифом. Германские министры советовали императору не ездить на похороны. Он и не поехал. Писал на докладах резолюции, которые два по крайней мере историка назвали психопатическими. Называл всех сербов убийцами и бандитами. Говорил, что благодаря им в большой опасности самый принцип монархии и что прежде всего русский царь обязан теперь поддерживать Австро-Венгрию, а никак не «сербских цареубийц». Когда тот же его посол Чиршки стал предостерегать Берхтольда от слишком поспешных мер, Вильгельм написал на полях доклада: «Кто ему это поручил? Это очень глупо! И это совершенно его не касается!.. Пусть Чиршки сделает мне удовольствие и бросит все эти глупости. С сербами надо покончить и возможно скорее. Это само собой разумеется, это банальные истины».

Никто из его приближенных не решался прямо ему сказать, что это не совсем «само собой разумеется». Разгром Сербии никак не мог бы прекратить действия сербских террористов; напротив, он, наверное, им способствовал бы. «Престиж», «дипломатическая победа» были все равно обеспечены, так как в Белграде шли на всевозможные, даже «унизительные», уступки. Момент для европейской войны был весьма для Германии невыгодный, во всяком случае, в сто раз менее выгодный, чем в 1905 году, когда Россия была занята войной на Дальнем Востоке, а нейтралитет Англии был совершенно обеспечен. Но возможно, что никто и не хотел ему это говорить. Не только в Берлине, но и в Европе вообще было у людей, особенно у образованных, странное чувство: мир, конечно, прекрасная вещь, но не будет большой беды, если и возникнет война,— ново, занимательно, наша возьмет, нет худа без добра. Это никак не означало, что люди хотели войны. Но без этого смутного, полусознательного чувства война была бы невозможна, несмотря на Берхтольдов и Гетцендорфов разных стран, центральных и не центральных.

Другого мнения, естественно, держались некоторые из самых влиятельных генералов. Они думали, что будет большая беда, если война не возникнет. Адмирал Гаус, командовавший австрийским флотом, спрашивал на Балльплатц: «Не можете ли вы устроить нам войну?» («Können Sie uns den Krieg nicht arrangieren?»). Начальник германского генерального штаба Мольтке говорил своему австро-венгерскому собрату: «Отклоните новые авансы Англии, ставящие себе целью поддержание мира. Оставаться твердой перед лицом европейской войны — это последний шанс спасения Австро-Венгрии. Германия ее поддержит без условий». Мольтке не имел ни малейшего права давать Гетцендорфу политические советы. Гетцендорф не имел ни малейшего права отклонять или принимать английские авансы. Но они по крайней мере знали, чего хотят. Штатские люди и этого не знали и были в громадном большинстве совершенно растеряны.

Германский канцлер Бетман-Гольвег посылал во все стороны советы, из которых каждый противоречил другим. Быть может, выпивши, в разговоре с британским послом Гошеном назвал договор о нейтралитете Бельгии «клочком бумаги». В трезвом виде сказать это было невозможно, хотя это было чистейшей правдой: очень легко было понять, как это слово будет использовано против Германии (разговор был вечером, канцлер, по донесении в Лондон Гошена, был в «большой ажитации» и говорил безостановочно двадцать минут). Можно предположить, что некоторую, не очень, конечно, большую, роль вино или замученность невыспавшихся людей сыграли в те дни и в других странах. Французский посол в Лондоне Камбон 30 июля потребовал от британского правительства заявления, что Англия вмешается в войну, если Германия нападет на Францию. Высокопоставленный британский государственный деятель ему ответил, что английское общественное мнение равнодушно к австро-русскому соперничеству и, хотя он лично стоит за интервенцию, но говорить о ней преждевременно, — и в качестве одной из причин указал, что некоторые члены британского кабинета имеют денежные интересы в Германии.

«Кончилось» все это сценой в русском министерстве иностранных дел у Певческого моста. В шесть часов вечера, 1 августа, германский посол

граф Пурталес посетил Сазонова и «с признаками все росшего волнения» три раза спросил, согласится ли Россия отменить свою мобилизацию. Сазонов тоже три раза ответил, что Россия отменить мобилизации не может. Тогда Пурталес вынул из кармана бумагу с заранее приготовленным объявлением войны. Затем бросился Сазонову на шею и заплакал; добавил только, что говорить о чем бы то ни было «не в состоянии». От волнения и по рассеянности он даже передал русскому министру две бумаги с двумя разными редакциями.

В восторге от войны были Гетцендорф и Ленин. Оба в известном смысле были правы, каждый на определенный и довольно длинный отрезок времени. Ленин преуспел уже через три года. Гетцендорф лично потерпел крушение, но открылся в истории столь приятный гетцендорфам долгий период войн. Плакать же были основания никак не у одного Пурталеса. Покончила с собой старая Европа, все же гораздо лучшая, чем та, что пришла ей на смену.

Через несколько часов о войне стало известно и в самых отдаленных странах. Одно нейтральное издание поместило картинку: ключарь потустороннего мира встречает эрцгерцога Франца-Фердинанда:

«Ваше высочество, за вами сюда ожидается большая свита».

II

Традиции старой Европы сказались и в том, что после объявления войны в 1914-м году дипломаты покидали столицы, в которых представляли свои страны, совсем не так, как это было в 1939-м. Особенно это проявилось в Австро-Венгрии.

Тонышевых провожали на вокзал не только дипломаты нейтральных стран, но и многие австрийские друзья. Все выражали надежду скоро встретиться в более счастливых условиях. Войны между европейскими государствами велись в последнее полустолетие столь редко, что выработанного порядка таких отъездов не было и прецедентов в министерствах и посольствах никто не помнил. Просто все вели себя как цивилизованные люди. Из австрийского министерства иностранных дел корректно запросили русское посольство, в каком направлении члены посольства желают ехать, и, несмотря на тотчас начавшийся железнодорожный хаос, специально назначенное должностное лицо позаботилось о поездах и спальных вагонах. Никаких враждебных манифестаций со стороны сумрачной толпы на вокзале не было. Некоторые нейтральные дипломаты, крепко пожимая руку Тонышеву, шепотом желали союзникам победы. Почти все привезли Нине Анатольевне цветы или конфеты. Дамы, прощаясь, прослезились или даже плакали. Нервы у всех были очень взвинчены: не было войн — и вдруг война! Что теперь будет? Но, несмотря на общую любезность, в разговорах все-таки чувствовалось стеснение. — Тонышевы вздохнули свободнее, когда поезд тронулся и с перрона послышались последние «Bon voyage!», «Good-bye!» и даже «Auf Wiederschauen!». *

Вернуться в Россию из Вены было бы проще и скорее через Константинополь. Но Турция могла со дня на день объявить России войну, и Тонышевы, как большинство русских, предпочли долгий, утомительный путь через Швейцарию, Францию, Англию, Норвегию и Швецию. Оба они были в последние дни очень взволнованы — и радостно, и тоскливо, — радость преобладала над тоскою. С той минуты, как Англия объявила войну Германии, они в победе союзников не сомневались. Алексей Алексеевич был почти уверен, что Австро-Венгрия обречена на скорую гибель. Это ему радости не доставляло. Напротив, было тяжело, что катастрофу переживет престарелый Франц-Иосиф, которого он так почитал.

Естественно, он думал и о том, что ему делать после возвращения на родину. В первый же день в большом возбуждении сказал жене, что, если даже его не призовут, то он добровольцем пойдет на войну. Нина Анатольевна, только об этом думавшая, ответила, еле удерживая слезы:

— Как ты найдешь нужным... Я тебя удерживать не буду. Но едва ли тебя призовут. Ты уже не так молод. Верно, и верхом ездить разучился.

— Нет, не разучился, и мне всего сорок три года.

* счастливого пути (франц.), до свидания (англ., нем.)

— Как ты найдешь нужным. По-моему, от тебя в твоем драгунском полку пользы будет немного. Можешь ли ты скакать в кавалерийских атаках? Не будешь ли ты полезнее как дипломат? Тебе скоро дадут другое назначение.

— Едва ли. Из-за войны постов стало значительно меньше, а дипломатов теперь освободилось очень много.

— Делай, как хочешь... Но ведь мы и вернемся в Россию в лучшем случае через три-четыре недели? Между Англией и Норвегией пароходы ходят теперь редко, и надо будет ждать долго. А война очень скоро кончится. Наверное, она уже кончится к тому времени, когда ты будешь готов к строю?

— Это возможно. Тогда это будет не моя вина.

Больше они об этом не говорили. В поезде Алексей Алексеевич неожиданно вспомнил о предсказании майнцской колдуньи.

— Я, кажется, тебе это уже когда-то рассказывал. Это тогда меня изумило: ведь он совсем неглупый человек. Очень характерно это сочетание ума и легковерия. Может, в самом деле Вильгельм начал войну из-за майнцской колдуньи!.. Ах, хороши оказались мы все, дипломаты, со всеми этими санджаками и Мюрцштегами!

Нина Анатольевна говорила, что уж, во всяком случае, он ни в чем себя винить не может. Про себя произвела подсчет: 1914 плюс 1 плюс 9 плюс 1 плюс 4. Выходило: 1929. Она не знала, к чему отнести этот год: «Умрет Вильгельм? Алеша станет министром? В России создастся ответственное правительство?.. А вот Вены мы больше, верно, никогда не увидим!.. Нашу обстановку потом перевезем, да куда?»

В дороге Алексей Алексеевич готовил записку для министерства. Он до отъезда записывал в дневник все, что видел и слышал в последние дни. Слышал он очень много. Видел двух дипломатов, только что побывавших в Берлине. Они в один голос утверждали, что Вильгельм II находится в состоянии полной невменяемости. Об его гениальности никто открыто не говорил, но все признавали, что он очень опасный и страшный враг. Тонышев записал и разные восклицания, приписывавшиеся германскому императору, и то, что говорили Бетман-Гольвег, Берхтольд, другие высокопоставленные лица, и мнения, высказывавшиеся осведомленными людьми о германских и австрийских генералах. Гетцендорфа почти все считали замечательным полководцем, о Мольтке говорили, что он унаследовал военный гений своего дяди. Из русских генералов иностранцы очень высоко ставили Сухомлинова и Ренненкампфа.

Втихомолку говорили о Франце-Иосифе. По слухам, он уже не все понимал, резолюции на докладах писал карандашом, дрожащей рукой, так что и разобрать было трудно. Не переносил Гетцендорфа, которого считал — как будто он один тогда — глупым человеком и вдобавок довольно плохим генералом (много позднее Людендорф писал, что подготовленная Гетцендорфом австро-венгерская армия оказалась «неполноценным орудием борьбы» — «kein vollwertiges Kampfinstrument»). Все же под сильнейшим давлением со всех сторон престарелый император дал согласие на войну.

Путешествовали Тонышевы медленно, но вполне благополучно. В Париже и в Лондоне были тоже интересные встречи и разговоры. Алексей Алексеевич был принят самим Греем, который рассказывал ему о положении в России. Положение было прекрасное, весь народ, все партии объединились для борьбы с врагом. Не только о революции, но ни о каких беспорядках и речи не было. Второстепенное должностное лицо из Форейн оффис пригласило Алексея Алексеевича на обед в свой клуб и высказывало мнения о русской душе. Полное спокойствие в Англии еще подняло настроение Тонышевых, хотя отсутствие всеобщей мобилизации, толпы молодых, здоровых людей на улицах (в Париже они не видели ни одного) и формула «Business as usual!» * не очень им понравились. Поразило их предсказание нового военного министра, лорда Китченера: война продлится три года. «Уж не сошел ли он с ума?» — изумленно спрашивала мужа Нина Анатольевна. — «Нет, конечно, не сошел с ума, но он, верно, находит, что так говорить полезно: пусть люди записываются в армию». «По-моему, они именно тогда подумают, что спешить незачем».

* дела идут как обычно (англ.)

Английские газеты печатали военные сообщения обеих сторон. На Западном фронте немцам выпали большие успехи, бельгийские крепости пали, германские армии шли на Париж. Но это Тонышевых не пугало. Русские войска имели не меньшие успехи в Австрии и вторглись в Восточную Пруссию. Алексей Алексеевич и Нина Анатольевна с гордостью говорили друг другу, что именно русская армия возьмет штурмом Берлин. Победа под Гумбинненом привела их в совершенный восторг: они за обедом выпили шампанского.

Единственная опасная часть дороги, из Ньюкасла в Берген, прошла тоже благополучно. В Северном море действовали германские подводные лодки; все говорили о минах Уайтхэда, о минных полях, о тральщиках, — теперь штатские люди постоянно употребляли военные слова. Ночью пассажиры не раздевались и держали рядом с собой спасательные пояса. Погода была очень плохая. Пароход шел без огней, и его сильно качало. Нина Анатольевна лежала больная в гостиной. Алексей Алексеевич, сидя рядом с ней, говорил, что нет худа без добра: в такую погоду и подводным лодкам работать трудно. Около полуночи вдруг раздался страшный грохот. Все вскочили с мест, произошел переполох. Но оказалось, что это от качки свалился в столовой шкаф с посудой.

В великолепном Стокгольме, жившем почти нормальной жизнью, они в «Гранд-Отеле» набросились на немецкие газеты. Их уверенный тон очень раздражил Тонышевых. В Германии тоже не сомневались в полной победе: падение Парижа обеспечено, скоро будет заключен победный мир. Оказался, кроме Мольтке, еще военный гений: фон Клук. «Становится наслаждением быть немцем!» — писал Гарден, и даже ненавидевшие его антисемитские газеты сочувственно цитировали его статьи. Алексей Алексеевич только пожимал плечами: «Совсем посходили с ума, проклятые швабы»! Перед отъездом в Россию он прочел о сражении под Танненбергом, о самоубийстве генерала Самсонова и был совершенно потрясен.

Нина Анатольевна прослезилась на русской границе. Тонышев задержался в Петербурге. Ему надо было побывать в министерстве, сделать устный доклад, представить записку, выяснить свое положение.

В первый же час после приезда Нина позвонила из «Астории» в Москву. Телефонистка предупредила ее, что по-немецки говорить запрещается. «Помилуйте, барышня, почему я, русская, стала бы говорить с моим братом по-немецки!» — почти с негодованием ответила она.

Разговор был трогательный. Дамы, давно не видевшие друг друга, плакали. Дмитрий Анатольевич отбирал у жены трубку и тоже что-то взволнованно кричал. Впрочем, говорили о пустяках. Нина Анатольевна от волнения даже зачем-то спросила, который час.

— Я завтра же к вам выеду! Можно ли остановиться у вас?.. Ради Бога, не сердись, я спросила по глупости... Спасибо, да пока я одна: у Алеши еще здесь дела, будто бы страшно важные. Я столько вам расскажу!

— А мы-то тебе! Вы оба не можете себе представить, что у нас происходило. Ну, слава Богу, что вы благополучно приехали, мы так за вас волновались! Эти немецкие зверства!

III

В Москве взрыв патриотического воодушевления был необычайный. Никогда еще в России, по крайней мере с 1812 года, не было такого согласия и единодушия между людьми. По этой ли причине, вследствие непривычного отсутствия «внутреннего врага», по свойствам ли русского характера или из-за необъятных размеров страны, в Москве и настроение было более веселое, чем в Лондоне, неизмеримо более веселое, чем в Париже.

Чуть ли не каждый день происходили совещания в разных группах интеллигенции. Все были совершенно уверены в близкой победе, все теперь благодушно рассказывали анекдоты о министрах, все ожидали перехода к настоящему конституционному правлению и создания ответственного перед Думой правительства. Кое-кто предлагал практические мероприятия. Ласточкин один из первых подал мысль о мобилизации всей русской промышленности. Как инженер и экономист, он представил записку, имевшую очень большой успех. Ему было поручено разработать подробный план.

Дмитрий Анатольевич пожертвовал Красному Кресту столь большую сумму, что денег на его текущем счету не хватило, и он в первый раз в жизни заключил в банке заем. Татьяна Михайловна от него не отставала, — он еще несколько лет тому назад открыл для нее особый банковый счет, к некоторому ее недоумению: «Помилуй, Митенька, зачем мне отдельные деньги? Я даже не знаю, как пишутся чеки!», — говорила она. «Это нехитрое искусство, я тебя научу», — смеясь, отвечал Ласточкин. Теперь она давала дамскому комитету деньги на подарки воинам и тайно помогала нуждавшимся знакомым, преимущественно семьям призванных, сразу оказавшимся без средств. Как и можно было думать, у большинства русских интеллигентов никаких сбережений не оказалось, несмотря на то, что почти все зарабатывали недурно.

Работы в совещаниях было немало, но эта работа все же не удовлетворяла Дмитрия Анатольевича, и ему было совестно перед людьми, отправившимися на фронт. Несмотря на свой возраст, он в первую же неделю отправился за справками в комендантское управление, где у него были знакомые, как почти везде в Москве. Там ему сказали, что о призыве второго ополчения не может быть речи: людей больше, чем нужно, и война кончится гораздо раньше, чем могут потребоваться ратники.

— Вот будут военные школы ускоренного выпуска, — сказал ему знакомый полковник. — Может быть, офицеры и понадобятся, хотя мало будет, правду сказать, толка от таких офицеров. Если вас примут, что ж, милости просим. Не скрою от вас, что в нынешнюю войну среднюю продолжительность жизни прапорщика в пехоте мы определяем предположительно в три месяца. Вы ведь инженер, для вас, несомненно, найдется другая работа, где вы будете гораздо полезнее. Да вы и теперь в Москве полезны.

Это ему говорили и штатские люди. Специалисты знали, что русская тяжелая промышленность недостаточно развита и что придется в самом спешном порядке строить новые военные заводы:

— Вот тогда такие люди, как вы, будут цениться на вес золота.

— Не думаю. Я не очень компетентен в устройстве военных заводов.

— Во всяком случае, более компетентны, чем для службы прапорщиком запаса.

Это соображение было основательно. Дмитрий Анатольевич себя проверил: «Нет, шкурничества тут нет никакого». Все же он, независимо от одушевления, чувствовал и немалую тревогу. Гибель самсоновской армии его потрясла. Несмотря на смягчения в официальных сообщениях и в газетных статьях, правда скоро стала известна. В полной победе никто еще не сомневался, но теперь уже говорили, что война продлится дольше, чем первоначально предполагалось. «Восемь месяцев, никак не больше, но, вероятно, и не меньше», — признал известный экономист на основании произведенного им точного расчета финансового и хозяйственного потенциала центральных держав.

— Да как же турки тоже объявляют нам войну? — спросил его Ласточкин. — Значит, они идут на верную гибель?

— Хороши, должно быть, турецкие экономисты, — ответил, пожимая плечами профессор.

Дмитрий Анатольевич говорил с женой и сестрой. Обе горячо поддерживали мнение полковника.

— Все это правильно, но как-то выходит, что у нас воюют только кадровые офицеры, серая крестьянская масса и только небольшая часть интеллигенции, преимущественно молодежь, — с недоумением сказал Ласточкин.

— Если и так, то это лучше, чем во Франции, — отвечала Нина. — Нам в Париже говорили, что какой-то знаменитый химик, кажется, по фамилии Гриньяр, призван в пехоту рядовым и охраняет в тылу мосты! Это уж совершенно бессмысленно!

Алексей Алексеевич смущенно молчал. Ему в министерстве сказали, что отпустить его не могут, что работа для него скоро будет. А в комендантском управлении в Петербурге он узнал, что, если его отпустят, то он будет назначен на этапный пункт. «Это значит в глубоком тылу?» —

спросил Тонышев. «В тылу, конечно, но не обязательно в глубоком. Для фронта вы не годитесь, теперь и методы не те, что были двадцать лет тому назад, когда вы отбывали воинскую повинность».

Люда тоже куда-то ездила, справлялась о возможной работе для женщин. Ей сказали, что работа может быть только санитарная и что прежде всего необходимо пройти курс для сестер милосердия: такие курсы скоро откроются. Кровь и грязь больниц, санитарных поездов были Люде противны. Она и вообще чувствовала себя растерянной. Кооператоры никогда ни о каких войнах не думали. С большевиками она уже несколько лет не поддерживала отношений, но стороной слышала, что растеряны и московские большевики; от Ленина не получили никаких инструкций и даже не знали, что с ним и где он находится: вероятно, в Австрии интернирован.

Из Петербурга скоро приехал в Москву и Рейхель, тоже по связанным с войной делам. Он был в мундире военного врача, но его оставили в Петербурге для производства лекарств. К своему мундиру он относился с насмешкой и почти так же относился к войне. Вдобавок был убежден в непобедимости Германии. Разговор с ним был очень неприятен и Ласточкиным, и Тонышевым. Он с ними пообедал, узнав предварительно, что Люды не будет. Тонышевы тотчас после обеда ушли; ушла и Татьяна Михайловна.

— А я, напротив, убежден, что Германия будет совершенно разгромлена,— сказал Дмитрий Анатольевич.

— С чем тебя и поздравляю. Но блестящая баталия при Танненберге как будто об этом не очень свидетельствует.

— Ты точно этому рад, Аркаша! «Блестящая баталия»!.. Наши войска проявили истинный героизм. Мы все-таки спасли Францию, дав ей возможность одержать огромную победу на Марне.

— Хороша огромная победа! Твой Жоффр узнал о ней из газет.

— Да ведь это неправда и нехорошая неправда! Во Франции справедливо пишут о русском rouleau compresseur* Мы опять перейдем в наступление, и скоро Германия будет, повторяю, разгромлена.

— День в день «через восемь месяцев», как пишет тот болван?

— Он никак не болван, его расчет очень обоснован... Я вообще перестал тебя понимать, Аркадий!

— Я ни минуты в этом не сомневался. Да если и победят Германию, то невелика радость в том, что миллион людей съедят черви раньше, чем полагается.

— Люди погибнут, но идея восторжествует... Ты стал уж очень материалистически относиться к жизни.

— Я и всегда так к ней относился. Знаю, что теперь не в моде быть материалистом, даже естествоиспытатели открещиваются и конфузятся или делают такой вид. Но я не конфужусь. Да, я материалист. Ты нет?

— Нет... А в бессмертие души ты совершенно не веришь? — быстро, неожиданно для себя, спросил Ласточкин.

— Совершенно не верю. Неужели ты веришь в эту ерунду?

— Я не могу ни утверждать, ни отрицать то, что знанию недоступно.

— Уж будто? Пониманию, во всяком случае, доступно. Если верить в бессмертие души человека, то логически надо признать, что бессмертны также блоха или удав.

— И ты вполне удовлетворен своим миропониманием?.. И своей жизнью? — спросил Дмитрий Анатольевич, ничего в последние годы не знавший об интимной жизни Рейхеля. Знал только, что он по-прежнему не был женат. «Верно, какая-нибудь связь у него есть?» — предполагал он в те, все более редкие минуты, когда думал о своем двоюродном брате.

— Это совершенно другой вопрос, не имеющий с миропониманием ничего общего. А мое миропонимание ты давно знаешь. Как это Шопенгауэр говорил? «Врач видит человека во всей его слабости, адвокат во всей его низости, а священник во всей его глупости». Работой же своей я доволен.

— Рад за тебя. Вот бы ты открыл средство борьбы с раком! — сказал с улыбкой Ласточкин, прекращая неприятный разговор.— Ну, хорошо, а что в Петербурге говорят о будущем мире?.. Не знаешь ли ты, кстати, где теперь находится граф Витте? Он все-таки неизмеримо умнее наших нынешних государственных людей и был бы, верно, очень полезен при заключении мира.

— По случайности я от кого-то слышал. Война застала его во Франции, в Люшоне. Мне говорили, что он пришел в дикое бешенство и осыпал за глаза грубейшей бранью всех министров всех стран.

— Это на него похоже,— сказал со вздохом Ласточкин.

* паровом катке (франц.)

IV

Появились Военно-промышленный комитет, Земский союз, Союз городов. Ласточкин работал все больше. Ему полагался для поездок на фронт мундир с погонами военного чиновника. Заваленный теперь заказами, лучший военный портной Комаров в виде исключения сшил мундир в несколько дней. Ласточкин смущенно показался в нем своим дамам. Они веселились, но хвалили. Люда говорила, что он носит мундир прекрасно: «Просто гвардеец!» Татьяна Михайловна шутливо советовала купить заодно и какой-нибудь орден. «Так будет еще красивее». По требованию дам Дмитрий Анатольевич даже снялся в мундире у фотографа, и карточки вышли превосходные. Одна немедленно оказалась на полке в будуаре у жены, рядом с его карточкой на верблюде у пирамид: когда-то ездили вдвоем в Египет. Было на полке еще и немало других его фотографий, тоже обычно оставшихся от их путешествий.

Он ездил на фронт то для деловых переговоров с разными командующими, то для раздачи подарков солдатам. На фронте его мундир такого успеха не имел. Ему казалось, что генералы смотрят на него с усмешкой, и он, верно ли или нет, толковал про себя их чувства: штафирка, не умеющий носить мундир, вероятно, очень богатый, живущий в тылу с большим комфортом! Все же принимали его очень любезно и, что в первый раз его изумило, говорили с ним откровенно, не стесняясь в выражениях: очень ругали ведомство снабжения, еще больше военного министра Сухомлинова, а некоторые и самых высокопоставленных людей. Как будто искали опоры у «общественности» — это слово теперь беспрестанно повторялось в разговорах и в газетах.

Возвращаясь с фронта, он делал секретные доклады в тесном кругу. Оговаривался, что круг его наблюдений ограниченный, сообщал, что дух на фронте гораздо лучше, чем в тылу, где рестораны были переполнены и лилось шампанское, подававшееся в кофейниках. Но, передовая слова генералов, он делился своей тревогой. Его слушали озабоченно. В докладе после третьей поездки Дмитрий Анатольевич прямо сказал, что на фронте ругательски ругают в ы с ш е е п р а в и т е л ь с т в о, а о Распутине выражаются не иначе, как самыми непристойными словами, и грозят его без суда повесить, если он посмеет появиться в Ставке. Этот его доклад произвел сильное впечатление.

Все говорили, что общественность должна взять дело войны в свои руки. Говорил это и Ласточкин. Но не мог не думать, что, как ни плохо работает правительство, не так уж хороша и общественность. «Да это и вполне естественно, к т а к о й работе у нее уж подготовки нет ни малейшей. Что ж, у нас какие-либо особые таланты? Или чудом влияет какая-то общественная благодать? Увы, это вздор. И заводы мы строим не медленнее, не хуже, но и не быстрее, не лучше, чем их строит правительство. И деньги не мы достаем посредством добровольных пожертвований, а это те же казенные средства, поступления от налогов и займов, то, что правильно называется народными деньгами. Наш труд? Да, мы его отдаем. Во многих случаях бескорыстно»,— думал он, с неудовольствием вспоминая, как загребают деньги многие фабриканты да еще определяют на безопасную службу членов своих семейств и своих более молодых приятелей. Об одном крупном московском заводчике говорили, что он наживает около миллиона рублей в м е с я ц.

Было неприятно и то, что теперь еще больше прежнего богател он сам, и все по той же причине: теперь уже бешено поднимались в цене принадлежавшие ему давно паи разных промышленных предприятий. «Что же я тут могу сделать? — говорил жене Дмитрий Анатольевич.— Заводы

завалены военными заказами. Ты ведь знаешь, что я жертвую немало, но не выбрасывать же деньги за окно!» Татьяна Михайловна с ним соглашалась; ей тоже было совестно; автоматически стали расти и их расходы; они теперь проживали гораздо больше, чем еще недавно, и не только из-за увеличения стоимости жизни: для богатых людей она чрезвычайно отставала от роста доходов. «Жертвуй еще больше, нам и не нужно, когда нет детей», — говорила Татьяна Михайловна со вздохом.

Военно-промышленный комитет поручил Ласточкину ведать постройкой большого военного завода за Рогожской заставой. На этом он, разумеется, не наживал ни гроша и отдавал свой немалый труд совершенно безвозмездно. Но богатели подрядчики. Заключенный с ними договор казался ему бессмысленным: подрядчики, тоже освобождавшиеся от воинской повинности, получали десять процентов от стоимости постройки; им, таким образом, было выгодно, чтобы постройка обошлась дороже. Выработать другой договор было невозможно: такие заключали все, иначе подрядчики отказывались работать; между тем все делали они и, разумеется, инженеры, служащие, рабочие; он же только торопил, следил за сметами, все проверял, сокращал по мере возможности расходы, — мера, впрочем, была небольшая; напротив, из-за безостановочного роста цен сметы приходилось часто увеличивать.

Недалеко от его завода строился другой, казенный военный завод, и там происходило то же самое. Оба завода начали строиться почти одновременно, и почти одновременно постройка кончилась и началось производство. Несмотря на глухое соперничество наверху между общественностью и правительством, Ласточкин наладил корректные отношения с военными, строившими второй завод, обменивался с ними мнениями, сведениями, советами; видел, что там были такие же подрядчики с такими же договорами, и такие же порядки, и такие же результаты. Оба завода находились поблизости от исторических мест Московского царства, с названиями, известными всем по школьным учебникам. Проезжая по ним на автомобиле, Дмитрий Анатольевич видел рядом с заводами древние строения или развалины, и это ему напоминало будки с бензином на Аппиевой дороге под Римом.

Немцы на фронте пустили в ход удушливые газы. Русские заводчики тотчас занялись и этим делом. О фосгене, цианистых и мышьяковых соединениях Ласточкин уж совершенно ничего не знал. Он стал спешно изучать технические книги, попутно возобновлял свои небольшие познания в химии. Нанял еще людей и кое-как наладил производство газовых снарядов. Видел, что все-таки его труд и энергия полезны. Тем не менее настроение у него ухудшалось и подъема становилось меньше. Он ежедневно заходил в новую лабораторию с плохими вытяжными шкафами, с кое-как налаженной вентиляцией. Раз даже наглотался газов и лишился сознания. Его пришлось приводить в себя принесенным откуда-то шампанским для поддержания деятельности сердца (о шампанском ему потом было особенно совестно вспоминать). Его немедленно отвезли на автомобиле домой. Татьяна Михайловна пришла в ужас. Он пролежал в кровати несколько дней и заметил, что его здоровье ухудшилось. Этого он жене не сказал и снова стал ездить на завод каждый день.

Скоро газовые снаряды стали отправляться на фронт: «Очень недурные, не хуже немецких», — с гордостью говорили химики. Он слушал это радостно. Знал, что от газовых снарядов люди умирают в тяжелых мучениях. Это противоречило всему его прежнему взгляду на жизнь. Но он знал, что и думать об этом недопустимо. «О пацифизме надо надолго забыть, не мы начали войну».

Позднее один из рабочих, уже не в лаборатории, а на самом заводе, где вентиляция была еще хуже, наглотался газа гораздо сильнее и умер; ему шампанского не принесли. Это произвело тягостное впечатление на всех, особенно на Дмитрия Анатольевича. Он выхлопотал пенсию и единовременное пособие вдове с детьми и сам немало добавил из своих денег. Винить себя он не мог: устроить лучшую вентиляцию было в условиях военного времени невозможно. Утешался тем, что и сам пострадал, что есть в дальнейшем риск и для него.

V

Тонышев получил назначение на промежуточный этапный пункт. Министерство иностранных дел отпустило его неохотно и объявило, что позднее вытребует его назад. Это прозвучало как бы обещанием, и он был немного задет: «Точно я хочу уклониться от военной службы!» Этапный пункт был в глухом местечке. Женам не полагалось сопровождать офицеров хотя бы и в тыл. Но и независимо от этого условия жизни в местечке были таковы, что Нина Анатольевна никак туда переехать не могла бы. Она осталась в Москве у Ласточкиных.

Его работа была, конечно, полезна, но с ней мог бы справиться любой писарь. Служебные обязанности были утомительны, однако свободного времени оставалось немало; сослуживцы были не очень интересные люди, он с ними поддерживал корректные отношения и скучал. Еда была довольно обильная, — он даже удивлялся тому, что армию кормили так сытно, хотя все ругали интендантство. Можно было тайком покупать и водку, — ее тоже подавали в кофейниках или в чайниках. Это неизменно давало повод и к шуткам, и к раздражению: запрещение продажи вина было очень непопулярно, хотя все признавали, что, быть может, от него есть и польза. Но он боялся спиться, — существовало давнее литературное клише: образованный человек спивается в глуши, — точно люди реже спивались в столицах.

Алексей Алексеевич выписывал петербургские и московские газеты (французские и английские приходили плохо). Продолжать исследование о Каунице было невозможно. Разумеется, он вывез из Вены то, что уже было им написано, вывез и записные тетрадки, но даже в Москве работы не продолжал. Его большая библиотека осталась в Вене. Правда, можно было читать книги в Румянцевском музее, но они оттуда на дом не выдавались; между тем он любил работать в одиночестве, в своем кабинете, с собственными книгами, на которых мог бы делать пометки, ставить вопросительные или восклицательные знаки (на самом деле он пометок никогда не делал — так любил книги, — а отмечал нужные страницы отдельно).

Писал он свою работу по-французски и предназначал ее, разумеется, для издательства Плон, специализировавшегося на таких трудах и вдобавок самого старого в мире. В свое время из Вены снесся с этим издательством, и оно «в принципе» согласилось выпустить его книгу. Он упомянул, что гонорар его мало интересует, но спросил и об условиях, чтобы его не считали дилетантом. Писать по-русски не имело смысла: слишком мало читателей оказалось бы для такого труда в России, едва ли даже нашелся бы русский издатель.

Главное же было в том, что у него прошла охота писать об австрийском государственном деятеле. По-прежнему он почитал Кауница и собирался противопоставить его нынешним бетманам и берхтольдам, но, написав чуть не половину книги, с неудовольствием увидел, что, собственно, определенной русской политики у знаменитого канцлера не было — или она так же часто менялась, как у Вильгельма II. Кроме того, он чувствовал, что теперь эта книга, если б ее и можно было кончить, оказалась бы малоинтересной даже тем пяти или шести тысячам людей, которые вообще читали такие труды: настоящее бросало тень на прошлое. Перед отъездом на этапный пункт Алексей Алексеевич положил свою рукопись в сейф: в местечке она могла и погибнуть.

Все же скоро у него появилось интересное занятие. В Москве Ласточкин, у которого от времени его увлечения мастерской остались пишущие машинки всех существующих в мире систем, подарил ему «Гаммонд»:

— Нет, нет, пожалуйста, не отказывайся и не думай меня отдаривать. Мне она совершенно не нужна, видишь, сколько их здесь, — сказал со вздохом Дмитрий Анатольевич. — Я не понимаю, как культурный человек может жить без машинки! Ты знаешь, Льву Толстому в последние годы его жизни переписывали на машинке все, что он писал. По своим взглядам он должен был бы отрицать машинку, говорить, что она не нужна мужику и так далее. Но как писатель он не мог ведь не понимать, что это для него огромное облегчение, что все становится ему самому

яснее, когда он читает свою работу в переписанном чистеньком виде, с полями для новых изменений.

— Ему, верно, переписывали секретари, а кто будет переписывать мои шедевры? — смеясь, сказал Алексей Алексеевич.

— Научишься, это очень просто.

— Во всяком случае, сердечно тебя благодарю за подарок.

Действительно, он легко научился писать и теперь думал, что надо было обзавестись машинкой еще в Париже или в Вене: тогда можно было бы при составлении секретных бумаг обходиться без посольских переписчиц. Теперь он попробовал было писать на «Гаммонде» письма к жене: писал ей каждый день, а раза два в неделю вкладывал страницу и для Ласточкиных. Однако от Нины тотчас пришел протест: она желала, чтобы он по-прежнему писал ей пером. Зато все другое Алексей Алексеевич писал на машинке с копией; было приятно через несколько месяцев перечитывать свои письма, особенно когда они касались политических дел.

Неожиданно пишущая машинка дала ему мысль: составить новую записку для министерства иностранных дел. В местечке переписчиков не было, во всяком случае, не было вполне надежных. Записку, написанную пером, министру было бы не очень легко прочесть. Тонышев написал страниц двадцать об одном происходившем в Лондоне совещании, где между других дел обсуждалась будущая участь славянских народов Австро-Венгрии. Газеты сообщили об этом совещании кратко, докладов в министерство и его инструкций послам Алексей Алексеевич не видел, кое-что знал из писем сослуживцев. Но состав участников был ему известен, и он приблизительно догадывался, что могли думать Грей, Никольсон, Делькассе и пока еще бессильные, но много обещавшие эмигранты, как Масарик, Бенеш и другие.

Он сделал оговорку, касавшуюся своей недостаточной осведомленности. Несмотря на свою любовь к Вене и уважение к Францу-Иосифу, Алексей Алексеевич в записке высказывался за расчленение «Лоскутной империи». На Западе этот взгляд особенно горячо защищали Масарик и Бенеш. Некоторые другие склонялись к тому, что сохранение Габсбургской империи желательно, так как иначе ее немецкие земли рано или поздно воссоединятся с Германией. Бенеш в разговорах высмеивал это мнение и объяснял его полным невежеством иностранцев. Тонышев был близок к этому взгляду, но вносил некоторое компромиссное предложение: из этих немецких земель должно быть образовано австрийское королевство во главе с наследником, эрцгерцогом Карлом. Кончины Франца-Иосифа давно ждали со дня на день, а молодой эрцгерцог, наверное, удовлетворился бы сравнительно небольшим королевством. Можно было бы даже оставить ему и Венгрию. Эти католические страны с католическим королем составили бы оплот против Берлина. Все славянские земли, разумеется, должны были отделиться. Австрийская Польша, как и германская и русская, должны войти в единое королевство под скипетром Романовых, хорватские земли отойдут к Сербии, а Чехия станет самостоятельной республикой.

Алексей Алексеевич сочувствовал славянам, но к республикам у него не лежала душа и ему не хотелось, чтобы совершенно сошла со сцены тысячелетняя габсбургская династия. Кроме того, ему действовал на нервы Бенеш, которого он в свое время встречал. Этот бывший школьный учитель, невзрачный, плохо говоривший по-французски человек раздражал его своей необычайной самоуверенностью, честолюбием, ясно чувствовавшимся в нем желанием стать президентом Чешской республики, либо первым (старик Масарик мог ведь и умереть), либо в крайнем случае вторым.

Константинополь с проливами, по записке Тонышева, отходил к России. Об этом у него в Москве выходили часто споры с Ласточкиным, который с раздражением доказывал, что турецкие земли, где никаких русских нет, России совершенно не нужны, что из-за Айи-Софии турки все лягут костьми, как русские люди сражались бы до последней капли крови за Кремль, и что вообще не нужны никакие аннексии, — достаточно глупо было и завоевывать в восемнадцатом веке Польшу.

В заключении записки Алексей Алексеевич доказывал, что изложенный им план найдет поддержку во Франции: там тоже очень боятся воз-

можного в будущем присоединения Австрии к Германии. В Англии будет и оппозиция, но часть министров на план согласится, как и «Таймс» с могущественными лордом Нортклиффом и Уикхэмом Стидом; и между тем поддержка «Таймс» имеет больше значения, чем мнение нескольких министров.

На «Певческом мосту» существовали разные направления. Преобладало теперь то, которому идеи Тонышева, особенно австрийское королевство и ограничение числа республик, были приятны. Записка Алексея Алексеевича показалась чрезвычайно интересной самому министру. Она имела неожиданное последствие. Министерство «вытребовало» Тонышева, и он был назначен посланником в одну из небольших нейтральных стран. Это государство само по себе не имело значения и даже не стремилось к этому, считаясь со старым положением: «счастливые народы не имеют истории». Но оно признавалось очень важным наблюдательным пунктом и к тому же (или именно поэтому), как и еще две-три страны в Европе, кишело секретными агентами воюющих держав.

Алексей Алексеевич обрадовался чрезвычайно. Помимо того, что ему надоела жизнь и служба на этапном пункте, ему предложили первый в его жизни пост посланника, редко выпадавший дипломатам его возраста. И, главное, он знал, что будет на этом посту очень полезен России. Правда, новый отъезд за границу должен был огорчить его жену. «Зато теперь опять будем вместе», — написал он ей.

От Нины Анатольевны пришли сначала телеграмма, затем письмо: она горячо его поздравляла — угадывала его настроение. Сердечно поздравляли и Ласточкины. Татьяна Михайловна только высказывала опасение: опять этот переезд морем, подводных лодок у немцев все больше.

Перед отъездом встал практический вопрос. Рубль понемногу падал, предусмотрительные люди уже платили вместо десяти пятнадцать рублей и больше за фунт стерлингов. Дипломатам, уезжающим за границу, предоставлялись некоторые привилегии по вывозу денег или, во всяком случае, делались поблажки. Тонышеву было неловко ими пользоваться. Ни о какой революции в России он и не думал, хотя его сослуживцы уже почти открыто ругали императрицу. Но жалованье дипломатам вообще полагалось не очень большое; обычно они имели собственные средства. А теперь, при росте цен во всех воюющих странах, на одно жалованье жить было бы совсем трудно.

Он посоветовался с Ласточкиным. Дмитрий Анатольевич говорил неуверенно. Сам он фунтов не покупал и не верил, что они могут еще подняться в цене. Все же склонялся к тому, что не мешает Тонышеву при этом случае легально перевести часть состояния за границу и лучше всего в Англию: уж фунты-то никак понизиться в цене не могут! Алексей Алексеевич откровенно поговорил в министерстве и перевел — во франки, а не в фунты — довольно значительную часть своего состояния.

VI

Ленин действительно был арестован австрийскими властями тотчас после объявления войны. Но за него хлопотали влиятельные социалисты, которых он прежде ругал крепкими словами. Вдобавок, власти, услышав об его взглядах, естественно признали, что такого человека совершенно не нужно держать в тюрьме во время войны с Россией. Он был недели через две освобожден, и ему с готовностью предоставили возможность переехать в Швейцарию.

Близкий к нему человек говорил, что он был в те дни «настоящим тигром». Разумеется, его ярость была, главным образом, направлена против социалистов всех стран. Он называл громадное большинство из них подлецами, лицемерами, лакеями, мерзавцами, архипошляками, изменниками, полуидиотами, сволочью. Свою программу выработал в первые же дни. «Неверен лозунг «мира», — лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую... Наименьшим злом было бы теперь и тотчас поражение царизма в данной войне. Ибо царизм во сто раз хуже кайзеризма», — писал он. Проклиная Второй Интернационал, призывал к созданию Третьего. Требовал отказа от самого слова

«социал-демократия». Надеялся, что солдаты повернут штыки против офицеров. В Швейцарии выступал на эмигрантских собраниях и всходил на эстраду «бледный как смерть».

Тем не менее он (как по другим, хотя и сходным, причинам Муссолини в Италии) был в восторге от того, что началась европейская война: наконец-то монархи и их министры «доставили нам сие удовольствие». Никогда еще надежда на социальную революцию не была такой настоящей, как теперь. Революция стала даже почти неизбежной, а она делала почти неизбежным его приход к власти. Правда, было это вечное, несчастное «почти» исторических процессов. Но социологические законы Карла Маркса, притом именно в его толковании, были, разумеется, верными без «почти». Если он в них когда-либо хоть немного усомнился, то разве лишь в самом конце своей жизни. До того они были совершенно незыблемой, вечной истиной; иначе и жить ему не стоило бы.

Однако он лишь очень немного мог сделать для приближения революции. Европейская война внесла в жизнь такую необычайность, какой в истории никогда до того не было. Этой ее особенности — просто по исторической симметрии — должна была бы соответствовать и необычайность революционного действия. Но ее взять было неоткуда. Он мог делать теперь в Берне, в Лозанне, в Цюрихе (все переезжал) лишь то, что делал прежде в Мюнхене, в Лондоне, в Женеве, в Париже, в Кракове. Что-то писал, что-то печатал, где-то выступал перед аудиториями в несколько десятков человек. Теперь и это было труднее, чем прежде: полицейская слежка везде была сильнее, письма вскрывались, писать в Россию надо было гораздо осторожнее. И, главное, все то же: не было денег. То есть, как прежде, и не было их, и они были.

Он сухо («Многоуважаемый») написал Максиму Горькому: предложил ему для легального издания какую-то брошюру: «В силу военного времени я крайне нуждаюсь в заработке и потому просил бы, если это возможно и не затруднит Вас чересчур, ускорить издание брошюры». Вскоре затем известил Инессу Арманд: «Рукопись моя об империализме дошла до Питера, и вот пишут сегодня, что издатель (и это Горький! о, теленок!) недоволен резкостями против... кого бы Вы думали?.. Каутского! Хочет списаться со мной!!! И смешно, и обидно. Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма и т. д. Это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками».

О своем безденежье писал людям, которых тогда «любил» и от которых никаких денег ждать не мог: «О себе лично скажу, что заработок нужен. Иначе прямо поколевать, ей-ей!! Дороговизна дьявольская, а жить нечем». Вероятно, говорил правду. Но вместе с тем он и теперь что-то печатал, что-то пересылал, что-то брал из партийной кассы для себя и окольничьих на жизнь: рублей по 30 или 50 в месяц.

Еще в ту пору, когда он находился в Кракове под арестом, лорд Китченер сделал свое нашумевшее предсказание: война продлится три года. В Швейцарии оно, разумеется, стало Ленину известным и произвело на него впечатление. Он ненавидел генералов почти так же, как ненавидел членов Второго Интернационала, но хороших специалистов ценил и к их мнениям прислушивался. Чувства у него были двойственные. Чем дольше продлится война, тем больше шансы революции. Но неужто три года ждать? Он мог умереть до этого, так революции и не дождавшись!

Ненависть, всегда занимавшая огромное место в его жизни, теперь просто переполняла его душу. Люди, даже самые преданные сторонники, становились ему все противнее — почти все, кроме Инессы и жены. Этот резервуар ненависти он целиком перевез в Россию в 1917 году.

Нередко говорили и писали о нем позднее, будто он «в душе» был добр, будто хотел ограничить террор и прикрикивал на людей, злоупотреблявших казнями. То же самое когда-то говорили и продолжают писать по сей день о Робеспьере. В обоих случаях это было неверно. Оба они, в отличие от Сталина или Гитлера, иногда проявляли что-то отдаленно похожее на «гуманизм», на котором в молодости «воспитались» (то есть часто о нем читали и болтали). Но это были исключительные случаи (не более частые, чем такие же, например, у Стеньки Разина). Чаще они

прикрикивали на сподручных за «снисходительность». Так, в июне 1918 года Ленин продиктовал следующее письмо Зиновьеву («Также Лашевичу и другим членам ЦК»):

«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример которого решает.

Привет! Ленин».

Вероятно, испугался и за себя (хотя вообще не был боязлив). Разумеется, было бы не-воз-мож-но, чтобы кто-либо совершил покушение на его жизнь!

Окольничьи с полной готовностью исполнили его приказ о «массовидной» кровавой расправе. Редактор собрания его сочинений в примечании к этому его письму кратко и деловито добавляет: «За белый террор против большевиков по инициативе рабочих масс эсеры были подвергнуты красному террору и разгромлены во всех сколько-нибудь значительных пунктах центральной России».

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

I

Февральскую революцию почти вся московская интеллигенция приняла с восторгом: отцы и деды мечтали, наконец сбылось! Простой же народ обрадовался гораздо искреннее, чем за три года до того войне.

В первое время в кругу Ласточкиных говорили, что и война теперь пойдет совершенно иначе: «Вложимся всем народом, доведем до победного конца, пришел конец немецким влияниям и придворным интригам!» Скоро, однако, о войне вообще стали говорить меньше и начинали чтение газет не с сообщений ставки, а с петербургских новостей. А еще немного позднее уже говорили: «Хоть бы поскорее кончилась эта проклятая, никому ненужная война!» Временным правительством в первые дни все очень восхищались. И только профессор Травников благодушно рассказывал анекдоты о новых министрах, как прежде рассказывал о царских.

— Конечно, все они замечательны, благородны, гениальны! — весело говорил он. — Даже читать приятно, хотя и скучновато. Ни одного «небезызвестного»! Прежде, если в газетах кого-нибудь называли «небезызвестным», то все понимали: значит, прохвост.

— Стыдно шутить, Никита Федорович. Они все действительно честнейшие люди и работают двадцать часов в сутки!

— Ох, столько не работают. Да и лучше работали бы поменьше, надо человеку и поспать и пообедать, даже если он герой и гений. Кстати, по поводу обедов: вчера в «Праге» подали такую еду, что я ушел голодный. А ведь еще недавно «море ядения и озеро пития разливашеся».

— Ничего, едва ли ушли голодным. А если и ушли, то Временное правительство в этом не виновато.

— Да вы не гневайтесь, Дмитрий Анатольевич. Но все-таки ведь я тоже не виноват. И еще кстати: позавчера у нас дворник потребовал расчета. Говорит: теперь свобода.

— Вы в душе крепостник, Никита Федорович, и у вас, верно, платили ему рублей восемь в месяц, — пошутила Татьяна Михайловна. — У нас никто расчета не потребовал. А если потребует, то опять-таки князь Львов в этом неповинен.

— Да я ничего не говорю. Конечно, они хорошие люди. Только уж очень все полевели. С радостью узнал, Дмитрий Анатольевич, что вам предлагают кандидатуру в Учредительное собрание.

Это было отчасти верно. Ласточкину говорили, что он пройдет в Учредительное собрание без затруднений, если примкнет к партии социалистов-революционеров. К ней тотчас примкнуло множество его друзей и знакомых. Но именно поэтому он записываться в партию не хотел; подумал, что сказали бы в «Русских ведомостях», и остался «левее кадетов». Зато совершенно искренне принял формулу «без аннексий и контрибуций».

Жизнь стала труднее. От поездок за границу Ласточкины за три года отвыкли. Теперь трудно было уехать и в Крым или на Кавказ, да и не очень хотелось. В начале лета они отправились без особенных дел в Петербург (который никогда не называли Петроградом; очень не одобряли эту перемену). Туда ездили все их друзья и тоже без особенных дел. Надо было «потолковать с Временным правительством». Друзья говорили, что Дмитрий Анатольевич мог бы стать товарищем министра; для участия в правительстве позиция «левее кадетов» была тогда еще очень удобна. Татьяна Михайловна была решительно против этого: здоровье мужа не позволяло ему наваливать на себя правительственную деятельность. «Пусть они работают двадцать часов в сутки, и, конечно, спасибо им, но ты, Митя, не можешь. Помни, что сказал Плетнев».

«Потолковав», Дмитрий Анатольевич увидел, что больше ему делать в Петербурге нечего. Ему действительно предложили немалую должность. Он ответил, что не чувствует призвания к государственной работе. Это всех удивило: по-видимому, другие чувствовали. Ласточкин ответил искренно, но руководился преимущественно тем, что государственная работа, по его наблюдениям, велась плохо. «Что же они могут сделать в этом хаосе, даже если б они были гениями? А я, во всяком случае, не гений. И лебезить перед Советом я не мог бы. Не мог бы и сидеть между двух стульев»,— думал он. Без восторга согласился баллотироваться в Учредительное собрание, если его включат в список как беспартийного левого.

Рейхель, которого они по телефону известили о своем приезде, радостно пригласил их пообедать, еще радостнее предупредив, что обед будет отвратительный.

— ...Это ничего. Ведь Россия, слава Богу, освободилась от невыносимого царского гнета и благоденствует благодаря дорогим нам всем князю Львову, Керенскому, Нахамкесу и совету рабочих и собачьих депутатов! — кричал он в аппарат. «Видно, стал уже совсем реакционером, если не черносотенцем!» — с досадой подумал Ласточкин.

Аркадий Васильевич жил на Васильевском острове, на одной из самых некрасивых улиц, в одном из самых безобразных домов. Его небольшая гостиная напоминала приемную зубного врача. Посредине на тощем коврике с цветочками, под огромной медной люстрой, стоял шатающийся столик, на нем были старые номера «Нивы» и две пепельницы: фаянсовые ослы с отверстиями в спине. Вокруг столика стояли неудобные стулья и кресло, обитые грязно-серым репсом; на одной стене висел непостижимо безобразный «гобелен» с нимфой, на другой, симметрично против нимфы, в золоченой раме плохая копия «Урока анатомии» Рембрандта. Были еще стенные часы с циферблатом в цветочках, тоже непостижимо безобразные.

Рейхель стал еще самоувереннее и еще гораздо озлобленнее, чем был. Татьяна Михайловна обратила внимание на то, что он внешне опустился. «Почти все люди с годами становятся небрежнее в туалете. Только Митя и Алеша так же элегантны, как были. Но Аркадий совсем перестал собой заниматься». В самом деле воротник у Рейхеля был теперь грязен, вместо двух пуговиц на жилете торчали ниточки, одна пуговица на брюках была не застегнута,— он заметил это не сразу, незаметно застегнул и покраснел.

— Вы оба, конечно, в восторге от положения! — сказал он им с первых же слов за обедом.— Вы ведь годами в Москве на всех банкетах говорили: «На святой Руси петухи поют,— будет скоро день на святой Руси». Вот и настал день, предвещенный всеми петухами, будь они трижды прокляты. Дожили до счастливого социалистического строя, а? Ведь ты, Митя, ждал всего самого лучшего от войны, правда? Теперь ты, наверное, ждешь всего самого лучшего от революции?

— Это неверно,— сказал Ласточкин, стараясь не раздражаться.— И давно известно: «Was sind Hoffnungen, was sind Entwürfe — Die der Mensch, der Vergängliche, baut?» * Кроме того, социалистического строя пока нет. И я далеко не в восторге от всего, что происходит.

— Неужели ты не в восторге? Быть не может! Но ведь вы хотели революции? Разве она не оправдала надежд лучшей части человечества?

— Иронизировать очень легко. А какая твоя положительная позиция?

— Моя положительная позиция: всех перевешать.

— Вот как? Это, конечно, программа. Кстати, и не совсем осуществимая: где вы, почтенные господа контрреволюционеры, найдете для вашей программы силы?

— Это очень просто: надо открыть фронт. Пусть немцы наведут у нас порядок. Я давно вам говорил, что они непобедимы.

— Ты говорил, но твое предсказание, слава Богу, не осуществилось и не осуществится... Так ты вдобавок стал пораженцем? Как Ленин? — спросил Ласточкин уже не шутливо, а очень холодно.

— Ленин с его Нахамкесами умные люди. И что в том, что они пораженцы? Разве ты, Митя, не был пораженцем в пору войны с Японией?

— Не был.

— Будто? Я не знал. Значит, ты был исключением. 99 процентов нашей интеллигенции состояло из пораженцев. Да что война с Японией? Всегда так у нас было. Я теперь в лаборатории работаю очень мало: благодаря светлым умам товарищей, у нас больше ничего нет, простого эфира нет или не могу достать, потому что орудуют и спекулянты. Так вот, я от безделья стал читать разные исторические книги. Императрица Елизавета, дочь Петра Великого, была, оказывается, настоящей пораженкой в царствование Анны Иоанновны. А Смутное время! Вы читали, Таня, «Юрия Милославского»? Вы ведь все такое читаете.

— Читала. Милый, но смешной роман. Подумать только, что это было написано одновременно с «Капитанской дочкой»! А еще говорят, будто время создает что-то общее между писателями.

— Меня очень позабавило, что там люди 17-го века тоже называют друг друга «товарищами» и «гражданами». Но я говорю не об этом. Помните, сколько там, да и у всех наших школьных Иловайских, написано о священном патриотическом восторге в армии князя Пожарского? А вот, по словам настоящего, знаменитого историка, келарь Авраам Палицын, когда приехал к князю, нашел у него «мятежников, ласкателей и трапезолюбцев». Да, да, славны бубны за горами! — говорил Рейхель.

Его радостное настроение все увеличивалось в последнее время оттого, что дела шли плохо: «Все вышло именно так, как я предсказывал!» Собственно, он не предсказывал ничего, но был уверен, что все заранее предвидел. Опасаясь, что дело идет к ссоре, Татьяна Михайловна перевела разговор. Сказала, что вино, кажется, очень хорошее.

— Да оно из царских погребов, взгляните на этикетку,— радостно ответил Аркадий Васильевич.— Как вы помните, наш народ богоносец в дни великой бескровной разграбил Зимний дворец. Ваши друзья, разумеется, уверяли, будто он только уничтожал эмблемы ненавистного самодержавия. Я ни минуты и не сомневался, что они будут врать именно так. На самом деле богоносец просто разворовал все, что только мог. И вот три доблестных солдатика напились, как свиньи, принесли и в наш дом бутылки из царского погреба и дешево продавали, всего по пять рублей штука.

— Они продавали краденое, а ты купил,— сказал, не сдержавшись, Ласточкин.

Рейхель сделал вид, будто не расслышал.

— Надо было видеть морды этих солдатиков! — говорил он.— Ах, как я ненавижу народ! Теперь что? Пока только цветочки, а ягодки впереди. Сейчас еще, как видите, едим котлеты и вино есть, а скоро будет голод, как в Смутное время в Кремле у поляков: там родственники убитых воинов вели между собой процессы: кто по степени родства имеет право съесть тело? Мы и до этого доживем. Буду с вами судиться, Таня, кому съесть Митю.

* Что все надежды, все планы, которые строит себе человек, от природы не вечный? (нем.)

— Типун вам на язык, Аркадий! Гадко слышать все, что вы говорите! — сказала Татьяна Михайловна, очень рассердившись. Ей захотелось поскорее уйти от этого злобного человека, ставшего и вызывающе самодовольным. Такое же чувство испытывал и Дмитрий Анатольевич. Обед, действительно очень скудный, уже кончался. Рейхель объявил, что больше ничего нет.

— Кофе есть. Будем пить там,— сказал он, очень довольный раздражением своих гостей.

В кабинете на письменном столе лежали книги. Не зная, о чем говорить, Ласточкин перелистал одну из них, номер русского ученого журнала. На полях были заметки, сделанные рукой Рейхеля: «Бездарная дубина!»... «Совершенный вздор!»...

— У тебя теперь много книг,— сказал Дмитрий Анатольевич.

— Купил гуртом за бесценок библиотеку одного прогоревшего либералишки, но оказалась в ней больше ерунда. Вот, видишь, читаю Толстого,— ответил Аркадий Васильевич, показывая на книгу в роскошном переплете.— Всегда я терпеть не мог этого старичка! Не от Маркса, а от него пошло у нас все, что теперь творится. Маркс — это хоть понятнее, он был еврей. («Еще хорошо, что не сказал «жид»,— подумала Татьяна Михайловна). А ваш Лев Николаевич называл себя христианином! В душе он был меньше христианин, чем я с Митей, меньше даже, чем вы, Таня, хотя вы еврейка по рождению. Он был в душе тот же Нахамкес. Впрочем, и весь наш народ не христианский, а языческий...

— Русский народ не христианский!

— Так точно, Митя. Да ваш Лев Николаевич сам это сказал. Вы не верите? — спросил Рейхель и, взяв книгу, открыл на заложенной странице. Там на полях тоже было отчеркнуто несколько строк: «Мужик умирает спокойно именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия природа, с которою он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон»,— прочел Рейхель с торжествующим видом, подняв указательный палец.— Разумеется, на этот раз яснополянский Нахамкес был прав. Умный был человек, это надо признать. Я теперь у него такие находки сделал! Вы читали его «Федора Кузьмича»? У него там император Александр испытывает половую похоть, читая письмо Аракчеева о том, как крепостные убили красавицу Настасью Минкину! Хорошо, а? Правда, у просветленного автора об этом добавлено: «Странно сказать» и пояснено, что Настасья была «удивительно чувственно красива». Хорошо? Вы опять не верите? Хотите, я разыщу? И, заметьте, ничего такого об Александре, наверное, никто из историков и мемуаристов не говорил, даже враги не говорили, и никаким садистом он никогда не был, все, значит, от себя выдумал просветленный старичок... Да что вы оба сердитесь? Хорошо, поговорим о другом.

— Поговорим о другом в другой раз,— сказал Ласточкин.— Пожалуйста, извини нас, нам пора.

— Постой, постой, посидите еще... Ты, может быть, не хочешь говорить со мной о Толстом?

— Действительно не хочу.

— Ты всегда ему верил и веришь, а вот он тебе не поверил бы и вообще никому и ничему не верил. Я теперь все его шедевры прочитал. В «Войне и мире» секут солдата, и тот кричит «отчаянным, но притворным криком». Казалось бы, отчего человеку кричать притворным криком, если его секут? Правда, это был плохой солдат, вор. Оказывается, наши чудо-богатыри иногда и воровали, а? А вот в «Севастопольских рассказах» показан уже очень хороший солдат. Ему неприятельская бомба вырвала часть груди. Казалось бы, герой, смертельно ранен, у него, видишь ли, на лице «какое-то притворное страданье»! Хорошо, а? Никому боголюбивый старец не верил. Может быть, даже твоим князю Львову с Керенским не поверил бы, а? Воображаю, как он их возненавидел бы, если б дожил... Постойте, а Гоголь? Тоже хорош был лицемер! «Соотечественники! Я вас любил»... Никаких соотечественников он отроду не любил, все вранье!

— Я могла бы вас понять, Аркадий, если б вы ненавидели только

революцию, вы всегда были человеком правых взглядов. Но теперь вы, оказывается, ненавидите в России всё и всех!

— Вы, Таня, тут, быть может, не судья: вы все-таки не совсем русская, но...

— Фамилия «Рейхель» тоже не очень русская! — сказала Татьяна Михайловна. Лицо у нее покрылось пятнами. Так они до сих пор никогда не разговаривали. Аркадий Васильевич сам это почувствовал и положил холодную ладонь ей на руку.

— Не сердитесь, милая, вы знаете, что я вас всегда любил и люблю,— довольно искренно сказал он.— Но почему вообще надо непременно любить соотечественников? Мне какой-нибудь Роберт Кох в сто раз дороже не только Ленина и князя Львова, но и любого дивного русского мужичка, будь он там хоть расплатонкаратаев!.. А вот одна мысль у Гоголя очень правильна, я выписал.— Он взял из ящика тетрадку и прочел: — «Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них поднимутся»... И тут не мог не соврать: вовсе он тогда не умирал, еще долго, слава Богу, прожил, и не стонал никак его состав, а сказал он верно: именно мы — или, вернее, вы — сеяли семена страшилищ. Вот и радуйтесь!

— Я не радуюсь,— ответил Ласточкин.— И я готов признать нашу вину, но вина была не только наша. Другая сторона была виновата больше нас. Уж, пожалуйста, ты не уподобляйся майору Ковалеву того же Гоголя. Как ты помнишь, этот майор признавал, что в литературе можно ругать и поносить только обер-офицеров, а штаб-офицеров никак нельзя. Не забывай и штаб-офицеров, и не все было так прекрасно в прошлом,— сказал он, вставая: хотел закончить шутливо тягостный разговор.— Ну, прощай, Аркаша.

— Да куда вы спешите? Я так рад поболтать с вами.

Больше они Рейхеля не видели.

— Надо признать факт: он нам чужой человек! Все, что он говорил, отвратительная передержка! — сказал в сердцах Ласточкин на пути в гостиницу.

— Да, к сожалению, ты прав. И все его озлобление произошло от того, что его тогда не сделали директором института!

Как тут же было решено, часа за два до отъезда на вокзал Дмитрий Анатольевич позвонил по телефону двоюродному брату. С облегчением узнал от горничной, что его нет дома. Ласточкин сказал, что они по дороге на вокзал собирались заехать, очень жалеют и просят извинить.

В последние дни перед отъездом они из любопытства побывали на митингах. В цирке Модерн глава либеральной партии спокойно и деловито, не повышая голоса, доказывал необходимость присоединения к России проливов. Многотысячная толпа солдат возмущенно орала и легко могла его поднять за это на штыки. Дмитрий Анатольевич сокрушенно пожимал плечами. Татьяна Михайловна восхищалась мужеством оратора.

— Это верно, он совершенно бесстрашный человек,— ответил ей муж.— Но Дарданеллы всегда нам были совершенно не нужны, а теперь говорить о них — это чистое безумие!

На другом митинге они видели и слышали Ленина. Он тоже их поразил.

— Просто какой-то снаряд бешенства и энергии! — сказала Татьяна Михайловна.

— Именно. Я такого никогда в жизни не видел! Это большая сила... И как это его никто не убивает! — неожиданно добавил Ласточкин. Жена взглянула на него с недоумением.

II

Люда не принимала никакого участия в революции 1917 года. Не могло быть и речи об ее возвращении в большевистскую партию: как почти вся русская интеллигенция, она крайне отрицательно относилась к делам Ленина. Еще три года тому назад узнала, что он хочет поражения России. Это вызвало у нее крайнее возмущение. Теперь он вернулся в Россию через Германию в пломбированном вагоне. Говорили, что большевистская партия получает деньги от немцев на дезорганизацию русской армии. Ей было стыдно, что она когда-то примыкала к большевикам.

Зачислиться в другую партию ей было неловко — по тем же приблизительно причинам, что и Ласточкину. К тому же в отличие от него ей никто ничего не предлагал. Она решила, что будет гораздо полезнее оставаться в кооперативном движении. Все же с некоторой завистью следила по газетам за шедшей в Петербурге политической работой. Некоторых ее участников она знала лично, они были лишь немного старше и, по ее мнению, не образованнее и не даровитее, чем она. Между тем теперь они занимали разные видные посты; были известны всей России, — особенно если примыкали к социалистам-революционерам. Имели большие шансы стать членами Учредительного собрания, в которое стремились решительно все.

Несмотря на дороговизну жизни, Люда из своего жалованья откладывала и скопила немало денег. Отдавала свои сбережения Дмитрию Анатольевичу — больше потому, что ей было лень устроить себе счет в банке. Ласточкин покупал для нее какие-то бумаги и часто говорил ей, что они очень поднимаются в цене. Люда узнавала об этом изумленно: «Вот тебе раз! Становлюсь капиталисткой!» Все же было приятно, что она теперь стала независимой, может и без всякой работы безбедно прожить года два, может после окончания войны поехать путешествовать за границу, пожить в Италии, в Испании.

Впрочем, она в мыслях не имела бросать службу и со временем. Отпуска по ней четвертый год не брала, и складывались отпускные недели, на которые она имела право. Ласточкины и год, и два тому назад убеждали ее съездить куда-либо отдохнуть, но она перед войной прожила недели две в Крыму и там без знакомых скучала. Когда в Москве становилось уж очень жарко, отправлялась ненадолго на дачу в Новое Кунцево и оттуда каждый день приезжала на службу; это отпуском не было. Однако к лету 1917 года Люда почувствовала настоящую усталость и решила на месяц или даже, если понравится, на шесть недель, съездить в Кисловодск: на Кавказе никогда не была.

Ласточкины в это лето не уезжали из-за общественных дел Дмитрия Анатольевича, но зимой до революции отдыхали в Ялте и собирались опять туда на Рождество.

— Надеюсь, у тебя, Людочка, найдутся в Кисловодске знакомые, — сказала Татьяна Михайловна.

Люда со смешанными чувствами подумала о Джамбуле. Она с ним не переписывалась, вспоминала о нем мало и странно: вспоминала о каком-то общем, собирательном, очень похожем на него человеке (живой Джамбул уж очень менялся за три-четыре года их знакомства, встреч, связи). Так Сезанн писал свои натюрморты с искусственных цветов: живые слишком быстро, с каждым мигом, увядают. Люда и не знала, где теперь находится Джамбул. «Верно, в Тифлисе или у своих родичей, где это? — подумала она: не помнила точно, как называется его земля. — Все равно из Кисловодска проеду по их знаменитой Военно-Грузинской дороге, а оттуда рукой подать до Тифлиса, там, помнится, где-то и осетины, и ингуши, и другие кавказские мусульмане... Но и незачем мне с ним встречаться, ничего вообще больше в жизни не будет. — Люда вздохнула. — А когда-то я думала, что главный интерес моей жизни в мужчинах. И слишком много о себе всю жизнь говорила... Теперь исправляюсь, да мало радости в этих исправлениях! Просто старею». Как у большинства людей, это было чуть не главным горем ее жизни.

Те деньги, которые она не отдавала Ласточкину, Люда хранила у себя в предпоследнем томе «Большой Энциклопедии» издательства «Просвещение», которую ей ко дню рождения подарили Ласточкины. Это было надежнее, чем ящик письменного стола. Ее библиотека уже состояла из трехсот томов; теперь она не только покупала, но и читала книги, имела полные собрания сочинений главных русских классиков. Выбрала именно предпоследний том словаря: «Пусть вор все перебирает и вытряхивает!» Она никогда не знала, сколько именно денег у нее там находится. За два дня до отъезда достала вечером толстую книгу и сосчитала: было всего сто восемьдесят рублей ассигнациями; золото давным-давно исчезло, чем Люда была скорее довольна: бумажки гораздо удобнее. «На сто восемьдесят далеко не уедешь. Надо взять у Мити не меньше тысячи».

Как раз в этот вечер ей позвонил по телефону (она давно имела телефон в своей маленькой квартире) Дон Педро, теперь уже очень известный петербургский журналист. Он опять находился проездом в Москве.

— Еду отдохнуть на Кавказ. Просто замучен работой! Вы не можете себе представить, что такое моя работа в это проклятое революционное время! — сообщил Альфред Исаевич, впрочем, очень веселым голосом.

— На Кавказ! Наверное, в Кисловодск? Как я рада! — сказала Люда искренно. Она любила Альфреда Исаевича, с ним было весело, он знал всех, мог ее познакомить с кем угодно.

— Нет, не в Кисловодск, а скорее в Ессентуки или в Пятигорск, еще не решил.

— Зачем в Пятигорск? Разве у вас нехорошая болезнь, Альфред Исаевич? — пошутила Люда.

— В Пятигорск ездят, могу вас уверить, отнюдь не только больные нехорошей болезнью, — сказал Дон Педро недовольным тоном: он не любил скабрезных шуток, особенно со стороны дам.

— Едем лучше со мной в Кисловодск. А вы когда едете?.. Вы с женой?

— Нет, я один. Жена теперь отдыхает у родителей, в западном крае. Ей лечиться, слава Богу, не надо. Я, впрочем, тоже совершенно здоров. Сиротинин сказал, что сердце у меня, как у юноши, но все-таки надо пополоскать желудок водицей... Так вы едете в Кисловодск, это очень приятно. Когда же? Вы хотите лечиться?

— Нет, не лечиться, нема дурных. Еду послезавтра. Поедем вместе?

— Вас, Людмила Ивановна, я готов был бы ждать сколько угодно, но у меня уже на завтра место в спальном вагоне.

— Жаль. Я еду не в спальном вагоне. Дадут ли только завтра плацкарту?

— Я вам могу достать в два счета, — сказал Альфред Исаевич. Это было новое выражение или старое, забытое и вновь возродившееся, как выражения «пара слов» или «извиняюсь», которые не очень сведущие люди считали «одесскими». — Но заказана ли у вас комната в Кисловодске? Нет?.. Тогда вы ничего не достанете. Там все битком набито! Я телеграфировал Ганешину, и ни одной комнатки не нашлось даже для меня, хотя хозяин хорошо меня знает.

— В Кисловодске нет комнат? Это для меня неприятный сюрприз!

— Поедем лучше в Ессентуки? Пошлите мне туда телеграмму, я вам приготовлю комнату. Как жаль, что я не могу вас подождать, — галантно добавил Дон Педро.

«В самом деле, отчего бы не поехать туда? — подумала Люда, отойдя от аппарата, и взглянула на великолепные стенные часы — подарок Ласточкиных на новоселье. Она тоже делала им подарки, хотя не столь дорогие. — Еще, пожалуй, не поздно. Зайду к ним, вот и деньги возьму. Не стоит и звонить».

Дмитрий Анатольевич и Татьяна Михайловна обрадовались тому, что у Люды будет на Кавказе знакомый, да еще солидный и теперь влиятельный человек. На ее вопрос, сколько же ей взять у него денег, Ласточкин, подумав, ответил:

— Знаете что, милая? Возьмите у меня все. Теперь ведь и застрять можно. А кроме того, я опасаюсь, что ценности начнут падать. Даже удивительно, что они еще не упали.

— А мои ценности можно быстро продать?

Дмитрий Анатольевич засмеялся.

— Я сейчас подсчитаю и дам вам чек.

— Чек? — спросила Люда. — Тогда надо будет мне пойти в банк и проделать там разные формальности?

— Необычайно сложные! Хорошо, я скажу в банке, чтобы артельщик доставил вам деньги на дом. Когда вы уезжаете?

— Послезавтра утром.

— Вот тебе раз! — сказала Татьяна Михайловна. — Значит, мы больше до твоего возвращения не увидимся? Мы ведь завтра утром с Митей уезжаем в «подмосковную» к Варваре Петровне и вернемся только в понедельник.

— Да, это досадно, — подтвердил Дмитрий Анатольевич. — Тогда ничего не поделаешь, берите чек. С чеком человеку получить деньги легко.

а вот без чека труднее... Ох, дамы!.. Я сейчас же сосчитаю, — добавил он, вставая.

— Так вы до зимы никуда не уедете, Танечка? — спросила Люда. — А то поехали бы тоже на Кавказ. Отлично бы там пожили, а?

— Не может богдыхан. Его рвут на части, — грустно сказала Татьяна Михайловна. — Боюсь, как бы все-таки не убедили стать министром. Скажи ему на прощанье и свое мнение. Ты ведь не спешишь сегодня?

— Не спешу, но долгие проводы, лишние слезы. Подумаешь, экая беда — стать министром! Ты шутишь.

— Не шучу... Ты, наверное, вернешься даже не через месяц, а раньше. Соскучишься по своей квартирке.

— Не по квартирке. Уж очень я вас обоих люблю! — вдруг сказала Люда, хотя терпеть не могла «излияний».

— И мы оба тебя тоже. Очень!.. Подумать только, что мы когда-то были в «холодно-корректных отношениях»!

— Это была не твоя, а моя вина.

— И не твоя. Просто люди добреют с годами.

Дмитрий Анатольевич вернулся из кабинета и удивленно взглянул на дам. «Кажется, расчувствовались? Что бы это?» Он теперь почти всегда поглядывал на жену с беспричинным беспокойством, особенно когда она подходила к нему и его целовала.

— Вот вам, Людочка, расчет, а вот и чек. Я вас не обсчитал, — натянуто весело сказал он.

— Митя, вы, верно, от себя прибавили! Не может быть, чтобы у меня образовалось так много!

— Даю вам слово, что не прибавил ни гроша.

— А если я все это потеряю или у меня вытащат?

— Постарайтесь, чтобы не вытащили. В Англии существует страхование против краж. Хотите, я вас застрахую? Вместо платы привезите мне олений рог для вина: вдруг буду где-нибудь на банкете тамадой: «Пей до дна!»... Ах, славное место Кисловодск. Помнишь, Таня, как мы там катались к Замку коварства и любви?

— Помню, — сказала Татьяна Михайловна обиженно (точно она м о г л а этого не помнить).

— А вас, Людочка, мы, значит, до сентября не увидим?

— Да, до сентября.

Они никак не могли думать, что видятся в последний раз в жизни.

III

Ленин, приехав после Февральской революции из Швейцарии в Петербург, остановился с женой у своей сестры Анны Ильиничны в доме на Широкой улице. Сестра отвела ему комнату, в ней были две кровати, стол и платяной шкаф; по его просьбе в шкафу были устроены полочки для книг. Больше ему ничего и не было нужно.

Возможно, что сестра была вначале рада гостю. Но речь, произнесенная им в вечер приезда, 4 апреля, потрясшая его ближайших товарищей по партии, наверное, перепугала и ее. В описании этой речи у случайного свидетеля Суханова сказано: «Приветствия-доклады, наконец, кончились. И поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, — носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников... Он потряс не только ораторским воздействием, но и неслыханным содержанием своей ответно-приветственной речи — не только меня, но и всю собственную большевистскую аудиторию».

Если о немедленном устройстве второй, уже социалистической, революции не думали в апреле 1917-го светочи партии, то никак не могла думать и Анна Ильинична. Хотя о преследованиях, несмотря на проезд через Германию, тогда еще и речи быть не могло, она, вероятно, предпочла бы, чтобы ее брат поселился в другом месте. Дом был большой, было множество соседей, могли произойти неприятности, так как газеты уже писали

о Ленине, печатали его фотографии и называли его крепкими словами. Ни соседи, ни сама Анна Ильинична никак не предполагали, что речь перейдет в мировую историю и что Широкая улица со временем будет называться Ленинской. Большевики приняли старый обычай — придавать не всегда продолжительное бессмертие людям, называя их именем улицы.

Он тотчас принялся за работу. Теперь она была по духу той же, но совершенно другой по форме напряженности. От прежнего образа жизни ничего не осталось. Было никак не до прогулок, не до окрестностей, не до велосипеда, ни даже до сплетен. Главная его работа заключалась в том, чтобы заставить партию идти за собой.

Никто из его товарищей вначале не собирался «захватить власть вооруженной рукой». Если б это можно было сделать не «вооруженной рукой», многие, разумеется, не возражали бы и в первые дни. Люди в большинстве были смелые, но в том, почти всеобщем, благодушно-радостном настроении, которое господствовало в столице после Февраля, все революционеры предпочитали пожить более спокойно, отдохнуть от конспирации, арестов, ссылок, вести мирную борьбу с капиталистическим строем. Сам Джугашвили-Коба, уже довольно давно называвшийся Сталиным, высказывался за соглашение с меньшевиками. Всеми было признано, что новая программа Ильича совершенно противоречит марксизму. Отсталая в промышленном отношении страна никак не может вдруг стать социалистической. Революция может быть только буржуазной, а строй, как это ни неприятно, пока останется капиталистическим. Будет созвано Учредительное собрание, и там, разумеется, большевики займут место на самом левом краю. Ленин же на партийных собраниях именно за такие мысли и такое настроение ругательски всех ругал. Ему возражали — большинство мягко, почтительно, даже нежно. Про себя думали (иногда в смягченной форме и говорили), что Старик отстал за границей от русской жизни и ударился чуть ли не в анархизм, в бланкизм, в бакунизм, во «вспышкопускательство». Приводили цитаты из Маркса.

Он отвечал другими цитатами. Сам, как и прежде, по собственному его выражению, «советовался с Марксом», т. е. его перечитывал. Неподходящих цитат старался не замечать, брал подходящие — можно было найти любые. Маркс явно советовал устроить вооруженное восстание и вообще с ним во всем соглашался. Но и независимо от этого Ленин всем своим существом ч у в с т в о в а л, что другого такого случая не будет.

Он в самом деле отстал от русской жизни да, собственно, никогда ее хорошо и не знал. Но одно ему было совершенно ясно: веками накопленный запас ненависти, злобы, жажды мщенья — огромная страшная сила. Если развязать ее, эта сила унесет все. «Но можно ли будет на ней и строить?» — спрашивал он себя и отвечал, что там будет видно.

Через много лет Троцкий сравнил его с Наполеоном. Император писал своему начальнику генерального штаба: «Нет человека более робкого, чем я, когда я разрабатываю военный план: я в мыслях преувеличиваю все опасности, все возможные катастрофы. Но когда мое решение принято, все забывается». Едва ли сравнение было верно. Ленин допускал, что октябрьское восстание может провалиться и что тогда их всех перевешают. Но в своем «плане» он с этим не считался. План, то есть твердое решение устроить в России и в мире социальную революцию — был им принят в Швейцарии тотчас после того, как туда пришло сообщение о февральских событиях в Петербурге. А никакой сколько-нибудь серьезной «разработки» не было ни тогда, ни даже позднее. Да если б она была возможна и показала, что план неосуществим, Ленин в отличие от Наполеона все равно от него не отказался бы. Наполеон разрабатывал планы отдельных кампаний; без каждой из них можно было бы и обойтись. Для Ленина же социальная революция была смыслом всей его жизни.

Правда, была еще т е о р и я. Именно в 1917 году он разработал или закончил свое странное, малопонятное, противоречивое учение о государстве. Он никогда не называл себя гением, говорил, что он только продолжатель дела Маркса. Но, вероятно, это свое учение считал гениальным продолжением. Оставил в 1917 году указание, что делать с рукописью в случае, если его убьют. Естественно, работу о том, удержат ли большевики государственную власть, в этом случае можно было бы и не перепечатывать.

Партийный бунт против него скоро начал стихать. Под его напором произошло невероятное: один за другим, хотя с сомнениями и колебаниями, на его сторону стали переходить главари партии. Вероятно, они сами этому удивлялись: не могли же в несколько дней или недель совершенно изменить весь свой привычный строй брошюрного мышления. В числе первых перешел к нему Сталин. Должно быть, очень жалел, что не сам он это придумал: разумеется, захват власти вооруженной рукой! Впрочем, понимал, что он все равно на роль главы правительства не вышел бы: ранг был не тот, его и знали еще очень мало.

Скоро захват власти стал задачей главных, за редкими исключениями, партийных вождей. Но эта напряженная, грубая борьба с ними, хотя и завершившаяся победой, постоянные выступления на многолюдных митингах, непривычный образ жизни издергали нервы Ленина. Он стал чувствовать себя плохо как раз к намеченному восстанию. Разыграл кровавое дело 4 июля новый большевик Троцкий — и разыграл плохо. Несмотря на слабость и неподготовленность Временного правительства восстание провалилось, — приходилось даже уверять, что его не было, что был разве лишь «смотр сил», что была правительственная провокация. Вожди повторяли это, хотя и знали, что лгут. В своей среде опять стали ругать Ильича; ох, опростоволосился Старик, пролетариат отшатнулся, теперь можно ждать всего, гидра реакции подымет голову.

И, действительно, все враждебные газеты, то есть почти вся печать России, осыпали Ленина бранью и насмешками, требовали его ареста и предания суду. Полудрузья или бывшие друзья почти открыто злорадствовали. Несколько растерялся и он сам. Собрался было «предстать перед судом» — мысль для него почти непостижимая. Но его легко отговорили: укокошат, расстреляют или разорвут на улице! Особенно отговаривал Сталин: уж он-то нисколько не сомневался, что укокошат, — так, разумеется, поступил бы с врагами он сам и без малейшего колебания. Правительство отдало приказ об аресте Ленина.

Он скрылся, сбрил усы, надел парик и темные очки; перешел на нелегальное положение — как в 1905 году. Несколько дней скрывался у рабочего Аллилуева, потом где-то еще, затем — тоже как двенадцать лет тому назад — уехал в Финляндию.

Но эта нервная депрессия была чуть ли не последней в его жизни. Она скоро прошла, и в дальнейшем его ловкость, проницательность и всего больше волевой поток были необычайны.

Меры предосторожности он теперь принимал с достаточным основанием. В Петербурге его легко могли бы убить или даже разорвать на части: так его в те дни ненавидела громадная часть населения. Присяжные, вероятно, оправдали бы убийцу. Могли и выдать его за деньги добрые люди, — он теперь еще меньше верил людям, чем когда-либо прежде.

Ленин писал, что большевики захватят и удержат государственную власть. Был убежден, что в случае начального успеха сторонники хлынут к нему толпами, тысячами, миллионами. Он как-то сказал, что презрение к людям — плохое свойство для государственного человека. Но, верно, потому и сказал это, что думал прямо противоположное. В этом отношении он мало отличался от Муссолини, Гитлера, Троцкого и уступал лишь одному Сталину.

О начинавшем карьеру Робеспьере граф Мирабо с удивлением заметил: «Этот человек далеко пойдет: он действительно верит во все то, что говорит!» О Ленине трудно было бы сказать это, трудно было бы сказать и обратное. Он сам не замечал, когда лжет, когда говорит правду. Вернее, все, что он говорил, ему обычно казалось правдой, а то, что говорили враги, то есть не подчинявшиеся ему люди, всегда было ложью. Он не умел проверять свои чувства да и нисколько не считал это нужным. И в те дни почти искренно считал себя «жертвой клеветы» и новым Дрейфусом.

Больше всего он теперь боялся, что воюющие стороны заключат между собой мир, — это было бы страшным, непоправимым ударом для его дела: главный его шанс, бесконечно более важный, чем все другие, был основан на стремлении к миру солдат. Летом 1917 года в Стокгольме должна была состояться конференция социалистов, ставивших себе целью окончание войны. Ленин написал за границу: «Я абсолютно против участия в Стокгольмской конференции. Выступление Каменева... я считаю

верхом глупости, если не подлости... Я считаю участие в Стокгольмской конференции и во всякой иной вместе с министрами (и мерзавцами) Черновым, Церетели, Скобелевым и их партиями прямой изменой». Еще более грубой бранью осыпал западноевропейскую «министериабельную сволочь».

В Финляндии он мог жить более или менее безопасно. Но на всякий случай он теперь прятался и тут: почти не выходил на улицу. Грим, как всегда у всех, отражался на его душевном состоянии. Изредка конспиративно приезжала Крупская, сообщала ему новости и получала от него указания. Все инструкции сводились к одному: вооруженное восстание. Он писал в столицу одно шифрованное письмо за другим. Его бешеные письма действовали на Центральный Комитет сильно — и все же недостаточно.

Тормозили дело недавние любимцы, Зиновьев и Каменев. Они восстания не хотели. Ленин их люто возненавидел, — правда, ненадолго: в полное отличие от Сталина злопамятен никогда не был и всегда был готов прийти к дружескому соглашению с любым из людей, которых называл и считал «мерзавцами» и «сволочью», — лишь бы этот человек вполне ему подчинился. Робеспьер не мог сказать и двух слов без «vertu». Ленин этого слова и не выговорил бы — не только потому, что в мире изменился литературный стиль: он просто не понимал, какая-такая «добродетель» и зачем она, если и существует? Разве можно делать революцию без мерзавцев?

Люди в Петербурге работали по его инструкциям. Все же работали другие, а не он сам. Очень не нравилось ему и настроение части Центрального Комитета. И 7 октября он вернулся в Петербург. Поселился на Выборгской стороне, в многолюдном доме по Сердобольской улице, в квартире партийной работницы Фофановой: этой как будто можно было верить: не продаст, — разве уж, если предложат очень большую сумму? — нет, и тогда не продаст. Она смотрела на него влюбленными глазами. Перед его приездом отпустила свою горничную, сама покупала для него и готовила еду, исполняла его поручения. Кроме жены и сестры, у него бывали только наиболее надежные из «связных». Всем им было указано, как стучать в дверь. Крупская принесла ему большой план Петербурга, он что-то размечал для восстания.

Единственное неудобство было в том, что Фофанову изредка посещал молодой племянник, никак не большевик, чуть ли даже не юнкер. Было решено, что Ленин ни на какие звонки отвечать не будет.

IV

В Ессентуках была привольная жизнь, почти ничем, кроме дороговизны, не отличавшаяся от прежней. Кавказские горы понравились Люде еще больше, чем швейцарские. Альфред Исаевич, как всегда веселый, любезный, галантный, кое с кем ее познакомил. В пансионе жильцы заключили было соглашение: о политике не говорить, а то лечение печени не поможет. Все же говорили. Большинство возмущалось «Преждевременным правительством», Люда его защищала, Дон Педро занимал среднюю позицию: «Люди прекрасные, конечно, государственного опыта у них не хватает. Государственного опыта!» — внушительно объяснял он. Люда подтверждала: «Разумеется! Откуда же у них при царском строе мог бы взяться государственный опыт?» «А если опыта нет, так не лезли бы! — сердито говорили другие. — И уж, во всяком случае, при царском строе война велась лучше. Калуша и Тарнополя не было! Присяжным поверенным надо заниматься адвокатурой, а промышленникам — промышленностью!» Альфред Исаевич разъяснял, что́ было верно в словах Люды, а что́ в словах других.

Он аккуратно пил воды, строго соблюдая предписания врача, к которому ходил два раза в неделю с бодрым и вместе озабоченным видом. После вод и прогулки на веранде в парусиновом кресле читал письма от жены, каждое перечитывал два-три раза. Затем читал петербургские и московские газеты: при этом ахал, пожимал плечами и что-то бормотал, — Люда всякий раз удивленно на него смотрела, иногда даже с испугом, если он ахал уж слишком громко.

— Может быть, убили Керенского, Альфред Исаевич? Или нашли и арестовали Ленина? Или Вильгельм покончил с собою? — спрашивала она.

Он только нетерпеливо отмахивался и бормотал: «Что делается! Что делается!»

За обедом ему подавали диетические блюда, изготовлявшиеся по особому заказу. Вина он «временно не пил», что для него большим лишением не было. Толковал новости, обычно в оптимистическом духе. Сообщал сведения о действии вод, о своем весе, о словах врача.

Раза два они ездили в Кисловодск. Побывали также на месте дуэли Лермонтова. Дон Педро говорил, что Лермонтов был величайший поэт России после Пушкина, и очень ругал Мартынова: «Как только у него могла подняться рука на такого человека!»

Но совершить с Людой классическую поездку по Военно-Грузинской дороге Альфред Исаевич решительно отказался:

— Нет, дорогая, поезжайте одна. Вы, слава Богу, совершенно здоровы, а я тут все-таки лечусь. Доктор вчера сказал, что мне необходимы еще двенадцать соляно-щелочных № 4 и пять серио-щелочных № 19.

— Да плюньте вы и на соляно-щелочные, и на серио-щелочные! Вы тоже совершенно здоровы, и все это одно надувательство!

— Профессор Сиротинин находит, что не надувательство, а вы, дорогая, говорите, что надувательство! И потом, чего я не видел на вашей Военно-Грузинской дороге? Верю, верю, Дарьяльское ущелье — чудное ущелье, и Терек — чудная река, и горы там чудные, я знаю. Но разве здесь плохие горы? Разве Подкумок — плохая река? И разве я не могу обойтись без царицы Тамары и ее замка? Кстати, кто она была? Злодейка?

— Напротив, мудрая героиня! По народному преданью, она теперь спит в золотой колыбели.

— Неужели? Ну, пусть спит в золотой колыбели и дальше,— согласился Дон Педро.— Только я ради нее не согласен трястись два дня в экипаже и бросать для этого лечение. Доктор мне сказал: самое главное — регулярность.

Так он и не поехал. Люда решила отложить поездку до конца своего пребывания в Ессентуках. Она немного обленилась. Кухня в пансионе была прекрасная, кахетинское вино тоже скрашивало жизнь. После завтрака она спала часа два; перестала заботиться о «линии», да и не очень полнела.

— А вы сколько же еще здесь пробудете, дорогая? — уже незадолго до своего отъезда спросил Альфред Исаевич.

— Мне торопиться некуда. И денег у меня впервые в жизни больше, чем достаточно.

— Больше, чем достаточно, никогда не бывает. Разве у Ротшильда? Но вы правы. Если б не газета, я тоже остался бы до половины октября. Ведь здесь рай земной, тишь да гладь, Божья благодать. А какой воздух!

— Кооператоры сами советовали мне не торопиться.

— Какой превосходный и культурнейший институт — кооперация, я всегда это говорю! Посидите здесь до конца месяца. А зимой я вас навещу в Москве. Так было с вами здесь приятно!

— И мне тоже, Альфред Исаевич. Я вас аб-бажаю! — сказала Люда и вспомнила, что Джамбул когда-то на это отвечал: «Это надо доказать».

— Это совершенно взаимно,— осторожно-галантно ответил Дон Педро.

Он уехал, но другие знакомые оставались. Погода была еще хорошая, и Люда решила остаться в Ессентуках до конца октября. Случился, однако, всемирный сюрприз. Как-то под вечер на водах распространился слух, что в Петербурге началось восстание — большевики будто бы побеждают и могут прийти к власти! Это паники, впрочем, не вызвало: «Если и придут, то через неделю будут свергнуты, и тогда их, наконец, перевешают!»

Люда хотела тотчас уехать в Москву, но знакомые отсоветовали: «Лучше переждите неделю-другую. Да теперь и не доедете. Говорят, поезда и до Ростова не доходят».

Неделя-другая затянулась. На водах уже существовал совет рабочих и солдатских депутатов, хотя в Ессентуках не было ни рабочих, ни солдат. Этот совет получил сообщение из столиц и готовился к решительным действиям. Однако ничего страшного еще не происходило. Жизнь в пансионе шла по-прежнему. Только кухня стала менее обильной, на столики в столовой больше не ставились цветы, и хозяин-доктор, подумав, убрал со стены портреты Достоевского и врача Нелюбина, когда-то изучившего и описавшего ессентукские воды (он был в мундире).

Возвращаясь в пансион к завтраку, Люда встретилась с человеком, лицо которого еще издали показалось ей знакомым. Он тоже на нее взглянул, очень учтиво поклонился и нерешительно к ней подошел.

— Извините меня. Вы, конечно, меня не узнаете? Я когда-то заходил к вам в Куоккале. Собственно, не к вам, а к Джамбулу, но его не было дома и я разговаривал с вами,— сказал он. Говорил с грузинским акцентом.

— Как же, как же! — радостно вспомнила Люда.— Вас тогда было трое.

— Так точно. Вы совершенно не изменились.

— Будто?.. Да, помню, отлично помню, вы заходили к Джамбулу... Вы сейчас спешите? Не хотите ли тут немного посидеть? Вот как раз и скамейка.

— Очень рад.

— Прежде всего, познакомимся по-настоящему,— сказала, садясь, Люда,— ведь мы друг друга и не знаем. Я Людмила Ивановна Никонова, теперь отдыхаю в Ессентуках, живу в Москве, работаю в кооперации. А вы кто?

Он назвал себя. Фамилия у него была на «швили».

— Я был в последние месяцы в Петрограде членом Национального грузинского комитета. Мы помещались на Фурштадтской, в доме, любезно по соглашению предоставленном нам графиней Софьей Владимировной Паниной,— сказал он, медленно и особенно отчетливо, с видимой заботой о точности, выговаривая каждое слово. Из того, что он назвал имя-отчество и даже титул графини, Люда заключила, что он, во всяком случае, не большевик. Ей и хотелось поскорее узнать о Джамбуле, и казалось не совсем удобным спросить с первых слов. Немного и боялась ответа.— Я здесь проездом в Тифлис.

— В Тифлис? Быть может, там увидите Джамбула?

Он посмотрел на нее удивленно.

— Джамбул давно живет в Турции.

— В Турции? — «Слава Богу, значит, все-таки жив!» — Что он делает в Турции?

— Занимается «земледелием и скотоводством», как писали о древних народах в школьных учебниках,— ответил, улыбаясь, новый знакомый.— Мы надеемся, что он к нам вернется.

— Извините меня, кто «мы»? Но прежде скажите, как ваше имя-отчество?

— Кита Ноевич... Пожалуйста, не сердитесь, если режу ваше русское ухо, и не смешивайте с гоголевским Кифой Мокиевичем... Вы, вероятно, знаете, что Грузия и другие кавказские земли теперь отделяются от России. По крайней мере впредь до Учредительного собрания и падения большевиков.— «Вот как?» — подумала Люда.— Я и хотел сказать, что, быть может, Джамбул согласится работать с нами на мирной ниве государственного строительства. Но это только мое пожелание. Беда не в том, что он давно стал турецким подданным: мы его тотчас приняли бы в наше гражданство. Но не скрою от вас, он, по слухам, совершенно переменил убеждения и стал консерватором. Джамбул еще задолго до войны написал об этом той даме, с которой я к вам, если вы помните, являлся в Куоккале. «Душка этот Кита, но говорил бы скорее»,— подумала она.— И видите ли...

Он рассказал, что тогда писал Джамбул. Люда слушала, разинув рот. «Джамбул — турецкий помещик! Консерватор и читает Коран!.. Той написал, а мне нет!»...

— Знаете что? — перебила она его.— Сейчас в моем пансионе завтрак, пойдем ко мне, а? Вы мне доставите большое удовольствие, а кухня у нас недурная. Сегодня пилав!

— Буду весьма рад и искренно благодарю вас за приглашение. Я только сегодня приехал и именно шел в ресторан... Так вы ничего этого не знали?

— Решительно ничего,— ответила Люда. «Конечно, он не может знать, что мы давно с Джамбулом разошлись».— Он мне не писал... Мой пансион в двух шагах отсюда, вон там на углу.

За завтраком он записал для Люды сложный адрес Джамбула, поговорил о политических делах, был очень мил и любезен.

— Вы твердо решили вернуться в Россию, Людмила Ивановна? Да как вы теперь туда проедете?

— Скоро все наладится.

— Не думаю, чтобы скоро. Все говорит за то, что большевики временно одержали победу...

— Ось лыхо!

— Разве вы украинка? — поспешно и как будто с радостью спросил Кита Ноевич.

— Нет, я великоросска. Что же это будет? Здесь мне делать нечего, и помимо всего прочего я не богачка.

— Здесь действительно делать нечего, — сказал он, подчеркнув слово «здесь». Спросил Люду, какую должность она занимала в кооперации, любит ли это дело, как относится к меньшевикам. Спросил, замужем ли она.

— Нет, я совершенно одинока. У меня и в Москве близких людей очень мало, только Ласточкины. Вы, верно, слышали о них?

Он действительно слышал о Дмитрии Анатольевиче и имел с ним общих знакомых.

— Повторяю, я не думаю, чтобы вы скоро могли вернуться к работе в России. Разве только, если вы склонитесь к большевикам? — спросил он, внимательно на нее глядя.

— Я? К большевикам? Никогда в жизни!

— Есть вдобавок основания опасаться, что кооперация в России скоро будет большевиками прикончена. А вот мы непременно ею займемся по-настоящему. Отчего бы вам не поработать у нас? Работа для вас нашлась бы... Вы удивлены? Почему же? Мы охотно будем предоставлять работу русским, не требуя от них принятия грузинского гражданства.

— Я действительно удивлена... И, разумеется, такое требование было бы для меня совершенно неприемлемо.

— Я понимаю. Но мы, грузинские социал-демократы, очень терпимы. Лишь бы вы не были реакционеркой или грузинофобкой...

— Разумеется, я не реакционерка и не грузинофобка!

— Это все, что требуется. Не скрою от вас, я, верно, скоро получу у нас в Тифлисе должность. Может быть, и немалую ввиду моего долгого стажа, — добавил он с улыбкой, — и я почти уверен, что легко нашел бы для вас работу. Подумайте. Я прекрасно понимаю, что такое решение сразу принять нельзя. Но если вы решите пока в Россию не возвращаться, то дайте мне знать, и я легко достану вам пропуск.

— Признаюсь, это очень для меня неожиданно... Во всяком случае, я вам искренно благодарна.

— Подумайте, осмотритесь. Отказаться вы можете и позднее.

— Это так. Я вам пока ничего ответить не могу... А как вы думаете, могла ли бы я написать Джамбулу?

— Разумеется, во время войны это невозможно: каким образом дошло бы письмо? Однако война, верно, скоро кончится. У нас многие думают, что, как это ни печально, а Германия уже победила.

— Ну, это бабушка еще надвое сказала!

— Во всяком случае, тотчас после окончания войны вам легко будет снестись с Джамбулом. Мы и сами, верно, тогда ему напишем. У нас его всегда очень ценили. Он мужественный, энергичный человек и был бы прекрасным работником.

— Конечно, — согласилась Люда. «Мужественный — бесспорно, а прекрасный работник едва ли, он лентяй», — подумала она.

— Только вряд ли он согласится. Джамбул все правительства терпеть не может и еще вдобавок слишком насмешлив. Он и не социалист, и не консерватор, а по природе анархист, — сказал Кита Ноевич с улыбкой, наливая вина в бокалы.

(Окончание следует).

Герцен КОПЫЛОВ

Четырехмерная поэма

ОТРЫВКИ

Человеку, нареченному при рождении Герценом, да еще с отчеством Исаевич, сама судьба предопределила быть в оппозиции к властям. Таким он и стал, этот человек, которого черт угадал родиться в России с умом и талантом. Впрочем, как известно, быть в оппозиции к власти—вообще одна из социальных функций интеллигенции, российской — в особенности, а Герцен Копылов был российским интеллигентом самой высокой марки.

Г. Копылов — классический «шестидесятник». Именно в эти «послеоттепельные» годы физик Копылов сформировался как активный участник движения, которое «изнутри» обозначили как правозащитное, а «извне» — как диссидентское. Будучи хорошо знаком со многими известными правозащитниками, например, с П. Якиром, И. Габаем и другими, Г. Копылов, однако, не был в числе активных «подписантов» и не выходил на демонстрации. Он участвовал в правозащитном движении по-иному — как публицист, избрав себе псевдоним Семен Телегин. Его ведущая идея: «внутреннее освобождение есть необходимое условие свободного общества», «свобода внешняя не может возникнуть без свободы внутренней».

Но в полной мере талант Г. Копылова-литератора раскрылся в его поэтических работах — двух больших поэмах и в отдельных стихотворениях. При жизни эта сторона его деятельности была известна лишь немногим близким друзьям, даже в самиздате его стихи не распространялись. Лишь в 1989 году в печати появилось несколько поэтических миниатюр Копылова (журналы «Наука и жизнь» и «Химия и жизнь»). Представить по ним масштаб этого блистательного поэта, конечно, невозможно.

Главный труд жизни Копылова-поэта (приходится вводить это ограничение, ибо здесь мы не касаемся жизни Копылова-физика) — его «Четырехмерная поэма», трагический, саркастический и лирический современный лубок (в лучшем смысле этого слова). Это очень сложное по поэтике произведение вобрало в себя тревожную атмосферу конца 60-х — начала 70-х годов — через восприятие горько-ироничного интеллигента. Календарным центром поэмы является, безусловно, август 1968 года — месяц советской интервенции в Чехословакию: крушение первой «революции интеллигентов», позор невольного соучастия, отвращение к восторжествовавшей силе. Эту «тень 68-го» стоит все время иметь в виду при чтении поэмы.

Четырехмерное пространство поэмы вобрало в себя целый спектр нашей жизни— от микромира советского научного городка до космоса российской истории. Трудно, пожалуй, найти и в «формальной», и в «неформальной» литературе такое яростное отторжение всего феномена «реального социализма». И вот что поразительно: поэма, написанная в период «расцвета застоя», звучит актуально даже в наше перестроечное время. Впрочем, не исключено, что это характеризует не столько поэтику Копылова, сколько неистребимые традиции российской истории, безжалостно подмеченные в главке «Лапоть». Но это безжалостность особого толка, приводящая на ум строки: «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей».

Кронид Любарский

Переход первый. Кривичи.

Люди!
Я любил вас!
Будьте бдительны!
И. Сталин

Выступаем от крыльца,
начинаем от яйца.
В нем тогда еще лежала
вся российская держава.
Ну а кто, какая птичка
в те поры снесла яичко?

* * *

Между
Волгой и Двиной
жил тогда народ иной,
низкорослый, некрасивый.

Были здесь везде трясины,
комары, как крокодилы,
да боры непроходимы.
А в борах-то — птицы! звери!!
И жила здесь только меря
или чудь,
а может, весь —
то неведомо нам днесь.
Всяк свою скородил рамень,
всякий всякому был равен
и боялся — только чоха.
Жил в грязи, а все ж неплохо:
лыко драл, ловил бобров,
стерлядь жрал и осетров.

Жили рядом с кривичами,
у себя их привечали.
Удивлялись кривичи,
на белоглазых глядючи:

— Поглядите, добры люди,
сколько чуда в этой чуди!
Те ж болота, что у нас,
а какой в избе припас,
даром что едят по-свински,
даром что галдят по-фински.
С них по три шкуры не дерут,
ни даже дани не берут —
что им мыто, что им князь!
Ай-да чудо-белоглазь!

Чем же хуже, братцы, мы-то?
Что ни шаг — оброк да мыто!
Все даём, даём, даём —
то бездетность, то заём.
Дань дерут — полпуда с пуда,
выгребают из-под спуда.

Не налог — грабёж.
Не закон — правёж.
Чуть не так — в кнуты,
будто мы — скоты.
Мы же люди, не назём.
Хватит жить нам под князём.
Разбредемся розно,
покудова не поздно.

Эй, народ!
Слезай с печи
да на дровни все мечи.
Что не влезет — брось.
Наживем небось.
Хватит баб лапать.
Обувай лапоть.
Обнови-ка санный путь,
уходи-ка с нами в Чудь.
Эй ты, Русь, отчаль!
Кинь ты грусть-печаль.
Жили, не было печали —
сами взяли, накачали,
так теперь уж не кричи.

Так шумели кривичи.

Им
за качество одно
было имя то дано:
что они, по воле вольной,
шли всегда тропой окольной,
не любили прямиком,
не ходили большаком,
дело ладили с оглядкой,
шубу новую — с заплаткой,
дули в дудку не дудя,
проходили не дойдя,
завивали лысым кудри,
задней сметкой были мудры,
мерзли вместе — грелись врозь.
Так у них уж повелось.

От хождения кривого
все точила их тревога.
То и дело путь меняли,
веры никому не няли.
И, себя в конец запутав,
здравый смысл послав на хутор,
вдруг бросались очертя,
смет и планов не чертя,
шишки ставя на чело:

— Обойдется!
— Ничаво!

Так и тут.
Решили мигом:
полно, братцы, жить под игом!
Не задумавшись ничуть,
встали все, ушли на Чудь
или в Мерю,
или в Весь —
весь народ,
за весью весь.

Князь
пропажи не заметил...
Был вельми он духом светел,
не сходил до мелочей...
В те поры для кривичей
составлял он, сидя дома,
семилетний клич подъема.
Составлял все семь годов,
наконец-то клич готов...

Клич
на диво был хорош:
а) не сеять больше рожь,
б) все силы — на пшеницу,
в) крупней объединиться
г) в поход на белену,
д) народ — на целину,
е) посевы поливать,
ж) соседей поливать,
з) купить алтын за грош...

Клич — отменно был хорош,
не учел лишь он спроста,
что в деревне — пустота,
заколочены все избы,
смолкнул смех,
девичьи визги,
пеунов — и то не чуть —
все давно ушли на Чудь.

Вышел князь однажды с
кличем.

Взгаркнул,
вскликнул гласом бычьим.

Голос
гору обогнул,
эхо ближнее спугнул.

Как
взвилось оно над лесом,
как взвертелось мелким бесом,
отскочило от дубрав,
ничего не разобрав,
возле речки
на песочке
поиграло
в голосочки,
заглянуло в Божий храм,
шурануло по углам,
вперепрыжку
поскакало
по оврагам,
по буграм,
завопило очумело —
оттрубило,
отшумело
и в омелах
у скита
онемело.

Пус-
то-
та!

Ой, взыгра во князе грусть:

— Эх ты мать
родная Русь!

Ну народ!
Ну ровно дети!
Чуть им что — рванулись в нети.
Распусти их чуть —
норовят на Чудь.

А того в уме неймут,
что источник счастья — труд.

Сделай труд ты делом чести
и трудись прилежно вместе —
и создаст вам труд обилье,
может сказку сделать былью.
Ишь ты, тоже эмигранты!
Коромольники!
Таранты!

Не заела бы их чудь,
надо бы дойти взглянуть...

Через Ворю и Мещору,
через самую трущобу
князь пробрался на Двину:
«Ну-ка, — думает, — взгляну!»

Глядь —
народ живет неплохо,
пироги печет с горохом,
мочит кадки под грибы,
ладит ступы для крупы,
грабит борть и рыбу удит.

Где же чудь-то?
Нету чуди!

Русский
говор,
мат
и смех.

Чудь
растаях аки снег
во ярилиных лучах —
рассосалась в кривичах.
Для ума непостижимо —
без особого режима,
без насильного креста,
без отсылки в Туркестан,
без расправы с мнимым бунтом,
без анкеты с пятым пунктом,
ни судом,
ни измываньем —
просто
со-
су-
щест-
во-
ваньем!

Лишь остались имена:
Волга, Истра и Двина,
да с тех пор
носить решили
кривичи
носы пошире
(основанья их раздвинув
в память чуди,
в память финнов).

Первый привал. Лапоть.

Ох вы, лапти мои,
лапоточки мои,
приходи ко мне, миленок,
ставить точки над i.

— Не устали вы, дружки?
Кто устал, прилягте.
Расскажу я вам стишки
о великом лапте,
о старинном лапте
от Курил до Лахти.
Вынь-ка глобус
вслед за мной,
кинь-ка взор
на шар земной —
он придавлен сверху льдиной,
неделимою,
единой.
Кому льдина — кому лапоть!..
Надо же суметь оттяпать
от земного верху
этакую мерку.
Жмет громада на планету,
нажимает — сладу нету,
виноват — не виноват,
кувырка не миновать.
Кто же
тот земной рычаг
раскопал и выкопал?
— А все дело в кривичах,
в ихнем лапте лыковом, —
все-то дело в лапотке —
в том,
которым по реке
путь топтали люди,
утекая к чуди.
А вослед за стариками
молодая поросль,
как от света тараканы,
разбегалась порознь.
Убегали от Расеи,
от приказной карусели,
от ноздрей, железом рваных,
от гостей ночных незваных,
раскулачиваний лютых,
выколачиваний смуты,
вечной дешевизны
человечьей жизни,
от натужности ярма,
от ненужности ума,
от сумы и от тюрьмы,
Соловков и Колымы.
Было им на...
чхать
на цареву рать,
на Петра Великого,
на орла двуликого,
на казенный толк,
на законный долг,
патриотов-п...алачей... [1]

Шли потомки кривичей,
топотали лапотками,
в армяках из домоткани.
Тек поток серый
на Восток, Север.
Уходил назло царям
то к чухне,
то к лопарям.
Убегал он самобегом
к литвякам
и самоедам.
Плавал волжским низом
к татарве,
к киргизам.
Меж калмыков
горе мыкал,
пер по Каме
с пермяками,
подпоясавшийся лыком,
шел за Камень
с казаками,
то ль за новою судьбиной,
то ль за Книгой голубиной.
Как дождем,
нуждой иссикан,
вшой сыпной по бровь осыпан,
шел как в ссылку на Иссык он,
мерил дали верст,
голодал и мерз...
...Не терялась Расея,
своих граждан рассея:
за слепою,
огромной
жаждой
воли и счастья
жал тропою укромной
раж разбоя и власти.
Эти ноги босые,
эти латки и лапти
разносили Россию
разбеганьем галактик.
Чем несносней несчастья,
чем страданья космичней,
тем славнее всевластье,
тем яснее величье.
Ай да ушлые предки,
подгадали потомкам,
дар оставили редкий:
лапотки
и котомку,
чтоб,
сбежав от подонков,
властодержцев России,
те потомки
в котомках

[1] Слова с внутренним многоточием означают, что читатель вправе поставить на их место другое, более точное слово. (Прим. автора).

ихнюю власть разносили,
и, запасшись авосем
и мечтой оголтелой,
чтоб
столетий на восемь
им хватило бы дела.

...Смотрим мы на шар земной.
Я хотел бы, чтоб за мной
и читатель тоже понял,
отчего в нас сто японий,
а бельгии-голландии —
что мелкие оладии.
Чтоб он тоже, пораскинув
взором в давние века,
понял,
до чего Россия
бессердечно велика.
Развалилася Федора
от Карпат до Командора,
от вогулов до армян,
всех огулом подравняв.
Непонятных — обкорнала,
неприятных — доконала,
как по мерке, под ранжир
все уклады уложив.
Тот огром постигнуть тужась,
мозг бессильно ощетинь.
Как в погром, постыдный ужас
пред Россией ощути:
сколько ж надо было боли,
жажды воли, рук на горле,
трупов,
пленных,
грабежа,
труб военных трубежа
и людского —
нелюдского —
сверхлюдского —
терпежа!

Сколько веры с удалью
и с леченьем розгами,
чтоб,
начав от Суздаля,
да такое создали,
чтоб от Кушки до Таймыра
те же
люди у кормила,
чтоб
в Тбилиси,
в Магадане
те же
мысли,
те же
зданья,
те же
странные квартиры
с той же ванною в сортире,
тот же вкус отбивной,
тот же дух от пивной,
грязь по колени,
связь поколений,
чтоб
одна
окраска стен,
чтоб
одна
увязка цен
и пальто реглан,
и поток реклам,
те ж
изделья из резины,
те ж
фанерные призывы,
клики да колонны,
втыки за уклоны,
та же
чушь контор,
тот же чувств картон
и один язык
для народа:
ЗЫК...

Юрий БУРТИН

Что такое КПСС

Вчера

На протяжении многих десятилетий наш политический словарь был перенасыщен своего рода псевдонимами, некими условными обозначениями, нередко весьма далекими от настоящего смысла вещей. Мы говорили: «Дайте, пожалуйста, «Правду» — и получали в окошечко очередную порцию официальной лжи, медленно, но верно отравлявшей нас. Мы говорили «Советская власть», хотя и догадывались, что Советы, включая Верховный, никакая не власть, а всего лишь декорация и что их «исполкомы» исполняют отнюдь не волю Советов. Мы говорили «колхоз» — о хозяйстве, не имевшем никаких признаков коллективного, и «нарсуд» — об учреждении отнюдь не народном, скорее, антинародном. Мы называли провалы «историческими достижениями», назначения — «выборами», тиранию — «высшей формой демократии» и т. д. и т. п. Слово «партия», которое мы применяли к КПСС,— из того же словаря псевдонимов.

Дело в том, что за 87 лет своего существования РСДРП — РКП(б) — ВКП(б) — КПСС партией как таковой оставалась сравнительно недолго, примерно треть названного срока. А затем почти что вплоть до сегодняшнего дня это было уже образование, сохранявшее лишь внешние признаки политической партии, по сути же своей совершенно иное. Да, конечно, в ее обиходе было, кажется, все, что полагается иметь партии: программа, устав, членские взносы, строго установленные ритуалы приема и исключения, закрытых и открытых собраний, «выборов» руководства и пр. Но, заботливо (и, разумеется, не зря) сохраняя все эти формальные атрибуты, ВКП(б) — КПСС была начисто лишена важнейшего сущностного свойства политической партии, важнейшего критерия, по которому она отличается от общественных организаций любого другого типа. Это — реальное единомыслие, бо́льшая или меньшая степень близости ее членов во взглядах на совокупность каких-либо значимых вопросов общественной жизни, что, собственно, и побуждает людей объединиться в партию, превращая их тем самым в весомую политическую силу, и одновременно отделяет от тех, кто таких взглядов не придерживается.

— Постойте! — слышу я недоуменный и протестующий голос.— На каком основании отрицаете вы идейную близость членов КПСС, единство их в основных общественно-политических взглядах? Можно упрекать эту партию в чем угодно, только не в том, что она допускала какую-либо беззаботность в идеологических вопросах, а в своих рядах какой бы то ни было идейный разброд. Совсем напротив. Трудно найти пример более всеобъемлющей, стройной, во всех своих частях разработанной и систематизированной партийной идеологии, чем марксизм-ленинизм. Еще труднее найти другую партию, кроме коммунистической, которая так блюла бы верность своей идеологии, так бдительно следила бы за тем, чтобы от нее не допускалось никаких отклонений, за исключением коррективов, время от времени вносимых высшим партийным руководством по уважительным соображениям политической целесообразности. Разве не эта партия разгромила в своей среде «уклонистов всех мастей», а затем и физически стерла их с лица земли? А выражение «идеологическая дисциплина», уже на нашей памяти введенное в обиход?

— Все это так, но я о другом. Не о той идеологии, которая в учебниках по «научному коммунизму», и не о том единомыслии, что на плакатах и в отчетах, а о том, что реально творилось в головах. Когда в 20-е годы громили «уклонистов», то между ними и теми, кто их уничтожал, степень идейного родства была как раз весьма высокой. Однако можно ли утверждать, что КПСС, какой мы видели ее на протяжении последних десятилетий, хоть в малой мере отвечала своему уставному определению — «союз единомышленников-коммунистов»?

Вспомним общеизвестное — внутреннюю жизнь КПСС недавних брежневских времен, когда «реальный социализм» в самом деле достиг полной зрелости и повсюду действительно царила образцовая «идеологическая дисциплина». Вспомним партийные собрания того времени, в том числе открытые, на которых мало кому из нас не приходилось бывать хотя бы изредка. Там люди говорили одно, а в курилках и дома совсем другое, часто прямо противоположное, да притом все подряд, не какие-нибудь там особенные циники и лицемеры. Я думаю, Марксу и Ленину даже в страшном сне не могла померещиться коммунистическая партия, члены которой будут вспоминать о социализме лишь в докладах да в анекдотах. Между тем так было не только 5—10 лет назад. Знаменитый рассказ Александра Яшина «Рычаги», где партийное двоемыслие изображено как привычная, обыденная черта нашей жизни, был напечатан еще в 1956 году. (Поэтому, когда нынешние партийные кадры представляют порой в виде этаких фанатиков идеи, которых заела марксистская теория, чем и объясняют их социальное поведение, такое объяснение выглядит просто комичным.)

Но если КПСС, за небольшими исключениями, состоит из коммунистов, которые не верят в коммунизм да и в социализме не видят ничего хорошего, если в ней нет и намека на какое-то реальное единство взглядов, обусловленное искренним согласием с партийной программой, то какая же это партия?

Между тем целых 70 лет никакой другой партии в нашей стране не было, существовала, как принято говорить, однопартийная система. Тоже своего рода псевдоним, с которым по ходу разговора полезно разобраться.

Оборотная сторона той духовной общности, что объединяет людей в партию,— наличие рядом с нею других подобных общностей, людей, исповедующих существенно отличные взгляды и также по этой линии тяготеющих к объединению. Партия лишь постольку отвечает смыслу этого понятия, поскольку и помимо нее есть какая-то организованная политическая сила, притом достаточно серьезная, чтобы соперничать с нею за власть и влияние в обществе. Если нет такой второй (третьей, четвертой) альтернативной силы, значит, нет и первой. С этой точки зрения, вообще говоря, «однопартийная система» в принципе такая же бессмыслица, как однополюсный магнит, одностороняя стена или однополое человечество. Реально однопартийность возможна ныне, за исключением некоторых стран «третьего мира», лишь как кратковременное переходное состояние на пути от демократической многопартийности к тоталитаризму или обратно, но отнюдь не как **система**, то есть нечто устойчивое, способное к длительному воспроизводству.

В нашей пореволюционной истории действительно была такая переходная полоса, ее хронологические рамки можно определить достаточно точно. Это тот отрезок времени, когда, уничтожив все другие, в том числе революционные, партии, РКП(б) — ВКП(б) осталась одна, но черты политической партии еще не успели стереться с ее лица. Начало его не позднее июля 1918 г. Конец — рубеж 20-х и 30-х годов, когда в основных своих очертаниях сформировалась тоталитарная диктатура, в рамках которой партийное единомыслие уступило место простому повиновению воле Вождя (в переводе на немецкий — фюрера), беспрекословному выполнению любых его указаний. И

> ...если он скажет: «Солги»,— солги.
> И если он скажет: «Убей»,— убей.

Сравните по стенографическим отчетам XVI съезд ВКП (б) (1930) хотя бы с предыдущим, XV (1927), не говоря уже о более ранних,— вы сразу почувствуете глубину происшедшего превращения. Конечно, и вслед за тем ВКП(б) некоторое время еще сохраняла кое-что от своего прошлого, преимущественно в субъективном восприятии и взаимоотношениях ее старых членов (коих, впрочем, после 37-го года осталось совсем немного), но по сути своей, по своим социальным функциям это была уже совершенно другая организация. Когда в 1952 году товарищ Сталин решил сменить вывеску — «Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)», к этому были все основания: за исключением первого, нейтрального слова старое название представляло собой прямо-таки парад мертвецов. Ибо это была уже, во-первых, не партия, во-вторых, кроме ритуального набора пустых фраз, в ее обиходе не было ровно ничего коммунистического, в-третьих, в ней уже не осталось большевиков. (Странно бывает читать и слышать, когда нынешних членов КПСС величают или чаще ругают «большевиками». Плохо ли, хорошо ли, но это племя давно вымерло, здравствуют же совершенно непохожие на него типы сознания и поведения.) Знаменательно, впрочем, что, избавившись от «большевиков», вероятно, будивших у него дурные воспоминания и дав взращенной им «партии» ее нынешнее название, два главных псевдонима из старого Сталин посчитал полезным сохранить...

Много можно было бы говорить о том, что привело «партию Ленина» к такому финалу, в решающей мере предопределенному известными изначальными ее особенностями как «партии нового типа», а главное, характером самой революции, которую она совершила, однако нас сейчас интересует только результат. А именно тот факт, что первоначальная кратковременная однопартийность на долгие годы сменилась системой, по существу беспартийной, где под именем «партии» и в прежней партийной оболочке выступало уже нечто принципиально новое. Если этого не видеть, то трудно как следует понять и нашу историю, и значимость нынешнего демократического процесса. Человеку, не слишком искушенному в политике, может подуматься (особенно если ему умненько подскажут): дескать, что же, была одна партия, стало две, три, несколько — велика ли разница? И от одной-то не было толку... Сов-

сем другое дело, если мы отдадим себе полный отчет в том, что на протяжении большей части советской истории нам в этом отношении, как и во многих других, просто морочили голову, что более полувека никаких партий у нас не было вообще, а то, что нам (и мы сами себе) выдавали за партию, был лишь некий оборотень (этакий булгаковский лже-Варенуха, неотличимо похожий на настоящего, но только не отбрасывающий тени), партиеобразный институт тоталитарно-бюрократического государства.

Скажут, пожалуй: увлекшись борьбой с «псевдонимами», вы ведете спор о словах. А ведь слово многозначимо, да и исторический опыт в данной области весьма многообразен. Сравните-ка форму партии, преобладающую в Европе, с большими «избирательными» партиями в США — разница очевидна. Вот и КПСС — пример еще одного типа партии, того, что присущ социалистическому строю. Конечно, она не похожа на партии капиталистических стран, но что из того?

— Спорить о словах действительно не стоит. Важно, однако, чтобы многозначимость слова была выявлена, иначе она скрадывает различия, а порой и противоположности, затемняет суть дела. В данном случае так оно и есть: десятки лет весь наш огромный пропагандистский аппарат приучал нас видеть в КПСС не то, чем она являлась на самом деле,— особой организацией власти над обществом.

— Но ведь и говорилось же: правящая партия.

— Еще одно из тех лукавых словечек, какими нам и до сих пор дурят голову. Понятие «правящая партия» имеет смысл лишь в условиях многопартийности, притом реальной и развитой. Оно предполагает возможность смены партии, находящейся у власти,— вещь, при тоталитарном режиме немыслимую. Еще важнее другое. В демократическом обществе правящая партия — это партия, которая, победив другие на свободных выборах, берет в свои руки государственную власть (формирует правительство), однако сама властью и системой управления отнюдь не становится. У нас же, где любые выборы были лишь пустой комедией, именно сама «партия» выступала как особый, всеохватный механизм власти и управления. Если другие органы управления (министерства, Советы) действовали либо в отраслевом, либо в территориальном разрезе, то «партийная» власть, будучи, во-первых, так сказать, старшей по званию, а во-вторых, всеобъемлющей и универсальной, подчиняла себе всю страну и все сферы жизни общества.

Надо ли напоминать, как это выглядело на практике? Как вся наша жизнь регламентировалась и двигалась «постановлениями ЦК КПСС» (с необязательным добавлением: «... и Совета Министров СССР»), время от времени перемежаемыми очередными «историческими решениями» пленумов ЦК. Как безоговорочно принимались они к исполнению любым государственным ведомством, которое затем контролировалось той же «партией» и сверху (соответствующим отделом ЦК), и сбоку (скажем, вызовом директора завода отчитываться в выполнении плана на бюро райкома), и изнутри (парткомом того же завода и цеховыми партийными организациями). Словом, именно «партия» и генерировала руководящую волю, и доносила ее до каждой клеточки государственного и общественного целого; именно ей система, полностью лишенная способности к саморегулированию, была в решающей мере обязана своей управляемостью, единонаправленностью и слаженностью действий всех своих подсистем и звеньев. (Относительной, конечно, если вспомнить, например, о ведомственном эгоизме, о повальных приписках и других неустранимых пороках данной системы, но это уже особая тема, равно как и то, что весь этот надетый на единую ось маховик работал в конечном счете против человека, против народа.)

Итак, не «мозг класса, сила класса, слава класса», как мы много лет декламировали, а **институт власти** — «вот что такое партия».

— Но в КПСС миллионы людей, большинство из которых — рядовые коммунисты. У каждого из них не больше власти, чем у любого беспартийного.

— А это уже вопрос организации дела и распределения функций. Как и все советское общество в условиях «государственного социализма», КПСС представляла собой идеальной формы конус, у которого есть верхушка, средняя часть и основание.

Верхушка — это правящая олигархия, «коллективное руководство». Те, кого до недавнего времени принято было называть «руководителями партии и правительства», а их имена выделять в газетах жирным шрифтом: члены и кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК КПСС. В качестве главного олигарха со времен Сталина выступал Генеральный секретарь ЦК КПСС (он же и глава государства, хотя формально мог не числиться таковым). На протяжении всех этих десятилетий олигархия — высший субъект власти в СССР, ее первоисточник и персональное воплощение. Она безраздельно и бесконтрольно распоряжалась всеми богатствами страны, ее хозяйством, судьбами ее культуры. «Мне все послушно, я же ничему»,— могла бы она сказать словами пушкинского скупого рыцаря, если бы была более откровенна.

Далее — в качестве средней части конуса — «аппарат», или «номенклатура», многоступенчатая иерархия партийных, советских, хозяйственных и прочих «ответственных» должностей (тоже, кстати, псевдоним, поскольку отвечать в случае чего всегда приходилось «стрелочнику»), заполненная людьми, на которых возложена обязанность передавать сверху вниз

команды и обеспечивать их исполнение[1]. Они тоже обладали властью, но вторичной, дарованной. Суть понятия номенклатуры и едва ли не главный принцип тоталитарной системы — это «делегирование власти» исключительно сверху вниз; работник «аппарата» располагает той властью, которая вручена ему свыше. Однако в пределах, ему очерченных, она может быть близка к абсолютной, и есть большой смысл в том, что, например, секретаря райкома часто называли «хозяином района», директора — «хозяином завода» и т. д. Ведь в их руках было не только исполнение тех или иных управленческих функций, но и судьбы людские.

Низ, подошва конуса — рядовые члены КПСС. В отличие от олигархии и «аппарата» они действительно сами по себе не располагали никакой властью — ни собственной, ни «делегированной». Решения первичных организаций по крайней мере в 99 случаях из 100 были решениями начальства, помимо воли которого они не могли даже собраться. Тем не менее роль «рядовых» в системе власти была очень важной. Она состояла в том, чтобы «единодушно поддерживать и одобрять», быть заведомо организованной опорой начальства. В силу партийной дисциплины они были первыми и образцово послушными из конечных исполнителей руководящей роли, с их помощью она доходила до каждого человека и до каждого рабочего места. С другой стороны, благодаря им воля начальства, порой не без некоторого правдоподобия, изображала из себя волю народа; создавалось впечатление, будто многие нужные руководству решения принимаются по инициативе, идущей снизу. Не случайно первичные организации создавались везде, кроме лагерного барака, где власть осуществляется более упрощенным способом.

И еще одно важное обстоятельство: только благодаря наличию «рядовых» удавалось столь длительный срок выдавать систему власти за политическую партию. Если бы в один прекрасный день в КПСС осталось только разнокалиберное начальство, с нее сразу осыпался бы весь ее «партийный» грим, и во всей своей неприглядности нам явилась бы гигантская машина подавления народа, оглупления его и командования им.

Роли, как видим, разные; грань, отделяющая номенклатуру от «рядовых», принципиальна. Но для эффективного функционирования этой машины все три ее блока были равно необходимы.

Итак, лжепартия как специфическая форма организации власти в беспартийной (псевдооднопартийной) тоталитарной системе.

Нетрудно объяснить, почему этот псевдоним столь долгое время оставался нераскрытым (во всяком случае недораскрытым) в общественном сознании. Ясно, что помех тому было много: и вышеупомянутое искусство мимикрии и гримировки, и полная невозможность даже затронуть, не говоря уже — свободно обсудить данный предмет в печати, и корыстная заинтересованность власть имущих в том, чтобы легенда оставалась нерушимой, и чувство самосохранения, конформизм, леность мысли во многих других людях, и остатки прежней веры, ревниво оберегаемые от любых посягательств не только извне, но и со стороны собственного жизненного опыта...

Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!

Любопытно, однако, что и оппозиционное наше сознание в своей критике КПСС, нередко чрезвычайно резкой, обычно не сомневалось в том, что воюет с политической партией, и, таким образом, попадало в мираж. Воистину в «**призрак** коммунизма». До последнего времени это еще можно было оправдать — тем, что никакого непосредственно наблюдаемого материала для сравнения, то есть никакой партии в собственном смысле слова, нам в жизни видеть никогда не приходилось. Но вот мы снова начинаем жить в условиях многопартийности — разве теперь уже что-нибудь мешает видеть вещи в настоящем свете и называть их своими именами?

Увы, новое время — новые миражи.

Сегодня

Итак, у нас многопартийность. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Разумеется, не все тут нужно принимать всерьез. 1 ноября 1990 г. программа «Время» обстоятельно показывает встречу А. И. Лукьянова с представителями шестнадцати (!) «партий центристского блока». «Консерваторы», «Партия Мира», «Партия Человека», еще какие-то; впервые услышанные названия запоминаются с трудом. В каждой не менее чем по одному члену. Председатель Верховного Совета СССР, пряча улыбку, обсуждает с ними вопрос о создании коалиционного правительства (после чего, надо думать,

[1] **«Номенклатура** — это перечень наиболее важных должностей, кандидатуры на которые предварительно рассматриваются, рекомендуются и утверждаются данным партийным комитетом (райкомом, горкомом, обкомом партии и т. д.). Освобождение от работы лиц, входящих в номенклатуру партийного комитета, также проводится лишь с его согласия. В номенклатуру включается сравнительно небольшая часть работников, находящихся на ключевых позициях руководящей деятельности и играющих ввиду этого большую роль в управлении государственными и общественными делами. Кадры, входящие в номенклатуру партийного комитета, пользуются его особым вниманием». («Партийное строительство», М., Политиздат, 1970, с. 283).

Великолепный по богатству и точности анализ названного явления дан Михаилом Восленским в книге «Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза» (Лондон, 1985); главы из нее опубликованы в последнем номере журнала «Октябрь» за прошлый год

засовывает их обратно в карман — до следующей встречи) [2].

Если бы только такая многопартийность существовала в стране, А. И. Лукьянов и М. С. Горбачев не имели бы оснований для беспокойства, а КПСС — причин для внутренних изменений. Однако дело обстоит иначе. Не говоря уже о Прибалтике, Армении или Грузии, где национально-демократические движения оттеснили КПСС от власти, не говоря об Украине, где можно ожидать того же, в самой России на глазах растет «вторая» политическая сила. Это партии и другие общественные организации, образующие блок «Демократическая Россия», который на последних выборах добился таких успехов, что его лидер стал главой Российского государства.

В подобных условиях могла ли КПСС оставаться прежней? Вполне очевидно, что нет. И действительно, после некоторой заминки она начала все более заметно меняться. Притом изменения коснулись самой сути ее как политического института. Форма осталась та же, однако содержание сегодня уже существенно иное: кое-что из старого потеряно, зато есть и важные приобретения.

Потеряна полнота власти. Правда, еще стоит и цепко держится за землю та «командно-административная система», костяк которой образует именно КПСС, продолжающая, таким образом, существовать в своем привычном для нас качестве. Не только в республиках Средней Азии, где вслед за Горбачевым первые секретари ЦК, как по команде, стали еще и президентами (избранными с прежним завидным единодушием), в самой России в большинстве мест по-прежнему заправляют обкомы и райкомы. Советы же, как и раньше,—при них. Но все-таки прежней силы они уже не имеют. Провозглашенный «партией» (вынужденный, конечно) отказ от непосредственного управления народным хозяйством, а затем и отмена 6-й статьи делают их «руководящую роль» как бы полулегальной, «теневой». Таким образом, как организация власти КПСС явно на ущербе, что и заставило партаппарат искать компенсацию в президентстве своего Генерального секретаря и наделении его все большими полномочиями.

Это — одна сторона. А вот другая. Продолжая — насколько возможно в современных условиях — оставаться организацией власти социалистического государства над обществом и пытаясь всеми средствами продлить эту власть, КПСС вместе с тем с определенного момента вновь начала приобретать признаки политической партии, давно и, казалось, навсегда утраченные ею.

Нет, речь идет отнюдь не о возрождении той большевистской партии, которая, перевоплотившись, перестала существовать 50—60 лет назад,— ничего похожего. В прежней оболочке и под тем же названием складывается, да, собственно, уже и сложилась, совсем новая организация, вполне заслуживающая того, чтобы присмотреться к ней повнимательнее.

Формирование ее, занявшее примерно три года, проходило в борьбе двух противоположных тенденций: одну из них стали называть демократической, другую — не слишком точно — консервативной. Первая серьезная стычка между ними (а тем самым и обнаружение их во всесоюзном масштабе) произошла весной 1988 г. накануне XIX партконференции.

Это был пик перестройки (тогда еще никому не приходило в голову брать это слово в кавычки). В первичных организациях наблюдалось большое оживление. Гласность и обещанная демократизация воспринимались с энтузиазмом, для которого у партийцев были особые причины. То обстоятельство, что инициатива перестройки исходила от лидера КПСС, оправдывало членство в ней, вознаграждало за времена, когда приходилось его стыдиться, освобождало от проклятого двоемыслия, словом, возвышало людей в собственных глазах. Конференция, которая должна была состояться через 47 лет после предыдущей, обещала «партии» как бы возвращение молодости, а всему обществу — импульс к радикализации перемен. Поэтому, когда началась кампания по выдвижению делегатов, то, кажется, не было ни одной сколько-нибудь крупной парторганизации, которая не захотела бы непосредственно в этом участвовать.

Однако участвовать не пришлось. Вдруг выяснилось, что делегатов не избирают, а подбирают — за закрытыми дверями райкомов и обкомов. Точно так, как десятки лет подбирали, например, депутатов Верховного Совета СССР, но тех по крайней мере пропускали через «выборы», хотя и совершенно формальные. Недоумение, растерянность, протесты... Секретари райкомов ускользают от наседающих на них секретарей первичек, отговариваются, отмалчиваются, но не уступают. В конце концов товарищ Г. П. Разумовский, возглавляющий всю эту кампанию, невозмутимо разъясняет: да, без выборов, поскольку это не съезд партии, а только конференция. Подобное объяснение едва ли кого-нибудь удовлетворяет, и, таким образом, пожалуй, впервые за всю историю КПСС рядовые ее члены (не все, конечно, но многие) и «аппарат» оказываются в состоянии взаимного неудовольствия.

Та же коллизия, только с гораздо большей остротой воспроизводится и во время избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР (осень 1988 — весна 1989 гг.), затем через год, при выборах в республиканские и местные Советы. С одной стороны, преобладающая часть демократически настроенных кандидатов, включая большинство из тех, кому предстоит стать лидерами нашей демократии (Б. Н. Ельцин, Г. Х. Попов, А. А. Собчак, Н. И. Травкин и многие другие), в момент избрания — члены КПСС. А с другой — партаппарат делает все возможное и невозможное, чтобы не дать им пройти. Тот самый «аппарат», который принято было — и вроде бы с полным основанием — упрекать в бюрократизме, косности, безрукости, он теперь куда как далек от формализма, демонстрирует изворотливость, энергию, способность к нетрадиционным и подчас рискованным способам действия. Взять, скажем, закулисную деятельность партийных комитетов по накачиванию и использованию всякого рода «дочерних» организаций типа ОФТ или «интердвижений» в некоторых республиках. А сколько напористости и изобретательности проявлено райкомами и горкомами для отсечения неугодных кандидатов, предотвращения ими срыва нежелательных предвыборных собраний и пр.! Примерами подобного рода была в свое время переполнена даже официальная наша пресса.

Таким образом, внутри КПСС между разными группами ее членов идет уже самая настоящая политическая борьба. Еще шаг — и она получает организационное закрепление: возникает «Демократическая платформа в КПСС», объединившая значительное число сторонников радикальных общественных перемен. Другие (по крайней мере часть их) поддерживают «платформу ЦК». Раскол! Но что такое раскол, как не явное доказательство перехода КПСС в новое качественное состояние? В прежнем качестве — особой организации тоталитарной государственной власти — она расколоться не могла. Раскол, плох он или хорош,— это уже признак партии как таковой, партии в настоящем смысле этого слова. Ибо это объединение и разделение людей по их взглядам. Объединение единомышленников и отделение их от тех, кто исповедует другие взгляды. Если партия раскалывается надвое, значит, в ней уже живут две партии, которым предстоит лишь оформиться организационно.

Так оно и случилось: после XXVIII съезда «Демократическая платформа» ушла из КПСС, стала (в РСФСР) самостоятельной партией и в этом качестве вошла в движение «Демократическая Россия». Нас сейчас, однако, интересует не она, а то, что осталось после ее ухода и существует под прежним названием «КПСС».

Исходя из сказанного, и КПСС сегодня уже представляет собой партию (без кавычек). Это новая партия, и нужно как следует уяснить себе ее характер и политическую физиономию.

Прежде всего необходимо зафиксировать, что по степени партийной активности своих членов нынешняя КПСС распадается на две очень разные части. Если те, кто вышел и кого увела «Демократическая платформа», были преимущественно люди самостоятельные, с общественной жилкой, то среди оставшихся велика доля людей, сохранивших свое членство по привычке, либо по общественной пассивности и безразличию, либо по нерешительности, из боязни повредить своему положению, а также по причине неадекватного восприятия своей партии, ее реальной исторической роли в прошлом и настоящем. Это — одна часть партии, ее инертная масса. Но есть в теперешней КПСС и истинно партийное ядро, активное, сплоченное, сделавшее свой выбор вполне сознательно. Оно-то и делает КПСС партией и определяет ее лицо. Следуя Оруэллу, ядро это можно было бы именовать «внутренней партией», но возможно и более содержательное обозначение. Поскольку сегодня уже вполне ясно, что в качестве такого ядра выступает всякого рода начальство, партийное, военное, ведомственное и пр. (вспомним, к примеру, распечатки поименных голосований с указанием должностей голосовавших на съездах народных депутатов РСФСР), то эту нашу «внутреннюю партию» уместно было бы назвать **партией номенклатуры.**

Вот об этой-то партии в партии и должен прежде всего идти разговор, если мы хотим правильно понять нынешнюю КПСС, цель и смысл ее политики.

Первый вопрос: что объединяет номенклатуру, превратив ее ныне в партию?

Вряд ли кто-нибудь станет всерьез утверждать, что в основе тут лежат идейные мотивы, жаркое чувство любви к марксизму-ленинизму, вдруг разом воспламенившее бюрократические души. Да, после некоторого промежутка, заполненного «общечеловеческими ценностями», «новым политическим мышлением» и пр., наши руководители сейчас снова с нажимом заговорили о социализме, о социалистическом выборе, даже иногда проскальзывает «коммунизм», а по отношению к западному миру — «буржуазный строй», «эксплуатация» и т. п. Но при том социалистическом выборе, который предлагают покупателю наши магазины, и современном уровне знаний о жизни «там» можно ли принимать это за чистую монету? Тут одно из двух: либо наша «внутренняя партия» представляет собой собрание замшелых догматиков и фанатиков, которым, как говорится, хоть кол на голове теши, либо дураками она считает своих слушателей. Первое отпадает: ни М. С. Горбачев, ни И. К. Полозков, ни все их более или менее видные соратники как на догматиков, так и на фанатиков решительно не похожи. Ни в какой социализм они, понятно, не верят, в коммунизм — тем более. Недаром, толкуя о социализме, они никогда не поясняют, что́ именно понимают под этим словом, какую конкретную обществен-

[2] Это было написано в декабре 1990 г. Месяцем позже, когда руководство страны напало на счастливую мысль создать «комитеты национального спасения», в новом спектакле были задействованы те же актеры.

домств. А во-вторых, нужно ясно сознавать, что значительная часть массовой базы Партии номенклатуры находится и за пределами КПСС. Помимо различных привилегированных групп, к которым в той или иной пропорции всегда принадлежали и беспартийные, достаточно вспомнить ту самую «теневую экономику», неукротимую ненависть к которой так натурально разыгрывают сейчас наши руководящие деятели. Вся сфера обслуживания давно уже стала у нас «теневой экономикой», а ее кадры — от процветающего продавца пустого магазина и выше — безотносительно к их партийной принадлежности составляют естественную опору Партии номенклатуры.

В совокупности получается весьма внушительная социально-политическая сила.

Хочет эта сила для себя немногого — выжить. Но выжить на свой лад: остаться у кормушки, а для этого и у власти. Пусть не навсегда — на сей счет у нее уже, вероятно, нет иллюзий. Однако на срок, достаточный для того, чтобы по гроб жизни обеспечить не только себя и своих детей, но по возможности и внуков. Покамест ей это удается. В то время как демократические партии по второстепенным поводам спорят между собою, пишут и принимают программы и декларации (которые затем не имеют возможности даже сколько-нибудь широко распространить), пока на всем этом они теряют время, доверие и активность своих сторонников,— Партия номенклатуры успевает так много, что ее организованности, напористости, изобретательности и мобильности не устаешь удивляться.

Вспомнить хотя бы ее великое умение уходить от опасных ситуаций простыми переименованиями. Союзных министерств — в «концерны» (от рождения имеющие обеспеченное будущее — контрольные пакеты акций «своих» предприятий), Четвертого Главного управления Минздрава РСФСР — в Медсанчасть ЦК КПСС (что, между прочим, означает присвоение партией государственного имущества), правительства, которому многократно указывали на дверь,— в Кабинет министров и т. д. и т. п. А искусство поддерживать напряжение в обществе, мотивирующее необходимость «сильной руки», чрезвычайных полномочий и мер! То побоищем в Тбилиси, то погромом в Душанбе, то одномоментным устареинем оборудования большинства табачных фабрик, то подобным же происшествием с хлебозаводами, то обещанием с такого-то числа повысить цены... Пугают евреев успокаивающими заявлениями о том, что слухи о запланированных погромах едва ли достоверны; пугают демонстрантов готовящимися избиениями; пугают армию происками демократов, народ — армией, интеллигенцию — народом, а всех вместе — рынком и гражданской войной. Одних пугают, других успели ненавязчиво приручить. Депутатов — должностями, интеллектуальную элиту — радостями «гласности» и широкими возможностями зарубежных поездок для необременительного участия во всякого рода конгрессах, симпозиумах, «круглых столах». Сколько добрых людей, которых еще не так давно слушали, как оракулов, и от которых ждали великих дел, клюнуло на подобные приманки, испытало приятное чувство собственной значительности, комфорта, духовной сытости и незаметно для самих себя стало вполне конформистской частью общества, мудро терпимой ко всему, что бы ни происходило на кремлевском холме. По крайней мере так было на протяжении большей части прошлого года, вплоть до кровавой драмы в Вильнюсе, похоже, встряхнувшей многих.

Последние полгода — период особенной активизации Партии номенклатуры. Пользуясь разобщенностью и пассивностью демократических сил, «коммунисты вышли из окопов» и от кабинетных манипуляций перешли в открытое контрнаступление. Вспомним, как рьяно выступала на II и III съездах народных депутатов РСФСР ежедневно инструктировавшаяся в ЦК КПСС группа «Коммунисты России» (звенящий голос несравненного Ю. М. Слободкина так и стоит в ушах); вспомним угрожающий рык группы «Союз» на Четвертом съезде народных депутатов СССР. А какими агрессивными стали за последнее время «Советская Россия», «Правда» и другие газеты КПСС — совсем как во времена А. А. Жданова! А как беззастенчиво в своей тенденциозности Центральное телевидение, по уровню «гласности» и «плюрализма» уже возвращенное к брежневским нормам! И высшая на сегодня точка — армия, выведенная Президентом ЦК КПСС на улицы наших городов, и всё новые волны травли обложенного со всех сторон Ельцина...

Тут уместно подчеркнуть: значительной частью достигнутых успехов Партия номенклатуры обязана политическому искусству М. С. Горбачева, своего достойного и признанного лидера. Именно этот пост, не получивший никакого отражения в послужном списке названного деятеля, следовало бы считать основным, более важным, чем его официальные должности, занимаемые им уже как бы по совместительству, в интересах эффективнейшего исполнения его главной социальной роли. И именно его поведение послужило для номенклатуры ободряющим и мобилизующим примером. Впрочем, это сюжет, которому автором посвящена специальная статья («Независимая газета», 1991, 17 января) и который поэтому тут можно не рассматривать.

Завтра

Мы выяснили, что КПСС сегодня — нечто вроде матрешки, в которую вставлена другая, именуемая здесь «внутренней партией». Или еще так можно определить их соотношение: КПСС — тело, а ПНСС (Партия номенклатуры Советского Союза) — заключенная в нем душа. Как и полагается, она невидима, но тем не менее существует. Она-то и придает нынешней КПСС характер политической партии, определяя вместе с тем ее антинародную направленность, реакционное общественное содержание. А поскольку никакого другого содержания КПСС в себе не заключает, поскольку «внешние», вненоменклатурные ее слои теперь уже не несут в себе никакой собственной жизни и нужны ей лишь в качестве прикрытия, то, следовательно, и вся она, взятая в целом, есть, в сущности, не что иное, как Партия номенклатуры. Народ это чувствует и понимает, вот почему на последних грандиозных демонстрациях в Москве, кажется, не было прежних полушутливых обращений типа «КПСС, дай порулить!», а только стократно повторенное непреклонное и жесткое «Долой КПСС!».

Справедлив ли этот бескомпромиссный лозунг и как соотнести его с демократией, плюрализмом, принципом многопартийности?

Чтобы ответить по существу, необходимо учесть следующие обстоятельства.

Во-первых, историческую ответственность РКП(б) — ВКП(б) — КПСС. Ответственность прежде всего за первородный грех ленинской партии — убийство едва родившейся российской демократии (многопартийности в том числе), смертельно раненной в октябре 1917-го и добитой несколько месяцев спустя. Тем самым — за гражданскую войну, унесшую многие миллионы жизней и изломавшую еще большее число человеческих судеб. Далее, за «коллективизацию», которая перебила хребет не только крестьянству — всему народу. За построенное «по воле партии» и под ее мудрым руководством государство-тюрьму, палаческий тоталитарный режим, который, погубив новые десятки миллионов людей, всех остальных своих подданных превратил в рабов. За более чем полвека, проведенные нами в этом рабстве, которое страшным образом повредило наши души: лишило достоинства, хозяйской предприимчивости и ответственности, любви к труду и к свободе. За то, что этот режим держался так долго; за то, что и тогда, когда его античеловечность обнаружилась с полной очевидностью, именно «партия» десятки лет продляла его существование, пока дотла не разорила и не испоганила страну. Совершены такие преступления, которые сопоставимы со злодеяниями партии Гитлера. Разница в том, что там был Нюрнбергский процесс...

— Но ведь вы же сами говорите, что за последние годы КПСС качественно изменилась — из института власти опять превратилась в политическую партию, притом имеющую весьма мало общего с большевистской. Не следует ли отсюда, что новая КПСС свободна от ответственности за то, что она творила на прежних стадиях своего развития? [3]

— Нет, не следует. Прежде всего потому, что, желая остаться правопреемницей тоталитарной власти, она не может отмежеваться от названных и не названных здесь преступлений. В лучшем случае что-то невнятно бормочет насчет каких-то «ошибок» и «деформаций», имевших место в прошлом (преимущественно отдаленном), которые, разумеется, достойны сожаления, но которые ни в коей мере не должны ставить под сомнение, преуменьшать и заслонять... Когда читаешь и слышишь такое, становится страшно за человеческую природу. Это массовые расстрелы — ошибка? Это поголовно вымиравшие от голода украинские села, оцепленные частями Красной Армии,— деформация? Какой мерой бездушия и цинизма надо обладать, чтобы так ловчить и отговариваться, облекая чудовищные злодеяния в подобные кругленькие, успокаивающие фразы!

К тому же, если КПСС претерпела изменение (к лучшему ли — ясно из предыдущего), то ведь люди-то в ней остались в основном те же самые. Покаялись ли они в своем соучастии, по крайней мере моральном? Ответом могут служить слова, которые И. К. Полозков недрогнувшей рукой написал в своей программной статье «За социалистическую перестройку» («Коммунист», 1991, № 2): «...Разговоры о нашем общем грехе, призывы к общему покаянию звучат по меньшей мере фальшиво. Миллионам людей, прожившим свою жизнь честно, нужно не покаяние, а правдивое слово о сущности того, что случилось и происходит со страной».

«Миллионы людей» здесь поставлены в качестве живого щита, прикрывающего главным образом здравствующих палачей, тюремщиков и сексотов, казенных журналистов и писателей, травивших Солженицына, академиков, обливавших грязью Сахарова, гебистов, отправлявших правозащитников в лагеря и психушки, стратегов вторжения в Афганистан вроде маршала С. Ф. Ахромеева, секретарей обкомов и крайкомов, возводивших на партийный трон Брежнева, Андропова, Черненко и единогласно одобрявших все, что от них исходило. Да, за единичными исключениями вся эта публика, и ныне остающаяся либо на высоких постах, либо при столь же высоких пенсиях, каяться отнюдь не рас-

[3] В статье «Опасаться ли авторитарной власти?» доктор исторических наук А. Кива так и пишет: «Что толку твердить об исторической ответственности партии, правоохранительных органов? Нет больше той партии, от лица которой Сталин осуществлял геноцид, как и нет больше того НКВД, который выполнял роль сталинского палача» («Известия», 1990, 10 декабря, № 343).

положена. Напротив, оправившись от кратковременного испуга, она ныне снова с восхитительной наглостью заявляет претензии на свою прежнюю «авангардную» роль. Поэтому и «правдивого слова» из уст ее лидеров и идеологов ждать не приходится, они просто не выговаривают ничего, кроме лжи. Но если это так, значит, и они сами, и их партия должны отвечать перед народом по всей строгости.

Тем более что отвечать нужно не только за старое, но и за новое.

В самом деле, в чьих руках находилась власть на протяжении всех шести «перестроечных» лет? Ответ известен, тем не менее стоит выслушать авторитетное суждение того же Полозкова: «Ни о какой многопартийности у нас сейчас не может быть и речи. Есть КПСС, отстаивающая социалистическую перестройку... и есть лидеры с немногочисленными политическими группами...», которые «объединяются для борьбы с КПСС, для захвата власти» (из выступления на пленуме ЦК КПСС, «Советская Россия», 1991, 2 февраля). Однако, поскольку власть была и фактически остается в руках КПСС, во всяком случае, на уровне союзного Центра, то кто же, спрашивается, как не она, несет ответственность за все, что мы ныне переживаем? За разруху, поставившую страну на грань тотального голода, за кровь, которая беспрестанно льется у нас то тут, то там? Разве не великодержавно-бюрократическая политика руководства КПСС, одновременно являющегося руководством страны, вызвала и постоянно усиливает те «центробежные» (очень точное слово) тенденции, которые привели к развалу Союза? И разве не «коммунисты России», столь громко кричащие сейчас о «защите классовых интересов человека труда», делают в российском парламенте все от них зависящее, чтобы заблокировать и сорвать любую попытку реального улучшения жизни народа?

Это, повторяю, первое, что нужно принять во внимание при оценке лозунга «Долой КПСС!».

Второе — то, что это партия-оборотень, партия, скрывающая свое настоящее лицо, партия, чья официальная идеология и программа не имеют почти никакого отношения к реальному содержанию ее деятельности, значительная часть которой протекает под покровом строжайшей секретности. Если б у нас существовала законность, то указанные обстоятельства просто обязывали бы соответствующие инстанции отказать такой партии в регистрации.

Третье. Вышеприведенный тезис Полозкова насчет многопартийности весьма красноречив. Номенклатура и демократия — антиподы. Неспособная выиграть в открытой и честной политической борьбе, КПСС сильна тем, что удерживает в своих руках главные рычаги прежней тоталитарной власти, в том числе армию, милицию, КГБ, и сохраняет монополию на основные средства массовой информации: телевидение, преобладающую часть центральной и почти всю местную печать. Если бы руководство КПСС имело достаточно сил, оно бы сейчас, не раздумывая, запретило все другие партии, кроме тех бутафорских, что сама же и создала. Поползновение «приостановить» действие Закона о печати говорит само за себя. В этом пункте аналогия с 1917—1918 годами вполне оправдана. Как и еще в одном: недавние кровавые события в Литве, создание на базе ЦК КПЛ (то есть, как минимум, с санкции ЦК КПСС) самозваного «Комитета национального спасения», попытавшегося силой армии свергнуть законную, избранную народом власть, подтвердило, что в лице КПСС мы имеем организацию террористическую, организацию, верхушка которой готова в любой момент отбросить даже ту конституцию, которую сама для себя написала, и руководствоваться единственно правом штыка и приклада.

Вопрос сейчас стоит так: если господству КПСС (ПНСС) не будет положен конец, наш народ ждут несчастья, какие даже он, быть может, еще не видел на своем веку. По отношению к такой партии лозунг «Долой КПСС!» не только нравственно справедлив, но и мотивирован всей советской историей, старой и новой.

Несомненно, что и в нынешней КПСС, главным образом среди рядовых ее членов, остается немало честных, достойных людей, которым горько слышать вышеприведенные оценки. Это те, кто вступал в партию без каких-либо корыстных, карьеристских побуждений, в том числе одни — на фронте, другие — на волне XX съезда; кто никогда не пользовался никакими привилегиями и от своих беспартийных товарищей отличался лишь тем, что платил членские взносы да не считал себя вправе отказаться ни от какой работы. Такие люди заслуживают уважения, а мотивы, по которым они до сих пор не вышли из КПСС, серьезного разбора и товарищеской полемики. Рассмотрим некоторые наиболее типичные из этих мотивов.

Вот один.

— Я в партии с ... года. До недавнего времени из нее по собственной воле никто не выходил, а теперь вдруг повалили валом. Но именно поэтому я и не выхожу: не хочу оставлять партию в трудную минуту, а гнаться за модой считаю ниже своего достоинства.

— Ну, что прежде никто не выходил — это не совсем так. Были мужественные люди, наделенные истинным чувством гражданской ответственности, которые делали такой шаг. Я знаю крупного историка, человека исключительной силы ума. В 60-е годы руководимый им научный семинар превратился в своего рода центр независимой общественной мысли. Фронтовик, кавалер

ордена Славы, давний член партии, многие годы посвятивший углубленному изучению марксистской теории и истории революционного движения, он в самую глухую, безнадежную пору брежневщины пришел в райком и положил партбилет. Естественно, ему после этого пришлось познакомиться с КГБ, наблюдать, как незваные гости роются в его бумагах и книгах, и на протяжении еще многих лет ни одна написанная им строка не могла появиться в нашей печати. Да, конечно, сейчас выход из партии не требует столь значительных душевных затрат. Но только при чем тут «трудная минута» и «мода» — словечки, с помощью которых сбивают с толку доверчивых людей? Не «трудная минута», а крах нежизнеспособной тоталитарной системы, который рано или поздно должен был наступить, и не «мода», а закономерный результат осознания этого краха уже не единицами, а миллионами людей. Что касается самостоятельности и достоинства, то разве они в том, чтобы спорить с логикой жизни и оставаться пешкой в чужой игре?

Вот второй.

— Я вступил в КПСС с целью в меру моих возможностей воздействовать на ее политику. Я считал и считаю: если в правящей партии будет больше порядочных людей, от этого выиграет не только она сама.

— Этот довод имел бы силу, если бы кому-нибудь удалось доказать, что присутствие в КПСС порядочных людей хоть на волос сдвинуло в лучшую сторону политику Сталина или Брежнева. Да и теперь, когда КПСС снова стала партией, можно ли утверждать, что такие люди оказывают сколько-нибудь заметное влияние на ее политическую линию? Вполне очевидно, нет,— иначе чем объяснить, что, по общему признанию, линия эта становится все более реакционной? Если честный человек и мог сделать что-то полезное благодаря своему членству в КПСС, то лишь в крайне узких пределах своего предприятия или учреждения, общие условия деятельности которого от него не зависели. Ныне же, когда КПСС вынуждена отказаться от непосредственного руководства народным хозяйством и культурой, членство в ней лишилось даже и этого ограниченного значения. Поэтому не надо заниматься самообманом.

— Так что же, пусть в КПСС останутся только карьеристы и хапуги?

— Именно. Общество крупно выиграло бы, если бы Партия номенклатуры наконец явилась перед ним в своем натуральном виде. Хотя для нее самой это, конечно, стало бы последним днем ее существования.

Еще один аргумент, для многих весьма веский.

— Я остаюсь в КПСС потому, что мне по-прежнему близок социалистический идеал, идеи Маркса и Ленина. Как ни скверно были они реализованы в нашей стране, история в этом отношении еще не сказала своего последнего слова.

— На это можно бы возразить очень многое. Но именно потому, что это слишком большой разговор, а свое понимание дела я уже высказал в печати, желающие могут найти и прочесть (статья «Ахиллесова пята исторической теории Маркса» — «Октябрь», 1989, №№ 11—12), ограничусь кратким замечанием.

Возможности **социалистического строя**, системы общественных отношений, закономерно возникающей в результате социалистической революции, то есть устранения частной собственности и «буржуазной» демократии, проверены к настоящему времени с исчерпывающей полнотой — на материале полутора десятков стран, в том числе совершенно не похожих по своим традициям и стартовому уровню развития. То, что во всех этих странах — от СССР и Китая, Камбоджи и Кубы до Чехословакии, Венгрии, ГДР — итог оказался поразительно одинаковым, а именно, все они по прошествии большего или меньшего числа лет обнаружили себя в глухом тупике, не допускает двояких толкований. Столь же знаменательно, что и выход из тупика для всех оказался один — возврат к рынку в экономике и либерализации в политике, включая — повсеместно — восстановление многопартийности. Так что сегодня судьба социализма как системы историей уже решена, во всяком случае, на данном этапе развития человечества и на всю обозримую перспективу. Другое дело — некоторые общегуманистические элементы социалистического идеала, вошедшие в плоть и кровь западной демократии. Но ведь Программа КПСС имеет в виду социализм именно в перечеркнутом историей смысле — социализм как общественный строй.

Впрочем, я отнюдь не собираюсь оспаривать ваши убеждения и привязанности, а только спрошу: при чем тут Партия номенклатуры? Неужели вы так наивны, что считаете ее лидеров своими единомышленниками и принимаете за чистую монету их «социалистическую» словесность? Нет? Тогда зачем остаетесь с ними в одной партии?

Вам трудно уйти в «никуда», вы испытываете потребность в партийном товариществе, а с другой стороны, ни одна из новых партий не отвечает в полной мере вашим убеждениям? Ну так кто же мешает вам, выйдя из КПСС, образовать свою собственную партию, не запятнанную ни присутствием в ней номенклатурной мафии, ни соучастием в старых и новых преступлениях тоталитарного режима? Лично мне кажется, что создание подобной партии, которой вы сумели бы подобрать подходящее название, было бы не только оправданным, но и полезным. Оправданным — наличием у довольно значительной части общества соответствующих умонастроений, в основе которых не только наше

семидесятилетнее «коммунистическое воспитание», но и жизненные интересы тех социальных групп, для которых переход к рыночной экономике и деидеологизированному государству может оказаться наиболее болезненным. А полезным — вот в каком смысле. Сейчас на этих реально существующих умонастроениях и интересах не без успеха спекулирует партократия. Общество было бы только заинтересовано в том, чтобы они обрели открытое и добросовестное политическое представительство. Так что, я думаю, появись такая партия, она на достаточно длительный срок могла бы занять не последнее место в общем спектре демократических сил. Разумеется, при условии своего полного и резкого разрыва с КПСС.

И последний из наиболее типичных мотивов.

— Я бы сегодня же вышел из партии, но меня держат чисто житейские обстоятельства. Если выйду, мне здесь не работать. А у меня жена, дети, мне три года до пенсии...

— Что тут сказать? Решайте сами. Никто из тех, кто не понаслышке знаком с тяготами жизни, не сочтет ваши резоны надуманными или не заслуживающими внимания. Никто вас ни к чему не принуждает, и никто не сделает этого выбора за вас. Только, принимая решение, будьте честны с собой, не упрощайте для себя нравственную проблему.

Выше говорилось об исторической ответственности ВКП(б) — КПСС за создание и поддержание тоталитарного режима, за его кровавые преступления и бескровное умерщвление наших душ. Но ответственность организации — это и ответственность всех, кто к ней принадлежит, конкретных людей. Вам придется отдать себе отчет в том, что сегодня вопрос о вашем личном участии в этой коллективной ответственности стоит намного острее и жестче, чем несколько лет назад.

Во-первых, иная действительность вокруг. Одно дело — тот социализм, который многие десятилетия, для нескольких поколений наших соотечественников выступал совершенно безальтернативной данностью, своего рода средой обитания (примерно как вода для рыб), которую не выбирают и законы которой считают почти равносильными законам природы. Другое дело — нынешнее положение советского общества, оказавшегося (это сознают все) на историческом распутье, откуда пути лежат в разные стороны. В таких условиях тот «социалистический выбор», который нам навязывают, когда вся Центральная Европа стряхнула с себя это ярмо, да и мы сами уже глотнули свободы, действительно является актом выбора и, значит, нашей полной ответственности, в том числе индивидуальной.

Во-вторых, поскольку КПСС снова стала партией, нравственная ситуация каждого из ее членов не могла не измениться. Пока под таким названием выступала безличная организация, сохранявшая лишь внешние атрибуты политической партии, гигантская машина управления обществом, работавшая как бы в автоматическом режиме,— что собой представляло членство в ней? Да тоже нечто полуавтоматическое, полубессознательное, нередко даже совершавшееся не по собственной инициативе: «Ты хорошо работаешь, мы решили принять тебя в партию, пиши заявление»,— вот и все. Сознание ответственности, вытекающей из такого членства,— ответственности маленького винтика огромной машины — не могло не быть в основном внешним: ходить на собрания, платить взносы и, избави боже, не потерять партбилет. Как заметил поэт, пожелавший «сиять заставить заново величественнейшее слово — партия»,

Единица — вздор, единица — ноль,—

а у ноля какой же может быть спрос с себя за то, что делается вокруг? Нужно было быть Твардовским, чтобы и в тех условиях сказать себе:

Я жил, я был — за все на свете
Я отвечаю головой.

Все это я говорю не к тому, чтобы снять ответственность с прежних поколений коммунистов (да и со всех нас) за то, что сталось с нашей страной. Но и не принимать сказанного во внимание также не годится,— если мы всерьез хотим их понять и в своей критике быть справедливыми, то есть историчными. Однако точно так же нельзя не видеть, что ныне, когда КПСС вновь стала партией, моральная ответственность ее членов намного возросла, а ее индивидуальные уровни настолько же сблизились. Сейчас уже язык не повернется сказать, что, дескать, мы люди маленькие и должны беспрекословно выполнять то, что решили в ЦК. Теперь каждый, кто остается в КПСС, сам себе Полозков и за все, что от его имени произносят и делают партийные лидеры, отвечает перед людьми, как за собственные слова и поступки. Именно от него сейчас в очень большой степени зависит, кто возьмет верх в нашей нынешней борьбе: народ или номенклатура, демократия или тоталитаризм, Сахаров или Сталин, к которому все круче заворачивают нас сегодня.

Нет сейчас более безнравственной и антинародной силы, чем «обновленная» КПСС, которая к бездне ранее сотворенного ею зла прибавляет все новое и в жертву представляемому ею паразитическому слою приносит судьбу страны, будущее наших детей. Честному, уважающему себя человеку в такой партии, как хотите, не место. А потому — еще раз обдумайте, пожалуйста, все это, взвесьте все ваши «за» и «против».

Впрочем, статью под заглавием «Что такое КПСС» я не хотел бы кончать обращением к членам этой партии, даже к тем из них, с кем имеет смысл и хочется говорить. Их выбор, конечно, важен, но более всего — для них самих. Теперь уже, пожалуй, всякому понятно, что при всей сохраняющейся, а в некоторых отношениях даже наращиваемой силе КПСС, при всех ее нынешних успехах никакой исторической перспективы у нее нет. Ибо это партия, которой абсолютно нечего сказать людям. Партия без собственной идеологии, вынужденная скрывать свое лицо полуотклеившейся марксовой бородой. Партия без какой-либо позитивной программы. Партия икры и осетрины, изображающая из себя если не «авангард рабочего класса», то защитницу завтрашних безработных. Партия социально корыстного поддержания того общественного строя, который давно уже сгнил на корню.

Своеобразие истории КПСС состоит в том, что судьба определила ей умереть дважды. Притом она изначально носила в себе свою смерть. Возникнув как одна из партий нарождавшейся российской демократии, она, однако, уже в раннюю пору своего существования видела в демократии не ценность, которой следует дорожить, а в лучшем случае временно используемое средство для достижения иных, высших по ее понятию целей. И, победив в октябре 1917 года, убила ее, не зная, что умерщвляет тем самым и себя самое. Выветрилась, высохла, окостенела, превратилась в безыдеальную и бездушную машину власти. Затем, после нескольких десятилетий автоматического функционирования в этом качестве, снова на некоторое время ожила. Ожила на базе иных, чем при первом своем рождении, социальных интересов и целей, тех, что позволяют характеризовать ее как Партию номенклатуры, но с той же порочной исходной чертой — враждой к демократии. А попытка противостоять демократии, то есть органическому движению жизни, неостановимому ходу мирового исторического процесса, не обещает ей ничего, кроме смерти. Теперь уже окончательной.

Представим себе лодочника, гребущего против течения. Лодочник опытен, ловок и силен, однако вопреки всем его усилиям скорость течения превышает скорость его лодки. И близится водопад

●

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. А. БУЛГАКОВА

Лидия ЯНОВСКАЯ

Треугольник Воланда

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ*

Как у всякого крупного и значительного художественного произведения, у романа «Мастер и Маргарита» есть история — история работы художника над его созданием. Внешний ход этой истории можно восстановить по дневникам, воспоминаниям, фактам и документам биографии. Путь к тайному тайных творческого процесса — рукописи писателя. В них живой след сомнений и раздумий художника, поисков и открытий, жарких всплесков вдохновения, спадов, предчувствия новых вдохновений. В них самоотреченный труд. И вместе с тем как ничто другое они помогают понять произведение завершенное.

Рукописи «Мастера и Маргариты» дошли до нас не полностью. И все-таки двадцать три рукописные тетради и три экземпляра машинописи, правленной и не правленной, с вкладными листами и записями на полях и на обороте листов, сохранились. В Отделе рукописей Библиотеки имени Ленина, куда Е. С. Булгакова сдала их в 1966 году, их сразу же «разбросали» на восемь редакций. Весьма условно, конечно, разбросали, поскольку история романа еще не была изучена. Оказалась нарушенной даже последовательность расположения тетрадей.

Полное и тщательное исследование всех сохранившихся текстов романа, проведенное мною в последние годы в связи с подготовкой к новому текстологическому изданию «Мастера и Маргариты», позволило наконец восстановить подлинный хронологический порядок сохранившихся тетрадей, определить «ниши» — контуры недостающих, уничтоженных автором или утраченных после его смерти тетрадей. И оказалось, что редакций, то есть законченных этапов работы над романом, не восемь, а шесть. Экономя журнальную площадь, просмотрим их, так сказать, пунктирно.

Шесть редакций романа

Первая редакция была начата в 1928 или 1929 году. «Зарублен» нэп, с которым у Булгакова было связано столько надежд. Развернулась индустриализация. Пятилетки. Коллективизация. Грубый ор и нападки, царившие в литературе и искусстве в 20-е годы, сменяются холодным диктатом и ссылкой на единственный авторитет. Россия вступает в одну из самых трагических, самых фантасмагорических своих эпох. «Год великого перелома»...

Идет новый катастрофический слом истории, и писатели, самый тонкий сейсмический инструмент, начинают поодиночке реагировать на эти еще не осознанные обществом тектонические сдвиги. Михаил Булгаков — сменой темы.

Остался незавершенным замысел «Белой гвардии»: роман так и не стал первым романом т р и л о г и и. Остались спектаклем о гражданской войне «Дни Турбиных» во МХАТе. Законченный в 1928 году «Бег» при дальнейших переработках все более будет освобождаться от реалий гражданской войны, превращаясь в «сны» о родине и чужбине, о преступлении и возмездии... Булгаков не станет более обращаться к теме гражданской войны. (Если не считать либретто «Черное море» — в 1937 году, для несостоявшейся оперы в Большом театре; но либретто в конце 30-х годов — для него служба, хлеб насущный.)

* Полностью книга выйдет в издательстве «Лыбидь» (Киев)

Замышляется «роман о дьяволе», сатирическая феерия, сатирическая фантасмагория. Автор «Дьяволиады» и «Собачьего сердца», «Багрового острова» и «Зойкиной квартиры» — в расцвете своего мастерства и сатирических возможностей.

В первой редакции романа еще нет мастера и во всяком случае нет Маргариты. Но рассказ о Иешуа и Пилате сразу же врезан в сцену встречи на Патриарших. По-видимому, и «роман о дьяволе», и та часть евангельской легенды, где речь идет об Иисусе и Пилате, существовали вместе в самом начале замысла.

Обе эти темы уходят в детство писателя. Булгакову было лет двенадцать, когда, таинственно блестя глазами, он сказал однажды сестре Наде: «Ты думаешь, я сегодня ночью спал? Я был на приеме у сатаны!..»

И отец... «Если мать мне служила стимулом для создания романа «Белая гвардия», то по моим замыслам образ отца должен быть отправным пунктом для другого замышляемого мною произведения», — П. С. Попов записал это со слов Булгакова примерно в 1928 году; «другое» замышляемое Булгаковым произведение — тот самый роман, которому предстояло стать сначала «романом о дьяволе», а потом романом «Мастер и Маргарита».

Кто знает, о чем говорил в последние месяцы своей жизни Афанасий Иванович Булгаков, историк и богослов, человек честный, мыслящий и молчаливый, глядя в прозрачно светлые глаза своего пятнадцатилетнего старшего сына? Одна из сестер Булгакова, Надежда Афанасьевна Земская, в своих прекрасных мемуарах об отчем доме и детстве пишет: «Когда отец умер, мне было 13 лет. Мне казалось, что мы, дети, плохо его знали... И тем не менее вот теперь, оглядываясь на прошлое, я должна сказать: только сейчас я поняла, что такое был наш отец». Думаю, ее старший брат и знал и помнил отца лучше...

Замысел «романа о дьяволе», по крайней мере одной своей стороной, был связан с феноменом 20-х годов: крушением в России религии — религии как целого пласта культурной, духовной, нравственной жизни, с закрытием и запустением церквей.

Обостренное отношение Булгакова к этой теме отразилось еще в дневниковых его записях начала 20-х годов, отрывочных, чудом сохранившихся. Оказывается, в январе 1925 года он специально ходил в редакцию «Безбожника», чтобы приобрести комплекты журнала за 1923—1924 годы: «Сегодня специально ходил в редакцию «Безбожника». Она помещается в Столешн. пер., вернее, в Козмодемьяновском, недалеко от Моссовета. Был с М. С., и он очаровал меня с первых же шагов.

— Что, вам стекла не бьют? — спросил он у первой же барышни, сидящей за столом.

— То есть как это? (растерянно).— Нет, не бьют (зловеще).

— Жаль.

Хотел поцеловать его в его еврейский нос».

(Поскольку комментаторы первой публикации Дневника — в журнале «Театр», 1990, № 2 — не смогли расшифровать инициалы М. С., поясню: речь идет о писателе Дмитрии Стонове.)

«Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника»,— пишет далее Булгаков,— был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее — ее можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Этому преступлению нет цены».

В «романе о дьяволе» Берлиоз никто иной как редактор атеистического журнала «Богоборец».

Почти традиционен Воланд — дьявол сатирического романа, с глазами «необыкновенно злыми», глумливый, словно будущий Коровьев. Самое его появление в Москве как-то связывалось с отсутствием крестов на опустевших церковных куполах. И насмерть перепуганный буфетчик, попадавший в квартиру № 50 примерно так же, как это будет в завершенном романе «Мастер и Маргарита», опознавал его сразу, опознавал не как Мефистофеля Гуно или Гете, а просто как нечистую силу, и бежал отнюдь не к врачу, а в церковь: он...

«...вылетел на улицу, не торгуясь в первый раз в жизни, сел в извозчичью пролетку, прохрипел:

— К Николе...

Извозчик рявкнул: «Рублик!» Полоснул клячу и через пять минут доставил буфетчика в переулок, где в тенистой зелени выглянули белые чистенькие бока храма. Буфетчик ввалился в двери, перекрестился жадно, носом потянул воздух и убедился, что в храме пахнет не ладаном, а почему-то нафталином. Ринувшись к трем свечечкам, разглядел физиономию отца Ивана.

— Отец Иван,— задыхаясь, буркнул буфетчик,— в срочном порядке... об избавлении от нечистой силы...

Отец Иван, как будто ждал этого приглашения, тылом руки поправил волосы, всунул в рот папиросу, взобрался на амвон, глянул заискивающе на буфетчика, осатаневшего от папиросы, стукнул подсвечником по аналою...

— «Благословен Бог наш...» — подсказал мысленно буфетчик начало молебных пений.

— Шуба императора Александра Третьего,— нараспев начал отец Иван,— не надеванная, основная цена сто рублей!

— С пятаком — раз, с пятаком — два, с пятаком — три!..— отозвался сладкий хор кастратов с клироса из тьмы.

— Ты что ж это, оглашенный поп, во

храме делаешь?—суконным языком спросил буфетчик.

— Как что? — удивился отец Иван.

— Я тебя прошу молебен, а ты...

— Молебен. Кхе... На́ тебе...— ответил отец Иван.— Хватился. Да ты откуда влетел? Аль ослеп? Храм закрыт, аукционная камера здесь!

И тут увидел буфетчик, что ни одного лика святого не было в храме. Вместо них, куда ни кинь взор, висели картины самого светского содержания.

— И ты, злодей...

— Злодей, злодей,— с неудовольствием передразнил отец Иван,— тебе очень хорошо при подкожных долларах, а мне с голоду прикажешь подыхать? Вообще, не мучь, член профсоюза, и иди с богом из камеры...

Буфетчик оказался снаружи, голову задрал. На куполе креста не было. Вместо креста сидел человек, курил».

Этот сюжет — церковь, превращенная в аукцион,— долго еще будет держаться в романе (в тетради 1935 года отца Ивана сменит отец Аркадий Элладович). Потом Булгаков откажется от этого сюжета, главу о буфетчике в первой полной, рукописной редакции, а затем и в машинописи закончит глухо: «Вырвавшись на воздух, буфетчик рысью пробежал к воротам и навсегда покинул чертов дом, и что дальше было с ним, никому не известно». И наконец, уже перед смертью, продиктует Елене Сергеевне новый кусок: о визите буфетчика к доктору Кузьмину и о разных фантастических вещах, происшедших с доктором Кузьминым после того, как буфетчик расплатился с ним дьявольскими деньгами...

Сатирический парадокс первой редакции заключался в том, что предание о Христе странным образом возвращалось в Россию из уст дьявола. «И вы любите его, как я вижу»,— говорил Берлиоз, прищурившись.— «Кого?» — «Иисуса».— «Я?» — спросил неизвестный и покашлял...» А в структуре этого парадокса, может быть, еще не осознанное, начинало проступать присущее Булгакову ощущение цельности мира, неразрывности света и тьмы, дня и ночи — его «ренессансное» ощущение бытия.

Первая редакция романа была автором сожжена (сохранились только наброски). «И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр» (из письма Михаила Булгакова «Правительству СССР» от 28 марта 1930 года).

Вторая редакция романа создавалась в 1932—1934 годах. Здесь Воланд — уже не дьявол-искуситель, а Князь тьмы. Воплощение могущества и жестокой, нечеловеческой справедливости. Владыка ночного, лунного, оборотного мира. И уже написана глава «Ночь», которая в этой редакции представляется автору сначала последней, потом предпоследней.

Всадники на своих черных конях летят над землею, над морем, над сверкающими городами. Их шестеро, как и в законченном романе.

Еще не найдена мелодия полета, еще присутствуют иные подробности. Так, в завершенном романе: «Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже неинтересные и ненужные ни Маргарите, ни мастеру, чужие огоньки». А здесь, в сентябре 1934 года, во второй редакции романа, глаза мастера жадно смотрят на мир, раскинувшийся под ним:

«Но когда **сумерки сменились ночью** и на небе **сбоку повис тихо светящийся шар луны** (это подчеркнуто автором, и вертикальный штрих слева означает, что автор не удовлетворен: ему предстоит «проверить» луну и эту грань, когда сумерки сменяются ночью.— **Л. Я.**), когда беленькие звезды проступили в густой сини, Воланд поднял руку, и черный раструб перчатки мелькнул в воздухе и показался чугунным. По этому манию руки кавалькада взяла в сторону.

Воланд поднимался все выше и выше. За ним послушно шла кавалькада. Теперь под ногами далеко внизу то и дело из тьмы выходили целые площади света, плыли в разных направлениях огни.

Воланд вдруг круто осадил коня в воздухе и повернулся к поэту.

— Вам, быть может, интересно видеть это?

Он указал вниз, где миллионы огней дрожа пылали.

Поэт отозвался:

— Да, пожалуйста. Я никогда ничего не видел.' Я провел свою жизнь заключенный. Я слеп и нищ».

Отметим эти слова о заключении и слепоте.

Весною 1934 года, за несколько месяцев до написания этих страниц, Булгаков подавал очередное прошение правительству о разрешении съездить за границу. Мечтал о Париже и Риме. О мольеровом Париже и гоголевском Риме. О «книге путешествия». Писал В. В. Вересаеву: «Вы представляете себе: Париж! памятник Мольеру... здравствуйте, господин Мольер, я о Вас и книгу, и пьесу сочинил; Рим! — здравствуйте, Николай Васильевич, не сердитесь, я Ваши «Мертвые души» в пьесу превратил. Правда, она мало похожа на ту, которая идет в театре, и даже совсем не похожа, но все-таки это я постарался... Средиземное море! Батюшки мои!.. Вы верите ли, я сел размечать главы книги!» (11.VII.1934.).

Разрешения он не получил.

Но был в этой дьявольской игре в «кошки-мышки», которую вели с ним, момент: 17 мая ему вдруг дали официальное обещание — не разрешение на отъезд, а официальное обещание разрешения! «Я не узник больше! — говорил Миша счастливо, крепко держа меня под руку на Цветном бульваре.— Придем домой, продиктую тебе первую главу»,— пишет Е. С. Булгакова в своих мемуарах. А в дневнике, непосредственно 18 мая 1934 года, еще точнее: «И все повторял ликующе: «Значит, я не узник! Значит, увижу свет!»

Те же слова о заточении и слепоте, которые в главе «Ночь» произносит его герой...

И Воланд в этой редакции романа дарует ему несколько мгновений свободы и зрения:

«Воланд усмехнулся и рухнул вниз. За ним со свистом, развевая гривы коней, опустилась свита.

Огни пропали, сменились тьмой, посвежело, и гул донесся снизу.

Поэт вздрогнул от страха, увидев под собою черные волны, которые ходили и качались. Он крепче сжал жесткую гриву, ему показалось, что бездна всосет его и сомкнется над ним вода.

Он слабо крикнул, когда бесстрашная и озорная Маргарита, крикнув как птица, погрузилась в волну. Но она выскочила благополучно, и видно было, как в полутьме черные потоки сбегают с храпящего коня.

На море возник вдруг целый куст праздничных огней. Они двигались. Всадники уклонились от встречи, и перед ними возникли вначале темные горы с одинокими огоньками, а потом близко развернулись, сияя в свете электричества, обрывы, террасы, крыши и пальмы. Ветер с берега донес до них теплое дыхание апельсинов, роз и чуть слышную бензиновую гарь.

Воланд пошел низко, так что поэт мог хорошо рассмотреть все, что делалось внизу. Но, к сожалению, летели быстро, делая петли, и жадно глядящий поэт получил представление, что под ним только укатанные намасленные дороги, по которым вереницей, тихо шурша, текли лакированные каретки, и фары их во все стороны бросали свет.

Повсюду горели фонари, тихо шевелились пальмы, белоснежные здания источали назойливую музыку.

Воланд беззвучно склонился к поэту.

— Дальше, дальше,— прошептал тот».

И вот под ними огромный город. Надо думать, Рим... Или Париж?.. «Прямые, как стрелы, бульвары...»

«Коровьев очутился рядом с поэтом с другой стороны, а неугомонная Маргарита понеслась и стала плавать совсем низко над площадью, на которой тысячью огней горело здание.

— Привал, может быть, хотите сделать, драгоценный мастер,—шепнул бывший регент,— добудем фраки и нырнем в кафе, освежиться, так сказать, после рязанских страданий».

...В мае того же 1934 года был арестован и выслан сначала в Чердынь, а потом в Воронеж Осип Мандельштам, сосед Булгакова по дому в Нащокинском переулке. Может быть, «Рязань» — здесь псевдоним мандельштамова Воронежа? Впрочем, тогда многих ссылали в среднерусские города...

«— Да вы, мастер, спуститесь поближе, слезьте,— зашептал Коровьев, и тотчас конь поэта снизился, он спрыгнул и под носом тронувшейся машины пробежал к подъезду.

И тогда было видно, как текли, поддерживая разряженных женщин под руки, к машинам горделивые мужчины в черном, а у среднего выхода стоял, прислонившись к углу, человек в разодранной, замасленной, в саже рубашке, в разорванных брюках, в рваных тапочках на босу ногу, непричесанный. Его лицо дергалось судорогами, а глаза сверкали. Надо полагать, что шарахнулись бы от него сытые и счастливые люди, если бы увидели его. Но он не был видим. Он бормотал что-то про себя, дергался, но глаз не спускал с проходивших, ловил их лица и что-то читал в них, заглядывая в глаза. И некоторые из них почуяли присутствие странного, потому что беспокойно вздрагивали и оглядывались, минуя угол. Но в общем все было благополучно, и разноязычная речь трещала вокруг, и тихо гудели машины, становясь впереди, и отъезжали, и камни сверкали на женщинах.

Тут с холодной тоской представил вдруг поэт почему-то сумерки и озеро, и кто-то и почему-то заиграл в голове на гармонии страдания, и пролился свет луны на холодные воды, и запахла земля...»

В главе «Ночь» уже есть «преображение» Воланда и его спутников — правда, оно происходит в другой момент и иначе, чем позже в законченном романе; и встреча с Понтием Пилатом, сидящим в своем вечном кресле, в гористой местности, среди камней; и прощение Пилата. «Сейчас он будет там, где хочет быть, на балконе, и к нему приведут Ешуа Ганоцри. Он исправит свою ошибку»,— говорит Воланд.

Третья редакция (1934—1936) сохранилась только наполовину: восемнадцать первых глав — законченных, незаконченных, намеченных — и глава последняя. Фактически завершив третью редакцию, Булгаков дописывает небольшой кусок под названием «Окончание сна Босого», в котором снова появляется отец Аркадий Элладов. Этот отрывок, не законченный и в дальнейшие редакции не вошедший, так интересен, что, извинившись перед читателем за обилие цитат, все-таки приведу его.

«Босой забылся. Ногами он упирался в зад спящему дантисту, голову повесил на плечо, а затем прислонил ее к плечу рыжего любителя бойцовых гусей. Тот первоначально протестовал, но потом и сам затих и даже всхрапнул. Тут и приснилось Босому, что будто бы все лампионы загорелись еще ярче и даже где-то якобы тренькнул церковный колокол. И тут с необыкновенной ясностью стал грезиться Босому на сцене очень внушительный священник. Показалось, что на священнике прекрасная фиолетовая ряса — муар, наперсный крест на груди, волосы аккуратно смазаны и расчесаны, глаза острые, деловые и немно-

го бегают. Босому приснилось, что спящие зрители зашевелились, зевая, выпрямились, уставились на сцену.

Рыжий со сна хриплым голосом сказал:

— Э, да это Элладов! Он, он. Отец Аркадий. Поп-умница, в преферанс играет первоклассно и лют проповеди говорить. Против него трудно устоять. Он как таран.

Отец Аркадий Элладов тем временем вдохновенно глянул вверх, левой рукой поправил волосы, а правой крест и даже, как показалось Босому, похудев от вдохновения, произнес красивым голосом:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Православные христиане! Сдавайте валюту!

Босому показалось, что он ослышался, он затаил дыхание, ожидая, что какая-то сила явится и тут же на месте разразит умницу попа ко всем чертям. Но никакая сила не явилась, и отец Аркадий повел с исключительным искусством проповедь. Рыжий не соврал, отец Аркадий был мастером своего дела. Первым же долгом он напомнил о том, что Божие Богу, но кесарево, что бы ни было, принадлежит кесарю. Возражать против этого не приходилось. Но тут же, сделав искусную фиоритуру бархатным голосом, Аркадий приравнял ныне существующую власть к кесарю, и даже плохо образованный Босой задрожал во сне, чувствуя неуместность сравнения. Но надо полагать, что блестящему риторику — отцу Аркадию дали возможность говорить, что ему нравится.

Он пользовался этим широко и напомнил очень помрачневшим зрителям о том, что нет власти не от Бога. А если так, то нарушающий постановления власти выступает против кого?..

Говорят же русским языком: «Сдайте валюту...»

Между третьей и четвертой редакциями — две тетради, озаглавленные «Князь тьмы» и относящиеся к первой половине 1937 года. Это подступ к четвертой редакции романа, предчувствие ее.

Булгаков переписывает первые главы романа, одну за другой, кажется, не столько работая над ними, сколько готовя себя к решительному броску — сплошному переписыванию романа и связанным с этим взлетам импровизации.

Пишет с самого начала. Все еще неясную ему главу 2-ю — «Золотое копье» — пропускает. Удовлетворенно поправляет давно сложившиеся сатирические главы. Вплотную подходит к главе 13-й — «Явление героя». Отныне она будет называться так. Мастер, уже в предыдущей редакции получивший это свое имя, окончательно осознается героем романа.

«— Я — мастер,— ответил гость и стал горделив и вынул из кармана засаленную шелковую черную шапочку, надел ее, также надел и очки и показался Ивану и в профиль и в фас, чтобы доказать, что он действительно мастер».

Писатель прорабатывает эту главу тщательно и любовно. Ее образная, ее ритмическая структура очень близки окончательным. И уже намечается вхождение лирической темы, которая с такой силой окрасит эту главу в последующих редакциях:

«Выяснилось, что он написал этот роман, над которым просидел три года в своем уютном подвале на Пречистенке, заваленном книгами, и знала об этом романе только одна женщина. Имени ее гость не назвал, но сказал, что женщина умная, замечательная...»

Здесь на полуфразе обрывается рукопись «Князь тьмы». Думаю, потому, что имя Маргариты, не произнесенное героем, вспыхивает в воображении автора и становится рядом с именем героя. Думаю, в этот момент рождается название «Мастер и Маргарита».

Не Воланд, но мастер и Маргарита — герои романа. Не «Князь тьмы» — «Мастер и Маргарита»!

Теперь писатель может начать четвертую — уже полную — редакцию своего романа, впервые обозначив на титульном листе: «Мастер и Маргарита. Роман».

Шесть тетрадей этой редакции, со сплошной нумерацией страниц, с установившейся последовательностью глав, без пробелов и пропусков, от первой строки: «Весною, в час заката на Патриарших прудах...» до строки последней: «пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат» и важного для писателя слова «Конец», написаны в необыкновенно короткий срок, в течение нескольких месяцев 1937—1938 года.

Начало работы датировано автором несколько общо: 1937 г., вероятнее всего, относится к октябрю-ноябрю 1937 года. В эти месяцы в дневнике Е. С. Булгаковой появляются записи о работе над романом; в декабре Булгаков читает друзьям (В. Дмитриеву, П. Вильямсу, Б. и Н. Эрдманам) не только главы 1-ю и 2-ю, но и 12-ю.

Конец редакции автор датировал так: «22—23 мая 38 г.»

Перечитывая четвертую редакцию романа, часто вспоминаю загадочные, казалось бы, слова К. М. Симонова в его предисловиях к роману «Мастер и Маргарита», в 1966 году и в 1973-м. (Напомню, что Симонов был председателем Комиссии по литературному наследию Михаила Булгакова, много сделавшим для возвращения творчества Булгакова читателю; в частности, именно он добился публикации романа, сначала с сокращениями, в журнале, а потом и полностью, в книге.) Так вот, К. М. Симонов высказал предположение, что Булгаков, если бы ему было дано продолжить работу над романом, «может быть», вычеркнул бы «что-то из того, что несет на себе печать неумеренной, избыточной щедрости фантазии».

Весьма субъективно по отношению к законченному роману, не правда ли? Но буйство фантазии в его четвертой редак-

ции, особенно в сценах великого бала у сатаны, щедрость фантазии в дальнейшем были действительно жестко умерены художником...

Персонажи, в последней редакции названные глухо: «господин Жак», «граф Роберт», «маркиза», здесь шли под историческими именами: «господин Жак Ле-Кёр», «граф Роберт Лейчестер», «маркиза де Бренвилле»...

Впоследствии, лишенные конкретных имен, дат и подробностей, они станут загадочней, туманней, неопределенней. Ожившие тени отравителей и убийц на весеннем балу у сатаны.

На балу у Воланда собственными персонами появлялись автор трагедии «Фауст» и автор оперы «Фауст», те, кого Булгаков считал своими предтечами:

«Последние, последние,— шептал Коровьев,— вот группа наших брокенских гуляк.— Он еще побормотал несколько времени: — Эмпузы, мормолики, два вампира. Все.

Но на пустой лестнице еще оказались двое пожилых людей.

Коровьев прищурился, узнал, мигнул подручным, сказал Маргарите:

— А, вот они...

— У них почтенный вид,— говорила щурясь Маргарита.

— Имею честь рекомендовать вам, королева, директора театра и доктора прав господина Гете и также господина Шарля Гуно, известнейшего композитора.

— Я в восхищении,— говорила Маргарита.

И директор театра, и композитор почтительно поклонились Маргарите, но колена не целовали.

Перед Маргаритой оказался круглый золотой поднос и на нем два маленьких футляра. Крышки их отпрыгнули, и в футлярах оказалось по золотому лавровому веночку, который можно было носить в петлице как орден.

— Мессир просил вас принять эти веночки,— говорила Маргарита одному из артистов по-немецки, а другому по-французски,— на память о сегодняшнем бале».

Бесконечными соблазнительными подробностями расцвечивались картины бала...

«Но тут Коровьев властно подхватил под руку хозяйку бала и увлек ее вниз. Они оказались в буфете.

Сотни гостей осаждали каменные ванны. Пахло соленым морем. Прислуга бешено работала ножами, вскрывая аркашонские устрицы, выкладывая их на блюдо, поливая лимонным соком. Маргарита глянула под ноги и невольно ухватилась за руку Коровьева, ей показалось, что она провалится в ад. Сквозь хрустальный пол светили бешеные красные огни плит, в дыму и пару метались белые дьявольские повара. Тележки на беззвучных колесиках ездили между столиками, и на них дымились и сочились кровью горы мяса. Прислуга на ходу тележек резала ножами это мясо, и ломти ростбифа разлетались по рукам гостей. Снизу из кухни подавали раскроенную розовую лососину, янтарные балыки. Серебряными ложками проголодавшиеся гости глотали икру.

Снизу по трапам подавали на столиках столбы тарелок, груды серебряных вилок и ножей, откупоренные бутылки вин, коньяков, водок <...>

За ослепляющей (отражения) миллионом огней зеркальной стойкой помещались пять громадных тигров. Они взбалтывали, лили в рюмки опаловые, красные, зеленые смеси, изредка испускали рык.

Из бара попали в карточные. Маргарита видела бесчисленное множество зеленых столов и сверкающее на них золото. Возле одного из них сгрудилась особенно большая толпа игроков, и некоторые из них стояли даже на стульях, жадно глядя на поединок. Обрюзгшая, седоватая содержательница публичного дома играла против черноволосого банкомета, перед которым возвышались две груды золотых монет. Возле хозяйки же не было ни одной монеты, но на сукне стояла, улыбаясь, нагая девчонка лет шестнадцати, с развившейся во время танцев прической, племянница почтенной падуанки.

— Миллион против девчонки,— смеясь, шептал Коровьев,— вся она не стоит ста дукатов.

Почтительно раздавшаяся толпа игроков восторженно косилась на Маргариту, и в то же время разноязычным вздохом «бита... дана... бита... дана...» сопровождала каждый удар карты.

— Бита! — простонал круг игроков.

Желтизна тронула скулы почтенной старухи, и она невольно провела по сукну рукой, причем вздрогнула, сломав ноготь. Девчонка оглянулась растерянно.

Маргарита была уже вне карточной. Она, почти не задерживаясь, пролетела мимо гостиной, где на эстраде работал фокусник-саламандра, бросающийся в камин, сгорающий в нем и выскакивающий из него вновь невредимым, и вернулась в танцевальный зал».

В последней редакции романа, как известно, 32 главы (не считая эпилога). В четвертой редакции их 30. Еще не разделена на две глава «Погребение» («Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа») и нет очень важной главы «Судьба мастера и Маргариты определена».

Точнее, ряд деталей этой главы имеется. Терраса, с которой Воланд смотрит на Москву («В вышине на террасе самого красивого здания в Москве, построенного очень давно, на пустынной террасе, на балюстраде которой возвышались гипсовые вазы, на складной табуретке сидел черный Воланд неподвижно и смотрел на лежащий внизу город. Его длинная и широкая шпага была воткнута между двумя рассевшимися плитами террасы, так что получились солнечные часы»). И Коровьев, и Бегемот появляются на этой террасе после устроенных ими пожаров. Но явления Левия Матвея нет.

Нет и фиолетового рыцаря, игравшего аналогичную роль во второй редакции и редакции последующей (пятой). Воланд не получает «распоряжения» о судьбе мастера и Маргариты. Здесь их судьбу решает он сам — он, у кого они просили помощи и защиты...

И еще небольшая подробность четвертой редакции: Булгаков попробовал ввести здесь в свиту Воланда Геллу. Она стоит рядом с Воландом на террасе высоко над городом, тоже в черном плаще, и смотрит на радугу. И затем вместе со всей кавалькадой покидает город: «Кони рванулись, и пятеро всадников и две всадницы поднялись вверх и поскакали... Гелла летела, как ночь, улетавшая в ночь...»

В дальнейшем Геллу из этого полета в вечность Булгаков уберет, навсегда оставив ее на земле.

Едва дописав последнюю тетрадь и, по-видимому, несколько скомкав конец в предчувствии новой работы, Булгаков начинает перепечатку романа.

Менее чем за месяц, с последних чисел мая по 24 июня 1938 года, он диктует пятую — первую и единственную машинописную — редакцию романа. Пишет под его диктовку О. С. Бокшанская, сестра Е. С. Булгаковой.

Прямо на ходу шла густейшая стилистическая правка. Прекрасные страницы уходили в жестокие до самоотречения булгаковские сокращения. Возникали новые страницы, поворачивалось действие, в каких-то самых важных подробностях заново решалась мучившая писателя концовка...

По тому, как во многом совпадают знаки препинания в рукописных тетрадях и в машинописи, можно предположить, что Булгаков нередко диктовал и знаки препинания, и деление на абзацы.

После машинописи — по тексту машинописи — снова шла правка. Теперь до конца дней. Изменялись имена персонажей, нередко возвращаясь к более ранним редакциям. Беспощадно правилось (к этому мы еще вернемся) начало первой главы. С первых строк исчерканы страницы главы 2-й — «Понтий Пилат». Приведу несколько примеров.

В машинописи: «...когорта Двенадцатого Громобойного легиона». Строка подчеркнута красным карандашом. Эти красные штрихи — знак недовольства автора собой, помета необходимости правки В попытке найти русский эквивалент названия легиона Фульмината Булгаковым уже выписан ряд латинских слов (fulminare — поражать молнией) в тетради «Роман. Материалы» (8.1). Теперь исправлено: «Двенадцатого Молниеносного легиона».

Далее: «Он из Галилеи? У тетрарха дело было?» Недовольный красный штрих, исправлено: «Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?»

И далее в машинописи:

«— Откуда ты родом?

— Из Эн-Сарида,— ответил арестант, головой показывая, что там где-то, за спиной у него, на севере есть Эн-Сарид».

Эн-Сарид, а ранее Эн-Назир — в романе синонимы Назарета. Теперь, правя машинопись, Булгаков делает местом рождения своего героя город Гамалу. Выписывает из «Истории евреев» Генриха Гретца: «В Галилее... Гамала напротив Тивериады на восточном берегу озера» — и дважды подчеркивает слово «Гамала» («Роман. Материалы»).

Правка шла прямо по машинописному тексту и на полях; дополнения и замены делались на обороте машинописных листов, на листах, которые вкладывались между машинописными; в отдельных, специально заведенных тетрадях. В 1938 году и в первой половине 1939-го — большей частью рукой М. А. Булгакова, в последние месяцы жизни — как правило, рукой Елены Сергеевны. Впрочем, слои правки трудно датировать по почерку — по-видимому, есть ранние поправки, внесенные Еленой Сергеевной под диктовку, и в самые последние месяцы жизни почти ослепший писатель иногда брал карандаш.

Он успел густо выправить первую часть романа, а во второй — первую и последние главы. Елене Сергеевне еще предстояла очень непростая работа — разобрать все эти пометы о заменах и перестановках, снять поправки, отмененные последующими, но не вычеркнутые, а другие, помеченные в одном месте, перенести в соответствующие последующие места. Что-то она успела сделать в процессе работы, при жизни писателя, многое — после его смерти. Правку по машинописи можно считать шестой редакцией романа.

Судьба мастера

Неизвестно, как предполагалось закончить роман в первой редакции. Может быть, уже тогда писателю мыслился ночной полет черных коней — на запад, туда, где среди голых безрадостных скал вечно сидит спящий Понтий Пилат, пробуждающийся раз в год, в весеннее полнолуние?

В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, которым так часто пользовался Булгаков, непосредственно перед статьей «Пилат (Понтий или Понтийский)» есть и другая статья под тем же названием «Пилат»: так называется вершина в Швейцарских Альпах, и со скалистой этой вершиной связана изложенная тут же, в «Энциклопедическом словаре», легенда о вечно спящем здесь и просыпающемся в весеннее полнолуние Пилате.

В промежуток времени между первой и второй редакциями романа, в 1931 году, Булгаков пишет пьесу «Адам и Ева». «...И каждую ночь,— говорит героиня,— я вижу один любимый сон: черный конь, и непременно с черной гривой, уносит меня из этих лесов!.. Конь уносит меня, и я не одна...» И далее Ефросимову о своей мечте: «А затем домик в Швейцарии, и — будь прокляты идеи, войны, классы, стачки... Я люблю тебя и обожаю химию...» И в последнем диалоге Дарагана и Ефросимова — снова Швейцария, на этот раз в сочетании со словом «покой»: «Д а р а г а н (Ефросимову). Ты жаждешь покоя? Ну что же, ты его получишь!.. Е ф р о с и м о в. Мне надо одно — чтобы ты перестал бросать бомбы,— и я уеду в Швейцарию».

Где-то там, на запад (точнее, на юго-запад) от Москвы, совмещаясь с Швейцарией и, конечно, не совмещаясь ни с чем, неподалеку от мифической горы Пилат, возвышающейся над Фирвальдштетским озером, недостижимым и никогда не виденным Булгаковым, размещается его Макария. Макария, Блаженство, Острова блаженства — так называли древние обитель умерших героев, расположенную на земле. Булгаковский «покой»...

Были ли «черные кони» Евы и «Швейцария» Ефросимова в пьесе «Адам и Ева» отголоском первой редакции романа или всего лишь предчувствием второй? Вероятно, все-таки предчувствием. Ибо и во второй редакции писателю не все ясно с концовкой романа. Судьба Пилата решена. Он идет на соединение с Га-Ноцри.

«...Человек закричал голосом медным и пронзительным, как некогда привык командовать в бою, и тотчас скалы расселись, из ущелья выскочил, прыгая, гигантский пес в ошейнике с тусклыми золотыми бляхами и радостно бросился на грудь к человеку, едва не сбив его с ног.

И человек обнял пса и жадно целовал его морду, восклицая сквозь слезы: «Банга! О, Банга!»

— Это единственное существо в мире, которое любит его,— пояснил всезнающий кот.

Следом за собакой выбежал гигант в шлеме с гребнем, в мохнатых сапогах. Бульдожье лицо его было обезображено — нос перебит, глазки мрачны и встревожены.

Человек махнул ему рукой, что-то прокричал, и с топотом вылетел конный строй хищных всадников. В мгновение ока человек, забыв свои годы, легко вскочил на коня, в радостном сумасшедшем исступлении швырнул меч в луну и, пригнувшись к луке, поскакал. Пес сорвался и карьером полетел за ним, не отставая ни на пядь, за ним, сдавив бока чудовищной лошади, взвился кентурион, а за ним полетели, беззвучно распластавшись, сирийские всадники.

Донесся вопль человека, кричащего прямо играющей луне:

— Ешуа Ганоцри! Ганоцри!»

А судьба мастера?

В пору работы над второй редакцией романа писатель, по-видимому, предполагал показать подробно путь мастера к его последнему приюту. Была начата целая глава — «Последний путь». В ней:

«— Да, что будет со мною, мессир?

— Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное. Вообще могу вас поздравить — вы имели успех. Так вот мне было велено...

— Разве вам могут велеть?

— О, да. Велено унести вас».

Но строки эти перечеркнуты и оставлены без продолжения. В сделанных тут же новых набросках плана последняя глава названа так: «Вот мой приют». В дальнейшем такая глава не будет написана. Будет только несколько строк — монолог-обещание Воланда. И еще один два заключительных абзаца.

Ни в одной редакции романа — третьей, четвертой, пятой, шестой — герой так и не увидит свой вечный дом. Не войдет в него. Сладкий покой — сад, с красными вишнями, усыпающими ветви деревьев, в третьей редакции (здесь действие происходило в июне), или только зацветающий — в последней, музыка Шуберта, Маргарита, возможность мыслить и даже творить — ему обещаны. Обещаны голосом Воланда. Обещаны устами Маргариты.

Тот самый сад вечности и небытия — покой — который параллельно с Михаилом Булгаковым был воспет незнакомой ему Мариной Цветаевой («За этот ад За этот бред Пошли мне сад На старость лет...— Тот сад? А может быть — тот свет?»). Который так прочно восходит к мотивам русской поэзии. К Лермонтову, например («Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной чтоб вечно зеленея Темный дуб склонялся и шумел»). Или даже к Державину:

Себе построим тихий кров
За мрачной сенью лесов,
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б, без страха и надежды,
Мы в мире жить с собой могли.

Покой мастера навсегда остается обещанным ему. Только обещанным.

Мастеру уготован покой, но не свет. Эта неполнота награды отмечена уже в набросках второй редакции, дана в финале третьей («Ты никогда не поднимешься выше»), особенно остро выражена в последней редакции: «Он не заслужил света, он заслужил покой»,— говорит Левий Матвей.

Почему же мастер не заслужил света? Потому ли, что не совершил подвига служения добру, как Иешуа Га-Ноцри? Или потому, что помощи и защиты просил у дьявола? Может быть, потому, что любил женщину, принадлежавшую другому? «Не желай жены ближнего твоего»... Он был мастер, а не герой.

Но был ли мастеру нужен свет? Что делать мастеру в «голом свете»? В самом последнем слое правки, на той же продиктованной под конец жизни странице, где Левий Матвей говорит о том, что мастер не заслужил света, грозно звучит монолог Воланда: «...Что бы делало твое добро, если бы не существова-

ло зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?.. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?»

Мастер получает именно то, чего так жаждет,— недостижимую в жизни гармонию. Ту, которой желали и Пушкин («Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...») и Лермонтов («Я б хотел свободы и покоя»). «Покой» мастера — на грани света и тьмы, на стыке дня и ночи, там, где горит рассвет и свеча зажигается в сумерках, в нем соединены свет и тень...

В третьей редакции:

«...Ты никогда не поднимешься выше, Ешуа не увидишь, ты не покинешь свой приют. Мы прилетели. Вот Маргарита уже снизилась, манит тебя. Прощай!

Мастер увидел, как метнулся громадный Воланд, а за ним взвилась и пропала навсегда свита и боевые черные вороны. Горел рассвет, вставало солнце, исчезли черные кони. Он шел к дому, и гуще его путь и память оплетал дикий виноград. Еще был какой-то отзвук от полета над скалами, еще вспоминалась луна, но уж не терзали сомнения, и угасал казнимый на Лысом Черепе, и бледнел и уходил навеки, навеки шестой прокуратор Понтийский Пилат».

В редакции четвертой:

«...Там вы найдете дом, увитый плющом, сады в цвету и тихую реку.

Днем вы будете сидеть над своими ретортами и колбами, и, быть может, вам удастся создать гомункула.

А ночью при свечах вы будете слушать, как играют квартеты кавалеры. Там вы найдете покой! Прощайте! Я рад!

С последним словом Воланда Ершалаим ушел в бездну, а вслед за ним в ту же черную бездну кинулся Воланд, а за ним его свита.

Остался только мастер и подруга его на освещенном луною каменистом пике и один черный конь.

Мастер подсадил спутницу на седло, вскочил сзади нее, и конь прыгнул, обрушив осколки пика в тьму, но конь не сорвался, он перелетел через опасную вечную бездну и попал на лунную дорогу, струящуюся ввысь. Мастер одной рукой прижал к себе подругу и погнал шпорами коня к луне, к которой только что улетел прощенный в ночь воскресенья пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат».

В редакции пятой, машинописной:

«Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге в тени лип.

— Слушай беззвучие,— говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами,— слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни,— тишиной. Смотри, вон впереди тот дом, про который он говорил, а уж он не обманет! Я уже вижу его стену, вижу венецианское окно, и виноград, который вьется, подымаясь к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты будешь смеяться, ты будешь видеть, как горит свеча. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь.

Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей, и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат».

Не нужно обманываться лиризмом этой концовки. Мне случалось читать восторженные высказывания в критике по поводу того, что мастер за все его страдания получает наконец «вечный дом». Но среди книг, которые в последние годы работы над романом лежали у Булгакова под рукой и которыми он пользовался как справочной литературой,— сочинение Н. К. Маккавейского «Археология истории страданий Господа Иисуса Христа» (Киев, 1891), а там такие строки: «Вечный дом, часто употреблявшееся у евреев название для гробниц...»

В апреле — мае 1939 года Булгаков создает эпилог, который существенно меняет тональность всего романа, заставляя сильнее звучать одну из его сторон — сатирическую.

Диктуя эпилог на машинку, снимает весь последний абзац последней главы («Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому...»). Фактически эпилог написан вместо этого абзаца.

Но и книги и тексты имеют свою судьбу. Елена Сергеевна расстаться с этими строками не могла (они сохранились во 2-м экземпляре машинописи) и, готовя роман к печати, восстановила их, строго говоря, против воли автора. Затем они вошли в первое полное издание романа (М.: Художественная литература, 1973), сделанное в основном по 1-му экземпляру машинописи и лишь отчасти по тексту, подготовленному Е. С. Булгаковой. И я, как текстолог, готовя роман к печати в 1987—1989 и заново — в 1989—1990 годах, не посмела нарушить уже сложившуюся традицию и снять эти любимые читателями строки. Так они вошли во все издания романа, вследствие чего заключающая фраза о пятом прокураторе Иудеи повторена в романе не трижды,

как это было замыслено автором, а четырежды...

В середине сентября 1939 года состояние здоровья Булгакова резко ухудшилось. Елена Сергеевна записывала: «26 сентября. Углубленный в себя взгляд, мысли о смерти, о романе...»

В октябре, ноябре, декабре, январе идет самый последний слой правки — на прощальном, предсмертном взлете гениальности — новые страницы, новые повороты мысли и фантазии.

Некоторые записи на полях машинописи и в записной книжке — наметки для будущих переделок — остались невоплощенными...

Каждая из редакций романа необыкновенно интересна. И все-таки можно твердо сказать: если бы до нас дошла только вторая редакция, только третья, четвертая, даже пятая,— мир не испытал бы такого потрясения от встречи с великим произведением искусства. Булгаков знал, к чему он шел. И может быть, поэтому задержался на этом свете несколько долее, чем предрекали ему врачи...

Роман не был закончен. В нем остались противоречия. (Ну хотя бы вопрос: что же произошло с земной сущностью мастера и Маргариты, с их телами? Остались ли они на земле, как в главе 30-й? Или исчезли вместе с Воландом и его свитой, как в эпилоге?) Что-то автор так и не решил для себя до конца — и в сюжете, в характерах персонажей, и в высоком, философском...

Но, может быть, такой роман и не мог быть закончен?

Несколько слов о «материалах» к роману. Так Булгаков называл рабочие выписки из книг, размышления о реалиях, расчеты, зарисовки.

В разных тетрадях есть страницы «материалов». В 1938—1939 годах писатель заводит отдельные тетради под таким названием. Одна из них — «Роман. Материалы» — сохранилась и часто цитируется на страницах этой книги. В ней выписки — из Тацита (на французском языке и по-латыни); из книг Э. Ренана, Ф. В. Фаррара, А. Древса, Д. Ф. Штрауса и А. Барбюса; из «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона; из «Истории евреев» Генриха Гретца; из книги профессора Киевской духовной академии Н. К. Маккавейского «Археология истории страданий Господа Иисуса Христа» и др. Здесь записи о языке, на котором говорили в Ершалаиме... О том, чем и на чем тогда писали... Рисунок Голгофы... Схема «воображаемого Ершалаима»... Здесь же начертанный рукою Булгакова треугольник Воланда...

Таких тетрадей было две и в конце 1966 года Елена Сергеевна сдала в Отдел рукописей Библиотеки имени Ленина обе. Документы в «деле фонда», а именно: «Заключение» от 10 декабря 1966 года, подписанное заведующей ОР С. В. Житомирской, академиком В. Виноградовым, В. Кавериным, И. Андрониковым, К. Симоновым, С. Бонди, С. Макашиным и др., и Протокол решения дирекции от 23 декабря того же года зафиксировали, что Библиотекой приняты у Е. С. Булгаковой, помимо других рукописей «Мастера и Маргариты»,— «две тетради 1938 г. с материалами к роману». В настоящее время в описях ОР ГБЛ значится только одна такая тетрадь. Судьба второй тетради неизвестна.

Треугольник Воланда

В апреле 1939 года Михаил Булгаков читал нескольким друзьям фактически уже законченный роман «Мастер и Маргарита».

Прочитав три главы, спросил: «Кто такой Воланд, как по-вашему?» Слушатели замялись, Елена Сергеевна, чтобы подбодрить их, предложила обменяться записочками и в своей написала: «Дьявол». Драматург А. М. Файко, увы, написал: «Я не знаю». В. Я. Виленкин (тогда заместитель заведующего литературной частью МХАТа) угадал: «Сатана». «Михаил Афанасьевич,— рассказывает в своих мемуарах В. Я. Виленкин,— не утерпев, подошел ко мне сзади, пока я выводил своего «Сатану», и, заглянув в записку, погладил по голове».

Помнится, рассказ Виленкина меня поразил: не узнать Воланда?

Я впервые читала роман в апреле 1963 года, у Елены Сергеевны Булгаковой дома, в ее квартире на Суворовском бульваре в Москве. В ту пору я весьма часто ездила в Москву, а приезжая, бывала у нее ежедневно, и в строках ее письма к Н. А. Булгакову от 8 января 1963 года, пожалуй, могу узнать себя: «Есть корреспонденты из других городов, мы переписываемся, а когда они приезжают в Москву, то бывают у меня ежедневно, изучая творчество Миши и слушая рассказы о нем. И все влюбляются в него. Так что скоро начнут появляться книги о нем. Все это — моя жизнь, все это вливает в меня силы». (Впрочем, множественное число в письме говорит о том, что приходила не только я.)

По отношению ко мне Елена Сергеевна применила своеобразную методу: я читала Булгакова в том порядке, какой определяла она сама. Сначала «Записки юного врача» и тогда еще неопубликованный «Бег» (12 декабря 1962 года надписала мне только что вышедший сборник пьес: «Лидии Марковне Яновской пьесы Булгакова в более изящном виде, чем первые, полученные ею от Елены Булгаковой»). Потом «Адама и Еву», «Театральный роман», комедии «Блаженство», «Иван Васильевич»... Я нарушала продуманный ею порядок, спешно проглатывая «Собачье сердце» в Отделе рукописей Ленинки, «Багровый остров» в ЦГАЛИ, инсценировку «Мертвых душ» в московской театральной библиотеке. Дома, в Харькове, в библиотеке имени Короленко, была «Зойкина квартира» — чудом уцелевшая машинопись 20-х го-

дов, две трети «Белой гвардии», оба издаиия «Дьяволиады»...

А может быть, отсрочка в чтении «Мастера» определялась не только тем, что Елена Сергеевна хотела меня подготовить. Позже выясинлось, что в ту зиму роман был у нее «в работе». Она приводила в порядок текст: заново сверяла с рукописями, снимала описки и опечатки (или то, что считала опиской и опечаткой), уточняла знаки препинания и делеиие иа абзацы. 8 марта 1963 года писала Н. А. Булгакову: «...переписала большой роман Миши». 22 марта — мне: «...правнла перепечатаинный роман».

Как бы то нн было, в течение двух апрельских дней роман был миою прочитан — по свежесверенной, только что отпечатанной на белейшей лощеиой бумаге копин. С утра до вечера, ие подиимая головы,— первая часть. Назавтра — так же не отрываясь — вторая. Кажется, в каком-то месте (может быть, после третьей главы?) Елена Сергеевна спросила, поняла ли я, кто такой Воланд. Кажется, я отмахнулась — кивком головы, движением руки... Ах, не мешайте... Не узнать Воланда!.,

На улице было темно. Но роман был пронизан светом. И почему-то особенно волновало в нем описание гроз, естественных и чудовищных весенних гроз, каждый год проносившихся над Москвой, как тысячи лет проносились они иад тысячами других городов,— гроз, из которых, должно быть, и родился Воланд...

Так почему же я — через миого лет, читая глазами,— так хорошо поинимала автора, а друзья, слушавшие то же из его собственных, живых уст, смущенио решали вопрос, кто такой Воланд? «Отвечать прямо никто не решался,—замечает Виленкин,— это казалось рискованным».

Теперь, склоняясь иад рукописью в архиве, вижу: слушали они отнюдь не «то же».

Как уже зиает читатель, в первый и единственый раз Булгаков продиктовал ромаи на машинку, полностью, в маеиюне 1938 года, а потом до конца дней. слоями, правил. Какой слой текста читал весиою 1939 года? Может быть, машинописный первоначальиый, звучавший так:

«Весною, в среду, в час жаркого заката иа Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них, приблизительио тридцатипятилетний и преждевременно облысевший, лицо имел бритое, одет был в сереиькую летнюю пару и свою приличную шляпу пирожком нес в руке. Второй, двадцатитрехлетиий, был в синей блузе, измятых белых брюках, в тапочках и в кепке...»

И место действия, и расстановка действующих лиц в первых строках уже установились, не правда ли? Добавлю: давно установились. Примерно так оии войдут и в окоичательиую редакцию романа. И тем не менее первая страница машинописи особенно густо испещреиа правкой.

Фиолетовые чернила — рука Булгакова. Позже — синие чернила — рука Елены Сергеевны (под его диктовку). Еще позже — ее черный караидаш...

А может быть, читал уже ие по первому, а по второму (фиолетовые чернила) варианту:

«Однажды, на закате небывало знойного весеинего дня иа Патриарших прудах появились двое граждаи...»

Примерио в пору этого чтеиия друзьям, и может быть, непосредственно перед чтением, Булгаков заводит новую тетрадь (внутри тетради есть дата: апрель, по косвенным данным устанавливается н год: 1939). Надписывает: «Мастер и Маргарита. Ромаи. Отделка». И пробует снова.

Рискуя наскучить читателю, все-таки приведу ряд записей из этой тетради (9,1):

«В час жаркого весеннего заката на Патриаршнх прудах появилось двое граждан.

Первый из них, бритый, в колоссальных роговых очках, лет около сорока примерно человек, был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, секретарь одной из столичных литературных ассоциаций.

...а молоденький спутник его поэт Иван Николаевич Палашов».

Нв следующей странице:

«В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из иих, лет примерно около сорока, плотный, маленького роста, бритый, в громадных роговых очках, лет около сорока примерио (повтор автора.— Л. Я.), был не кто иной как Михаил Александрович Берлиоз, секретарь Московской ассоциации литераторов, сокращенно нменуемой Массолит, и редактор двух толстых журналов.

Юный спутник его в белой толстовке, белых мятых брюках и в клетчатой кепке поэт Иваи Николаевнч Понырев...»

Уже при первой правке отброшено слово «среда». Хотя действие романа — и сейчас, и в дальнейшем — тщательно рассчитано по дням недели: оно начинается именно в среду и продолжается в четверг, пятницу и субботу (соответствующие пометы в романе имеются, виимательный читатель их схватывает).

Но чего же далее ищет автор? Детали? Нет, явно дело ие в деталях. Точнее, не только в деталях.

Цвет? Сиияя блуза Ивана... белая толстовка... наконец, ковбойка, то есть рубашка клетчатая, как его кепка... Или ритм?

В. Я. Виленкин приводит в мемуарах свою дневниковую запись, сделанную сразу же после чтения романа: «Захватывает так, что в третьем часу не хотелось расходиться. Лег в четыре и во сне не мог отделаться,— опять Булгаков читал все сначала, как всегда отрывисто, четко, сухо, синкопами и иапорами ритма».

Во второй половине 1939 года, когда Булгаков уже чаще диктует, чем пишет, он снова возвращается к первой странице машинописи. Выправленный карандашом Елены Сергеевны текст теперь читается так:

«...Первый нз них, приблизительно сорокалетний, одетый в сереиькую летнюю пару, был маленького роста, черноволос, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на глазах выбритого лица его помещалнсь сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе». Часть текста зачеркнута, Елена Сергеевна записывает сызнова: «...а гладко выбритое лнцо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе».

Окончательно? Нет. Заведена новая тетрадь. Елена Сергеевна помечает иа ее первой странице: «Писано мною под диктовку М. А. Во время его болезни 1939 года. Окончательный текст. Начато 4 октября 1939 года. Елена Булгакова». И снова диктуются первые строки:

«Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной иа затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках».

Что произошло? Те же Патриаршие пруды. Те же двое. Но слово «сверхъестественных» теперь настойчиво переходит из правки в правку, чтобы остаться в этих строках навсегда. И вслушайтесь, как начинает шуршать слог «чёр»... «Черная» роговая оправа... «Черные» тапочки Ивана... Тут же дважды чертыхнется Берлиоз — непосредственно перед появлением клетчатого и сразу же после... Мы узнаем, что Бездомный «очертил» главное действующее лицо своей поэмы, то есть Инсуса, очень «черными» красками. Ненавязчиво, почти скрыто и все-таки трижды мелькнет эпитет «черный» в портрете Воланда. А затем раз и другой чертыхнется Бездомный. Воланд взглянет на небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, «бесшумно чертили черные птицы»... Стрижи,— проводив взгляд Воланда, отметит читатель. Вороны,— уточнит тот, кто знаком с рукописями романа, и каждый услышит: «чертили... черные...»

Слог «чёр» в слове «черный» теперь предваряет появление слова «черт» в романе, предваряет появление Воланда и его узнавание читателем. Это наблюдение принадлежит О. Кушлиной и Ю. Смирнову и отмечено в их статье «Магия слова» («Памир», 1986, №№ 5 и 6). Только в первой главе романа Кушлина и Смнрнов насчитали девять упоминаний черного цвета.

Итак, писателю иужио было, чтобы читатель узнал Воланда. Не расшифровал, не вычислил, а догадался. («...Подошел ко мне сзади, пока я выводил своего «Сатану», и, заглянув в записку, погладил по голове»). Он ищет путь не к логике — к интуиции читатели, что-то нашептывает ему, подсказывает, намекает, посмеивается.

Это узнавание для Булгакова так важно, что на каком-то этапе работы он попробовал даже заменить название первой главы. В ранних редакциях (по крайней мере с 1932 года) она называлась так же, как и в окончательном тексте, загадочно и насмешливо: «Никогда не разговарнвайте с неизвестными». В машинописи возникает название «Кто он?» Исправлено: «Кто он такой?» — тот же вопрос, что был задаи слушателям в апреле 1939 года.

Дело в том, что в романе (и это художественное решение выкристаллнзовалось у автора не сразу, очень не сразу) сатирнческие персонажи, как правило, Воланда не узнают. В романе его узнают только двое — мастер и Маргарита. Узнают еще до того, как видят его, независимо друг от друга и так согласио друг с другом: «Лишь только вы начали его описывать... я уже стал догадываться...» — говорит мастер Ивану. «— Вы женщина весьма умная и, конечно, уже догадались о том, кто наш хозяин». Сердце Маргариты стукнуло, и она кивнула головой».

Воланда должен узнать читатель, союзник автора.

(Эта позиция — рядом с автором, очень близко к мастеру и Маргарнте, над панорамой бездуховности, стяжательства и прочего вздора — очень важна в сатирической структуре романа, ибо «Мастер и Маргарита» — не только фантастический и философский, но н сатирический роман.)

Но Воланд н не скрывает, кто он такой. Великий иасмешник — я назвала бы его богом сатиры, если бы он не был дьяволом; ну, скажем так: дьявол беспощадной сатиры — он с первых страниц затевает с всезнайкой Берлиозом свои жестокие игры в «узнавание неузнавание».

В его облике, повадках, речи то и дело вспыхнвают блики мучительно знакомых примет... Лихо заломленный на ухо берет. Пера, правда, нет... Набалдашник трости в виде головы пуделя... Он садится — в позу, напоминающую скульптуру Антокольского «Мефистофель» («...чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки»)... И когда Берлиоз, безуспешно пытающийся постичь истину, тревожно произносит про себя: «Он не иностранец... он не иностранец... он престранный субъект... но позвольте, кто же он такой?..» — тот вдруг демонстратнвно разыгрывает сцену с папиросами — почти по «Фаусту» Гете.

Помните сцену «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге»? М е ф и с т о ф е л ь: «Какого

же вина вам выпить любо?». Фрош: «Как вас понять? Ваш выбор так велик?»

Воланд проигрывает это так:

« — Вы хотите курить, как я вижу? — неожиданно обратился к Бездомному неизвестный. — Вы какие предпочитаете?

— А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.

— Какие предпочитаете? — повторил неизвестный.

— Ну, «Нашу марку». — злобно ответил Бездомный.

Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному.

— «Наша марка».»

И тут же издевательски-открыто предъявляет Ивану и Берлиозу свой знак — треугольник на крышке золотого портсигара: «И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник».

Теперь его нельзя не узнать. Читатель уже узнал его! Но Иван и Берлиоз не узнают его и теперь. «Тут литераторы подумали разно. Берлиоз: «Нет, иностранец!», а Бездомный: «Вот черт его возьми, а!..»

Через несколько десятков страниц, а по сюжету на следующее утро почти та же сцена проигрывается со Степой Лиходеевым.

На этот раз дьявольский знак предъявлен сразу: «Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил одиннадцать раз и сказал...» А затем пародируется и Мефистофель, на этот раз оперный: «Одиннадцать!.. Вот и я!»

Но ни оперная фраза «Вот и я!», ни инфернальный треугольник ничего не говорят Степе.

«Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул:

— Извините... — надел их и хрипло спросил: — Скажите, пожалуйста, вашу фамилию?»

Но что же за треугольник предъявляет Воланд Берлиозу, а потом Степе? Треугольник, по которому его нельзя не узнать...

На крышке дорогого портсигара, на крышке золотых часов ставилась монограмма владельца. Монограмма Воланда? Треугольник?

В литературе о Булгакове первая попытка объяснить этот знак была сделана профессором И. Ф. Бэлзой в его известной работе «Генеалогия» «Мастера и Маргариты» («Контекст — 1978», М., 1978). И. Ф. Бэлза считает, что это «Всевидящее око», по его выражению, «первая ипостась Троицы», то есть символ бога.

Символ бога, по которому нельзя не узнать дьявола? Никак не откажешь в смелости этому парадоксу исследователя, но уж очень он не согласуется с расстановкой, так сказать, света и тени в романе «Мастер и Маргарита». («Каждое ведомство, — говорит Воланд, — должно заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно велики...»).

Кроме того, Воланд в романе не является носителем изначального, божественного всеведения. Правда, для него нет тайн, он может узнать все, что ему угодно, это требует крайне малого, порой символического усилия. Но все-таки требует. «Вы когда умрете?» — любезно спрашивает он у буфетчика. «Это никому не известно и никого не касается», — возмущенно отвечает буфетчик. «...Подумаешь, бином Ньютона!» — раздается дрянной голос Коровьева. — Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года...» Или далее, в разговоре с мастером: «А скажите, почему Маргарита вас называет мастером?.. О чем роман?.. О чем, о чем? О ком? — заговорил Воланд, перестав смеяться. — Вот теперь?.. Дайте-ка посмотреть...»

К тому же «Всевидящее око» изображается не совсем так. Схема этого символа не просто треугольник, но глаз в треугольнике. В «Толковом словаре» Вл. Даля: «Всевидящее око, промысел Божий, всеведение, изображаемое оком в лучах, среди треугольника».

Я рассматриваю в архиве рабочую тетрадь Михаила Булгакова «Роман. Материалы». 1938 год. Еще нет машинописного варианта. На странице 17 — записи о свите Князя тьмы: «Азазел — демон безводных мест. Абадонна, ангел смерти». Ниже несколько наименований дьявола: — слово «дьявол» аккуратно выписано по-гречески, с малой буквы, и далее по-русски, с большой: «Диавол, Сатана, Люцифер, царь тьмы». Греческое слово подчеркнуто карандашом. На оставшемся свободном месте — и, значит, не сразу — рукою писателя начертан маленький треугольник. Приблизительно равнобедренный, пожалуй даже равносторонний, покоящийся на основании. По-видимому, этот самый.

Треугольник пуст. Никакого глаза внутри него нет.

В литературоведении главное — не придумывать версий, которые закрывают вопрос, ничего не решая. Вопрос нужно оставить открытым, уложить в свою память и ждать, никогда не упуская его из виду. Открытия приходят сами и, как правило, неожиданно.

В данном случае было так.

Однажды, просматривая «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, к которому так часто обращался Булгаков, я раскрыла его на статье «Диавол» и вдруг испытала что-то вроде мгновенного головокружения: статья пестрела этими самыми треугольниками. Маленькие, приблизительно равнобедренные, они роились густо, как звезды в ночном небе; они были в каждой строке; потом слились в один, большой, он лез из страницы, заслоняя текст... Я закрыла книгу, поставила ее на полку и осторожно затворила обе дверцы библиотечного шкафа.

Я узнала треугольник. Это была греческа буква Δ — дельта большая, первая буква слова «Дьявол». Инициал Воланда.

На портсигаре действительно была его монограмма.

Через несколько дней снова поехала в библиотеку, чтобы еще раз взглянуть на эту неожиданную пляску треугольников в давно знакомой статье. Самое удивительное, что Δ в статье не оказалось. Ни разу, ни в одной строке. Правда, ее можно было увидеть на страницах предшествующих и на страницах последующих: этим инициалом — Δ — подписывал свои многочисленные статьи в энциклопедии Брокгауза и Ефрона Дмитрий Менделеев. Может быть, мелькнув при перелистывании тома, умноженный темой статьи, он и произвел такую бомбардировку моего воображения...

Не исключено, что каким-то подобным образом этот знак поразил Булгакова при просмотре энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Все приведенные выше наименования дьявола (и по-гречески, с дельты малой, δ, и по-русски) Булгаков выписал именно отсюда, из двух, размещенных одна за другою, статей о дьяволе.

Он искал инициал Воланда — единственный, бесспорный, одновременно ясный и ускользающий. За несколько месяцев до того, как рука его начертала в тетради треугольник, Воланд имел другой инициал и портсигар описывался так: «...Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его дважды сверкнула на мгновенье синим и белым огнем бриллиантовая буква F». Это F Булгаков тогда же попробовал перенести и на документы Воланда: «Пока иностранец совал их Крицкому, поэт успел разглядеть на карточке слово «Professor» и начальную букву фамилии, опять так: F» (Четвертая редакция романа. Крицким здесь именовался Берлиоз).

F — первая буква слова «Faland», что по-немецки означает «черт». В романе «Мастер и Маргарита» читатель встретит это слово в главе 17-й: «А может быть, и не Воланд? Может быть, и не Воланд. Может быть, Фаланд».

Это слово Булгаков нашел, полагаю, не в словарях (его познания в немецком языке были не очень велики), а в примечаниях к «Фаусту» Гете в прозаическом переводе А. Соколовского (СПб, 1902). «Воланд, — говорилось в примечаниях, — было одно из имен черта. Основное слово «Faland» (что значило обманщик, лукавый) употреблялось уже старинными писателями в смысле черта».

Если бы Булгаков писал роман-«криптограмму», рассчитанный на «посвященных», ему бы следовало сохранить это F. (Редкое издание «Фауста» в переводе Соколовского и не известное большинству читателей слово «Фаланд» как раз «посвященными», «булгаковедами», были распознаны очень быстро.)

Но писатель, ведя свою доверительную и насмешливую игру с читателем, все-таки находит другой знак.

Кому же не известна греческая буква Δ? Монограмма Воланда...

Как на ладони...

На Лысой Горе

Художественное произведение, за очень редкими исключениями, существует в своей последней редакции. Именно в этой редакции, законченной или максимально законченной автором, читают роман, слушают музыку, смотрят картину. Над последней редакцией размышляет читатель, ее анализирует критик, и если произведение становится классикой, по последней редакции, в которой замысел реализовался с наибольшей полнотой, его «проходят» в школе, копируют, учат наизусть...

Но как влекут исследователя ранние редакции — писательские черновики... Надеждой прикоснуться к феномену возникновения великого замысла. Обещанием постижения, что же нес в себе художник, что он хотел сказать и что ему удалось сказать...

В третьей редакции романа, в главе 2-й, которая называлась тогда «Золотое копье», была концовка, принципиально отличающаяся от дальнейших решений. После освобождения Вар-раввана действие здесь развивалось так:

«И тут же Раввана Крысобой легко подтолкнул в спину, и Вар-равван, оберегая больную руку, сбежал по боковым ступенькам с каменного помоста и был поглощен воющей толпой.

Тут Ешуа оглянулся, все еще сохраняя на лице улыбку, но отражения ее ни на чьем лице не встретил. Тогда она сбежала с его лица. Он повернулся, ища взглядом Пилата. Но того уже не было на Лифостротоне.

Ешуа попытался улыбнуться Крысобою, но и Крысобой не ответил. Был серьезен так же, как и все кругом.

Ешуа глянул с Лифостротона вниз, увидел, что шумящая толпа отлила от Лифостротона, а на ее место прискакал конный сирийский отряд, и Ешуа услышал, как каркнула чья-то картавая команда.

Тут Ешуа стал беспокоен. Тревожно покосился на солнце. Оно опалило ему глаза, он закрыл их и почувствовал, что его подталкивают в спину, чтобы он шел.

Он заискивающе улыбнулся какому-то лицу. Это лицо осталось серьезным, и Ешуа двинулся с Лифостротона.

И был полдень».

В этой концовке главы — единственный раз — мир показан глазами Иешуа, дан в восприятии Иешуа. В дальнейшем этого не будет. В законченном романе мы видим Иешуа Га-Ноцри — видим его так, как его видят Пилат, секретарь, стража. — только извне, никогда не про-

никая в его внутренний мир. И о том, как он искал ответного взгляда других, узнаем тоже «извне» — из уст Афрания:

«—...Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда.

— В чем странность?

— Он все время пытался заглянуть в глаза, то одному, то другому из окружающих и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой».

И никоим образом мы не узнаем из романа, что **видел и слышал** Иешуа.

Дистанция.

И недоступность.

Не менее интересна и другая сохранившаяся в третьей редакции романа «евангельская» глава — «На Лысой Горе».

В четвертой редакции к заглавию прибавится подзаголовок: «Казнь». В последней редакции название «Казнь» станет окончательным.

При беглом чтении третьей редакции романа глава «На Лысой Горе» кажется не столь уж отличной от вошедшей в роман:

«Настал самый мучительный час шестой. Солнце уже опускалось, но косыми лучами все еще жгло Лысую Гору под Ершалаимом, и до разбросанных камней нельзя было дотронуться голой рукой.

Солдаты, сняв раскаленные шлемы, прятались под плащами, развешанными на концах копий, то и дело припадали к ведрам и пили воду, подкисленную уксусом.

Солдаты томились и, тихо ворча, проклинали ершалаимский зной и трех разбойников, которые не хотели умирать.

Один лишь командир дежурящей и посланной в оцепление кентурии Марк Крысобой, кентурион-великан, боролся со зноем мужественно. Под шлем он подложил длинное полотенце, смоченное водой, и методически, пугая зеленохвостых ящериц, которые одни ликовали по поводу зноя, ходил от креста к кресту, проверяя казнимых.

Холм был оцеплен тройным оцеплением. Вторая цепь опоясывала безлесую гору пониже и была реже первой, а у подножия горы, там, где начинался пологий подъем на нее, находился спешенный сирийский эскадрон...»

Позже Булгаков, ища замену слишком современному и очень уж французскому слову «эскадрон», найдет и выпишет сначала: «Турмы всадников», потом еще более понравившееся ему: «Алы (alae — конные полки во вспомогательных войсках)».

Музыкально озвученное: «сирийская ала», соединившись с точностью описания, даст ощущение достоверности: «...ала обогнала вторую когорту Молниеносного легиона и первая подошла, покрыв еще один километр, к подножию Лысой Горы. Здесь она спешилась» («Казнь»).

Но место действия останется то же: оцепленный войсками, сжигаемый солнцем холм. Останутся многие детали — вплоть до двух собак, неизвестно как забредших на этот холм.

В третьей редакции, в главе «На Лысой Горе»: «Меж сирийской цепью и цепью спешенных легионеров находились только какой-то мальчишка, оставивший своего осла на дороге близ холма, неизвестная старуха с пустым мешком, которая, как она бестолково пыталась объяснить сирийцам, желала получить какие-то и чьи-то вещи, и двух собак, одной лохматой, желтой, другой гладкой, запаршивевшей» (несогласованность падежей в тексте принадлежит автору).

В окончательной редакции, в главе «Казнь», короче: «За цепью двух римских кентурий оказались только две неизвестно кому принадлежащие и зачем-то попавшие на холм собаки. Но и их сморила жара, и они легли, высунув языки, тяжело дыша и не обращая никакого внимания на зеленоспинных ящериц...»

Даже тощее, совершенно не отбрасывающее тени деревцо, под которым находится Левий Матвей, тоже пройдет из редакции в редакцию. В третьей — это смоковница, в законченном романе — «больное фиговое деревцо». Но ведь это одно и то же? Смоковница и есть фиговое дерево.

Почти те же детали... Но точно ли те же?

Булгаков не правит — Булгаков **переписывает** текст. Не вычеркивает старуху с мешком и мальчишку — пишет заново страницы, в которых этих более не нужных ему персонажей нет. Переписывает снова. Еще раз снова. Для него очень важна мелодия изложения: по музыкальности проза «Мастера и Маргариты» на уровне самой высокой поэзии. Переписывая, каждую реальную подробность снова и снова «прощупывает», поворачивает, ища то единственное, что нужно ему.

Где должна быть помещена позорная надпись о казнимых?

У евангелиста Луки так: «И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: Сей есть царь иудейский». У евангелиста Иоанна: «...написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, царь иудейский... и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски».

Нет. Не «над ним», не «на кресте». Не так, как утверждает традиция. Может быть, отдельно?

В главе «На Лысой Горе»: «...и устанавливали громадный щит с надписью на...»

На каком языке была сделана надпись? Следовать за евангелистами? Или решать вопрос иначе? Булгаков откладывает решение: в главе «На Лысой Горе» слово просто пропущено — в строке пробел...

Но самый текст надписи, зафиксированный в Евангелии, уже отвергнут. Не «царь иудейский», а грубо: «Разбойники»: «...с надписью на (пробел) языке: «Разбойники».

Впоследствии и надпись будет уточнена. В законченном романе читаем: «...между этими цепями, под конвоем тайной стражи, ехали в повозке трое осужденных с белыми досками на шее, на каждой из которых было написано «Разбойник и мятежник» на двух языках — арамейском и греческом».

В главе «На Лысой Горе» орудие казни называется «крест» и осужденных к кресту «пригвождают»: «Если в первые часы у подножия холма еще была кучка зевак, глядевших, как на горе поднимали кресты с тремя пригвожденными...»

О пригвождении, о том, как это делалось в Древнем Риме, достаточно внятно рассказано в книге английского богослова Ф. В. Фаррара «Жизнь Иисуса Христа» — одной из тех книг, к которым Булгаков обращался как к справочникам. Но в 1936 году он, большой любитель старых изданий, случайно приобретает связку годовых комплектов журнала «Труды Киевской духовной академии» (в этой академии некогда служил и в этом журнале печатался его отец) и в комплекте за 1891 год обнаруживает печатавшееся с продолжением из номера в номер сочинение профессора академии Н. К. Маккавейского «Археология истории страданий господа Иисуса Христа». Это было добросовестное сочинение (Н. К. Маккавейский посетил Палестину) и, что было Булгакову особенно интересно, в ряде мест полемизирующее с книгой Фаррара. Так вот, Маккавейский утверждал, и тоже со ссылками на исторические источники, что казнимых на кресте пригвождали не всегда, но всегда непременно привязывали веревками, притом привязывали не на земле, а к уже стоящим крестам.

В законченном романе, в главе «Казнь» пригвождения не будет. «Первый из палачей поднял копье и постучал им сперва по одной, потом по другой руке Иешуа, вытянутым и привязанным веревками к поперечной перекладине столба». «Дисмас напрягся, но шевельнуться не смог, руки его в трех местах на перекладине держали веревочные кольца». Левий «припал к ногам Иешуа. Он перерезал веревки на голенях, поднялся на нижнюю перекладину, обнял Иешуа и освободил руки от верхних связей. Голое влажное тело Иешуа обрушилось на Левия и повалило его наземь».

(В июне — июле 1973 года, когда в ОР ГБЛ я получила список сохранившихся книг библиотеки Булгакова, «Труды Киевской духовной академии» №№ 1—5 и 7—12 за 1891 год и №№ 1—12 за 1907-й значились в этом списке под общим номером 50. Упоминались они затем среди «уцелевшей части книг» булгаковской библиотеки и в статье М. О. Чудаковой «Условие существования».— «В мире книг», 1974, № 12, с. 80. В конце 80-х годов в описях ОР ГБЛ эти журналы, возможно, имевшие пометы Михаила Булгакова, уже не значились, и где они находятся неизвестно.)

Булгаков упорно преодолевает евангельскую легенду. В его романе нет одиннадцати апостолов и женщин, скорбно застывших вдали во время казни (по Матфею, Марку, Луке) или плачущих у подножия креста (по Иоанну). Есть один-единственный, в отчаянии проклинающий Бога, Левий Матвей. Нет толпы, насмехающейся и кричащей: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». У Булгакова: «Солнце сожгло толпу и погнало ее обратно в Ершалаим». Нет несения креста — столбы с перекладинами везут на повозках...

В «евангельских» главах законченного романа нет освященного религией слова «крест». Нет слов «распятый», «распятие». Просто — «свежеотесанные столбы с перекладинами» и «повешение на столбах». Так, как это, вероятно, было **тогда** — для казнивших, казнимых, зрителей. (Может быть, поэтому убрано и ассоциирующееся с Евангелием слово «смоковница»; слово — убрано, а дерево — осталось.)

Писатель снимает — «сдирает» — привычную оболочку с великой легенды, делая ее ощутимо достоверной. И здесь — от начала работы над романом, от уцелевших первых тетрадей 1929 года — через главу «На Лысой Горе» — можно проследить, как идет «заземление» евангельского предания, движение к беззащитно человеческому, к бессмертно человеческому в нем, художественное превращение героя из богочеловека в человека...

В самых ранних сохранившихся страницах романа (1929) на Иешуа Га-Ноцри лежит отблеск чуда; самая смерть его представляется как смерть более чем человека: «Кровь из прободенного бока вдруг перестала течь. Сознание в нем быстро стало угасать. Черная туча начала застилать мозг. Черная туча начала застилать и окрестности Ершалаима».

В самых ранних сохранившихся страницах Иешуа был Учитель. Он мог требовать и обещать. У него было право требовать и обещать:

«...С правого креста послышалось:

— Эй, товарищ! А. Иешуа! Послушай! Ты человек большой. За что ж такая несправедливость? Э? Ты бандит, и я бандит... Упроси центуриона, чтоб и мне хоть голени-то перебили... И мне сладко умереть... Эх, не услышит... Помер!..

Но Иешуа еще не умер. Он развел веки, голову повернул в сторону просящего.

— Скорее проси,— хрипло сказал он.— и за другого, а иначе не сделаю...

Проситель метнулся, сколько позволяли гвозди, и вскричал:

— Да! Да! И его! Не забудь!

Тут Иешуа совсем разлепил глаза, и правый бандит увидел в них свет.

— Обещаю, что прискачет сейчас. Потерпи, сейчас оба пойдете за мною,— молвил Иисус...»

И распятый справа еще видит, как скачет из Ершалаима второй гонец, по-видимому, неся и ему желанную смерть...

Это — редакция 1929 года («Центурион» — не опечатка; «кентурия», «кентурион» Булгаков стал писать позже).

В третьей редакции («На Лысой Горе») Иешуа — человек. Здесь он уже не требует, ибо ничего не может обещать. И все-таки нечто традиционно-евангельское имеется: поучающая, учительствующая интонация:

«Тут же висящий рядом беспокойно дернул головой и прокричал:

— Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он! Убей и меня!

Кентурион отозвался сурово:

— Молчи на кресте!

И висящий испуганно смолк.

Ешуа повернул голову в сторону висящего рядом и спросил:

— Почему просишь за себя одного?

Распятый откликнулся тревожно:

— Ему все равно. Он в забытьи!

Ешуа сказал:

— Попроси и за товарища!»

И кентурион, уже не дожидаясь второго гонца, а только косясь на грозовую тучу, колет второго и третьего.

В завершенном романе реплика Дисмаса сохранится: «Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он». Но поучающей интонации у Иешуа не будет. Только сострадание: «Иешуа оторвался от губки и, стараясь, чтобы голос его звучал ласково и убедительно, и не добившись этого, хрипло попросил палача:

— Дай попить ему».

Иешуа никого не поучает. И палача просит не о смерти для товарища (жестокое милосердие смерти — прерогатива Пилата), а о простом, человеческом: «Дай попить ему»...

Булгакова очень волновало последнее слово его героя. Что говорит Иешуа Га-Ноцри, умирая на кресте? Каким должно быть его прощальное слово?

В Евангелии от Матфея: «...около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или́, или́! лама́ савахфани? То есть: Боже мой, Боже мой! для чего ты меня оставил?» Похожая фраза в Евангелии от Марка. У Иоанна короче, одно слово: «сказал: совершилось».

Обращение к Богу писатель отверг; длинной фразе предпочел «одно слово». Но в 1934—1935 годах, в пору работы над третьей редакцией, все еще не уверен в этом слове. В главе «На Лысой Горе»: «...Ешуа, у которого бежала по боку узкой струей кровь, вдруг обвис, изменился в лице и произнес одно слово по-гречески, но его уже не расслышали».

В законченном романе мы расслышим последнее слово казнимого: «Игемон...»

Это — эхо, повторение последнего слова, которое слышит умирающий: «Славь великодушного игемона!»

Это — имя (титул) того, с кем последним говорил казнимый, кем был трусливо предан и напоследок одарен — не слишком затянувшей мучения смертью.

И одновременно, понимаемое читателем не сразу, обречение Пилата на бессмертие... «Да, уж ты не забудь, помяни меня, сына звездочета», — будет просить Пилат несколько часов спустя, во сне, не зная, что он уже «помянут», что он уже уходит в вечность вместе с казненным им нищим из Эн-Сарида...

Может ли быть сомнение в том, кто послал Иешуа смерть как избавление от страданий? В романе нет никаких оснований для споров по этому поводу. И тем не менее...

О. Кушлина и Ю. Смирнов в уже упоминавшейся статье «Магия слова» толкуют главу «Казнь» таким образом, что и смерть-избавление Иешуа, и гроза, на фоне которой происходит эта смерть, посланы Воландом — в ответ на богохульство и проклятия Левия Матвея.

«Просьбы и проклятия его услышаны, — пишут Кушлина и Смирнов. — Услышаны антиподом того, к кому они обращены. С запада поползла туча, края которой «уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым». В традиционной христианской космологии запад — это сторона обитания дьявола...»

Но гроза в романе предсказана еще утром — в разговоре Иешуа с Понтием Пилатом. («Гроза начнется, — арестант повернулся, прищурился на солнце, — позже, к вечеру».) Предсказана и в окончательном тексте, и во всех предшествующих, включая сохранившийся самый ранний. В ранних редакциях, когда писатель еще не рассчитал топографию действия, гроза у него шла с востока...

И напрасно Левий Матвей то молит, то проклинает Бога: ни мольбы его, ни проклятия никакого действия не имеют.

Вопрос об отношении Булгакова к Богу, о движении этого отношения — один из самых сложных вопросов личности писателя. И даже вопрос о месте Бога как действующего лица в романе «Мастер и Маргарита» еще ждет своего исследования.

Готовя роман к новой публикации в Собрании сочинений М. А. Булгакова (т. 5, М.: Худож. лит., 1991), я впервые восстановила прописную букву в слове «Бог». Точнее говоря, восстановила принадлежащее автору чередование прописной и строчной буквы в этом слове. И сразу же обозначилось четкое и сильное присутствие в романе Бога как активного действующего лица. В споре Воланда с Берлиозом в главе 1-й («...но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога?» — «Да, мы не верим в Бога, — чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз»). В мольбах и проклятиях Левия Матвея в главе 16-й («Проклинаю тебя, Бог!.. Ты бог зла... Ты черный бог. Проклинаю тебя, бог разбойников...») Какое-то отстраненное присутствие, надприсутствие, может быть, в некоторой степени сходное с тем, что мы видим в «Белой гвардии» — единственном, по-видимому, произведении Булгакова, в котором писатель изобразил Бога:

«...Как же так, говорю, господи», — передает покойный Жилин свой разговор со всевышним, — «попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им вишь какие казармы взбодрил...» — «Ну, не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут так надо понимать, что все вы у меня, Жилин, одинаковые — в поле брани убиенные».

Как бы то ни было, в романе «Мастер и Маргарита» жестокое избавление Иешуа от страданий идет не от Бога и не от Дьявола. Оно приходит от человека, и человек этот — Понтий Пилат. Так, по-видимому, было уже в замысле романа — так прошло через все редакции.

И в главе «На Лысой Горе» третьей редакции, и в главе «Казнь» завершенного романа нить фабулы примерно одна: проклятый холм... отчаявшийся Левий Матвей с его напрасно украденным ножом... надвигающаяся гроза... и некто, спешно прискакавший из Ершалаима, — надо полагать, с приказом от Понтия Пилата...

В главе «На Лысой Горе»: Левий «оглянулся в последний раз и увидел, что все изменилось вокруг. Исчезло солнце, потемнело сразу, пробежал ветер, шевельнув чахлую растительность меж камней и, как показалось Левию, **ветром гонимый римский офицер** поднялся между расступившихся солдат на вершину холма».

В главе «Казнь»: «С высоты Левию удалось хорошо рассмотреть, как солдаты суетились, выдергивая пики из земли, как набрасывали на себя плащи, как коноводы бежали к дороге рысцой, ведя в поводу вороных лошадей. Полк снимался, это было ясно. Левий, защищаясь от бьющей в лицо пыли рукой, отплевываясь, старался сообразить, что бы это значило, что кавалерия собирается уходить? Он перевел взгляд повыше и разглядел **фигурку в багряной военной хламиде**, поднимающуюся к площадке казни».

Как видите, то же действующее лицо поднимается на холм. Убрано другому времени принадлежащее слово «офицер». Кратко и точно обозначена «багряная военная хламида» прискакавшего. (Перед тем в тетради «Роман. Материалы» запись: **«Хламида... Застегивалась блестящей пряжкой на правом плече»; «Войско. Солдаты... Пурпурные плащи»**). Описание тщательно проработано автором — и затенено. Это как кинорепортаж без комментирующего голоса: все очень хорошо видно; ничего не пояснено.

Далее в главе «На Лысой Горе»: «Там наверху прискакавший был встречен Крысобоем. Прискакавший что-то шепнул Крысобою, тот удивился, сказал тихо: «Слушаю...» Солдаты вдруг ожили, зашевелились. Крысобой же двинулся к крестам...»

И снова в главе «Казнь» общие черты происходящего сохранены. Убрано подсказывающее слово «удивился». Текст проработан тщательно, стал подробней:

«Подымавшийся в гору в пятом часу страданий разбойников был командир когорты, прискакавший из Ершалаима в сопровождении ординарца. Цепь солдат по мановению Крысобоя разомкнулась, и кентурион отдал честь трибуну. Тот, отведя Крысобоя в сторону, что-то прошептал ему. Кентурион вторично отдал честь и двинулся к группе палачей, сидящих на камнях у подножий столбов».

И вот тут в главе «Казнь» возникает особенность, какой в цитированной третьей редакции не было: в действие вступает новое лицо. Отдав приказание Крысобою, трибун направляется к нему:

«Трибун же направил свои шаги к тому, кто сидел на трехногом табурете, и сидящий вежливо поднялся навстречу трибуну. И ему что-то негромко сказал трибун...»

Здесь мы прервем параллельное цитирование текстов и сосредоточимся на последней редакции романа.

«Загадка» Афрания

Итак, глава «Казнь» последней редакции романа. Отдав приказание Крысобою, трибун направляется к человеку, сидящему на трехногом табурете. Внимательный читатель вспомнит, что уже видел этого человека, — в этой же главе, при начале казни:

«Тот человек в капюшоне поместился невдалеке от столбов на трехногом табурете и сидел в благодушной неподвижности, изредка, впрочем, от скуки прутиком расковыривая песок».

И то, что описание его начинается так: «Тот человек в капюшоне...», — заставляет припомнить, что и ранее мы его видели, мельком, в главе 2-й («Понтий Пилат») — непосредственно после того, как Пилат принял требование Каифы о казни: «Пока секретарь собирал совещание, прокуратор в затененной от солнца темными шторами комнате имел свидание с каким-то человеком, лицо которого было наполовину прикрыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и не могли его беспокоить. Свидание это было чрезвычайно кратко. Прокуратор тихо сказал человеку несколько слов, после чего тот удалился, а Пилат через колоннаду прошел в сад».

Только в 25-й главе («Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа») мы рассмотрим глаза «человека в капюшоне»: «Основное, что определяло его лицо, это было, пожалуй, выражение добродушия, которое нарушали, впрочем, глаза, или, вернее, не глаза, а манера пришедшего глядеть на собеседника. Обычно маленькие глаза свои пришелец держал под прикрытыми, немного стран-

новатыми, как будто припухшими, веками. Тогда в щелочках этих глаз светилось незлобное лукавство. Надо полагать, что гость прокуратора был склонен к юмору. Но по временам, совершенно изгоняя поблескивающий этот юмор из щелочек, теперешний гость прокуратора широко открывал веки и взглядывал на своего собеседника внезапно и в упор, как будто с целью быстро разглядеть какое-то незаметное пятнышко на носу у собеседника. Это продолжалось одно мгновение, после чего веки опять опускались...»

Там же, в 25-й главе, мы узнаем, что он начальник тайной службы при прокураторе и что его зовут Афраний. И может быть, вернемся мысленно к главе 2-й: а какие же собственно утаенные от нас распоряжения отдал Пилат «человеку в капюшоне» перед казнью? Всего лишь о соблюдении каких-то важных для начальника тайной службы правил? Или, может быть, намекнул, чтобы не применяли лишней жестокости — помимо, так сказать, предусмотренной протоколом, и не забыли, скажем, о питье для осужденных?

«А скажите... напиток им давали перед повешением на столбы?» — спросит он Афрания после казни. (Речь здесь идет не о воде — тем более не о последнем глотке воды, а о напитке, который в Евангелии от Матфея назван «уксусом, смешанным с желчью», а у Марка — «вином со смирною». Н. К. Маккавейский, обратившийся к греческому тексту Евангелия, поясняет, что подразумевается не уксус, а кислое вино, и не желчь, а сок миррового дерева. «Таким образом, — пишет Н. К. Маккавейский, — весь напиток, предложенный Господу Иисусу Христу, представлял собою... кислое вино, смешанное со смирною и, может быть, другими горькими веществами. Действие, производимое им, было притупление или как бы усыпление нервной системы и происходившее вследствие этого ослабление чувствительности. Такое питье способно было хотя отчасти уменьшить ужасные мучения на кресте». Подобную трактовку дает и Ф. В. Фаррар: «...давался глоток вина, приправленного сильным усыпляющим средством. Это одуряющее питье обыкновенно заготовляли богатые дамы Иерусалима на собственный счет и давали его всякому преступнику, независимо от личных симпатий».)

В главе «Казнь» «человек в капюшоне» проявляет себя только дважды. Именно по его распоряжению палач, прежде чем убить распятого, поит его водой («Повинуясь жестам человека в капюшоне, один из палачей взял копье, а другой принес к столбу ведро и губку»). И он же удостоверяет смерть: «Остановившись у первого столба, человек в капюшоне внимательно оглядел окровавленного Иешуа, тронул белой рукой ступню и сказал спутникам:

— Мертв.»

«Вы сами установили, что смерть пришла?» — спросит Пилат после казни. «Прокуратор может быть уверен в этом», — ответит Афраний.

Афраний — доверенное лицо Пилата, единственный, кому дозволено знать — угадывать — мысли Пилата. В определенных пределах, разумеется. Через Афрания Пилат вершит свою последнюю милость по отношению к Иешуа, и находящийся с начала казни на площадке у крестов Афраний, конечно, ожидает посыльного из Ершалаима. Вряд ли прискакавший трибун привозит приказ дать осужденным предсмертный глоток воды. Пилат осторожен. Но Афраний — отменный служащий, знающий и угадывающий все, что ему положено знать и угадывать. И ни капли более.

В романе есть место, когда Афраний намеренно неточно отвечает на вопрос, испытывая, прощупывая, насколько можно считать Пилата доверившимся ему. «А скажите... напиток им давали перед повешением на столбы?» — спрашивает Пилат. «Да. Но он, — тут гость закрыл глаза, — отказался его выпить».

Пилат кратко одергивает своего собеседника, напоминая правила игры, подчеркивая меру — рубеж — доверия: «Кто именно? — спросил Пилат». — «Простите, игемон! — воскликнул гость. — Я не назвал? Га-Ноцри».

Афранию же Пилат поручает убийство Иуды. Поручение оплачено щедро. Кожаный мешок — как задаток и на расходы. («Тут Пилат обернулся, поднял плащ, лежащий на кресле сзади него, вынул из-под него кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая его, и спрятал под плащ».) И перстень — как награда за сделанное. («...а вас, Афраний, — тут прокуратор вынул из кармана пояса, лежащего на столе, перстень и подал его начальнику тайной службы, — прошу принять это на память». — Афраний поклонился, молвил: «Большая честь, прокуратор»).

На этом персонаже я останавливаюсь так подробно, потому что, важный для автора и стихийно совершенно ясный читателю, он неожиданно оказался загадкой для исследователей и вызвал весьма противоречивые толкования.

Приведу два.

Н. П. Утехин[1] считает, что профессионал тайной службы Афраний, опытный провокатор и холодный организатор убийств, — не кто иной как тайный христианин, один из «просветленных бродячим пророком и философом» Иешуа. Аргумент: зачем бы ему в противном случае «с такой охотой» выполнять приказание игемона об убийстве Иуды? Н. П. Утехин даже высказывает мысль, что Афраний мог бы предать Пилата Каифе (!), если бы не был тайным христианином... Такое вот своеобразное представление о взаимоотношениях между начальниками и подчиненными в римских оккупационных войсках.

[1] См.: Утехин Н. П. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова.— «Русская литература», 1979, № 4, с. 104.

Противоположное и тоже неожиданное мнение высказано Б. М. Гаспаровым[2]: Афраний — Воланд!

Один из аргументов Б. М. Гаспарова: Воланд, как он сам изволит признаться, находился в Ершалаиме инкогнито: «Дело в том... — тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, — что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать...» А так как и в Москве, по раскладке Б. М. Гаспарова, Воланд находится инкогнито, под видом профессора черной магии, то, следовательно, остается лишь найти его аналогичное инкогнито в «древних» сценах, опознать его среди персонажей «древних» сцен. И самым подходящим на эту роль у Б. М. Гаспарова оказывается Афраний.

Но, во-первых, «инкогнито» Воланда в московских сценах весьма относительно. Он то предъявляет документ, в котором значится его подлинное имя — Воланд, то протягивает портсигар с монограммой, представляющей первую букву другого его не менее подлинного имени, — Дьявол. Не говоря уже о прочих атрибутах, вроде головы пуделя на трости. И когда он говорит о себе: «Я — специалист по черной магии», и далее: «Я единственный в мире специалист», — то ведь и это недалеко от истины.

Как еще он должен был представиться Ивану и Берлиозу? Сказать: я — сатана? Но мастер говорит Ивану: «Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной». — «Не может этого быть! — отвечает Иван. — Его не существует».

У Афрания никаких таких знаков, инициалов или атрибутов, и даже намека на них нет.

Во-вторых, Афраний не присутствует в тех точках древних событий, о которых говорит Воланд. На балконе, как это помечено в главе второй, кроме Иешуа и Пилата находятся только секретарь и конвой. Правда, можно представить, что Афраний тоже где-то здесь, не названный. Но далее Пилат изгоняет с балкона всех:

«— На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! — сорванный и больной голос Пилата разросся.

Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой.

— И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! — Тут Пилат вскричал: — Вывести конвой с балкона! — И, повернувшись к секретарю, добавил: — Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело».

Места для Афрания явно не остается. Нет для него места и в саду, при разговоре прокуратора с Каифой:

[2] См.: Гаспаров Б. М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».— «Даугава», 1989, № 1, с. 78 (Работа датирована 1975—1977 гг.)

«Пилат мертвыми глазами поглядел на первосвященника и, оскалившись, изобразил улыбку.

— Что ты, первосвященник! Кто же может услышать нас сейчас здесь? Разве я похож на юного бродячего юродивого, которого сегодня казнят? Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что говорю и где говорю. Оцеплен сад, оцеплен дворец, так что мышь не проникнет ни в какую щель! Да не только мышь, не проникнет даже этот, как его... из города Кириафа».

Нет места скрытно держащемуся Афранию («человек в капюшоне»!) и на помосте, где над огромной толпою, залившей площадь, объявляется приговор...

Но главное, мощный Воланд — в роли офицера тайной службы? «Помилосердствуйте, — сказал бы Воланд. — Мне это даже как-то не к лицу!»

Не будем приписывать Афранию смысл и черты, не свойственные ему. Он великолепно написан в своей собственной сущности. Отмечу, что типаж, аналогичный Афранию, неоднократно появляется в сочинениях Михаила Булгакова и параллельно роману «Мастер и Маргарита», и раньше, чем сложился роман.

Так, в повести «Роковые яйца» черты Афрания явно просматриваются в трех «гостях с Лубянки», которых у себя в кабинете принимает профессор Персиков.

«Один из них, **приятный, круглый** и очень **вежливый**, был в скромном, защитном **военном** френче и рейтузах...» Сравните с эпитетами в портрете Афрания: «Явившийся к Пилату человек был средних лет, с очень **приятным округлым** и опрятным лицом...»; «...и выразив на своем бритом лице **вежливую улыбку**...»; в другом месте: «сидящий **вежливо** поднялся навстречу трибуну»; переодевшись после грозы, он выходит «в сухом багряном **военном** плаще».

Другой из пришедших к Персикову, предпочитающий подобно Афранию «уходить в тень», остается в полутемной передней («при этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден»), глаза его укрыты за дымчатыми стеклами, но: «Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновенье, сверкнули вовсе не сонные, а наоборот, изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли». Тот же «мгновенный» взгляд Афрания...

Пренаивнейший Персиков, обращаясь к этим трем, говорит: «А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли?» — с тем же детским простодушием, с каким юродивый в пушкинском «Борисе Годунове» просил царя: «Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича». (Удивительно, что никто из многочисленных комментаторов повести не заметил этой бьющей наповал фразы).

Сотрудник тайной службы как единственное лицо, через которое Пилат мог бы совершить убийство Иуды, его образ

был задуман Булгаковым давно, может быть, еще при рождении замысла. В сохранившихся черновиках первой редакции его зовут Толмай, он вызывает у Пилата брезгливое отвращение, но и у него отмечены «приятный голос», «чистые белые небольшие руки» и «военный плащ с капюшоном, надвинутым на лицо».

По-настоящему объемная фигура Афрания складывается только в четвертой и пятой редакциях романа, в 1937—1938 годах. Во всяком случае, происходит это после того, как Булгаковым написана пьеса «Александр Пушкин» (1934—1935).

В этой пьесе, в картине «Третье отделение», Николай I вместе с Бенкендорфом появляется в кабинете Дубельта и с картинным сожалением говорит о Пушкине: «Он дурно кончит. Я говорю тебе, Александр Христофорович, он дурно кончит. Теперь я это вижу». А далее роняет фразу: «И умрет он не по-христиански...»

И через несколько минут Бенкендорф, уже в отсутствие царя, как бы дает деловое распоряжение: «Извольте послать на место дуэли с тем, чтобы взяли их с пистолетами и под суд». А далее роняет фразу: «Примите меры, Леонтий Васильевич, чтобы люди не ошиблись, а то поедут не туда...»

И уже оставшись один, Дубельт под гипнотизирующую его музыку пушкинского стиха повторяет про себя главное, услышанное им: «Буря мглою небо кроет... вихри снежные крутя... Не туда! Тебе хорошо говорить... Буря мглою небо кроет... Не туда...» И вызывает жандармского ротмистра, чтобы начать «принимать меры»...

«Вот поэтому, — говорит Понтий Пилат, — я прошу вас заняться этим делом, то есть принять все меры к охране Иуды из Кирнафа».

«Слушаю, — покорно отозвался гость, поднялся, выпрямился и вдруг спросил сурово: — Так зарежут, игемон?

— Да, — ответил Пилат...»

Пилат — через Афрания — дважды совершает то, что не удалось Левию Матвею, — лишить жизни, избавив от страданий, Иешуа Га-Ноцри и убить Иуду из Кириафа.

Но, может быть, именно поэтому Левий Матвей, чернобородый, мрачный, выпачканный в глине Левий, помышлявший о двух убийствах, но не совершивший ни одного, находит свое место рядом с Иешуа Га-Ноцри, а Пилат две тысячи лет ждет прощения и встречи...

Харьков.

Отклик

ЧИТАЯ КНИГУ А. СТАРКОВА «МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. СУДЬБА ХУДОЖНИКА» («Советский писатель», 1990), понимаешь главное: Зощенко остро чувствовал экзистенциальное, спрятанное в повседневном, но конфликт между экзистенциальным и социальным в человеке решался писателем как конфликт между уровнями социальной иерархии. Людям всегда неуютно жилось в российской действительности. Однако спасения искали в преследовании таких же неуютно существующих, искали врага, мешающего благоденствию, раю на земле. Самый слабый и уязвимый становился самым гонимым. На самой нижней ступеньке социальной лестницы и стоит этот пресловутый «мещанин», над которым шутили, зубоскалили или плакали российские писатели, и всегда считали «маленьким» человеком, то бишь, опять вводя сравнительные величины. А человек и есть человек. Он рожден и потому смертен. Трагедия Зощенко и состояла в том, что, чувствуя единую человеческую природу, он хотел найти универсальный способ исправления ее, пестования в человеке человеческого. Но «обывателю» приходится решать иные вопросы: что поесть, как бы одеться. Потому и неистребим «мещанин», жизнерадостен, живуч — ему некогда впадать в уныние, бытие наполнено маленькими радостями — купил колбасы и счастлив без меры. Люди не испорченны по природе, они голодные и раздетые, им потому не до «высоких проблем». Не надо их переделывать. Накормите и обогрейте... На такие размышления наводит книга А. Старкова.

Автор сразу предупреждает: не надо удивляться многочисленным цитатам. Это не исследование, а свод материалов. Здесь и сила, и слабость — А. Старков связан документами, последовательностью событий, часто не в состоянии увидеть происходящее со стороны. И еще: если перед нами свод документов, то он должен быть как можно более полным и точным. К сожалению, опираясь на работы советских исследователей, А. Старков не называет ни одной работы западных ученых. Не обошлось и без недоразумений. Альманах «Серапионовы братья» вряд ли можно назвать «первым» и «единственным», ибо состав «берлинского» издания альманаха отличался от «петроградского». В. Шкловский не ездил с писательской бригадой по Беломорканалу, он был на строительстве за год до того, с целью спасти брата-заключенного, по той же причине участвовал в знаменитой книге. Говоря об «атмосфере» повышенной подозрительности», автор поминает киносценарий Олеши «Ошибка инженера Кочина». Приписывать это сочинение одному человеку несправедливо. Во-первых, сценарий сочинен совместно с режиссером А. Мачеретом и, во-вторых, является экранизацией пьесы бр. Тур и Л. Шейнина.

Но это всего лишь досадные мелочи в целом нужной сегодня книги.

Е. ПЕРЕМЫШЛЕВ

Первые книги о Гроссмане

•

А. Бочаров. Василий Гроссман. Жизнь, творчество, судьба. М., Советский писатель, 1990. **С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. А. Берзер. Прощание.** М., Книга. 1990.

•

Шестидесятивагонный эшелон — подвижный тюремный город. Эшелоны двадцатых годов перед ним — седой каменный век, робкие зачатки лагерной культуры. «...Выкристаллизовывалась экономика эшелона — прибавочный продукт, бытовое блаженство конвойных офицеров в вагоне-штабе, приварок с арестантского и собачьего котла, командировочные деньги, начисляемые пропорционально шестидесятидневному движению эшелона и восточно-сибирским лагерям, внутривагонный товарооборот, жестокое первоначальное вагонное накопление, параллельная ему пауперизация. Да, все течет, все изменяется, нельзя дважды вступить в один и тот же эшелон». Для этапируемого населения эшелона его движение — «погружение в лагерную бездну».

Одна подробность цепко привлекает внимание, время ее возникновения четко фиксируется — «недавно, уже после Великой Отечественной войны, были устроены под днищем хвостовых вагонов стальные гребенки. Если заключенный в пути разберет пол и бросится плашмя меж рельсов, гребенка ухватит его, рванет, швырнет под колесо — не вам, не нам; для тех, кто, проломав потолок, лезет на крышу вагона, установлены кинжальные прожектора — они пронзают тьму от паровоза до хвостового вагона, а пулемет, глядящий вдоль эшелона, ежели по крышам побежит человек, знает свое дело».

Шансов для свободного рывка не остается. Подробность прочитывается как метафора. Носитель свободы неминуемо и неумолимо отлавливается, через дно или через крышу рванет он на волю.

Анатолий Бочаров, первым и целокупно исследовавший судьбу и творчество Василия Гроссмана сразу вслед за публикацией, после долгих лет ареста и замалчивания главных книг писателя: романа «Жизнь и судьба» и повести «Все течет», — пишет, что Гроссман «развенчивал структуру тоталитарных режимов». Это образ точный и емкий. Духовный и художественный демонтаж тоталитарной структуры, предпринятый писателем — независимо и в одиночку, — эта коллизия является в книге Бочарова центральной, и критик обнаруживает, как много в этой коллизии граней и сколь сложен совокупный свет, таящийся в них, еще только шлифуемых.

«И, может быть, главная заслуга автора «Жизни и судьбы» заключалась не столько в том, что он с такой точностью и художественной выразительностью обозначил болевые точки, сколько в том, что он сделал первую значительную попытку увидеть л и н и и, которые вели к этим точкам. Уже тогда Гроссман открыто заговорил, что нужно видеть за «сталинским отпечатком» те реальные предпосылки, благодаря которым смог воцариться тоталитарный режим». Бочарова больше интересует процесс, чем явление. Его исследовательскую энергию притягивают моменты преображения, когда в знакомых чертах возникает новый смысл, а потом этот смысл удерживается, закрепляется, застывает как бы, уже преобразуя черты, пока устоявшийся лик снова не дрогнет, подчиняясь новой изменчивости. Ему важно чудо рождения протеста: «Есть право большее, чем право посылать, не задумываясь, на смерть, право задумываться, посылая на смерть», — цитирует Бочаров «Жизнь и судьбу», тот эпизод романа, когда Гроссман пишет о дерзновенном решении полковника Новикова на восемь минут отсрочить исполнение сталинского приказа о вводе в бой танкового корпуса с тем, чтобы подавить уцелевшие огневые точки и избежать лишних потерь.

«Право задумываться, посылая на смерть» в противовес «праву не задумываясь, посылать на смерть» — это первая прикидка, первый поворот ключа, совершаемого пробуждающимся антитоталитаристским сознанием. Ответственность за безвестную и безликую массу людей, столь же острая, как ответственность за родную судьбу и душу — благой, весомый знак этого пробуждения. В поэтике Гроссмана — идет ли речь об историко-революционных сюжетах, фронтовых, лагерных, о всеобщем голоде или о научных изысканиях в области больших чисел и элементарных частиц (по образованию Гроссман химик) — Бочаров различает раньше всего водоворот людского потока. Художественное пространство Гроссмана многолюдно и многоглаво. Тоталитаризм осуществляет себя в этом пространстве. Он рожден этой ожившей, пришедшей в движение многоликостью, и в этом ее драма, на постижение которой Гроссман положил жизнь.

Монографическое исследование А. Бочарова развертывается в планах, как бы сталкивающихся. Традиционный, последовательно хронологический принцип изложения творческой биографии писателя с лежащим в основе его сюжетом развития от прошлого к будущему просечен повсеместно и неукоснительно вторжениями будущего в прошлое, отпечатками настоящего и предстоящего в уже ушедшем. Автор благополучной и поощряемой производственной и историко-революционной темы, каким может видеться предвоен-

ный Гроссман, совсем не вдруг и не случайно превращается у А. Бочарова в писателя, который открыл, что Сталинград — это «победа государства над народом», и первым после «Котлована» сказал об ужасах коллективизации. Гроссман предстает у Бочарова художником, ориентированным на катаклизмы. Его развитие — это очищение того сейсмического чувства, которое заложено было в нем отроду и с которым он был явлен в искусство. Два сугубо личных потрясения — читаем в книге Бочарова — открыли Гроссману самого себя и сделали его автором романа «Жизнь и судьба» и повести «Все течет». Это Сталинград и гибель матери в Бердичеве. К пониманию коллективизации Гроссман пришел через Треблинский ад. Матери посвящен роман «Жизнь и судьба». Шестидесятивагонный эшелон, которым доставляли в Треблинку евреев,— это документальный факт, установленный Гроссманом в 1943 году при расследовании реального фашистского преступления. Шестидесятивагонный эшелон, который сбрасывает заключенных в лагерную бездну Восточной Сибири,— это художественный образ, ключевой для повести «Все течет» с ее панорамным анализом времени. «Нельзя дважды вступить в один и тот же эшелон», но эшелон как образ массового движения к гибельной пропасти остается в художественном воображении писателя.

Художественный образ является для Бочарова фактом документальным. То, что обрело у художника пластику, тому суждено обрести в реальности голос. Не случайно, к примеру, обращает Бочаров внимание на мрачную яркость шахтерских сцен у раннего Гроссмана. И не случаен — дважды замечает Бочаров — вопрос Горького к Гроссману, когда Горький прочитал первый вариант шахтерской повести «Глюкауф»: «И материал и автор выиграли бы, если б автор поставил перед собою вопрос: зачем он пишет? Какую правду утверждает? Торжество какой правды хочет?» А критик В. Гоффеншефер обескураженно писал по поводу Гроссмана: «Может, пожалуй, оказаться, что социализм создается только глубоко несчастными людьми,— утомленными, больными, не знающими, что такое отдых, семья, человеческая ласка». Пройдут десятилетия, и то, что не было принято у Гроссмана его старшими современниками и ровесниками, будет понято и принято его младшим собратом — в 1967 году Виталий Семин скажет о Гроссмане: «Он был историком шахтеров, философом металлургов». А еще не прочитаны тогдашним Семиным ни «Жизнь и судьба», ни «Все течет»... Но они уже написаны, уже таятся, не в голове, не в воображении Гроссмана, а — папками рукописей — в «захоронках» по чьим-то подвалам и чердакам, в дебрях коммунальных квартир.

Бочаров ищет способ исследования, ненавязчивого, неразрушительного для исследуемого предмета. Он остерегается смять трепет поэзии в искусстве Гроссмана в такой же мере, как смыть след судьбы в его биографии. Поэтому так осторожно именует он свои главы: «Пунктир биографии I», «Пунктир биографии II», «Пунктир биографии III». Он привержен документу и чувствует себя свободнее всего, когда может им оперировать. В аннотации сказано, что «автор использует в книге малоизвестные документы и сохранившиеся архивные материалы», но, заметим, использует, чтобы доказательно обозначить поэтический образ судьбы Василия Гроссмана. Сквозные образы самого Гроссмана потому и становятся для него документом, что они для него фундаментальны как первоначальное свидетельство художественной природы писателя. Поэтику Гроссмана Бочаров называет народоцентристской. Но вот, казалось бы, сугубо биографическая подробность, частность, не случайная, однако, для Гроссмана: именно Гроссман был председателем комиссий по литературному наследию Андрея Платонова и Артема Веселого — великие для нашей литературы имена, в те годы задвинутые на дальний план. Это его поэтические единомышленники, это свободное определение кровного родства.

В конечном счете судьба писателя оказывается исходным документом в исследовании его творчества. Независимый выбор в пору успеха и официального признания и в пору, когда выбора, казалось, нет, и можно лишь пластаться под обстоятельствами,— этот духовный опыт определяет коллизии творчества. Но и творчество подводит к этому опыту. Выйдя из глубин личности, творчество формирует натуру писателя, увлекая его в новые сферы познания. «Позднее,— пишет Бочаров,— это опять-таки станет у него более общей проблемой: сверхнасилие тоталитаризма и пределы деформации личности, растлевающее бесчеловечие и человечность, сжимающаяся, подобно пружине, под страшным нажимом, но распрямляющаяся в конце концов»...

По существу, первые книги о Гроссмане — это книги однополчан, свидетельства, выхваченные из горнила его судьбы. В каком бы жанре они ни были написаны: воспоминания близкого друга, как у С. Липкина, монографического исследования, как у Бочарова, или, как у А. Берзер,— срез кровавой эпохи, увиденный сквозь судьбу Гроссмана,— всякий раз это опыт и своей судьбы, в какой-то мере опыт самопознания и даже исповеди. Это книги без дистанций, книги глубоко личные, сокровенные книги.

Конечно, о Гроссмане еще будет написано много и многое будет открыто в нем, но эти первые книги останутся источником первичного о нем знания, останутся таким же подлинным первородным документом его жизни, каким является автограф. Фронтовой опыт и послевоенная немирная жизнь, увиденная глазами оставшегося в живых фронтовика, ясно про-

читываются в книге А. Бочарова, хотя на эти свои годы у исследователя нет даже косвенных ссылок. Костоломные идеологические бои послевоенного лихолетья в книге А. Берзер, редактора и друга Гроссмана, прокомментированы в скупых свидетельских сносках, которые тонкой, хочется сказать, изящной рамкой окантовывают это пиршество зла.

Фермент личного свидетельства позволяет услышать поступь истории. Догадки поверяются сопричастностью. Волей судьбы А. Берзер оказалась первым журналистом, кто в свое время — это был 1945 год, 22 января, война еще не кончилась,— дала информацию в «Литературную газету» о создании «Черной книги». В заметке, написанной под диктовку Гроссмана, сообщалось, что возглавляемый Альбертом Эйнштейном Комитет писателей, ученых и общественных деятелей Америки предлагает издать книгу «о фашистских зверствах над мирным населением оккупированных немцами стран и районов СССР, где поголовно было истреблено все еврейское население». Пройдет немногим более трех месяцев, и молодой сотрудник «Литературной газеты» примет участие в создании номера, посвященного Дню Победы. В этот праздничный первый день мира Гроссман скажет — не ликуя, не празднично,— что «пришло время нашей ответственности»: «Надо сохранить в памяти людей великое время. Мы — очевидцы и свидетели того, как черное мировое зло вырвалось на простор Европы, сокрушая, испепеляя добро, мораль и самую жизнь...»

Пройдет год, и 22 июня 1946 года, в первую мирную годовщину начала войны, Гроссман выступит со статьей «Памяти павших». Сегодня, когда этой дате исполняется полвека, следует заметить, что павших мы стали широко вспоминать лишь в последние годы, и сравнительно недавно впервые была названа цифра жертв — сначала 20 миллионов, потом тридцать... А Гроссман писал тогда, сорок пять лет назад: «...Каждый человек вплетается нитью в ткань жизни. Выдернута, порвана нить... Ткань жизни становится беднее, и как бы тонка, как бы хрупка и непрочна ни была эта нить, оборвавшись, исчезнув, она обедняет эту ткань. Новые, вплетенные в ткань жизни нити уж никогда не заменят исчезнувшую — она единственная и неповторимая в своей пышности, в скромности своей, в прочности, тонкости, хрупкости». Процитировав эти слова, А. Берзер называет их «великой гуманистической программой» и пишет дальше: «Если бы он не верил в то, что литература спасет человеческую жизнь от одичания,— разве мог бы он писать?» Эту миссию литературы Гроссман ощущал как призвание. Дежурившая у больничной койки умиравшего от рака Гроссмана, у которого роман был изъят, арестован, А. Берзер пишет: «Это была не нервно издерганная душа, а даже на пороге смерти гармонически естественная и живая. Все бесчисленные катастрофы с чистыми его книгами не исказили его личность. Они принесли ему смерть, но жизнь на нравственных ее высотах не исказили. Не было в нем и тени темной сосредоточенности на себе одном».

Эти слова «не было в нем и тени темной сосредоточенности на себе одном» являются для книги А. Берзер столь же фундаментальными, сколь и слова Гроссмана о черном мировом зле. Художническая натура Гроссмана была глубоко неиндивидуалистична. Умирая, он со слезами читал о гибели Николая Вавилова и спрашивал в предсмертном бреду: «Ночью меня водили на допрос... Скажите, я никого не предал?» «Разлитую боль чужую чувствовал как свою»,— пишет Берзер исчерпывающе и просто. Каждая фраза умирающего Гроссмана чиста, прозрачна и многозначна, как выстраданный символ. Берзер слышит и столь же скульптурно воспроизводит величие последних минут. «— Вы хотите поехать в Волгоград?» — вдруг неожиданно и четко спрашивает он». «Так в последние часы своего последнего дня он сказал — Волгоград. Именно Волгоград!» Оказывается, замечает она чуть ниже, он и Виктор Некрасов «единственные из писателей, кто не дал при переиздании книг переименовать Сталинград — в Волгоград».

В бреду: «Мне надо вставать, но у меня перебиты ноги». И в день смерти: «Кончился билет, я не смогу больше ехать».

Движущаяся платформа оставалась сквозным образом. В творчестве собственная судьба проигрывается прежде, чем в жизни. Натура ищет свои полигоны предварительно. Он описывает свою жизнь до того, как она прожита. А несовпадения во времени и пространстве — это уже частность. Энергия, заключенная в книгах ненаписанных или неизданных, остается блуждать и находит приют в судьбе автора, реализуясь в ней как в реальном трагическом сюжете.

Пущенный под нож макет «Черной книги», изъятый роман «Жизнь и судьба», наглухо запертая повесть «Все течет» (в дни умирания Гроссмана Берзер всего лишь четвертый ее читатель) — это вехи личной послевоенной биографии Гроссмана. Он разделил трагическую судьбу своих героев, по существу, добровольно.

«Многократный орденоносец, член правления Союза писателей, а что написал!» — заметил однажды со вздохом Д. А. Поликарпов, в то время зав. отделом культуры ЦК КПСС. Об этом вспоминает С. Липкин. И другое его свидетельство — слова Андрея Платонова, с которым Гроссман был в дружбе с фронтовых дней: «Вася, ты же Христос». Не забыть сцены в пропахшей суточными щами рабочей столовке строителей метро на улице Грицевец рядом с Музеем изобразительных (когда-то — изящных) искусств, созданным отцом Цветаевой, когда Цветаева читает обрывок рецензии

издательства «Советский писатель» о том, что поэзия ее анахронизм. Реакция Гроссмана: «Ты знаешь, мелочи, конечно, плащик зимой, кислые щи, а есть в них нечто чудовищное... Я думаю, что судьбы Цветаевой, Ахматовой потруднее судьбы княгини Волконской, вот о них, таких, как они, и создать бы поэму «Русские женщины». Написал бы, а?»

Реакции — может быть, самое ценное, что может зафиксировать мемуарист, ибо они мгновенны, непроизвольны и потому подлинны. О поступках в конце концов узнается, но реакции невосстановимы. Слова Бабеля, обращенные к Багрицкому и услышанные восемнадцатилетним Липкиным: «Он произнес фразу, которую я запомнил навсегда — поверите ли, Эдуард Григорьевич, я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей». Гроссман сказал: «Как мне жаль его, жаль не только потому, что он так рано погиб, что они убили его, но и потому, что он умница, талант, высокая душа, произнес эти безумные слова. Что стало с его душой? Зачем он встречал Новый год в семье Ежова? Правда ли это? Почему таких необыкновенных людей — его, Маяковского, твоего Багрицкого — так влекло к себе ГПУ? Что это — обаяние силы, власти? И почему Бабель водился с темными личностями на бегах, с приставленным к нему Кожевниковым? Стоит над этим задуматься, явление нешуточное, страшное».

В мемуарной дилогии, какой является книга С. Липкина и А. Берзер, Гроссман освещен в своих связях с литературной средой. С. Липкин, известный поэт и автор классических переводов на русский язык восточной поэзии, А. Берзер — талантливый критик и в пору Твардовского ведущий редактор прозы «Нового мира». Из ее рук вышли на страницы «Нового мира» В. Семин и Ю. Домбровский, В. Войнович и Ф. Искандер; она положила на стол Твардовского «Один день Ивана Денисовича». Утверждение Берзер: «Издательство только часть мира, клеточка жизни в эпоху террора»,— основано на долгом и глубоком опыте.

Через историю травли Гроссмана она «развинчивает» механизм государственного давления на литературу. «Главная моя задача — раскрыть азбуку сталинизма»,— пишет она и, сопоставив даты, определяет: «Дело Гроссмана было, наверно, последним злодейством Сталина». Стенограммы обсуждений романа «За правое дело» на разных уровнях: Союз писателей, издательство «Советский писатель», редакция «Нового мира», установочные статьи и сообщения в центральной печати («Правда», «Коммунист», «Литературная газета») — эта канонада проработок не более истребительна, чем глухое беззвучие, с каким был изъят роман «Жизнь и судьба». Берзер вслушивается и в грохот, и в тишину, в оба режима работы. Оказывается, слышать можно не только Марину Цветаеву и Андрея Платонова, их благодатную речь. Лязг казенного косноязычия прежде, чем смолкнуть, проницаем для слышащего, как проницаема будет и глухая пора, пора погашенных звуков.

Она не препарирует все эти тексты, она их чистит и проявляет, как фреску из-под поздних наслоений, и возникает картина суда, но не над Гроссманом, а над теми, кто прибежал творить этот суд или был в него втянут. Гроссмана нет. Он в одном случае уходит, в другом не является, в третьем его не зовут. Он не раздвоен, он не дал себя расщепить.

«Александр Александрович Фадеев правильно здесь отмечал тенденцию восхищения отдельными страницами. Такая вещь произошла и с Казакевичем, когда мы слышали разговоры: «Идеи, правда, здесь нет, но как здорово написано!» И этот ход, который сделан с романом Гроссмана, он нашел отклик и в Ленинграде, где, как нам рассказывают, также люди ходили с хоругвями. Это наводит на странную мысль, что во всем этом деле есть какая-то организация... Тарасенков, который в присутствии нас, сидя в комнате товарища Фадеева, когда зашел разговор о Гроссмане, сказал: «Об этом человеке я не могу говорить сидя, я должен сказать о нем стоя».

Стенограмма обсуждения фиксирует бесценные и до того не известные нам слова Твардовского, в ту пору молодого редактора, над головой которого «занесена секира». Слова эти рождены поэтом: «...большой экзамен для редактора в том, насколько он сумеет определить по рукописи то реальное бытие книги, которое наступает в мире с момента ее опубликования в печати».

Драма Гроссмана развертывается Берзер как драма всей литературы, а не только одного писателя, хотя бы и выдающегося. Не менее страшное в стенограммах — перекореженные лики тех, на чьих плечах роман был вынесен к печати и кто должен теперь от романа отречься. Перед нами документ духовного насилия, духовного изуверства, застенографированная пытка. Отречение Твардовского от Гроссмана, пишет Берзер, «будет страшной местью Сталина Твардовскому. Твардовскому — больше, чем Гроссману». Комментируя речь Фадеева, она пишет: «...на наших глазах начинается этот тягостный, мучительный процесс отказа Фадеева от самого себя, будто он сам переламывает кости себе». «Отказ от своего живого естества», «изнурительная форма перелезания в «чужую кожу»». Образ это или диагноз? Берзер реконструирует тот пыточный конвейер, который смоделирован был в Треблинке и который был организован,— цитирует она Гроссмана,— «по методу потока, заимствованному из современного крупного промышленного производства». «Треблинский ад», эту малоизвестную и непереиздаваемую работу Гроссмана, Берзер исследует как модель, которая в последующие десятилетия будет протиражирована с разнообразными модификациями и в жизни Гроссмана, и в творчестве его — в судьбе. Стенограммы литературных заседаний зафиксировали жизнеспособность этой модели.

Пройдет немного времени, и Фадеев застрелит себя, а Твардовский создаст журнал, который выведет нашу литературу на мировой рубеж. Но он будет казнен: журнал отнимут — и через два года Твардовского не станет.

Реальное бытие книг, которым «Новый мир» дал дорогу, осознается нами сейчас, когда книги эти получают массовые всенародные тиражи, но четверть века назад, когда книги эти были рукописями и надо было определить то реальное бытие, которое наступит в мире с момента опубликования их в печати,— для этого требовались внутренняя свобода как плацдарм и художественный вкус как боевое оружие, еще больше — как орудие созидания. «Конвейерной плахе» (выражение Гроссмана) двинулся наперерез по руслу, которое прорубал «Новый мир», поток противостоящего, антитоталитаристского сознания.

Через восемь лет после закрытия «Нового мира», закончив роман «Факультет ненужных вещей» и посвящая его А. С. Берзер, Юрий Домбровский напишет почти перед смертью: «С глубокой благодарностью за себя и за всех других подобных мне». Это документ признания неединичности и неодинокости своей судьбы.

«Весь антифашизм Гроссмана вырос из гуманизма русской литературы»,— пишет Берзер. Первые книги о Гроссмане остро историчны. По существу, это книги о том, как беспрерывно длящаяся литература закладывает свой новый виток.

И. БОРИСОВА

Обязанный спасать

•

Олег Хлебников. Наземный переход. Стихи. М., «Молодая гвардия», 1989; Стихи. Сб. «День поэзии». М., Сов. писатель. 1989. Стихи. «Новый мир», 1990, № 4.

•

Пятая книга Олега Хлебникова вышла с предисловием. Предисловие написал сам поэт, с редким для нынешних литературных нравов простодушием решивший объяснить (оправдаться?), почему его литературная судьба складывалась удачно (то есть его печатали и издавали). Благоприятно совпали внешние данные: провинциал, русский, очень молодой — а как раз вышло соответствующее постановление. Имела, видимо, значение и такая биографическая подробность, как профессия математика, звание кандидата наук — как бы некая гарантия социальной и интеллектуальной стабильности.

Но это не было, конечно, главным. Анкеты — это уж для самых дремучих. Мне кажется, дело в том, что Хлебников оказался в маргинальном поле между «правыми» и «левыми». Как в свое время Шукшин. Любая его книга могла быть названа «Бедные люди» — с акцентом на слово «люди». Даже его поэтическая муза не из сонма богов, она — Муза Ивановна, провинциальная учительница музыки. С другой стороны — в его поэзии нет идеализации российской глубинки, не приукрашен замученный бытом городок, о котором рассказывает поэт, люди не подсвечены мессианской идеей. Звезда светит у Хлебникова над городом, в котором «жить почти нельзя»,— но она все-таки светит. Не греша лакировкой действительности, О. Хлебников видит и поэтические стороны нашей, в общем, совсем не поэтической жизни. Он ощущает единственность каждого человека и в то же время его родство общечеловеческой судьбе:

Из тех людей, что населяли землю,
из тех людей, что населяют землю,
пять человек не могут без меня.

Поэт берет на себя при этом функции защиты своих героев. Так, он успокаивает уставшую от вечных страхов тетку Евдокию, которая

В магазин идет, Идет с работы.
Про ракеты слышит, про войну...
Тетка Евдокия, что ты, что ты? —
я ученый! — не бывать тому.

Он не принимает на себя ответственности за зло, творящееся в мире, оно существует вовне, не в нем самом. И сами хлебниковские «бедные люди» не повинны ни в своей тяжкой жизни, ни в бедах страны. Иначе, может быть, поэт и не узнавал бы в них родные черты («Боже мой! Кто это?.. Это мать моя и тетка, и бабушка моя, и кто-то, кто-то в родстве иль сходстве с будущей женой»,— при виде деревенских женщин в автобусе). Сирые, бедные, некрасивые — что ж, может быть. Но терпение и доброта их под сомнение не ставятся. За страдание, за великодушие они достойны почтения и любви. Их нелегкая судьба, их муки воспринимаются им как некая данность, но отнюдь не наказание. «Бедные люди» (и сам поэт?) ни в чем не виноваты.

В какой же момент возникло ощущение, что страдание людское все-таки связано с виной? Живущих, казалось бы, только в атмосфере провинциального быта, словно вне политических реалий, бедных (и в смысле «несчастных» тоже) людей поэт все же связал наконец с Историей, с «героем фарса державного», Сталиным, заметив, что его

Глядишь, народ не забывает,
глядишь, никто не замечает:
живой он или неживой.

Эта связь видится ему теперь едва ли не генетической: «Океанийскую державу иначе — ну, переплыви!.. Ах, близко море по составу людской крови». Приходит понимание того, что нельзя остаться непричастным злу, существуя по правилам

системы зла, что попытки сохранить белыми одежды, когда кругом кровь и грязь, — тщета и высокомерие. Ныне он обращает упреки к тем, кого прежде защищал, и к себе. Может быть, в первую очередь к себе:

Бедные, бедные! Душу свою
все берегли, как последнюю пайку —
скудную и зачерствевшую —
в свайку
не проиграли в неравном бою.

Чтобы ее защитить, напролом
шли, если надо, ощерясь локтями.
Ею делиться —
пусть даже с друзьями —
лет в двадцать пять посчитали грехом.

Тусклая лампочка светит во мгле.
Нету другой — освещает и эта
темный кусочек белого света,
путь по Земле.

В поэме «Чудотворцы», завершающей последнюю книгу, этот новый взгляд на людей и на себя сливается — и перед нами предстает Хлебников, на себя прежнего не похожий.

В «Чудотворцах» нет места действия — просто «у нас». Нет людей с именами и приметами — толпа. И это не бедные, а нищие. И духом не блаженны они, измученные до грубого эгоизма, до полной утраты нравственных ориентиров. Подзаголовок поэмы «Складень» — саркастичен. Люди молятся ложным богам. Хотят спастись не верой, а чудом. Чудеса творят то лекарь-травник, то дама-экстрасенс, то обожествленные при жизни вожди, то сам Вседержитель — он у Хлебникова какой-то крайне несолидный «дедок с седою бородой, точнее — бусой». Такой не мог дать закона добра. Он сам добра и зла не различает, ибо старчески равнодушен. Боги сотворены по образу и подобию людей:

...Кто сказал, что трудно быть богом?
Человеком куда тяжелее.
В боги проходить случалось многим...

Боги растиражированы, взаимозаменяемы, они своего рода номенклатура. Потому что алчущим чуда не Спаситель нужен, а «спасатель, по должности обязанный спасать». Люди и чудотворцы достойны друг друга. Хотя людей поэту по-прежнему жалко, и он клянет себя за то, что не способен для них что-либо сделать, нечего ему предложить «тетке Евдокии».

То, что поэт берег «душу свою, как последнюю пайку», теперь тоже вина, ибо — «грешен невинною». От прежнего всечеловеческого родства, от гармонии с миром осталось — соучастие в общей вине:

пролегает, ветвится железная наша
дорога
и блестят, как ледок, на крестах
возведенные рельсы,
и идем мы по ней — нас все больше,
хоть нет слишком многих —
полубоги, ворюги, чернобыльские
погорельцы.

От прежнего Хлебникова только то и осталось, что он еще говорит — «мы», «нас». Но путь «на крестах» — намек на надежду, ибо намек на Голгофу, на возможность искупления — а значит спасения?

Откровенно говоря, я только догадываюсь, что Хлебников говорит именно это. Смятенная душа выражает себя и в речи невнятной. Ясный и светлый, хоть и раньше не склонный вытачивать слова, поэт часто становится «непонятным». Очень хочется думать, что это — от сложности задачи, оттого, что выразить надо невыразимое, непроясненное, недописанное в Книге Судеб. Но все-таки есть опасение, что не только потому и темен слог, переусложнена форма, строчки ломаются, фраза начинена метафорами, перегружена внутренними ассоциациями. Приведу лишь один пример такой темнописи. Итак, некто «примеривал их судьбы на себя». Наши, то есть, судьбы:

Примеривал семь раз,
не жмет ли где, не слишком ли свободно
в той или, может, в этой... И, смирясь,
решал в своей остаться — пусть не модно,
пускай не по сезону, что теперь
на том дворе, где нет тысячелетий,
а только года три стоят и в дверь
стучатся и собой пейзажик летний
являют:
закопченное окно,
как будто впрямь Америку открыли,
а за окном виднеется одно —
бугор, дорога и до неба пыли!

Кажется, в этом тексте реально «работает» только скрытая цитата из Пастернака. «На том дворе, где нет тысячелетий» — «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?..»

Я даже думаю, что отчаяние поэта столь беспросветно потому, что мысли его не додуманы, чувство не прояснено. Он все время меняет точку обзора, то в поле зрения у него Вседержитель, то «божий дар» дамы-экстрасенса. О том, что можно назвать «синдромом Кашпировского», поэт говорит подробно, а о Страшном Суде — так, походя, как он сам признает, всуе. То же и с политическими реалиями — упоминается Вышинский (который потеет за Всевышнего), Медведь (он преет в ежовых рукавицах), но отрывочно, без всякой связи с весьма хаотическим сюжетом, а «отец родной с отеческой улыбкой» рассматривается с такой высоты, что сливается с Царем, Иваном IV, Петром I, самим Провидением... Конечно, тут право поэта: откуда ему надо, оттуда и смотрит. Но и у читателя есть право заподозрить, что Апокалипсис, может быть, еще не наступил. А наступил у поэта душевный и творческий кризис, о чем он сам и говорит:

Для веры мне б еще тоски,
еще отчаянья немного.

Грех этого желать О. Хлебникову. Но он, видимо, знает, что нужно, чтобы на новом уровне поэтического и нравственного опыта быть поэтом в России, что всегда значило — «обязанным спасать».

Татьяна БЛАЖНОВА